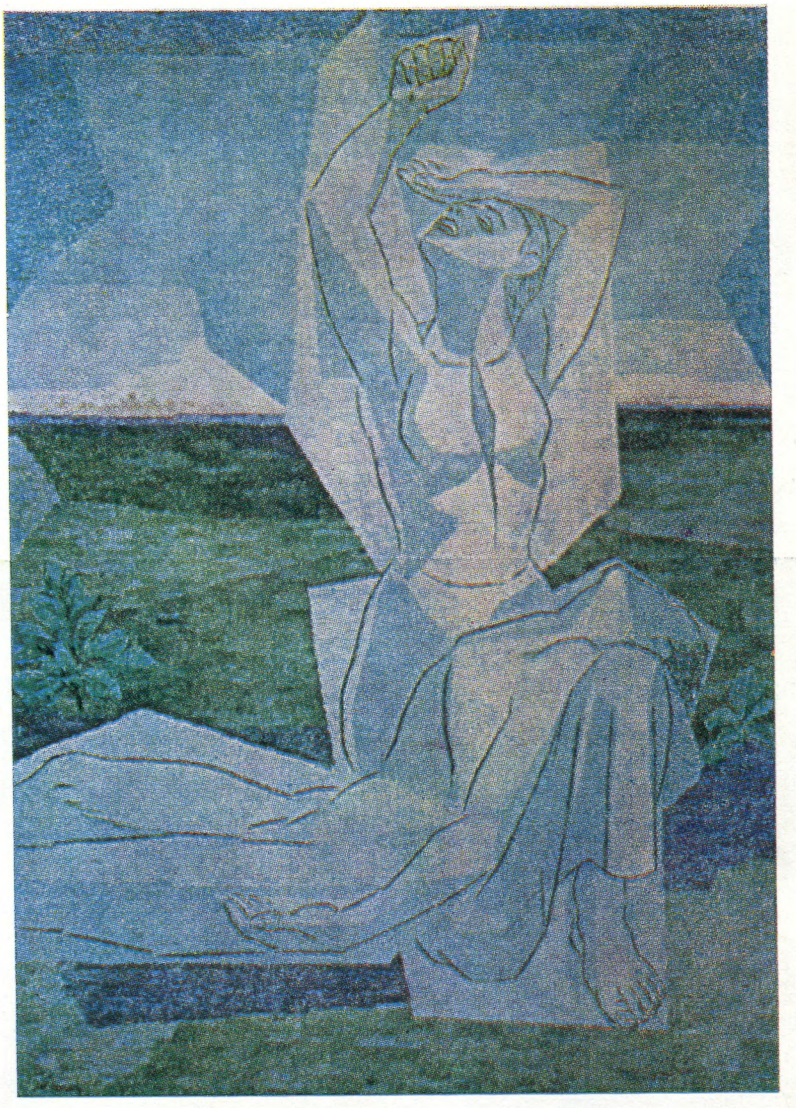
9.1977

Иностранная литература



ИВАН НЕНОВ. Сентябрьский рассвет

На цветных иллюстрациях номера работы с выставки произведений болгарских художников в Москве

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1977

9

СЕНТЯБРЬ

Содержание

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР — Превратности метода. *(Роман. Перевод с испанского М. Былинкиной. Предисловие автора)* 3

Из современной политической поэзии ФРГ

ПЕТЕР ШЮТТ. ПЕТЕР МАЙВАЛЬД. ДИТРИХ КИТТНЕР. РИХАРД ЛИМПЕРТ. АРТУР ТРОПМАН. *(Переводы с немецкого Е. Витковского. Вступление А. Гугнина)* 96

ВИТИ ИХИМАЭРА — Рассказы *(Перевод с английского И. Баграва)* 106

ГОР ВИДАЛ — Бэрр *(Роман. Продолжение. Перевод с английского М. Брука и А. Файнгара под редакцией Е. Суриц)* 128

Критика

ФРИДРИХ ХИТЦЕР — Литература агрессии *(Перевод с немецкого И. Зильбермана)* 183

Возвращаясь к напечатанному

ГИЛЬЕРМО ДИАС-ПЛАХА — Слово о Хуане Рамоне Хименесе *(Перевод с испанского Н. Малиновской)* 191

Интервью

Владимир Лукан: «Значение Октября ощущается во всех событиях современности» *(Перевод со словацкого Л. И. Васильевой)* 196

Марио Бенедетти: «Политика, ворвавшаяся в поэзию...» *(Перевод с испанского Е. Родзевич)* 199

Культура и современность

Заметки на полях

М. Б.— Мнимое противоборство. В. Чернышев — Народ и литература 204

Публицистика

Международная встреча писателей в Софии 209

К 60-летию Великого Октября

Я видел будущее. Зарубежные писатели о Советском Союзе: КЛАРА СЁЛЛЁШИ. ГЮНТЕР ВАЙЗЕНБОРН. МАРТИН НАГ. КЭНДЗАБУРО ОЭ. ВЛАДИМИР ПОЗНЕР *(Продолжение)* 217

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ — Немного об Анголе *(Окончание. Фрагменты книги. Перевод с польского С. Ларина)*

Антирубрика

Итальянская эпиграмма *(Перевод с итальянского Владимира Васильева)* 249

ГОЛАМХОСЕЙН САЭДИ — Я, Плешивый и Кейкавус *(Рассказ. Перевод с персидского Джехангира Дорри)* 251

Наши гости

А. Г.— Петер Шютт (ФРГ) ✦ Л. Харлап — Юрий Брезан (ГДР) ✦ С. Пархомовская — Ян Пиларж (ЧССР) 258

Среди книг

Издано в СССР

В. Кисунько — Наш собеседник Бранко Гавелла ✦ Э. Фонякова — В двух измерениях ✦ М. Андраша — Бесконечная улыбка 262

Издано за рубежом

Е. Паклина — Посол революции ✦ И. Млечина — Воспоминания о юности. ✦ Джон Гарднер — Семья человека — семья человеческая 267

Из месяца в месяц 275

Авторы этого номера 286

На обложке: картина болгарской художницы КАЛИНЫ ТАСЕВОЙ.

© «Иностранная литература», 1977 г.

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

Превратности метода

РОМАН

Перевод с испанского М. БЫЛИНКИНОЙ

Советскому читателю

Мысленно окинув взглядом историю Латинской Америки — со времен национально-освободительных войн прошлого века и до наших дней,— мы не можем не отметить своеобразное явление: многочисленность антинародных диктатур, почти всегда рождавшихся в сгне военного мятежа, подготовленного в казармах. После провозглашения независимости, согласно данным одного видного историка и социолога, народы латиноамериканских стран испытали бремя... 222 диктаторских режимов, включая более сильные и более слабые, длительные и скоротечные, явившиеся плодом 535 военных переворотов. Даже трудно этому поверить!.. Причем режим мексиканского диктатора генерала Порфирио Диаса продержался тридцать пять лет, пока его не свергла революция в 1911 году, а ныне тирания парагвайского диктатора генерала Альфредо Стресснера длится уже двадцать третий год... И поистине велик перечень всех латиноамериканских диктаторов!

Перед столь ужасающей панорамой апологеты империализма, в каком бы обличье они ни выступали, теперь твердят: «Все это лишь доказывает, что Латинская Америка, завоевав независимость, не дозрела до демократической формы правления». Нет ничего более лживого! Еще в XIX веке Латинская Америка знала периоды свободы и социального прогресса, когда у руля правления стояли, скажем, Доминго Фаустино Сармьенто в Аргентине или Бенито Хуарес в Мексике. И если таких периодов немного, то лишь потому, что любое прогрессивное правительство, урезав или просто затронув интересы национального, не то иностранного капитала, встречало на своем пути ожесточенное противодействие крупной буржуазии; последняя тотчас же субсидировала мятеж своих союзников-генералов либо запрашивала помощь Соединенных Штатов (как недавно произошло в Чили), чтобы в стране установить военную или гражданскую антинародную диктатуру, которая опекала бы владения олигархии, ее капиталовложения и привилегии. В таком — весьма несложном и уже сотни раз повторявшемся — процессе заключается трагедия Латинской Америки.

В романе «Превратности метода», ныне публикуемом журналом «Иностранная литература», предпринята попытка нарисовать типичный портрет латиноамериканского диктатора (обратившись к концепциям «Рассуждения о методе» Рене Декарта).

Моих читателей в Советском Союзе хочу предупредить, что этот роман — историчен и вместе с тем не историчен. К историческому жанру отнести роман нельзя, потому что страна, где развертывается действие, по своим географическим признакам может находиться в любом месте Латинской Америки. К историческому жанру отнести роман нельзя потому, что диктатор, представленный тут, в действительности не существовал... И, однако, этот роман историчен, поскольку все, о чем повествуется, действительно происходило в той или иной стране континента, в Карибском регионе, когда завершал свои дни на страницах произведения Глава Нации. Роман историчен, поскольку в физическом облике и в интеллектуальном плане образ Главы Нации — как бы «портрет-робот», воссозданный по приметам, характерным чертам, линии поведения подлинных исторических деятелей, представителей фауны диктаторов разных латиноамериканских стран. Как Порфирио Диас и венесуэльский диктатор Антонио Гусман Бланко, он непомерно преклоняется перед всем французским — и не перед лучшим. Его семейные взаимоотношения напоминают семейство доминиканского диктатора Рафаэля Л. Трухильо. Его полное непони-

мание социальных сдвигов, панический страх перед коммунизмом, культ Соединенных Штатов, которые, в конце концов, когда он стал им бесполезен, сбрасывают своего слугу со счетов соответствуют истории кубинского диктатора Херардо Мачадо. Его методы полицейских репрессий, показное увлечение культурой были свойственны и гватемальскому тирану Мануэлю Эстраде Кабрере. И многие эпизоды в романе, что кажутся относящимися к области фантазии,— достоверные, исторические факты...

Не исключено, что кто-нибудь из читателей скажет: тема диктатур в Латинской Америке—тема трагическая, и бросит мне упрек, что трактую ее с известным юмором. Но ведь здесь юмор не благодушен, здесь — юмор критический. Я не сомневаюсь, что он годится для показа некоей мерзкой реальности. Мой критический юмор по отношению к латиноамериканскому диктатору — подумать об этом мне приятно — вызван и тем, что в моих жилах — с материнской стороны — течет также русская кровь. Еще в детстве, хотя рос я на земле Кубы, моя мать близко познакомила меня с повестями Гоголя, с рассказами Чехова, в которых об определенных конфликтах, по сути трагических, говорилось с нарочитой иронией, как бы особо подчеркивающей контрастность жизнерадостности и отчаяния, драматизм действительности.

Диктаторы обречены на жалкий конец — проклятие современников, забвение потомков. А вот такие люди, как Студент, представитель нашей новой молодежи, навечно остаются в памяти народной; это они, окрыленные Великой Октябрьской революцией в России, вместе с борющимися рабочими и крестьянами основали первые коммунистические партии в Латинской Америке.

Сегодня все народы Латинской Америки видят воочию победный марш кубинской революции. Наша небольшая страна оказалась способной доказать миру, что социалистическую революцию вопреки всему можно свершить и в девяноста милях от США, открыв новую эру в истории Латинской Америки.

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

Париж, июнь 1977.

Посвящаю Лилии

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...Я намерен здесь не обучать методу, которому должен следовать каждый для хорошего управления своим разумом, а лишь показать, каким образом я сам старался управлять своим собственным.

ДЕКАРТ. *Рассуждение о методе.*

1

...Ведь я только что лег. А будильник уже трезвонит. Четверть седьмого? Не может быть. Скорее, четверть восьмого. Кажется, так. Или четверть девятого? Этот будильник — бесспорно, великое творение швейцарских мастеров, хотя его стрелки так тонки, что их почти не видно. Или четверть десятого? Нет. Где мои очки? Четверть одиннадцатого. Совершенно верно. Да и яркий свет позднего утра уже бьет в золотистые шторы. Почему-то всегда так бывает, когда я снова приезжаю в этот дом: открываю глаза, и чудится, словно я т а м. Наверное, потому, что всюду — будь то любой дом, отель, английский замок или мой Дворец — я люблю спать в этом своем гамаке, который всегда беру с собой. Да разве можно отдохнуть на плоской, как доска, кровати с матрацем и высокой подушкой? Мне нужно такое зыбкое ложе, где можно уютно свернуться в комок и покачиваться, дергая веревочку... Еще раз качнуться, зевнуть и, наконец, сильнее откачнувшись, вытянуть ноги и опустить их на персидский ковер, в мохнатой пестроте которого затерялись мои ночные туфли. (Т а м, едва я просыпаюсь, их тотчас подает мне Мажордомша Эльмира, которая — у нее тоже свои причуды — обычно спит на жесткой раскладушке, выкатив наружу груди и задрав юбку до самых бедер в жаркой ночи другого полушария). Шаг, другой, еще один — к свету. Тяну шнур, висящий справа,

и под звяканье колец ползущей вверх шторы открывается сцена большого окна. Однако вместо вулкана — заснеженного, величавого, далекого, нашей древней Обители богов — передо мной высится Триумфальная арка, а за ней стоит дом моего большого приятеля Лимантура, который был министром у дона Порфирио [1]. Мы с ним с полуслова понимаем друг друга, когда речь заходит об экономических трудностях и прочих наших передрягах. Тихо скрипнула дверь. Входит Сильвестр в своем полосатом жилете с серебряным подносом в руках (великолепное массивное серебро из моих рудников): «Le café de monsieur. Bien fort comme il l'aime. A la façon de là-bas... Monsieur a bien dormi?..» [2]

Три парчовые шторы поочередно взвиваются вверх, и яркое, как по заказу для Дня Дерби, солнце освещает скульптуры Рюда на Триумфальной арке. Маленького голого мальчишку-героя тащит в бой грозный косматый вожак-каудильо, из тех, что — я-то уж знаю! — с криком «ура!» быстро перебираются из первых рядов в задние, как только запахнет поражением. Теперь полистаем-ка «Журналь». А «Эксельсиор», пестрящий фотографиями, смахивает на кинематограф, показывающий хронику текущих событий. Вот и «Аксьон франсэз»: гастрономические рецепты Пампийе, которые моя дочь ежедневно подчеркивает красным карандашом для сведения нашего бесподобного повара; злобная передовица журналиста Леона Додэ, чья великолепная апокалипсическая брань — это наивысшее выражение свободы слова — вызвала бы в наших странах бесконечные дуэли, секвестры, убийства и перестрелки. «Пти паризьен»: новое восстание в Ольстере под бодрый аккомпанемент ирландских арф и пулеметов; всеобщее возмущение вторичным отловом собак в Константинополе и их отправкой на какой-то остров, где все они в конце концов сожрут друг друга; новая заваруха на Балканах, в этом осином гнезде, вечном пороховом погребе, кошмарном месте, удивительно похожем на наши андские провинции. Вдруг почему-то вспомнилась — это было в мой прошлый приезд сюда — церемония встречи царя Болгарии. Он проезжал вон там в роскошном ландо рядом с французским президентом Фальером, выставляя на всеобщее обозрение свою позолоченную и расплюмаженную царственную особу (на секунду мне показалось, что это мой Полковник Гофман), а оркестр республиканской гвардии у подножия наполеоновского монумента лихо играл гимн «Плачет девица, шумит Марица», сверкая трубами, тубами и кларнетами, на громоподобном фоне которых опереточно попискивала флейта-пикколо и звякал треугольник. «Vive le Roi! Vive le Roi!» [3] — орали граждане республики, в глубине души своей тоскующие по тронам, коронам, скипетрам и жезлам, зрелищное великолепие которых едва ли заменят фраки и алые ленты президентов, благодарственно помахивающих — вниз-вверх — своими цилиндрами: точь-в-точь наши слепые нищие, выпрашивающие милостыню после того, как выдуют из темных прорезей своих окарин песенку «Деревянная нога».

Уже без двадцати одиннадцать. Как приятно, что там, на столике, возле гамака, валяется закрытая и ненужная сейчас записная книжка — без расписания аудиенций, официальных визитов, вручений

[1] Генерал Порфирио Диас (1830—1915) — президент, фактический диктатор Мексики, свергнутый в 1911 году, в дни мексиканской революции 1910—1917 гг. Хосе Ив Лимантур (1854—1935) — министр финансов в правительстве Диаса. *(Здесь и далее — примечания переводчика)*

[2] Кофе для мосье. Крепкий, по вашему вкусу. Приготовлен, как положено у вас, там... Мосье хорошо спали? *(франц.)*

[3] Да здравствует король! *(франц.)*

верительных грамот — и можно не опасаться беспардонных, не предусмотренных никакими программами вторжений моих генералов, которые вдруг являются, гремя сапогами и шпорами. Однако я заспался, а все потому, что вчера вечером, да, вчера вечером — и допоздна — развлекался с одной сестричкой из монастыря Сен-Венсан де Поль, одетой в голубую хламиду, с крылатой накрахмаленной токой на голове, с ладанкой меж грудей и с плетью из русской кожи за опояском. Келья была неподражаема: на грубо сколоченном столе — требник в переплете из телячьей кожи, посеребренный подсвечник и череп, правда, слишком темный, наверно, восковой или резиновый — не знаю, не дотрагивался. Кровать, несмотря на свой убогомонастырский вид, была преудобной: мягчайшие подушки в наволочках из искусственного этамина, воздушные перины в чехлах из ненатуральной рогожи и, наконец, прекрасный эластичный матрац, который ловко подыгрывал движениям коленей и локтей, приникавших к нему. Прекрасная кровать, равно как и диван в Апартаментах калифа или обитая бархатом полка в спальном вагоне Кука экспресса «Париж — Лион — Средиземноморье», две пары колес которого никогда не трогались с места, но в тамбуре и коридорчике — просто гениальная идея! — всегда попахивало паровозным дымком. Я бы не прочь еще раз испробовать всякие комбинации из циновок и валиков в Японском домике, побывать в Каюте «Титаника», реконструированной по чертежам, где доподлинно передается накаленная обстановка перед катастрофой («Vas-y vite, mon chéri, avant que n'arrive l'iceberg... Le voilà... Le voilà... Vite, mon chéri... C'est le naufrage... Nous coulons... Nous coulons... Vas-y...[1]»), и полежать на Чердаке деревенского нормандского дома, где пахнет яблоками, а бутыли с сидром всегда под рукой; или понежиться в Спальне молодоженов, где Габи в подвенечном платье и в фате с флёрдоранжем каждую ночь не единожды прощается с девственностью, если вечером подходит ее очередь дежурить — у них это называется «нести караул»,— и тогда избранные друзья этого дома еще могут иной раз, несмотря на свои седины и орден Почетного легиона, познать блаженство победных пробуждений Виктора Гюго. Что касается Дворца тысячи зеркал, то там я вдоволь нагляделся на свое телосложение, на все позиции и выкрутасы — в панораме и перспективе,— так что эти художественные упражнения запечатлелись в моей памяти подобно тому, как на семейных фотографиях увековечиваются жесты, позы, костюмы и увеселения лучших дней жизни.

Да, чудесный был вечерок. Но едва сошло опьянение, как кошки на сердце стали скрести: не принесло бы богохульное развлечение с сестричкой из монастыря Сен-Венсан де Поль мне несчастья (в другие-то времена Полетта являлась ко мне в виде воспитанницы английского колледжа с ракетками и стеками под мышкой или в виде размалеванной портовой шлюхи с красными подвязками и в высоких кожаных ботинках). Да еще тот самый череп — просто страшно вспомнить, будь он там из воска или резины. Святая Дева-путеводительница из Нуэва Кордобы, Заступница усердная моего Отечества, конечно, могла узнать о моих прегрешениях со своих подоблачных высей, оттуда, где в горах, среди скал и каменоломен, находится ее древняя обитель. Но я утешал себя тем, что в эту бутафорскую келью, обставленную в точном соответствии с моими греховными замыслами, к счастью, не додумались — в порыве услужливости — водворить еще и распятье. Надо отдать справедливость мадам Ивон-

[1] Скорее, мой дорогой, пока нас не раздавит айсберг... Вот он... Скорее, мой дорогой... Корабль тонет... мы дали течь... Идем ко дну... Скорее... *(франц.)*

не — в темном элегантном платье и жемчужном ожерелье, с великолепными манерами и набором фраз, которыми, в зависимости от обстоятельств и положения клиента, она искусно пользовалась, легко переходя от высокого стиля Пор-Рояля к языку в жанре Брюана [1] (что весьма напоминало мой французский а-ля Монтескье и парижский gamin [2]), и умела потворствовать всяческим причудам, но при этом никогда не теряла чувства меры. Она ни за что не повесила бы, скажем, портрет королевы Виктории в Комнате Английского пансиона, или икону — в Палатах Русского боярина, или приапически-похотливую статуэтку в Покоях с Помпейским декором. Когда ее навещали солидные клиенты, она, кроме того, заботилась, чтобы «ces dames» [3] надлежащим образом настраивались, как говорят артисты, и с подъемом проводили свою роль: горящей нетерпением невесты, впадающей в грех монахини, жаждущей удовольствий провинциалки; замужней женщины, идущей на тайное свидание; светской дамы, поддающейся минутной прихоти; иностранки, ищущей неизведанных страстей, и т. д. и т. п.— в общем, чтобы они вели себя как актрисы высшего класса, и запрещала им брать монеты особым способом, ногами, как это делали девицы из салона свиданий рангом ниже — «К гостям, пожалуйте...» — где весь наряд состоял из одного испанского, расшитого позументом болеро, таитянской гирлянды или подобия «килта» — шотландской мужской юбки с лисьим хвостиком спереди...

Сильвестр вводит ко мне куафёра. Во время бритья тот сообщает о недавних преступлениях бандитов-апашей, которые имеют теперь в своем распоряжении автомобили и целый арсенал различного оружия. Пока на моих щеках пузырится пена, он успевает показать мне последнюю фотографию своего сына, которому придают весьма воинственный вид — о чем я ему и говорю — перья казуара, украшающие кивер. При этом я хвалю твердый и разумный порядок в стране, где юноша скромного достатка, благодаря своей добропорядочности и трудолюбию, может встать в один ряд с офицерами, которые еще до того, как пушка выстрелит, знают, повозившись с расчетами и логарифмами, каковы будут траектория и точность попадания. (Мои артиллеристы, как правило, вычисляют угол наводки эмпирическим способом, который нередко бывает — это следует признать — поразительно эффективным: «Три локтя вверх, два направо с поправкой в полтора пальца... по тому дому с красной крышей... Огонь!» И, что самое главное, снаряды попадают в цель...)

После фотографии юнца из военной академии Сен-Сир брадобрей показывает мне свежий фотоснимок девицы в прозрачном одеянии, по всей видимости, проявляющей трепетный интерес к 6,4% годовых нового русского займа и уже совсем готовой — правда, это проявляется весьма деликатно,— готовой... приобрести акции, могущие спасти состояния, которые в прежние времена прочно опирались на гербы с горностаями на пурпурном поле, а ныне находятся на краю гибели. Так вот, эта девица — а ее «школа», видно, не из последних,— эта девица, в общем... (Пошлю-ка к ней для начала Перальту, пусть испробует и доложит...)

Сквозь оконные стекла виднеется лето, молодое, новоявленное, в ослепительной зелени каштанов. Портной, который обмерил меня вдоль и поперек, теперь прикладывает ко мне выкроенные части сюртуков, американок, курток, подгоняя их, примеряя, приглаживая,

---

[1] В аббатстве Пор-Рояль ученые-грамматисты XVII века А. Арно и К. Лансело создали «Общую и рациональную грамматику» французского языка. А. Брюан (1851—1925) — французский шансонье, исполнявший песни на парижском жаргоне.

[2] Уличный мальчишка *(франц.)*

[3] Эти дамы *(франц.)*.

рисуя плоским мелком геометрические фигуры на раскромсанных темных тканях. Я, как манекен, вращаюсь вокруг своей оси, замирая на месте в зависимости от того, на какую часть моей фигуры должен пасть свет. И мои глаза вольно или невольно останавливаются на окружающих меня картинах и скульптурах, словно бы заново мне являющихся, ибо я столько раз их видел, что почти не обращаю на них внимания. Вот здесь «Святая Радегунда» Жан-Поля Лорана, блаженная меровингиха, как всегда, протягивает руки к святым реликвиям из Иерусалима: посланцы в монашьих капюшонах вручают ей прелестный ларец из слоновой кости со щепой от Креста Господня. А вон там великолепная скульптура — «Гладиаторы» Жерома: побежденный, запутавшийся в собственной сети, корчится под ногой победителя, здоровенного парня в шлеме, готового опустить меч по первому слову Цезаря («Macte» [1],— говорю я всегда, глядя на эту вещь, и опускаю вниз большой палец правой руки...). «Чуть-чуть направо»,— говорит мне портной. И передо мной открывается сладострастная нагота «Спящей нимфы» Жерве. «Теперь рукав»,— говорит портной. И я взираю на «Волка Губбио» Люка-Оливье Мерсона: лютый зверь, укрощенный святым словом Повереллo, резвится с озорными мальчишками, которые таскают его за уши. Еще четверть оборота — и передо мной «Ужин кардиналов» Дюмона (сколько плотоядности у всех во взоре, и как верно схвачено выражение лиц, а у того, что слева, даже вены вздулись на лбу); рядом — «Маленький трубочист» Шокарн-Моро и «Светский прием» Беро, где на красном фоне выделяются ослепительно светлые платья женщин, оттененные чернотой фраков, зеленью пальм и голубизной хрусталя... А теперь солнце бьет мне почти прямо в лицо, и я скашиваю глаза в сторону «Вида Нуэва Кордобы» нашего местного художника, написавшего этот пейзаж, видимо, под влиянием одной из толедских панорам испанца Игнасио Сулоаги,— та же самая желтизна с оранжевым оттенком, то же ярусное нагромождение домов и мост Алькантары, ставший мостом через реку Мапуче [2]...

Но вот, поставив меня лицом к окну, портной начинает рассказывать мне о некоторых своих клиентах, чьи имена поднимают его профессиональный престиж,— как, скажем, в Англии, где какой-нибудь кондитер хвастливо сообщает на коробках своих бисквитов и мармеладок, что он «Поставщик двора Его Величества». Таким образом я узнаю, что Габриеле Д'Аннунцио [3], такой оригинал и привередник в выборе костюмов и такой скупец и сквалыга при расчетах, заказал ему двенадцать жилетов фантази и другие вещи, перечень которых я пропускаю мимо ушей, потому что имя Габриеле Д'Аннунцио вдруг вызывает в моей памяти тот таинственный, причудливо украшенный патио, который скрывался за обшарпанным фасадом какого-то дома на улице Жоффруа Л'Анье, вдруг возникая, как экзотическая оперная декорация в конце коридора, пропахшего луковым супом.

Там, в павильоне с фигурной лепкой и чугунными узорами на дверях, я не раз имел честь ужинать в узком кругу друзей великого поэта. Об этом потайном месте, роскошном и недоступном ходили мифы и легенды. Рассказывали, что, когда Габриеле бывал там один, ему прислуживали прекрасные девы со сказочными именами и что в то время, как его многочисленные кредиторы сражались с консьержкой, закаленной в подобных боях, там, в его обиталище, среди

---

[1] Не падай духом *(лат.)*. Из «Энеиды» Вергилия (IX,641).
[2] Алькантара — город в испанской провинции Касерес. Мапуче — река в Чили.
[3] Г. Д'Аннунцио (1863—1938) — итальянский писатель-декадент.

старинных гипсовых и мраморных статуй, средневековых стел и манускриптов, в чаду кадил звучали свежие, юные голоса, будто из детского монастырского хора, чередовавшиеся со стройным молитвенным песнопением, которое неслось из-за ширм, скрывавших наготу женщин, многих женщин — и знаменитых, и благородных, и высокопоставленных, воздававших почести Архангелу Благовещения. «Не знаю, что они в нем находят,— говорил Перальта.— Уродливый, лысый, щуплый, да еще, мало того, именует себя Гладиатором...» — «Кому что нравится»,— ответствовал я, подумав, что, если знать в том толк, куда интереснее развлекаться именно так, чем посещать бордель в Шабанэ, откуда еще, конечно, не улетучилась тень Эдуарда VII. И тут как раз входит Перальта с кипой книг, увенчанных желтым томиком «Дитя сладострастия» — французский вариант «Il piacere» [1], где мой секретарь, видимо, не обнаружил интересных ситуаций, обещанных названием — «я их полистал немного» — и кладет книги на столик, откуда портной уже убрал материю, освободив меня от всей этой дорогостоящей кожуры, от парадных мундиров, от брюк, еще жмущих в паху.

«Дай мне чего-нибудь выпить». Доктор Перальта открывает мой булевский секретер и берет бутылку рома «Санта Инес» с оригинальной этикеткой: буквы в готическом стиле на фоне остроконечных зарослей сахарного тростника. «Это вливает жизнь».— «Особенно после вчерашнего вечера».— «Сеньора доконали монахини».— «А тебя — негритянки».— «Люблю черноту, сеньор, ведь я же нефтяник» [2].— «Все мы нефтяники, т а м»,— сказал я смеясь, и в эту минуту Офелия, зная, что я уже не сплю, заиграла «К Элизе»... «С каждым днем все лучше,— сказал мой секретарь, замерев с рюмкой в руке.— Сколько нежности, сколько чувства...» И эта пьеска «К Элизе», которую так мило наигрывала, хотя и поминутно сбиваясь, моя дочь в своих апартаментах, напомнила мне, как играла «К Элизе» донья Эрменехильда, ее любвеобильная мать, правда, так же не признавая счета, когда она в Пристани Вероники — в дни нашей юности, дни бурь и страстей, «штурм-унд-дранг'а», сумасбродств и безумий,— усладив мой слух вальсами мексиканских композиторов Хувентино Росаса или Лердо де Техады, принималась за свой классический репертуар: Великий Глухой («К Элизе» и начало, одно лишь излюбленное начало «Лунной»), «Идиллия» Теодора Лакка и отдельные пьески Годара и Сесиль Шаминад из альбома «Домашнее музицирование»... Вздыхаю при мысли о том, что три года назад состоялись ее похороны, правда, поистине королевские: урну под балдахином сопровождал кортеж министров, генералов, послов и сановников; военный оркестр был усилен еще тремя ансамблями, привезенными из провинции,— всего сто сорок музыкантов,— чтобы как следует сыграть Траурный марш из «Героической симфонии» и, понятно, Шопена. Наш архиепископ так проникновенно говорил в своей заупокойной молитве (содержавшей, по моему настоянию, немало из тех месс, какими чтил Боссюэ [3] память Генриетты Французской: «Та, что владычествует на небесах...» — и т. д. и т. п.) о нравственном величии и благочестии усопшей, что ее причисление к лику святых становилось лишь вопросом времени. Правда, донья Эрменехильда была замужем и, разумеется, имела детей — Офелию, Ариэля, Марка Антония и Радамеса,— но архиепископ в своей речи еще раз напомнил

[1] «Наслаждение» *(итал.)* Роман Г. Д'Аннунцио.

[2] Здесь, видимо, намек на «нефтяной бум», начавшийся в Латинской Америке в начале XX века, после открытия богатых нефтяных месторождений.

[3] Ж.-Б. Боссюэ (1627—1704) — французский проповедник и духовный писатель, идеолог абсолютизма.

во всеуслышание о бесценных супружеских добродетелях праведной Елизаветы, которая была матерью Иоанна Крестителя и женой первосвященника Захарии, а также о святой Монике — матери Блаженного Августина. Я, конечно, тоже нашел нужные слова, но про себя решил не слишком торопиться с ходатайством пред папским престолом в Ватикане, ибо мы с ней много лет прожили вместе, нимало не печалясь о законном бракосочетании, пока внезапные и бурные политические перипетии не сделали меня тем, чем я стал. Главное было то, что многокрасочный портрет моей Эрменехильды, отпечатанный в Дрездене по инициативе нашего министра просвещения, превратился в предмет поклонения во всем нашем государстве, всюду и везде. Говорили, что покойница, презрев тлен и старания червей, навеки сохранила кроткую и нежную улыбку на устах. Женщины утверждали, будто ее лик чудесным образом исцеляет от подвздошных колик и облегчает первые роды, а обеты, которые дают ей девушки, дабы заполучить мужа, куда больше приносят пользы, чем добрый старый обычай — окунать вниз головой в колодец бюст святого Антония...

Едва я успел воткнуть в петлицу гардению, как Сильвестр доложил мне о визите Именитого Академика — академика хотя и избранного на последних выборах, но непонятно зачем оказавшегося под сенью академического купола, ибо еще совсем недавно он величал Сорок бессмертных [1] «замшелыми мумиями в треуголках, дряхлыми повивальными бабками словаря, который так отстает от языковой эволюции, что любой Малый Ларусс домашнего обихода полезнее его во сто крат». Перальта прячет бутылку рома «Санта Инес», и мы приветствуем этого талантливого и скромного ученого мужа, который входит и садится туда, где солнечный луч, пронзив взметнувшуюся пыль, воспламеняет красную розетку Почетного легиона у него на груди. Наверху Офелия продолжает старательно очищать от никчемных бемолей пассажи из пьесы «К Элизе», но все же спотыкается на каждом шагу. «Бетховен»,— говорит Именитый Академик, указуя пальцем вверх, словно сообщая нам важную новость. И без стеснения, как и подобает тому, для кого всегда открыты двери моего дома, начинает листать книги, только что принесенные моим секретарем. «Атеизм» Ле Дантека. Хорошо. Серьезное чтение. «Ученик» Бурже. Не плохо, но нам не следует подражать немецким emmerdeurs [2] с их манией сваливать философствование и романтичность в одну кучу. Анатоль Франс: способности, конечно, есть, но за пределами Франции захвален чрезмерно. А, кроме того, его упорный скептицизм ни к чему не приводит... «Шантеклер» [3]: удивительная вещь. Успех и провал. Гениальная смелость, обреченная на неудачу, но навсегда вошедшая в историю театра как эксперимент, единственный в своем роде. И он декламирует: «О, Soleil! Toi sans qui les choses Ne seraient pas ce qu'elles sont...» [4] (Академик и не подозревает, что вот уже который год десятки тысяч борделей и ночных заведений низшего пошиба носят в Америке название «Шантеклер»...) Он иронически, хотя и добродушно, хмыкает при виде антиклерикального опуса памфлетиста Лео Таксиля, но корчит явно недовольную гримасу, узрев «Мосье Фока» Жана Лоррена. Ему, наверное, и невдомек, что Оллендорф, его собственный издатель, наводнил книжные лавки нашего континента

---

[1] Имеются в виду сорок членов Французской Академии литературы.

[2] Поганцам *(франц.)*.

[3] Популярная в 1910—1911 гг. аллегорическая пьеса Э. Ростана; главный персонаж петух Шантеклер.

[4] О, Солнце! Без тебя не стало б в мире жизни, не стало б мира самого *(перевод Т. Щепкиной-Куперник)*.

этим романом (в переводе на испанский), разрекламированным в качестве несравненного образца французского гения и украшенным цветистой обложкой, с которой обнаженная Астарта до сих пор тревожит сон наших школяров... А теперь он заговорщически ухмыляется, наткнувшись на «Сто тысяч розг», «Сексуальную жизнь Робинзона Крузо», «Игры на Лесбосе», книжки анонимных авторов (три звездочки) с обилием иллюстраций, купленные мною вчера в специализированном магазине на рю де ла Люн. «Это чтиво мосье Перальты», — говорю я, смалодушничав. И наш друг, приняв самый серьезный вид, принимается назидательным тоном читать Перальте и мне лекцию по литературе, стараясь убедить нас, что большую, великую литературу Франции не знают в наших странах. Это хорошо, что все мы преклоняемся перед Бодлером — почивающим не на лаврах, а под унылой каменной плитой на кладбище Монпарнас,— но следовало бы также читать Леона Дьеркса, Альбера Самена, Анри де Ренье, Мориса Роллина. И следует читать Мореаса, прежде всего — символиста Мореаса.

Наш друг высказывает сожаление, что Гюго, старик Гюго все еще пользуется огромной популярностью в наших странах. Он знает, что там даже рабочие табачных фабрик — которых скучная жизнь делает заядлыми почитателями литературы — питают особое пристрастие к «Отверженным» и «Собору Парижской богоматери», в то время как «Молитва за всех» («Naïve connerie»[1],— добавляет он) в особом ходу на поэтических вечерах. И происходит это, по его мнению, потому, что мы не проникнуты картезианским духом (ну, еще бы — ведь в «Рассуждении о методе» не цветут цветы-хищники, не порхают туканы, не свирепствуют бури...) и приходим в дикий восторг от дешевого красноречия, от пафоса, от ораторской велеречивости под грохот романтических фанфар... Я немного шокирован — он этого не замечает — подобным его мнением, которое опровергает мое понимание основ риторики (ибо речи лишь тогда волнуют нас, если они пышны, звучны, умело закручены, по-цицероновски великолепны, полны сочных образов, разящих эпитетов и завершаются крещендо...). Чтобы переменить тему, я протягиваю руку к ценнейшему, роскошному изданию «Моление на Акрополе» Ренана [2] с иллюстрациями Кабанеля. «Quelle horreur!»[3] — восклицает Именитый Академик и морщится. Я говорю, что отрывок из этого произведения включен во многие учебники по литературе для французских студентов. «Мое отвращение к сему — плод моего светского образования»,— поясняет гость и клеймит подобную прозу термином amphigourique[4], добавляя, что она претенциозна, многословна, до смешного напичкана ученостью и никчемными эллинизмами. Нет. Народы латиноамериканских стран должны знакомиться с красотой французской изящной словесности по другим книгам, по иным текстам. Вот тогда можно было бы оценить то изящество стиля, легкость, непревзойденное умение, с каким Морис Баррес в своем «Враге законов» [5] демонстрирует нам всего лишь на трех страницах «недостатки и ошибки марксизма», суть которого ясна — «культ желудка». Или, например, его дивные описания старинных замков Людвига Баварского, где находишь та-

---

[1] Наивная дрянь *(франц.)*.

[2] «Моление на Акрополе» — часть из «Воспоминаний о детстве и юности» французского писателя историка Э. Ж. Ренана (1823—1892), посвященная античной Греции.

[3] Какой ужас! *(франц.)*

[4] Бессмысленный, вздорный *(франц.)*.

[5] М. Баррес (1862—1923) — французский писатель-националист, автор реакционных произведений, в том числе книги «Враг законов».

кие истинно художественные средства, какие и в сравнение не идут с нравоучительным пустословием какого-то Ренана. А если мы, латиноамериканцы, хотим познать прошлое столетие, надо читать и перечитывать графа де Гобино, этого аристократа слова, мастера округлой мудрой фразы, который в своих произведениях воспевал Человека-гения, Человека-звезду, Принцев духа (которых, по его словам, не более трех тысяч во всей Европе), открыто возвещая о своей неспособности проявлять интерес к «массе, называемой людьми», к этому скопищу гнусных насекомых, тупых и вредных, лишенных души...

Я, однако, предпочитаю помалкивать и не вступать в дискуссию, ибо она завела бы нас в тупик, и вот почему. Во время празднования столетия независимости Мексики власти сумели там не допустить людишек в крестьянских платках и сандалиях-уарачах, бродячих музыкантов и прочих юродивых к местам пышных церемоний, чтобы иностранные гости и все приглашенные на празднество правительством не увидели тех, кого наш друг Ив Лимантур называет «кафрами». Но в моей стране, где много — слишком много! — индейцев, негров, самбо, чоло и мулатов, было бы трудновато убрать этих самых кафров с глаз долой. И я весьма сомневаюсь, что наша кафрская интеллигенция — страшно многочисленная — стала бы восторгаться «Очерком о неравенстве рас человеческих» графа де Гобино... Да, пора сменить тему разговора. К счастью, сверху слышится «К Элизе». И Академик, на мгновение превратившись в слух, стал жаловаться на трюкачества современной музыки — так называемой «современной»,— которая стала дегуманизированным упражнением разума, нотной алгеброй, далекой от того, что относится к сфере чувств (Вы только послушайте сочинение «Схолы Кантору» на рю Сен-Жак), и изменила вековым принципам Мелоса. Конечно, есть исключения: Сен-Санс, Форе, Вентейль [1] и прежде всего наш обожаемый Рейнальдо Ган — он, кстати, родился в Пуэрто Кабельо, очень напоминающем Пристань Вероники. Мне известно, что этот мой «земляк» (меня он всегда называл «земляком» на своем нежном креольско-испанском наречии, когда мы где-нибудь встречались) еще до того, как написал свои великолепные хоры для «Эсфири» Расина, поставил несколько лет назад дивную оперу, полную тоски по родимым тропикам, ибо ее действие развертывалось среди декоративных пейзажей, как две капли воды похожих на венесуэльские берега, где композитор провел детство, хотя в опере речь шла, как указывалось в программках, о «полинезийской идиллии»: «Остров грез» по мотивам романа Пьера Лоти «Брак Лоти». Эта опера, по мнению некоторых злостных критиканов, способных стереть в порошок всех и вся, очень смахивала на «Лакме». Но, если рассуждать подобным образом, то же самое можно сказать о «Мадам Баттерфляй», появившейся позднее оперы Рейнальдо.

Париж, как утверждал Именитый Академик, превращается в Рим Элагабала [2] и распахивает двери перед всем, что кажется диковинным, необычным, азиатским, варварским, первобытным. Скульпторы-модернисты, вместо того чтобы черпать вдохновение в великих стилях эпох, млеют от восторга перед всякой кустарщиной, доэллиническими, грубыми и примитивными поделками. Находятся и такие, кто коллекционирует уродливые африканские маски, взъерошенные

---

[1] В число невымышленных действующих лиц автор включает литературных персонажей из цикла романов М. Пруста «В поисках утраченного времени»: Вентейля, Эльстира, Вердюрен и др.

[2] Элагабал — римский император (III в. н. э.), прославившийся сумасбродством и жестокостью.

колючие амулеты, зооморфических идолов — поистине изделия людоедов. Из Соединенных Штатов нас оглушает негритянская музыка. Один вопиюще невежественный итальянский поэт осмелился опубликовать манифест, в котором обосновывает необходимость затопить Венецию и поджечь Лувр. Если следовать этим путем, можно дойти до экзальтации Аттилы, Герострата, еретиков-иконокластов и танцоров кэк-уока, английских поваров и анархистов под эгидой новоявленных Цирцей [1], которые теперь зовутся Лианой де Пужи, Эмильенной Д'Аланкон или Клео де Мерод («Ну, ради них-то я готов стать свиньей»,— пробурчал Перальта).

И тут, чтобы умерить яростный пыл моего гостя, я заявил, что любой великий город всегда был подвержен и приступам лихорадки, и пошлым увлечениям, и разного рода модам, аффектациям и мимолетным экстравагантностям, не оставлявшим следа на характере нации. Еще древнеримский сатирик Ювенал высмеивал причудливые одеяния, странные благовония, культы и суеверия, распространенные в римском обществе, которое преклонялось перед заморскими новинками. Снобизм — не такая уж новая штука. Если приглядеться получше, то и «Жеманницы» Мольера окажутся не кем иным, как «Сноб-барышнями». Имеете великую столицу — не извольте жаловаться. Ведь Париж всегда останется святая святых хорошего тона, чувства меры, порядка и гармонии, законодателем мод, элегантных манер и образа жизни для прочего мира. А что касается космополитизма, который был известен и Афинам, то едва ли он может извратить истинно французский гений. «Ce qui n'est pas clair n'est pas français» [2],— сказал я, весьма довольный тем, что могу процитировать некоего Ривароля, французского пасквилянта, с которым меня познакомили еще в колледже братья-маристы [3] из Пристани Вероники. «Разумеется»,— согласился Академик; однако политика, сия непристойная политика с ее суматохой, партийными распрями, гнусными парламентскими баталиями рождает хаос и анархию в этой по существу разумной стране. Такие позорные происшествия, как панамский скандал или дело Дрейфуса, были бы просто немыслимы во времена Людовика XIV. Не говоря уже о «социалистической нечисти», которая, как выразился наш друг Габриеле Д'Аннунцио, «заливает всё и вся», оскверняя прекрасные и благородные принципы наших древних цивилизаций. Социализм... (Он вздохнул, разглядывая носки своих лакированных ботинок.) Сорок королей создали величие Франции. Посмотрите на Англию. Посмотрите на Скандинавские страны, образцы порядка и прогресса, где грузчики работают в жилетках, а у плотников под блузами — часы на цепочке. Бразилия была великой страной, когда ею правил такой император, как Педро II [4], друг, сотрапезник и поклонник того самого Виктора Гюго, которого вы так почитаете. Мексика была великой, когда ею управлял Порфирио Диас, постоянно переизбиравшийся президентом. И если ваша страна живет в мире и довольствии, то это возможно только потому, что ваш народ, видимо, более умный, чем другие народы континента, переизбирал вас три, четыре — не помню, сколько раз подряд,— прекрасно понимая, что бессменная власть надежнее всего гарантирует материальное благополучие и политическую стабильность. Благодаря вашему правлению...

[1] Цирцея — волшебница из поэмы «Одиссея» Гомера, заманившая Улисса на свой остров и превратившая его спутников в свиней.

[2] То, что непонятно, то не по-французски (*франц.*).

[3] Конгрегация «Служители святой Марии», основанная в 1816 г. во Франции и объявившая своими целями миссионерство и просветительство.

[4] Педро II (1825—1891) — император Бразилии, слывший «просвещенным монархом».

Я прервал его легким жестом, уклоняясь от дальнейших похвал, которые, пожалуй, еще могли бы поставить на одну доску американские и европейские страны — наши, разоряемые землетрясениями, опустошаемые ураганами и извержениями вулканов, и те, другие, расположенные на гораздо более спокойных широтах, где плетут свои кружева фламандские кружевницы и тихо разгораются северные зори. «Il me reste beaucoup à faire» [1],— сказал я. Хотя и не преминул похвастать, без ложного стыда, тем, что в моей стране после столетия мятежей и беспорядков окончен этап революций, этих революций, которые в Америке всегда были не чем иным, как детской болезнью, скарлатиной и корью молодых народов — импульсивных, порывистых, горячих, которых иногда необходимо приструнить. Dura lex, sed lex...[2] «Да, бывают случаи, когда суровость необходима,— кивнул Академик.— Кроме всего прочего, хорошо сказал Декарт: «Суверены имеют право кое в чем менять обычаи...»

Закончив свое долгое и скучное взывание «К Элизе» — мы и не заметили, как умолкло фортепиано,— Офелия вошла в библиотеку, ослепительная и несравненная в светлом муслиновом платье с боа из страусовых перьев, в шляпе, увитой розами, меж коих гнездился колибри, в элегантных митенках и с зонтиком, украшенным изящной ручкой из резной слоновой кости,— сплошное благоухание, шорох незримых шелковых юбок, колыхание роскошных одежд и пышной прически. Она вплыла к нам, красуясь своими великолепными формами, обрисованными лифом и корсетом,— бригантина под всеми парусами, модель Болдини. «Сегодня День великой толчеи»,— сказала она, и я вспомнил, что в самом деле несколько минут назад во время нашего разговора с Именитым Академиком я видел, как тащились по направлению к площади Согласия фиакры типа старых английских дилижансов — с двойными дверцами, империалом и высокими козлами,— запряженные четверками лошадей. Под щелканье бичей и трели рожков они — эти живые букеты зонтиков — катили туда, где их ожидал, застыв между двумя жокеями в ловко пригнанной форме, президент Общества стипль-чез. «Jamais je ne vous avais vu si belle» [3],— сказал Именитый Академик, отпустив затем весьма замысловатый комплимент моей дочери, которая уподоблялась одной из прекрасных дев Гогена, возникающей из дымчатого моря при свете лучезарной авроры. «Наше сладкое танго»,— пробурчал Перальта. А у меня невольно вытянулось лицо: упоминание о Гогене словно бы ставило нас в один ряд с метеками [4]... Но Офелии комплимент, видно, пришелся по вкусу: «Oh! Tout au plus la Noa-Noa du XVIe Arrondissement!» [5]

Откровенно же говоря, матовая кожа моей дочери в самом деле подчеркивала ее красоту, красоту рафинированной индеанки. Она ни на йоту не унаследовала округлость лица, массивность ляжек и широту бедер своей святой матери, которая была гипичной уроженкой наших мест. У моей дочери — длинные ноги, плоская грудь, узкая талия, как у представительниц новой расы, формировавшейся у нас т а м, дома. Ее волосы, завитые и взбитые, как того требовала мода, по природе своей гладки и не имеют ничего общего с копной мелких завитушек, которые наши соотечественницы старались выпрямить,

---

[1] У меня еще хватает забот *(фран.)*.

[2] Закон суров, но это — закон *(лат.)*.

[3] Я никогда не видел вас такой красивой *(франц.)*.

[4] Метеки — чужестранцы, жившие в Аттике (Древняя Греция), но не обладавшие правами афинских граждан.

[5] О, что вы! Всего-навсего Ноа-Ноа из XVI округа! *(франц)*. Ноа-Ноа — героиня одноименного романа художника П. Гогена.

поливая их знаменитым лосьоном Уокера, этого ловкача-фармацевта из Нового Орлеана...

Осыпая меня нежнейшими ласками, Офелия просила разрешить ей вечером, после званого обеда в Поло де Багатель, отправиться в путешествие. Ей хотелось побывать на вагнеровском фестивале в Байрейте, который открывался в следующий вторник оперой «Тристан и Изольда». «Oeuvre sublime!»[1] — воскликнул Академик и замурлыкал вступление, дирижируя невидимым оркестром. Затем он пустился в рассуждения о безмерной неге второго акта, о великолепном соло английского рожка в третьем акте, о хроматическом, пароксизмальном, жесточайшем нагнетании чувств в Liebestod[2] и спросил мою дочь, не пожелала ли бы она быть принятой на вилле Вагнера «Ванфрид». Насладившись театральными восторгами Офелии, для которой сия прославленная обитель — по ее выражению — была таким вожделенным, святым местом, что она и помышлять не смела о его посещении, Академик приблизился к моему маленькому бюро (или — бару) «Буль-буль Санта Инес» и взял листок бумаги. Ей следует передать это рекомендательное письмецо его другу Зигфриду, весьма способному композитору, хотя его произведения и исполняются довольно редко. Да и вообще... Как ему, бедняге, сочинять музыку, если он сын Рихарда Вагнера?.. И перо Академика закончило свою каллиграфическую вязь, уснащенную высокими ионическими буквами «Л»: «Voici, mademoiselle»[3]. Просьба передать от него сердечный привет супруге Вагнера — Козиме. Он предупредил Офелию, что места в байрейтском театре довольно неудобны. Но паломничество в Байрейт должен совершить каждый культурный человек, хотя бы раз в жизни — как, например, это делают магометане, идущие в Мекку, или японцы, взбирающиеся на Фудзияму. Взяв письмо, украшенное ренессансной подписью с росчерком и жирными прописными буквами, Офелия снова набросилась с поцелуями на своего расчудесного папу, всегда доставляющего ей массу удовольствий,— хотя я, по правде сказать, не выразил ни малейшей радости по поводу ее внезапного отъезда, который не входил в мои планы: я думал поручить ей в ближайшее время роль хозяйки на приеме в честь главного редактора журнала «Ревю дэ дё монд», где мне очень хотелось опубликовать большую статью об экономическом процветании и политической устойчивости моей страны. Поцелуи дочери, увлажнявшие мой лоб, были явным лицедейством и сплошной комедией, предназначенной для гостя, ибо в действительности она никогда не считалась с моими желаниями или настроениями, когда ей что-либо взбредало в голову. Офелия нагоняла на меня настоящий страх своими приступами бешеной ярости, внезапно вспыхивавшей в ней, если я пытался противиться ее воле: она начинала как безумная топать ногами, совать мне в нос кукиши и сыпать такой площадной бранью, какой можно набраться только в борделях, вертепах или бараках лесорубов. В такие минуты Инфанта, как величал ее мой секретарь, без стеснения называла своими именами все то, что прямо или аллегорически изображено на Триумфальной арке. А после дебоша, достигнув цели, Офелия снова переходила к такому изысканному, такому грациозному способу выражения, что я иногда лез в словарь, чтобы узнать точный смысл того или другого существительного с прилагательным и приберечь их для украшения своих собственных речей...

Когда мы остались одни, внезапно помрачневший Академик заговорил о годах лишений, пережитых Рихардом Вагнером, и о том, что

[1] Великолепнейшее произведение *(франц.)*.
[2] Любовном томлении *(нем.)*.
[3] Вот, мадемуазель *(франц.)*.

в нынешнее отвратительное время никто не ценит истинных художников. Нет ни Меценатов, ни мудрых Лоренцо, ни просвещенных Борджиа, ни королей, подобных Людовику Четырнадцатому или Людвигу Баварскому. Разве что одни короли рулетки... Сам он, несмотря на сногсшибательную литературную карьеру, отнюдь не застрахован от нужды, мало того — спасаясь от судебных исполнителей в треуголках, которые не сегодня-завтра разнесут в щепы дверь его дома костяными набалдашниками своих жезлов (возможно ли такое в этом Великом столетии?), он с болью в сердце решился продать рукописи своих двух драм: первая «Робер Гискар»[1], историческая хроника, главные герои которой — нормандский полководец, его брат Роже и безумная Жюдит де Эврё. Эта драма была мастерски поставлена режиссером Ле Баржи и наделала много шума, когда провалилась. Вторая — «Отсутствующий» (трагедия совести: Давид и Вирсавия, чьи любовные свидания то и дело отравляются появлением призрака Урии[2], и т. д.) — выдержала более двухсот представлений в театре «Пор Сен-Мартен», к великому огорчению паршивца-еврея Бернштейна, который замыслил написать пьесу на эту же тему... К сожалению, продолжал Академик, здешние, французские библиотеки сейчас не располагают средствами и вызов в суд неизбежен: завтра люди в треуголках, размахивая жезлами с костяными набалдашниками... А впрочем, если Национальная библиотека вашей страны... Дальше говорить было не о чем. Я тут же выписал чек — чек, который он небрежно взял, словно сделав мне великое одолжение и даже не взглянув на выписанную сумму, хотя я почти уверен, что он ее уже знал, ибо пристально глядел на мою руку, выводившую цифры. «Ils sont très beaux»[3], — сказал он. Через пять минут передо мной уже возвышались груды широких листов голландской бумаги вложенных в кожаные бювары с металлическими экслибрисами автора. «Vous verrez»[4]... Массивный пакет, оставленный внизу, сюда тотчас принес Сильвестр. Я развязал веревочку, нежно погладил титульный лист с заглавием, каллиграфически выписанным цветными черчилами, и с рисунками на темы сюжета; медленно, благоговейно перелистал страницы и выразил признательность моему прославленному другу за то, что он избрал библиотеку нашей страны для хранения этих бесценных манускриптов, библиотеку хотя и скромную, но таящую в своих архивах весьма ценные инкунабулы, флорентийские карты и ряд хроник эпохи завоевания Нового Света. Заметив, что он слегка потирает руки, видимо собираясь положить конец визиту, я встал, будто для того, чтобы взглянуть на Триумфальную арку. Не желая показаться неблагодарным, Именитый Академик взял свой цилиндр, белые перчатки и сказал — зная, как это мне будет приятно услышать,— что в конце концов Гюго не такой уж плохой поэт и вполне понятно, что латиноамериканцы, будучи столь великодушными ценителями французской культуры, не могут не восхищаться его лирическим талантом. Однако и Гобино надо читать надо изучать Гобино...

Я спустился с ним по лестницам, устланным красными коврами, проводив до самой дзери. И только мы с Доктором Перальтой собрались было затем отправиться на рю дез Акасиа в «Буа-Шарбон» мосье Мюзара, как перед нами остановился таксомотор, из которого вышел необычайно взволнованный Чоло Мендоса. Судя по виду моего посла, произошло нечто из ряда вон выходящее, ибо лицо его лоснилось от пота — оно всегда лоснилось, но не так,— волосы не приче-

[1] Р Гискар (1015—1085) — нормандский военачальник-авантюрист.
[2] Библейские персонажи: Давид женился на Вирсавии, убив ее мужа Урию.
[3] Они прекрасны *(франц.)*.
[4] Вы сами увидите *(франц.)*.

саны на пробор, галстук съехал на сторону, фетровые гетры расстегнуты. Я хотел было съязвить по поводу его регулярных исчезновений — в Пасси, Отёй или черт знает куда — с какой-нибудь очередной блондинкой, но он протянул мне дрожащей рукой расшифрованные телеграммы Полковника Вальтера Гофмана, Председателя моего Совета министров. «Прочтите, прочтите»... «ИМЕЮ ЧЕСТЬ СООБЩИТЬ. ГЕНЕРАЛ АТАУЛЬФО ГАЛЬВАН ПОДНЯЛ МЯТЕЖ В САНФЕЛИПЕ ДЕЛЬ ПАЛЬМАР С ПЕХОТНЫМИ БАТАЛЬОНАМИ 4. 7. 9. 11. 13 (ГВАРДЕЙСКИЕ ЧАСТИ «ЗА СВОБОДУ РОДИНЫ»), С ТРЕМЯ ПОЛКАМИ КАВАЛЕРИИ, ВКЛЮЧАЯ ЭСКАДРОН «НЕЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ СМЕРТЬ», С ПЯТЬЮ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ БАТАРЕЯМИ ПОД ЛОЗУНГОМ «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСТИТУЦИЯ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗАКОННОСТЬ»...

«Сволочь! Подонок!» — взвыл Глава Нации, отшвырнув телеграммы. «Я прочитаю вам»,— сказал Чоло Мендоса, поднимая бумажки с пола. Восстание охватило три северных провинции, грозя распространиться на побережье Тихого океана. Но гарнизоны и офицерство центральных областей остались верны правительству, как уверял Гофман. Нуэва Кордоба не примкнула к мятежникам. Военные патрулировали улицы Пуэрто Арагуато. Введено чрезвычайное положение, в результате чего, естественно, отложено на неопределенный срок восстановление конституционных гарантий. Газета «Прогресс» закрыта. Боевой дух правительственных войск высок, но воинского снаряжения и оружия не хватает, прежде всего — легкой артиллерии и пулеметов «максим». Его превосходительство знает, сколь преданна ему столица. Ожидаются указания президента.

«Сволочь! Подонок!» — повторил Глава Нации, словно этими двумя словами исчерпывался весь его лексикон при мысли о вероломстве того, кого он вытащил из дерьма захолустных казарм... «подлый неуч, вшивый солдафон!»... взял под свою опеку, воспитал, научив держать в руках вилку и спускать за собой воду в сортире; вывел в люди, налепив на него галуны и эполеты, назначив, наконец, военным министром, который теперь, воспользовавшись его, Президента, отсутствием, учинил... Человек, который столько раз на приемах во Дворце, налакавшись как свинья, называл его своим благодетелем, десницей провидения, отцом родным, любезным кумом, крестным детей своих,— этот человек вдруг возомнил себя чуть ли не Боливаром[1] и, вспомнив об идиотских восстаниях вековой давности, стал, видите ли, заботиться об уважении конституции, на которую еще с эпохи войн за независимость плевать хотели все правители, потому что, как мы т а м, у себя, говорим, «практика всегда дает пинка теории» и «силой — добиваются, бумажкой — подтираются...».

«Сволочь! Подонок!» — повторял Глава Нации, вернувшись в Большой салон и жадно отхлебывая ром «Санта Инес», который уже не был сладким дыханием родины в минуты ностальгической хандры после бурных парижских ночей, а превратился в жгучий напиток, предвещающий изнурительные марши и контрмарши в близком будущем, бьющий в нос конским потом, отдающий солдатским смрадом и пороховой гарью.

И вскоре перед святой Радегундой Жан-Поля Лорана, шлюпками Эльстира и гладиаторами Жерома собрался Военный совет.

Военный совет. Три тени, спроецированные на стенах и картинах лампой, стоящей на письменном столе: пляшущая, дергающаяся, как

[1] Симон Боливар (1783—1830) — один из виднейших руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке.

в кинематографе, тень Чоло Мендосы; сгорбленная, копошащаяся среди бумаг и чернильниц тень Доктора Перальты; массивная, широкоплечая, содрогающаяся от тихой ярости, сотрясаемая энергичными жестами в глубинах кресла тень Главы Нации, который диктует приказы и распоряжения. Перальте: послать телеграмму Ариэлю, моему сыну, Послу в Вашингтоне, с предписанием немедленно закупить оружие, боеприпасы, боевую технику и аэростаты воздушного наблюдения, точно такие же, какие недавно поступили на вооружение французской армии (они произведут потрясающий эффект т а м, у нас, где никогда не видели подобного...), а для этого — учитывая, что всякая война обходится дорого и что Государственная казна трещит по всем швам,— уступить по сходной цене североамериканской компании «Юнайтед фрут» банановые плантации на Тихоокеанском побережье. Эта сделка слишком долго откладывалась из-за деклараций и петиций всяких профессоров и прочих интеллигентов, которые только и умеют болтать всякую ерунду, обличая экспансию — неизбежную, да, видит бог, неизбежную, фатальную, обусловленную географически и диктуемую исторически,— экспансию империализма янки. Чоло Мендосе: послать телеграмму Гофману с приказом удерживать в своих руках, чего бы это ни стоило, коммуникации между Пуэрто Арагуато и столицей. Расстреливать тех, кого надо расстреливать. Снова — Перальте: передать по телеграфу «Послание к Нации» с твердым обещанием честно и неподкупно сражаться за Свободу Родины, следуя заветам Основателя нашей Республики, которая... («В общем, дальше сочиняй сам...») А Чоло Мендоса уже позвонил в агентство Кука и узнал, что довольно быстроходное судно «Йорктаун» в полночь выходит из Сен-Назэра.. Надо было попасть на пятичасовой поезд. Еще одна телеграмма Ариэлю с сообщением о времени прибытия и с распоряжением подыскать любое средство сообщения, чтобы попасть т у д а как можно скорее: грузовое судно, танкер, что угодно... «Сильвестру: пусть уложит мои чемоданы»... Он еще глотнул рома, уже взнуздав коня великих решений. «Офелии: пусть не беспокоится. У нас достаточно денег в Швейцарии. Пусть едет в Байрейт, как задумала, и развлекается там со своими Нибелунгами... С моими делами я управлюсь в две-три недели. Мне случалось вгонять в гроб генералов похлеще этого ублюдка...»

А когда Сильвестр начал упаковывать багаж, Главе Нации подумалось, что, право, не к добру было его свидание со святой сестричкой из монастыря Сен-Венсан де Поль. Накрахмаленная тока. Ладанка. И этот резиновый череп, конечно, купленный на бульваре Капуцинов в магазине «Фарсы и ловушки» — сколько злосчастных совпадений! — понятно, не могли спасти от греха и уберечь от беды. Но Святая Дева-путеводительница из Нуэва Кордобы должна еще раз принять его чистосердечное раскаяние. Он добавит несколько изумрудов к ее короне, осыплет серебром ее мантию и сопроводит дары пышными церемониями. Всюду будут огни. Множество огней. Хоругвь Святой Девы среди церкви и вокруг — масса свечей. Коленопреклоненные кадеты. Торжественный ритуал награждения. Сияние новых орденов, заливающее Храм снизу доверху...

Снаружи, за окнами, призывы «Марсельезы» Рюда — беззвучные призывы — рвались из широких каменных уст, которые, в общем-то, не что иное, как трещина в громаде монумента, на котором высечены имена шестисот пятидесяти двух генералов Империи, покрытых вечной славой... «Неужели только шестьсот пятьдесят два генерала? — пробормотал Глава, производя мысленный смотр своей армии:— Бедекер в своем справочнике наверняка ошибается».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

...Каждый так убежден в собственной правоте, что мы могли бы сказать: сколько на свете голов, столько и реформаторов...

ДЕКАРТ

2

Два часа спустя после прибытия путешественников в свой номер люкс в отеле «Уолдорф Астория» состоялось подписание с «Юнайтед фрут» договора купли-продажи, молниеносно подготовленного Ариэлем еще тогда, когда его папаша и Доктор Перальта пересекали океан. С формальной стороны документ выглядел безупречно, ибо подписало его лицо, которое на то уполномочено и фактически и юридически (и впредь долго еще будет уполномочено и так и эдак, судя по прогнозам специалистов-политиков, изучающих сей континент), а именно — Конституционный Президент Республики. Помимо всего прочего, компания абсолютно ничего не теряла при любом ходе событий, поскольку у Генерала Атаульфо Гальвана, когда он поднимал мятеж, хватило ума заявить представителям печати, что отныне и навсегда, и сегодня, и завтра, и на любом этапе вооруженной борьбы, и после «несомненной победы» возглавляемых им сил — о чем речь, дружище! — все капиталы, земли, концессии и монополии североамериканцев останутся в неприкосновенности. Телеграф принес известие, что революционеры укрепили свои позиции на Атлантическом побережье — их пока еще поддерживали четыре провинции из девяти, если глядеть трагической правде в глаза,— но попытки врага пробиться в Пуэрто Арагуато и перерезать коммуникации между Столицей и Океанским побережьем натолкнулись на упорное сопротивление правительственных войск. Военная эскадра ожидала Главу Нации в Карибском море вблизи одного островка, где бросит якорь голландское грузовое судно, которое затем продолжит рейс в Ресифе. Что касается оружия, закупленного у одного из агентов сэра Бэзила Захароффа [1], то оно должно быть погружено во Флориде на судно, приписанное к греческому порту и бороздящее моря под командой пирата, который обычно поднимал панамский или сальвадорский флаг по выходе из территориальных вод Соединенных Штатов.

Поскольку тем вечером больше не предвиделось неотложных дел, Глава Нации, обожавший классические оперы, захотел послушать «Пеллеаса и Мелизанду»[2] в «Метрополитен-опера», где знаменитая Мэри Гарден исполняла заглавную партию. Его друг Академик давно расхваливал партитуру этой, видимо, в самом деле прекрасной оперы, ибо в Париже у нее было много страстных поклонников, которых извращенный остряк Жан Лоррен называл «пелеастами»...

Итак, они заняли свои места в первом ряду, дирижер поднял палочку, и огромный оркестр, разместившийся где-то там, у них под ногами... не стал играть. Да, не стал играть, вернее, стал не играть, а издавать шорохи, взвизги, писки — одна нота здесь, другая там,— какие-то звуки, но никак не звуки музыки. «А где же увертюра?» — спросил Глава Нации. «Сейчас будет, сейчас будет,— успокаивал Перальта, ожидая, что вся эта шумовая капель сольется в один поток,

[1] Б. Захарофф (1849—1936) — греко-англо-французский банкир, торговец оружием в первую мировую войну.

[2] Опера (музыкальная драма) К. Дебюсси на сюжет М. Метерлинка.

окрепнет и выльется в мощное фортиссимо.— «Фауст» и «Аида» тоже так начинаются, шепотком, как говорится, под сурдинку, чтобы подготовить слушателя, а потом ошарашить». Но вот уже поднялся занавес, а звуковая возня продолжалась. Многочисленные оркестранты, напряженные, не сводившие глаз с пюпитров, играть не начинали. Они давили пальцами на пистоны, выплескивали слюну из амбушюров, отрывая на секунду трубы от губ; дергали струны, щекотали арфы кончиками пальцев, но так и не могли сосредоточиться на какой-нибудь мелодии. Легкий вздох здесь, чуть слышный стон там, намек на тему; эмоция, которая умирала, едва успев родиться. А наверху, на подмостках, топтались два персонажа: говорили, говорили, но запеть так и не решились. Затем — смена декораций: средневековая сеньора с произношением уроженки Канзас-сити читала длинное-предлинное письмо. Ей внимал какой-то старец. В его выкрики уже не стоило вслушиваться, скучища была смертная, а там уже и антракт...

Театрализованное зрелище в фойе и коридорах побудило Главу Нации отпустить несколько ядовитых реплик и колкостей по поводу псевдоаристократичности манер и одежды нью-йоркской знати, особенно в сравнении с парижской. Как бы ни был безупречен фрак, облегающий дюжего янки, этот «джентльмен» в своей огромной манишке с белой бабочкой всегда выглядит каким-то фокусником-иллюзионистом. Когда он в знак приветствия поднимает цилиндр, так и кажется, что оттуда выскочит кролик или выпорхнет голубок. На матронах из числа четырехсот семейств слишком много соболей, слишком много диадем, слишком много предметов от Тиффани. И у всей этой публики — пышные резиденции с непременными готическими каминами, вывезенными из Фландрии, с колоннами из Клюнийского аббатства, доставленными в трюмах трансокеанских лайнеров, с картинами — Рубенс или пейзажистка Роза Бонёр — и с парой подлинных танагрских статуэток, которым никак не удается соразмерить свои танцевальные па с ритмами «Александр-рэг-тайм-банда», заставляющими дрожать оконные стекла эпохи Возрождения. Хотя некоторые фамилии древнеголландского или древнебританского происхождения восходят, по слухам, ни более ни менее как к XVII веку, они, особенно если звучат поблизости от Сентрал-парка, тоже кажутся какой-то импортной продукцией — нелепой и экзотической, совсем как странные титулы: Маркиза по Указу Короля — за Заслуги перед Королем или по Милости Короля, которые в ходу у нас, в Латинской Америке.

Эта аристократия была, в общем, такой же профанацией, как и вся постановка оперы, что шла в тот вечер и действие которой развертывалось на фоне довольно сомнительного средневековья, стрельчатых сводов из неопределенной страны; королевской мебели непонятного стиля, зубчатых стен неизвестной эпохи, то и дело выплывавших — по прихоти художника-декоратора — из вечной мглы. Снова поднялся занавес, промелькнули какие-то сцены, вскоре опять прерванные антрактом; и снова взвился занавес и промелькнули другие сцены — в дымке, в тумане, в сумраке; гроты, тени, ноктюрны, невидимый хор, замершие в полете голуби, трое спящих оборванцев, далекие, неподвижные стада и всякие иные вещи, которые понятны другим, но сокрыты для нас... И когда, наконец, время подошло к последнему антракту, Глава Нации не выдержал: «Здесь никто и не думает петь, где тут баритон, тенор или бас?.. Ни арий, ни танцев, ни массовых сцен! Полюбуйтесь-ка на эту толстозадую дылду-американку, одетую мальчишкой, которая прилипла к окну дома, где здоровенный молодой парень и длинноволосая блондинка заняты только своими делами... А какого дьявола тут еще этот мозгляк, который стоит под окном и тихо страдает... А этот старикашка с физиономи-

ей Чарльза Дарвина, бубнящий, что будь он господом богом, то сжалился бы над людьми... Так вот: пусть наш друг Академик и сам Д'Аннунцио уверяют меня, что это чудо из чудес, я предпочитаю «Манон», «Травиату» и «Кармен»... И если уж мы заговорили о шлюхах, везите-ка меня к шлюхам...»

Через какое-то время все трое оказались в апартаментах на 42-й стрит, где насурьмленные и причесанные под кинозвезд блондинки угощали их коктейлями из ликеров — тогда было модно смешивать ликеры,— а они забавлялись тем, что уподобляли ту или иную здешнюю мешанину нашим спиртным смесям: антильским розовым пуншам, ароматным кубинским зельям, напиткам из кресса и лимонов или чистейшим чиче и пульке из наших Жарких земель. Женщины приходили в изумление, глядя, как Глава Нации, мужчина далеко не первой молодости, опустошает стопку за стопкой — всякий раз поднимая ее медленно и торжественно,— опустошает без лишних слов, не теряя достоинства и сохраняя гордый вид. Его сын Ариэль, наверное, впервые видел, как он умеет пить («День на день не приходится»,— объяснил Перальта), ибо на приемах в своих дворцовых покоях Глава Нации всегда произносил хвалебные речи в честь минеральных вод, в честь целебного Источника пилигримов — возле которого он купил заводик по разливу воды в бутылки — и вообще являл собой образец воздержания. На празднествах и торжественных собраниях он ограничивался одним-двумя бокалами шампанского и, нахмурив брови, с благородным возмущением сурово порицал неудержимый рост числа публичных домов и питейных заведений, что было одной из серьезнейших социальных проблем государства, язвой на теле нашего общества, язвой, существованию которой мы, понятно, обязаны исконной порочности индейцев и старым водочным монополиям времен испанского колониального господства. И того не знали люди, что в саквояжике, который всегда носил с собой Перальта и который, по видимости, был набит документами государственной важности, хранилась дюжина купленных в магазине «Гермес» плоских, чуть вогнутых карманных фляжек английского образца, обтянутых к тому же свиной кожей, дабы они не звякали при тряске. Таким образом, в президентском ли кабинете, в кулуарах Зала Совета, в опочивальне ли — конечно, это не было тайной для Мажордомши Эльмиры,— в поезде ли, на отдыхе во время путешествий верхом стоило Главе Нации дотронуться указательным пальцем до своего левого уха, как тут же одна из фляжек выскакивала из сугубо делового саквояжика его секретаря. А вообще-то этот строгий и насупленный пропойца — любитель смочить горло before breakfest [1], которому добрая Эльмира готовила всякие зубные эликсиры, ментоловые пастилки, вяжущие полоскания, и, надо сказать, готовила «на совесть»,— изо всех сил старался скрыть от глаз людских свое давнее пристрастие к рому «Санта Инес», который, однако — это надо признать,— никогда не подкашивал ему ноги, не лишал его трезвости суждений в любой конфликтной ситуации, не добавлял лишних капель пота на влажный лоб. Сам же он всегда обращался к присутствующим, немного наклонив голову и стараясь не дышать на них, и говорил с ними не иначе как через стол или на расстоянии трех шагов — подобная дистанция лишь усиливала, если можно было еще усилить, величественность всей его фигуры патриарха. К этим мерам предосторожности присоединялось постоянное употребление зубных эликсиров, ментоловых пастилок, вяжущих средств и полосканий из солодкового корня, не говоря о таких внешних средствах за-

[1] До завтрака *(англ.)*.

щиты, как одеколон и лавандовое масло, всегда овевавших тонким ароматом его темные костюмы и накрахмаленные рубашки — эти поистине достойные атрибуты достойнейшего Главы Нации...

В тот вечер, взирая на то, как он пьет, Ариэль изумлялся поглотительной способности отца, намного превосходившей его, Ариэля, собственные возможности. «У него на редкость здоровый организм,— пояснил Доктор Перальта.— Это не то что мы, труха, вспыхивающая от капли спиртного...» На следующий день, приобретя у «Брентано» великолепное издание «Факундо» Сармьенто [1] — что послужило ему поводом для полных горечи сентенций о трагической судьбе латиноамериканских народов, вечно впутываемых в манихейскую борьбу варварства и цивилизации, прогресса и каудильизма,— Глава Нации вступил на палубу голландского сухогруза, который намеревался мимоходом бросить якорь в Гаване...

И вот море уже стало светлее, и широкая желтая лунная дорожка закачалась на карибских волнах, высвечивая причудливые узоры саргассовых водорослей и взлеты летучих рыбок. «Совсем другой воздух»,— сказал Глава Нации, с удовольствием вдыхая ветерок, доносивший до него ни с чем не сравнимое дыхание далеких мангровых чащоб... В Гаване консул сообщил, что Полковник Гофман, несмотря на нехватку винтовок, продолжал держать оборону и не давал революционерам продвинуться ни на шаг. Из Парижа на телеграфный запрос ответили то же самое. Поскольку известия были благоприятны, а в Гаване бурлил карнавал, Глава Нации с удовольствием остался поглядеть на шествие ряженых и массовую демонстрацию маскарадных костюмов, швыряя серпантин направо и налево. А затем, облачившись в черное домино, отправился на «Бал каблуков», где мулатка в костюме маркизы времен Людовика не то Пятнадцатого, не то Шестнадцатого — розовый кринолин, напудренный парик, мушка на румянах, красно-зеленый веер и черепаховый лорнет — показала ему, как можно танцевать не танцуя, отбивать чечетку на одной каменной плите, как можно вибрировать всем телом, почти не сходя с места. Она вращала бедрами все быстрее и быстрее, а затем все медленнее, совсем медленно, пока не застыла в неподвижности, распространяя запах пропотевшего атласа, более влажного, чем ее тело,— и все это сопровождалось визгом кларнета и трубы, грохотом барабанов ансамблей Валенсуэлы и Корбачо. Когда ряженые стали расходиться и — ярус за ярусом — начали гаснуть огни театра, мулатка пригласила Главу Нации к себе, туда, где неподалеку от карнавальной Вифлеемской арки находился ее «скромный, но приличный», как она выразилась, дом с патио, засаженным гранатами, альбаакой и кориандрами. Они сели в коляску, запряженную тощей сонной кобылой — извозчик то и дело подгонял ее длинной палкой с гвоздем,— и потащились среди огромных, погруженных в сон домов, от которых несло вяленым мясом, патокой и кухонным дымком, а легкое дуновение моря посылало — то с той, то с другой стороны — запахи жженого сахара, кофе и раскаленной плиты, тяжелый дух стойла или шорной мастерской, усиливало дыхание замшелых и просоленных старых стен, сырых от ночной росы.

«Охраняй мой сон, дружище»,— сказал мне Глава Нации. «Не беспокойтесь, дорогой друг, у меня есть все, что требуется»,— ответил я, вытащив браунинг из-за пазухи... И пока Глава Нации и мулатка Луиса находились за синей дверью, я сидел на складном табурете из коровьей шкуры, положив пистолет на колени. Впрочем, никто и

[1] «Цивилизация и варварство. Жизнь Хуана Факундо Кироги» (сокращ. «Факундо») — произведение аргентинского писателя и государственного деятеля Д. Ф. Сармьенто (1811—1887), осуждавшего тиранию и деспотизм.

не знал, что мой Президент находится в этом городе. Он сошел на берег с фальшивым паспортом в кармане, чтобы по телеграфу не сообщили о его прибытии туда, куда он хотел нагрянуть нежданно-негаданно... Запели петухи, рассеялась ночная тьма, и в какие-то считанные минуты воздух заполнился обычным шумом и гамом: затрезвонили повсюду колокольцы повозок и двуколок, зазвякали колечки занавесок, заскрипели жалюзи, замельтешили корзины и подносы: «Цвееееты, цветочки! Щоооткн, щеточки! Купите счастливый билетик!» Появились дерущие глотку наподобие грегорианских певчих торговцы сладкими хлебцами, авокадо и маисовыми лепешками с острой начинкой; и старьевщик, меняющий свистульки на бутылки; и продавцы газет, выкрикивающие последние новости: кубинский авиатор Росильо сделал «мертвую петлю» лучше француза Пегу; самоубийство-самосожжение; захват бандитов в Камагуэе; волна холода на высотах Пласетас — плюс тринадцать градусов по данным обсерватории; сложное положение в Мексике, где происходит настоящая революция — об этом мы знали из наводящих ужас сообщений дона Порфирио,— и в нашей стране, да, в нашей стране (ее название выкрикнул газетчик) одержал победу Атаульфо Гальван (да, кажется, он сказал «победу») в районе Нуэва Кордобы...

Встревоженный, я разбудил Главу Нации, который спал, прижавшись своим толстым волосатым бедром к полной, но стройной ноге мулатки. И вот уже вместе с ним, безупречно одетым и исполненным достоинства, мы идем пешком к пристани Сан-Франциско, где нас ждет грузовой корабль, готовый к отплытию... Из шарманки, разукрашенной кисточками и портретами Челиты и Прекрасной Камелии, вдруг вырываются пронзительные звуки пасодобля, аккомпанирующего бою быков. «Ну и бурный же город! — замечает Глава Нации.— По сравнению с ним наша столица — типичный женский монастырь».

Наконец-то мы прибыли в Пуэрто Арагуато, где нас встретил Полковник Гофман, подтянутый, с моноклем — как всегда в торжественные дни,— и доложил, что все в порядке, положение не изменилось. Бунтовщики пользуются поддержкой лишь в северных провинциях, население которых питает старую традиционную вражду к Центральному правительству, считая себя угнетаемым, униженным и живущим на положении бедного родственника, хотя оно, это население, владеет самыми богатыми и плодородными землями нашей страны. Из пятидесяти трех переворотов, происшедших за один век, более сорока инспирированы именно северными каудильо. Никто еще не знает, за исключением министров и старших офицерских чинов, что Глава Нации прибудет сегодня. Расчет на эффект неожиданного появления...

(Я, чертовски расстроенный и разозленный изменой человека, которому доверял больше чем кому-либо, смотрел на панораму порта с палубы сторожевого катера и вдруг до того растрогался, что даже, стыдно сказать, слезы к горлу подступили при виде груды маленьких ранчо, лепившихся одно поверх другого на крутом склоне холма — словно хрупкая пирамида карточных домиков. Гнев мой поутих при встрече с родными берегами, и я, вдруг словно прозрев, ощутил, что этот воздух и есть тот самый «мой воздух», что вода, которую я пью,— вода как вода, но ее вкус напоминает о других, забытых вещах, связанных с канувшими в прошлое людьми, с событиями, вставшими перед глазами, воскресавшими в памяти. Надо дышать глубоко. Пить медленными глотками. Возвращаться назад. В нереальную реальность. И когда поезд полз все выше и выше, извиваясь и прорезая туннели, делая короткие остановки среди скал и колючих кустарников наших Жарких земель, я уже мог видеть — не видя, а ско-

рее обоняя — ажурные густые кроны во мгле чащоб; представлять себе дерево по одному свежему излому ветви; узнавать о встречах с красным кряжистым амарантом по его терпкому запаху... Какая-то обнаженность души, обезоруженность, разнеженность, умиротворенность, готовность к снисхождению, возможному примирению — все эти сантименты, оставшиеся от той поры, когда здешнее виделось о т т у д а, все это с каждым часом уходило от меня дальше и дальше, к подножию Триумфальной арки. По мере того как я поднимался к своему Президентскому креслу, во мне накапливалась ярость,— возможно, от свидания, почти соприкосновения с этой неистовой растительностью, ведущей упорную борьбу за то, чтобы отвоевать прорубленный в ней коридор железной дороги, по которой пыхтя тащился наш локомотив, и я снова взирал на досадные события с растущей злостью и ожесточением. С каждой сотней метров, преодолеваемых паровозом, я все более утверждался в своем мужестве и обретал былую уверенность в себе, взбадриваемый свежим ветерком, уже тянувшим с горных вершин. Надо быть жестоким, безжалостным, как того требуют безжалостные, беспощадные Силы, составляющие пока необъяснимый, но всеобъемлющий смысл бытия — биение пульса — здешнего мира, который еще лишь сотворяется и неизвестно каким будет по своим очертаниям, проявлениям, устремлениям и конечным результатам. Ибо т а м, в Европе,— Базель с его рейнско-речными хлопотами тысячелетней давности все так же продолжает считаться морским портом, а Сена с ее bateaux-mouches [1] все так же продолжает измеряться вековечными пролетами моста Пон-Нёф, на котором толпятся ренессансные старьевщики и лоточники, в то время как з д е с ь, сейчас, ежеминутно, сельва идет войной на сельву, воедино сливаются поймы рек, а реки за ночь меняют русла; здесь, где десятки городов, однажды возведенных, восставших из грязи и одевшихся в мрамор, поднявшихся от свинарников к дворцам и взамен гитары местного певца озвученных голосом Энрико Карузо, мгновенно обращаются в руины, никому не нужные и заброшенные, едва какая-то селитра перестает интересовать мир, едва экскременты каких-то морских птичек — из тех, кто молочными брызгами кропят прибрежные скалы,— перестают котироваться на Больших биржах с их грифельными досками, шумом и толчеей, да, перестают котироваться, ибо им на смену приходит какой-нибудь эрзац, рождающийся в пробирке немецких химиков... По мере того как грудь мою распирало воздухом родной страны, я все больше становился Президентом...)

Да, я был истинным Президентом, когда стоял в тамбуре вагона — монументальная поза, каменное лицо, стек в руке, повелительные жесты — и смотрел на приближавшуюся столицу, возвешавшую о себе банальной картиной пригородов: мыловарня, лесопилка, электростанция; направо — громада полуразрушенного дворца с кариатидами и атлантами, обшарпанный мозаичный минарет; налево — огромные рекламные щиты: «Эмульсия Скотта» и «Лосьон Помпейя»; «Мазь Слоана», от всех болезней, и «Эликсир из целебных трав Лидии Пинкхэм» — непревзойденное средство от климактерических недомоганий — рядом с ее портретом: дама в гофрированном воротнике с камеей. Но над всем, над всем и вся, мука «Aunt Jemima» — «Тетушка Джемима», которая — стоит поглядеть на этикетку! — пользовалась особой славой в поселках бедноты, городских бараках и сельских хибарках по той причине, что на коробке красовалась дородная негритянка, повязанная платочком в клетку, по моде местных жен-

[1] Речными трамвайчиками *(франц.)*.

щин с южного побережья. («Точь-в-точь бабушка пруссака Гофмана»,— смеялись шутники, имея в виду старуху, которая вечно копошилась где-то на задворках полковничьего дома и никогда не показывалась на званых обедах и приемах, лишь изредка выглядывая на улицу, когда надо было торопиться к вечерней мессе или крикливо торговаться о цене эстрагона или салата с зеленщиками, которые на заре, до того как омоется светом Вулкан-Покровитель, спускались с ближайших гор, понукая осликов, сгибавшихся под тяжестью переметных сум...)

Рельсы сходились перед нами и расходились, бежали навстречу огни светофоров, и вот, в два часа пополуночи, мы подъехали к пустынному вокзалу Великой Западной дороги — сплошной металл и матовое стекло (почти все битое),— построенному недавно французом Бальтаром. Военный атташе Соединенных Штатов встречал нас на платформе вместе с членами Кабинета. И вереница автомобилей направилась в город, тихий, словно вымерший из-за комендантского часа, введенного сначала с восьми вечера, потом с шести, а начиная с этого дня — с половины пятого. На высоких тротуарах спали с наглухо закрытыми ставнями и дверями дома, серые, бурые, желтые, выпятив ржавые водосточные трубы. Конная статуя Основателя государства возвышалась на городской площади в мрачном одиночестве, хотя у ее подножья водили хоровод герои, отлитые из бронзы. Большой театр со своими высокими классическими колоннами, возле которого не было ни души, казался диковинным мемориалом. Правительственный Дворец сиял огнями в ожидании Чрезвычайного Совета, заседание которого должно было продлиться до завтрака. А в десять утра толпы народа, призванные сюда патетическим воззванием, опубликованным в специальном выпуске утренних газет, уже топтались перед зданием из вулканического камня тесонтля с мозаикой, которое было возведено в эпоху Завоевания одним вдохновенным архитектором-евреем, бежавшим от святой инквизиции и построившим в стране самые красивые храмы колониальных времен, ныне объявленные Национальными обителями Святой Девы-путеводительницы из Нуэва Кордобы. Когда Глава Нации появился на балконе, раздался столь мощный приветственный рев, что сотни голубей в испуге разом сорвались со всех крыш и террас, придававших городку в низине вид красно-белой шахматной доски, пронзенной тридцатью двумя шпилями церквей более высокого или более низкого ранга... После того как умолкли здравицы, Президент стал держать речь, по своему обычаю неторопливо, выдерживая паузы, произнося слова четко и звучно в теноровом диапазоне, точно выражая свои мысли, хотя и употребляя слишком много — по мнению большинства — таких красивых слов, как «прегуманный», «очезримый», «рокамбольный», «эристичный», «демонстрантный». А затем, повышая голос, начал вызывать в воображении слушателей ярчайшие образы Кавдинского ига, Дамокловых мечей, переходов Рубикона, Иерихонских труб, Сирано де Бержераков, Тартаренов и Клавиленьо вперемежку с гордыми пальмами, родимыми землями, кондорами и пеликанами. Потом перешел к бичеванию «льстивых демагогов», «коварных янычар», «продажных кондотьеров», всегда готовых запятнать свои шпаги позором бесчестных поступков; возмутителей спокойствия в обществе, где трудолюбие и приверженность к патриархальному образу жизни сделали всех нас членами одной большой семьи, но такой Большой семьи, которая, будучи сплоченной и здравомыслящей, всегда неумолима и строга к своим Блудным сынам, если они, вместо того чтобы, согласно библейскому сказанию, покаяться в грехах, хо-

тят опустошить и поджечь Отчий дом, где, получив награды и чины, они, наконец, сделались Людьми...

Немало злых шуток отпускалось по поводу витиеватости речевых оборотов Главы Нации. Однако — Перальта именно так это и понимал — тот употреблял их не ради любви к вычурности языка. Президент знал, что эта языковая изощренность являла собой стиль, который создавал ему особый ореол, а употребление слов, выражений, непривычных эпитетов, которые не доходили до публики, отнюдь не вредило оратору. Напротив, возрождение атавистического культа изысканности и цветистости создавало ему славу знатока изящной словесности, чья речь составляла разительный контраст с грубыми выпадами, площадной руганью и косноязычными прокламациями его противника...

Завершив свою речь страстным призывом к спокойствию, согласию и сплоченности всех граждан доброй воли, всех достойных наследников Основателя государства и Отцов родины, чьи священные гробницы стоят рядами в нефах соседнего пантеона («...оберните головы свои туда — и не глаза, а душу свою устремите к этой гордой вавилонской башне...» — и т. д. и т. п.), Глава Нации, после того как стихли последние шумные возгласы одобрения, направился в Зал совета, где на длинном столе красного дерева были расстелены различные карты. Втыкая в них флажки на булавках — одни национальных цветов, другие красные,— Полковник Вальтер Гофман, Председатель Совета, отныне исполнявший обязанности Военного министра, без лишних слов и без прикрас обрисовал военную ситуацию. Вон за той линией находятся мерзавцы и подонки, а здесь, здесь и здесь — доблестные защитники нации. В последние недели мерзавцам и подонкам оказывали помощь другие мерзавцы и подонки, это видно на карте. Однако после передачи зоны Тихоокеанского побережья компании «Юнайтед фрут» враги отрезаны от бухты Негра и лишены возможности получать боеприпасы. Верные присяге войска сдерживают наступление революционеров на северо-восточном направлении: «Но если бы у нас было больше оружия, мы перешли бы к контратаке».— «Через неделю у нас будет все, что надо»,— сказал Глава Нации, пояснив, что груженые суда отходят от берегов Флориды, а фрахт уже оплачен. Главное — поднять боевой дух правительственных войск. Он сам, например, лично отправится этим же вечером на передовую. В целом ситуация, хотя и сложная, не вызывает серьезных опасений. «А как в Нуэва Кордобе?» — тем не менее поинтересовался Президент, вспомнив об этом странном городе с полуразрушенными дворцами и многочисленными рудниками, может быть, слишком индейском городе, который вселял тревогу своим вечным недовольством, внушал страх своими внезапными бунтами, всегда оказывал самое упорное сопротивление во времена прежних восстаний. «Там спокойно,— ответил Гофман.— В тех местах Атаульфо не популярен. Поэтому он обошел город, не заняв его. Кроме того, он обещал уважать интересы англичан и американцев, которых там много, и не развертывал военных действий в той зоне, желая показать себя человеком слова». Главе Нации захотелось спать...

Открыв глаза после отдыха, первое, что он увидел, было лицо — на сей раз мрачное и озабоченное — Доктора Перальты. Студенты университета «Сан-Лукас» имели наглость пустить по рукам совершенно недопустимый, беспардонный манифест, при чтении которого рос гнев Президента. Там, в частности, напоминалось, что он захватил власть путем военного переворота, что утвердился на своем посту с помощью фальсифицированных выборов, что его полномочия были продлены на основе самовольного пересмотра Конституции, что его

перевыборы... в общем, завершалось сие писание так же, как все ему подобные: пора покончить с Властью, не имеющей ни цели, ни доктрины, держащейся на одних эдиктах и декретах, с Президентом-проконсулом, который правит от имени правительства, но по указке, вернее, по шифровке своего сына Ариэля, посла в США. Однако самой большой неприятностью — ибо это уже было нечто новое — явилось заявление студентов, будто ныне что мундир, что сюртук — один черт, и бороться за дело правительства столь же глупо, как и за дело так называемых «революционеров». Меняются, мол, только игроки у того же самого игорного стола, а нескончаемая пулька длится уже более ста лет... И человеком, который мог бы восстановить конституционный правопорядок и демократию, объявлялся Доктор Луис Леонсио Мартинес, суровый профессор философии, переводчик Платона — его хорошо знал Перальта, ибо они когда-то вместе учились. Это был лысоватый человек с высоким выпуклым лбом и набухшими прожилками на висках, говоривший резко и кратко, не терпевший пьяниц и лежебок, воинствующий вегетарианец, отец девяти детей, поклонник Прудона, Бакунина и Кропоткина. Он когда-то переписывался с Франсиско Феррером, известным анархистом из Барселоны, и организовал в городе огромную демонстрацию при известии о расстреле Феррера в Монтжуике, демонстрацию, проводившуюся с разрешения Главы Нации, ибо протест был всеобщим, а, кроме всего прочего, этот Феррер перешел в мир иной и никто его оттуда вернуть уже не мог. Людское шествие, начавшееся засветло и окончившееся к девяти вечера (три часа выкриков, не направленных против Правительства), должно было показать наше уважение всех и всяческих свобод, нашу терпимость ко всем и всяческим идеям и т. д. и т. п. Доктор Луис Леонсио Мартинес, помимо всего прочего, прекрасно сочетал свое пристрастие к свободомыслию с влечением к теософии, страсть к которой ему внушили «Упанишады» и «Бхагавадгита», оккультистки Анни Безан и мадам Блаватская, а также астроном Камиль Фламмарион, и потому весьма интересовался связью с потусторонним миром, устанавливаемой в тесном кругу на спиритических сеансах с помощью вращающихся столиков и медиумов, где постукивания и подскоки блюдечек извещали о явлении маэстро теософа Сведенборга, графа Сен-Жермена или еще живой, но такой недоступной красавицы Эусапии Паладино... А теперь этот мечтатель, этот бледный утопист вдруг объявился в Нуэва Кордобе, подстрекая к бунту рабочих на оловянных и медных рудниках с помощью полудюжины студенческих вожаков. Конечно, ему приходилось нелегко, если еще принять во внимание, что он был сугубо кабинетным ученым, которого обожало некоторое число единомышленников, но как политика почти никто не знал в стране.

Вновь обретя душевное равновесие после вовремя принятой рюмки рома и проанализировав обстановку как тактик и стратег, Президент сообразил, что, по сути дела, беспорядки в тылу Генерала Атаульфо, их общего врага, принесут ему, Президенту, одну только пользу, заставив мятежника ограничиться двумя северо-восточными провинциями. А если в Нуэва Кордобе положение обострится, можно будет, в конце концов, обратиться за помощью к Соединенным Штатам, поскольку Белый дом готов — сейчас как никогда — покончить со всеми анархиствующими и социалиствующими движениями в этой низкой Америке, такой взбалмошной, такой южной. И Глава Нации уже собрался обсудить дела с Полковником Гофманом, когда вторая листовка, написанная в ядовито-сатирическом тоне, снова распалила — пуще прежнего — его поутихшую ярость. Это было забавное переложение его собственных упражнений в велеречивости на улич-

ный язык едкой пародии, где сам он фигурировал как «Тиберий из оперетки», «Сатрап Жарких земель», «Молох Государственной казны», «Толстосум Монте-Кристо», который во время своих вояжей по Европе швыряет на ветер миллионы. Его приход к власти определялся как «18 брюмера Мониподио» [1]. Его Кабинет министров именовался «Golden-rush» [2], «Двором чудес» и «Советом дружков-приятелей». Авторы не пощадили никого: Полковник Гофман был «Пруссаком с черной бабкой на задворках», Генерал Атаульфо Гальван — «Забулдыгой-пустобрёхом», «Варваром при кобуре и сабле», а многочисленные агенты и начальники службы безопасности ассоциировались — в трагическом или гротесковом плане — со служителями инквизиции или персонажами театра-буфф. Самым же скверным было то, что его дочь Офелия объявлялась «Дочерью царя Мидаса» и тут же приводились факты вроде того, что у местных нищих женщин нет ни одного родильного дома, а прелестная креолка, коллекционерша старинных камей, дивных музыкальных шкатулок и скаковых лошадей, раздает тысячи песо (по курсу 2,27 за доллар) таким учреждениям и организациям, как «Миссионерские службы в Китае», «Лига любителей готического искусства» и фонд «Капля молока», председательницей коего была одна европейская герцогиня... Здесь шутки уже переходили всякие границы, а Главе Нации было не до шуток. Мало того — Полковник Гофман явился к нему с сообщением, что студенты, укрывшись в университете, митингуют против правительства.

Полчаса спустя в патио университета «Сан-Лукас» загремели выстрелы. «Если будут убитые,— сказал Глава Нации, застегивая китель,— не устраивать никаких торжественных похорон, никаких гробов на плечах и речей на кладбищах. Положить конец всем этим сборищам в знак траура. Отдать ящик семье, и пусть роют яму без визга и писка. В ином случае все семейство, включая родителей, стариков и щенят, отправлять за решетку...» На улице продолжали греметь выстрелы. Восемь убитых и дюжины две раненых. «Послужит им уроком,— сказал Глава Нации, садясь в длинный черный «рено», который повез его к вокзалу.— Среди солдат есть убитые?» — «Двое, потому что один студент и один педель имели оружие».— «Устроить погребальную церемонию национального значения, с орудийным салютом, траурными маршами и захоронением в Пантеоне героев, ибо они пали на боевом посту...»

А затем началась операция по отправке войск на фронт. На перронах, как на плац-параде, сверкали каски и поскрипывала кожаная амуниция, звякали шпоры и красовались в руках офицеров бинокли и стеки; туда-сюда бегали сержанты, похожие на немецких фельдфебелей и надзиравшие за погрузкой войск: в обычные вагоны, в вагоны для скота и в багажные. Сначала грузилась солдатская элита — стрелки-егеря и гусары в блестящих сапогах и с блестящей выправкой, принадлежавшие к личной охране Президента. После них, в другой эшелон, лезли пехотинцы, куда менее лощеные, в выцветших мундирах и грубых башмаках, а затем очередь дошла и до вояк третьего сорта — в обуви не по размеру, с мачете за поясом, с патронташами и старыми винтовками через плечо. Всюду шныряли солдатки, пристраиваясь к ротам и полкам, влезая в окна, взбираясь на крыши вагонов со своими печурками и кухонной утварью, с грудами циновок и мешков. На открытые платформы взгромоздили две пушки Круппа на полукруглых лафетах, оснащенные весьма сложными механизмами наводки — с зубчатыми колесами, какими-то рычагами и

[1] Мониподио—персонаж новеллы М. де Сервантеса-и-Сааведры «Ринконето и Кортадильо», главарь банды воров и головорезов.

[2] Золотая лихорадка *(англ.)*.

рукоятками. «А это — для красоты?» — осведомился Глава Нации. «Опыт показал,— ответил Гофман,— что их можно транспортировать в повозках, запряженных четырьмя парами быков».— «Очень удобно для быстрых передислокаций»,— заметил Президент, которого вся эта суматоха привела в доброе расположение духа...

Наконец — по прошествии трех часов, в течение которых составлялись эшелоны, двигались вагоны, прицеплялись вагоны, отгонялись вагоны,— войско тронулось в путь, горланя, как полагается, песню:

Прощай, не плачь, моя зазноба,
Прощай, мой светик, моя крошка,
Я буду вечно твой, до гроба,—
Так пел солдатик под окошком...

Не теряя времени, Глава Нации заперся с Перальтой в просторном купе своего президентского вагона, чтобы смочить горло содержимым куцего саквояжика-«Гермеса» втайне от капитанов и полковников, которые в салоне пульмановского вагона праздновали отбытие на фронт за бутылками с красочными этикетками. Сидя на краю спального дивана, он меланхолично созерцал носки своих начищенных сапог, свое ременное снаряжение, висевшее на крюке, и пистолет в кобуре — более тяжелый и большего калибра, чем его любимый легкий браунинг, обычно гревшийся в кармане. «Гене-рал»... «Мой генерал»... «Сень-ор гене-рал»... Бесконечный перестук колес на стыках рельсов отдавался в голове, сводил с ума: «Ген-рал... ген-рал... ген-рал... ген... рал... ген... рал». Он был, наверное, единственным Генералом на всей нашей необъятной земле, которому не импонировал чин Генерала,— он разрешал так величать себя лишь в офицерской компании или, как теперь, когда приходилось командовать армией. Потому что, говоря по правде, этот чин он сам присвоил себе много лет тому назад, во времена первых крутых поворотов своей политической судьбы, когда, возглавив вооруженный отряд в Пристани Вероники, повел шесть десятков молодцов на приступ крепости, занятой мятежниками, бунтарями, врагами Правительства, которому он тогда присягал и которое сверг несколько позже — на сей раз с помощью настоящих генералов,— чтобы поселиться в Президентском дворце. Теперь, пока будут длиться военные действия, его снова станут называть «Генералом»: «Мой генерал», «Сеньор генерал». И он опять вперил взор в кончики сапог, шпоры и ремни. И подумал с усмешкой об одном мольеровском персонаже, который, надевая колпак, становился поваром, а надевая ливрею, делался кучером. «Дай-ка выпить,— сказал он Перальте.— И подай мне вон ту книжицу». В ожидании, пока его не сморит сон, он медленно листал страницы и остановился на Книге шестой [1], где прервал чтение бог знает когда. Глава XI: «Переходя к этой части повествования, мы остановимся на местных обычаях Галлии и Германии и на тех различиях, которые характеризуют упомянутые земли. В Галлии существуют партии. И не только в каждой области, но и в каждом малом округе, и в частях округа, и даже в каждой семье существуют сторонники разных партий...»

Существуют партии. «Потому эту Галлию и раздраконили в пух и прах»,— заметил, дважды зевнув, Глава Нации... За окном неслась песня:

Когда в ту ночь тебя убили,
Тебе на редкость повезло, Росита:
Шесть пуль красавицу ловили,
Но лишь одною грудь твоя пробита... [2]

[1] Имеются в виду «Записки о галльской войне» Юлия Цезаря.
[2] Из популярной мексиканской песни-корридо «Росита Альвирес».

3

Едва только Генерал Атаульфо Гальван, потерпевший поражение в первом же рукопашном бою, успел форсировать Рио Верде вслед за своей разбитой, бежавшей в панике армией, бросив на этом берегу обеих услад сердца своего — Красотку Олалью и Смуглянку Хасинту, которые отстали от войска, не будучи в состоянии бросить тюки с блузами, накидками, лентами и кружевами, награбленными в лавках одного до нитки обобранного селения,— как вдруг ослепительно сверкнула молния, казалось расколовшая небеса сверху донизу, загремели неуемные раскаты грома, а после увертюры хлынул дождь, проливной, злобный, неумолимый, который может зарядить на месяцы, не слабея, не прекращаясь, не зная передышки, и который столь обычен именно для здешних лесистых мест, ибо здесь, где сплошные леса покрывают склоны вечно окутанных туманом гор, облепленных плотной влажной дымкой, которая, рассеиваясь тут, сгущается там, солнце лишь иногда может пробиться сквозь бреши — на несколько мгновений тут, на несколько минут там,— чтобы осветить первозданную красу безымянных цветов, венчающих кроны прижавшихся друг к другу деревьев, или озарить понапрасну — кто их тут видит? — царственные созвездия орхидей в зеленых безднах сельвы. Именно здесь, в этих лесах, на кедры, каобы, хукары, кебрачо и многие другие деревья, столь странные и удивительные, что могут нарушить всю традиционную классификацию,— впрочем, они ее уже и нарушили, включая классификацию самого Гумбольдта,— именно здесь льют такие дожди, что людям, задолго чующим их приближение по особому запаху, начинает казаться, будто близится новый год, состоящий из семи месяцев, который входит в обычный год, состоящий из двенадцати месяцев, но имеющий не четыре сезона, а только два: короткий — ржаво-сухой, торопящий с работами в поле, и долгий — сырой, нагоняющий смертную скуку.

Когда утих последний громовой раскат, возвестивший об очередном «сезоне», началась новая жизнь — новый этап, новый период — у земной зелени, настолько мокрой, настолько пропитанной влагой, что вся она словно возникла из болот и трясин, квакающих лягушками, бугрящихся жабами, плюющих пузырьками, которые пускает затонувшая гниль...

Несколько походных палаток было оборудовано специально для военачальников. В центре стояла палатка Главы Нации: привязанные к кольям канаты растягивали брезентовый фронтон, увенчанный государственным флагом Республики. Недавний победитель, поужинав сардинами, солониной, жареными каштанами и глотнув рейнского, подумал, что его офицеры, должно быть, тоже утомились после жестокого дневного боя, и велел им отдохнуть до утреннего заседания Генерального штаба. Бодрствовать остались лишь Полковник Гофман, Доктор Перальта и сам Глава Нации, вяло постукивая костяшками домино при тускло-желтом свете дорожных керосиновых фонарей. Но тут сельву снова пронзили пять, десять, двадцать молний в сопровождении громовых раскатов, слившихся в сплошной гул, и водяной смерч — «крутень-закрутень», как называют его местные жители,— в мгновение ока снес лагерные постройки, захлестнув все свечи и фонари. Пока солдаты устраивались, как могли, на ночлег, Полковник Гофман и Глава Нации карабкались вслед за Доктором Перальтой на гору, где утром был замечен темный зев небольшой пещеры. К ней они, продрогшие, промокшие до нитки, лезли, скользя, спотыкаясь и освещая путь карманными фонариками. Летучие мыши было

всполошились, заметались, но скоро успокоились, а сырые стены со сводчатым потолком, утыканным причудливыми сталактитами, служили надежным убежищем от дождя, шум которого отдавался шорохом далекого водопада. Но здесь было настоящее царство холода, который каплями воды сочился снаружи из тонких трещин в известняковой толще горы. Глава Нации, сидевший на свернутом пончо, испытывал неуемное желание выпить. Поняв, что происходит (указательный палец уже не раз поднимался к уху), Доктор Перальта с лукавым видом взял свой чурбанчик-саквояжик, заявив, что он, боясь простудиться в долгих походах, запасся спиртным, к которому — чего греха таить? — питает большое пристрастие. «Ладно, всем известно, что ты приор монастыря Санта Инес»,— заметил Полковник Гофман, внезапно повеселев и расстегивая плащ. Присоединяясь к настоятельным просьбам секретаря, он стал упрашивать Главу Нации сделать хотя бы глоточек рома, дабы уберечь свое здоровье — теперь как никогда нужное народу — от губительных воздействий непогоды. «Ну, глоток, не больше»,— сказал Глава Нации, поднося к губам первую фляжку, запах футляра которой, сделанного из щетинистой свиной кожи, вдруг вызвал в его памяти воспоминание о магазине в Париже, где Офелия покупала себе седла, уздечки и мундштуки для верховой езды. «Пейте, пейте, сеньор Президент, вам будет лучше, день на день не приходится. Кроме того, сегодняшний день — победный». «В самом деле, славный денек»,— поддакнул Доктор Перальта. Снаружи ему ответил оглушительный грохот, который заставил их испытать здесь, внутри, благодатное чувство безопасности. Аромат крепкого рома, отдававшего свежим дыханием сахарного тростника, сливался в этой пещере с тяжелым запахом плесени и воскрешал атмосферу классических винных погребов, где дремлет сусло под надежными толстыми сводами.

Облегчив душу, Глава Нации вспомнил один классический текст, который однажды шутки ради он процитировал в Совете министров — где ему вообще нравилось демонстрировать свою начитанность и уснащать свою речь стихотворными строками, пословицами и афоризмами — по случаю какой-то стародавней политической распри, сопровождавшейся военными столкновениями: «Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки... Вы, стрелы молний быстрые, деревья расщепляющие, жгите мою седую голову» [1]. На что Доктор Перальта, более приверженный Соррилье [2], нежели Шекспиру, ответил одним из выпадов «Готского кинжала», которые так часто делались в нашем Национальном театре испанским трагиком Рикардо Кальво, чье сугубо кастильское произношение Перальта забавно передразнил:

Што за ночь, спаси нас боже!
Што стрррашней быть бурри может!
Сколь ужасны эти звуки, жутко молний сверканье,—
Иль оглохло небо в шуме и ослепло от блистанья?

Снова был раскрыт саквояжик с фляжками и произнесены тосты по поводу «ужасных звуков» и за здравие трагика, извергавшего столь ужасные звуки. Изрядно разогревшись, расстегнув китель, Полковник Гофман начал докладывать военную обстановку: до вчерашнего дня были небольшие схватки, стычки, перестрелки на отдельных участках, столкновения патрулей; самой тяжелой потерей с нашей стороны было крушение состава при выезде из туннеля Дель Рокеро, в результате чего погибли лошади, боеприпасы и семнадцать солдат, а сто два человека выбыли из строя по причине более или менее тя-

[1] Шекспир. «Король Лир». *(Перевод Б. Пастернака.)*

[2] Х. Сорилья-и Мораль (1817—1893) — испанский поэт и драматург, автор пьес «Готский кинжал», «Дон Хуан Тенорио» и др.

желых ранений. Однако противник — и он осветил фонариком карту, расстеленную на земле, прямо на фигурных экскрементах летучих мышей — упорно отступал к Рио Верде, не принимая боя. Сегодня же мы навязали ему бой: произошло настоящее сражение, из тех, какие знавали только во времена войн за независимость. Понятное дело, что нужно было провести «подготовительные» операции, причем весьма жестокие. Население оказывало противнику слишком большую помощь живой силой, гужевым транспортом, поставками скота и маиса, сбором информации, передаваемой по деревням с непостижимой быстротой этими сволочами, горцами, которые вечно затевают смуты и готовят перевороты. Конфликт назревал давно. Уже полвека эти грязные ублюдки с Анд испытывали наше терпение своими маршами в столицу и набегами своих каудильо, которые, попав в Президентский дворец, впервые в жизни видели газовые плиты и унитазы, краны с горячей водой и телефонные аппараты в каждой комнате.

Поэтому до непосредственной встречи с противником необходимо было провести широкие «очистительные операции»: дотла спалить дома и деревни, расстрелять всех подозрительных, запретить все сборища и танцульки, отменить празднования именин и крестин, которые служили только предлогом для скрытой пропаганды, передачи новостей и подготовки восстаний,— как тут не вспомнить об иных бдениях возле покойника, когда, удивительное дело, покойного не оказывалось в гробу. «Да, а вот Санто-Томас-дель-Анкону тебе не удалось приструнить»,— сказал Глава Нации. Печально, весьма печально, нет сомнений, но война — не занятие для чистоплюев и не картина для созерцания. Всегда полезно помнить две непреложные истины, высказанные Мольтке: самое благое дело, какое можно сделать воюя,— это завершить войну как можно быстрее... А чтобы завершить ее быстрее, хороши все средства, включая самые предосудительные. Кроме того, фельдмаршал фон Шлиффен говорил... «Заткнись ты со своими немецкими классиками»,— сказал Глава Нации. Фон Шлиффен хотел руководить сражениями, сидя за шахматной доской,— по картам, с дистанции, используя для связи телефоны, автомобили и мотоциклеты. Но в этих паршивых странах, где нет приличных дорог, связным приходится трястись по лесам, болотам и горным кручам на мулах и ослах — ибо не всякой лошади по силам иной тяжелый аркебуз,— а зачастую надо просто слать гонцов-скороходов, которые умеют продираться сквозь чащобы не хуже, чем часки Атауальпы [1]. Вот о таких идеальных баталиях, для которых не требуется ничего, кроме подзорной трубы, бинокля, разбитых на квадраты карт, точных измерительных приборов, мечтают, вообще-то говоря, иные генералы с кайзеровскими усами и бутылкой коньяка под мышкой, не слишком горящие желанием — хотя встречаются и исключения — ринуться под пули и вцепиться врагу в глотку... Нам надо драться по-иному — как, например, сегодня, рыча от злости, послав подальше все теории военных академий. А более всего нам полезны артиллеристы старой выучки («три локтя вверх, два направо с поправкой в полтора пальца»), которые умеют стрелять и попадать в цель ступками для маиса, взятыми у солдаток, тогда как молодые лейтенанты, напичканные алгеброй и несущие баллистическую ахинею, которую не понимают их солдаты, должны чертить карандашиком в блокноте, прежде чем навести орудие, а снаряд в итоге попадает куда угодно, только не в цель. «Хоть мы и начиняем Латинскую Америку артиллерией, шрапнелью и всякими современными огнеметами, купленными у янки, природа все так же довлеет над нами, как во

[1] Часки — гонцы *(на языке кечуа)*; Атауальпа — последний император инков, казненный в 1533 г. по приказу испанского конкистадора Писарро.

времена Пунических войн,— сказал Глава Нации.— Вот если бы у нас были слоны, мы на них перевалили бы через Анды».— «Но все же фон Шлиффен...» — «Твой фон Шлиффен строит всю свою стратегию на сражении при Каннах, которое выиграл Ганнибал».

И тут Глава, столь успешно проведший недавний бой, ошеломил своих подчиненных признанием — или, возможно, лишь недвусмысленным намеком,— что провел сию операцию, руководствуясь «Записками» Юлия Цезаря. Три шеренги пехотинцев в центре: две — наступательные, третья, резервная,— в окопах. Две кавалерийские части: справа — Гофман, слева — он сам. Задачи: смять фланги противника, сжать, стиснуть вражеские отряды таким образом, чтобы отрезать от тылов и помешать переправе через реку. С трудом вырвавшись из окружения, Атаульфо Гальван успел удрать на другой берег, бросив на этом берегу двух своих услад — Красотку Олалью и Смуглянку Хасинту, которые в эту пору, наверное, уже успели ублажить полбатальона Гусар-Патриотов и еще продолжали путаться в ногах победителей. Сражение и в самом деле походило на бой Цезаря с Ариовистом, начавшись с того, что пехота стала крошить почти безоружных индейцев и негров, примкнувших к революционерам; для Цезаря это были венеты, маркоманы, трибуки, геты... для нас — гуахибы, гуачинанго, бочо и мандинги, пока, наконец, их предводитель со своими разбитыми отрядами не отступил за Рио Верде, как Ариовист, который бежал за Рейн. Что касается самого Цезаря, то ведь ему тоже приходилось сражаться с андами, которые, не зная почему, напоминают мне наши проклятые андские [1] племена. «Ну и ну, сеньор Президент!» — воскликнул Доктор Перальта, восхищенный такими познаниями в античной военной истории. «Я знаю только то, что сегодня мы разгромили Ариовиста Гальвана»,— сказал Гофман, несколько уязвленный тем, что Глава Нации не оказал должного почтения Мольтке и фон Шлиффену...

Фляжки снова пошли по кругу, обжигая стратегам нутро, а вспышки молнии время от времени будто обжигали нутро пещеры. Президенту вспомнилась нудная опера, слышанная в Нью-Йорке, где в какой-то сцене вот так же изображался весьма неуютный, затерянный в горах грот с зеленоватыми фосфоресцирующими сводами. Полковник Гофман, обладавший зычным голосом, который позволял угадывать в нем амплуа Heldentenor [2] и воскрешал в памяти подземные чертоги Миме и Альбериха [3], попытался спеть что-то из Вагнера, напыщенно артикулируя на своем рыкающем немецком языке фразы, ни одна из которых не совпадала с текстом партии Зигфрида. Разозлясь на провалы своей памяти, отнесенные за счет излишне выпитого, он схватил большой камень и швырнул в глубь пещеры.

Однако ответный звук не был ни стуком камня о камень, ни шлепком камня по грязи или воде, а гулким разрывом глиняного сосуда, которому удар пришелся прямо в брюхо и разнес его на сто частей. Полковник поднял вверх фонарь. Над черепками, там, у стены, возвышался страшный человеческий каркас — уже почти не человеческий,— составленный из костей, обернутых в гряпье и сухие шкуры, истлевшие, источенные, поверх которых торчал череп, обвязанный пестрой лентой. Черные пустые глазницы свирепо взирали на свет, дырка на месте носа будто раздувалась от ярости, и немой вопль вырывался из-за желтых зубов этой скелетной рухляди: вися-

[1] Анды — народ кельтского происхождения, живший на правом берегу реки Луары. Под «андскими племенами» подразумеваются индейские народности, живущие в районе Анд.

[2] Героический тенор *(нем.)*.

[3] Миме и Альберих — карлики-нибелунги (из древнегерманской мифологии), также персонажи из тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга».

щие фаланги пальцев, торчащие ребра, скрещенные берцовые кости, которые завершались пеньковыми альпаргатами тысячелетней давности, но такими яркими из-за необычной прочности волокон и красок — черной, желтой, малиновой,— что казались новыми. Это чудище выглядело гигантским усохшим младенцем, который прошел все стадии развития — зрелость, дряхлость, смерть,— вернувшись к изначальному состоянию по завершении всего жизненного круга, и сидел здесь, очень далеко и очень близко от собственной смерти, вещь или ветошь, анатомический хлам с темными зияниями под страшными пепельно-черными лохмами, которые падали на иссохшие щеки. И этот монарх, судья, жрец или военачальник гневно взирал из глубин своего вековечного возраста на тех, кто разбил его последнее глиняное убежище. Остальные шесть больших кувшинов торчали справа и слева у стен, поблескивавших от воды, которая просачивалась внутрь, в пещеру. Швырнув несколько булыжников, Гофман разбил и эти кувшины, один за другим. И на свет явилось еще шесть мумий, сидящих на корточках со скрещенными руками-костями — более или менее облезлых, с более или менее подгнившими бедренными костями и фалангами пальцев, с более или менее почерневшими физиономиями,— образуя чудовищно изукрашенный Конклав, осквернённый Трибунал. «Чур меня, чур! Нечистая сила!» — вскричали все трое, и всполошенные летучие мыши в страхе заметались над их головами. Потрясенные малоприятным видением, пришельцы выскочили в ночь, прямо под ливень, и бросились в лагерь, где сорванный с палаток брезент плавал в грязной воде. Прикрывшись насквозь промокшими полотнищами, они уселись под раскидистым деревом в ожидании золотисто-розовой авроры. А поскольку холод становился все сильнее, были опустошены последние фляжки саквояжика-чурбанчика. Вновь обретя удивительную ясность ума, которая появлялась у него после обильного возлияния, Глава Нации поручил своему секретарю написать и отправить официальное письмо в Национальную Академию наук об открытии мумий с указанием местонахождения пещеры, расположения входа в нее с ориентацией на солнечный восход, точное описание огромных кувшинов и т. д., как это делают археологи. Кроме того, главная Мумия, та, что в центре, должна быть преподнесена парижскому музею Трокадеро, где она прекрасно будет выглядеть под стеклом на деревянном фризе с соответствующей медной табличкой: Civilisation Précolombienne. Culture de Río Verde[1] и т. д. и т. п. Что касается определения степени древности, то возраст пусть установят иностранные эксперты, более осторожно относящиеся к находкам, чем наши, которые так и норовят заявить всякий раз, как наткнутся на ручку от старой вазы или на глиняный амулет, что сия вещь куда старше, судя по гончарному мастерству, чем все древности Египта или Шумера, вместе взятые. Но, во всяком случае, чем больше веков будет указано на табличке, тем выше поднимется престиж нашей страны, становящейся, таким образом, обладательницей реликвий, которые могут сравниться по древности с памятниками Мексики или Перу, чьи пирамиды, храмы и некрополи служат как бы геральдикой наших цивилизаций, ясно показывающих, что Свет наш — наново открытый, но отнюдь не Новый Свет, ибо наши императоры блистали великолепными золотыми коронами, драгоценными камнями и разноцветными перьями птицы кетцаль уже в ту пору, когда предполагаемые предки Полковника Гофмана бродили по дремучим лесам в медвежьих шкурах с бычьими рогами на головах, а французы в те времена, когда Ворота Солнца в Тиауанаку[2] уже име-

[1] Доколумбова цивилизация. Культура Рио Верде *(франц.)*.

[2] Тиауанаку — столица древнейшей индейской цивилизации аймара.

ли солидный возраст, еще только ставили свои менгиры — эти нелепые бесформенные валуны — на побережье Бретани.

4

Телом я считаю все то, что может заполнить данное пространство, вытеснив из него любое другое тело.

ДЕКАРТ

После победы Глава Нации собирался было дать отдых войскам и, кстати, эвакуировать многочисленных раненых — штыком ли, пулей, мачете или просто ножом,— но увидел, что надо немедленно форсировать Рио Верде, ибо ночные ливни — да и днем хлеставшие дожди — быстро поднимали уровень воды в реке. Кавалерия еще могла пройти ближним бродом, но для переправки пехоты использовали баркасы, лодки, шлюпки, а также старый замшелый паром, найденный в тростниковых зарослях и наскоро отремонтированный, на котором переправили обоз, пушки Круппа, шесть легких орудий, боеприпасы, саперное и прочее воинское снаряжение, консервы и ящики с джином и коньяком для офицеров, а также сковородки, печурки и жаровни стряпух-солдаток — все, что, к вящему удовольствию Главы Нации, Генерал Гофман величал «материально-технической базой», а Доктор Перальта, выражаясь проще, называл «огнедышлами, металлохламом и нектаром»...

Операция по форсированию реки проводилась без задержки, ибо драться было не с кем: вероломный враг отступал к морю с явным намерением закрепиться на небольших высотах, окружавших Пристань Вероники, базу Атлантического флота, который состоял из двух крейсеров со своими вышедшими из употребления таранами и пушками ограниченного действия, а также из нескольких более современных сторожевых катеров, находившихся на ремонте в доке неподалеку от Адмиралтейства с Военно-морским арсеналом. Хотя все городки и селения были дочиста обобраны людьми Атаульфо Гальвана при отступлении, умельцы-воры и девки-солдатки ухитрялись раздобывать свиней, телят и кур, запрятанных в пещеры, погреба и даже в кладбищенские склепы; выкапывать буквально из-под земли кувшины с хмельным гуарапо. Шумно, весело, бесшабашно проходили бивуачные ночи: певцы состязались в исполнении куплетов под аккомпанемент обычных и четырехструнных гитар, погремушек-маракас и барабанов, в то время как мулатки и метиски — самбы, парды и чолы — мастерски отбивали чечетку в ритме бамбы, харабе и маринеры [1], а потом исчезали где-нибудь в чащобе, подальше от костров, со своими кавалерами, чтобы дать отдых ногам.

В апреле начались первые атаки на аванпосты Пристани Вероники, и враг вынужден был окопаться в предместьях городка. «Теперь претворяется в жизнь мудрая мысль Фоша,— сказал Глава Нации, цитируя французского военного специалиста, чтобы уколоть Гофмана.— «Если противник отказывается от наступательной тактики, он роет окопы и зарывается в землю». И с вершины одного из трех холмов, окружавших городок, Президент с тихой нежностью любовался куполами и барочными колокольнями церквей, старыми колониальными

[1] Танцы разных народов Латинской Америки.

стенами. Там он родился и там обучили его братья-маристы складывать буквы в слоги (вон в том двухэтажном здании со стрельчатыми сводами среди цементных пилястров), научили читать красивые книги с картинками, из которых он узнал о разливах Нила, о норовистом Буцефале, о льве Андрокла, об изобретении книгопечатания, и о том, как фрай Бартоломе де лас Касас ратовал за индейцев, и о том, что эскимосы строят свои хижины из снега, и что монах Алкуин, основатель первых школ при Каролингах, предпочитал любознательных детишек из бедных семей юным лентяям и бездельникам из знатных фамилий. Затем были весьма обогащающие интеллект уроки истории на французском языке с чтением текстов, где гораздо больше места отводилось — и это вполне естественно — Суассонскому котлу, чем битве при Аякучо [1], ибо заточение кардинала де ла Балю в железную клетку представлялось делом гораздо более важным, чем освобождение Перу от испанцев, а Людовик Святой, затеявший крестовые походы, поневоле выглядел более внушительно, чем Симон Боливар со своей победой при Карабобо [2], хотя при этом упоминался такой небезынтересный факт, что именем последнего, стало быть Боливара, окрестили шляпу, которая была в большой моде у парижских франтов в начале прошлого века... Но мало-помалу детские учебники отступали в прошлое — по математике лишь кое-где разрезанные, по родной литературе почти не листавшиеся,— и перед очами Главы Нации уже рисовались его юношеские блуждания по портовым окраинам, где толпились рыбаки, матросы, торговцы и проститутки и красовались такие названия веселых кабачков, как «Триумфы Венеры Милосской», «Люди неученые, да умом начинённые», «Веселые парни», «Корабль на суше» или «Моя контора». На улочках шла бойкая торговля крючками, вершами, сетями, всякими рыболовными снастями; вдоль тротуаров катились тележки, нагруженные устрицами, кальмарами и палтусами, а запахи смолы, рассола в бочках и анчоусов на лотках смешивались с ароматами духов и жасминовых или туберозовых эссенций портовых красоток...

Вот она, Пристань Вероники, лежит у его ног, столь похожая на медный чекан, на котором воспроизвел ее один английский художник лет сто тому назад с силуэтами рабов и фигурами всадников-господ на переднем плане. Вот она, с ее громадным Храмом святой инквизиции, на паперти которого толпа в стародавние времена избивала и поносила, забрасывала дерьмом и грязью негров и индейцев, обвинявшихся в колдовстве... Вот он, городок Пристань Вероники, с тем доминой из трех строений под двумя крышами, где виднеются громоотвод, небесно-синяя голубятня и скрипящий флюгер-петух и где родились его дети в ту пору, когда он влачил жалкое существование провинциального журналиста и мог принести домой иной раз медовую коврижку, иной раз просто головку сахара, а иной — только бумагу из-под сахара, чтобы хоть как-то подсластить кипяток, которым запивали весьма скромный ужин — каштаны с куском черствого хлеба.

Именно тут, в этом замызганном патио, и сделали его отпрыски свой первый прыжок в игре в «классики» и стали — прыг да скок — подпрыгивать вслед за лихими политическими подскоками своего родителя, который вел их от домика к домику, от номера к номеру в отелях — по восходящей лесенке игры в «гусёк»,— от Пристани к столице, от столицы к столицам столиц, устремляясь от нашего убо-

---

[1] В битве при Аякучо (Перу) завершились в 1824 г. национально-освободительные войны народов Латинской Америки против испанского господства на континенте.

[2] Победа при Карабобо, одержанная в 1821 году Симоном Боливаром и Хосе Антонио Паэсом, завершила освобождение Венесуэлы от испанского владычества.

гого портового мирка к бескрайнему миру, Старому Свету, Новому Свету для них, хотя это благоволение фортуны не обходилось без драм, заметно омрачавших успехи и удачи. Офелия, ладно, каковой родилась, таковой и осталась — sum qui sum — и характером, и манерами, и ничего тут не поделаешь. Вспыльчивая и упрямая девица, своевольная и легкомысленная, для которой познание вселенной началось и ограничилось все теми же старыми играми, как, например, «Жмурки», «Антон Перулеро», «Ломоть рисовой запеканки», «Салочки-скакалочки», «Мальбрук в поход собрался», или игрой в фанты с зелеными юнцами. На Ариэля тоже, в общем, грех было жаловаться, он родился дипломатом: священников обманывал чуть ли не с пеленок, на вопросы отвечал вопросами, врал так, что заслушаешься; умел говорить ни «да» ни «нет», завораживая слушателей бряцанием своих будущих орденов; прибегал — если требовалось решить срочное дело — к таким хитроумным проволочкам и двусмысленным формулировкам, что только канцелярия Шатобриана могла бы додуматься до этого при аналогичных обстоятельствах. И Радамес был яркой личностью, но попал в катастрофу, хотя тоже столь впечатляющую, что он оставил о себе вечную память — в виде фотографии — во всех газетах мира: обуреваемый желанием обогнать Ральфа де ла Пальму на автомобильных гонках в Индианаполисе, Радамес на шестом километре взлетел в небо над раскаленным асфальтом, влив слишком много эфира в газолин, чтобы сделать горючее более легким, взрывчатым и чистым. (После провала в США на экзамене в Вест-Пойнтской академии ему вдруг захотелось упиться быстрой ездой...)

А вот там Главе Нации привиделся его младший сынок в коротких штанишках, Марк Антоний, вкривь и вкось скачущий по клеткам «классиков», существо непонятное, не примкнувшее к их клану, не свившее гнезда в ветвях здешних родословных деревьев, а затерявшееся где-то в далекой и чужой генеалогической сельве, куда его занесла нелегкая,— возможно, потому, что он был самым неудачным ребенком в семье, чудаковатым и не похожим на других ни носом, ни глазами. По воле случая он познакомился с одним любителем геральдических изысканий и уверился в том, что он потомок — хотя и не по прямой, а по довольно искривленной, боковой и нецеленаправленной линии — византийских императоров, последний отпрыск которых — Палеолог — умер на острове Барбадос, а кое-кто из его потомства переселился в нашу страну. Купив за уйму песо титул «Лимитрофе» (см. Кодекс Юстиниана), а в нашей интерпретации — графа Далматского, Марк Антоний отправился знакомить Европу со своей благоприобретенной родовитостью: Титул среди Титулов, обожатель Титулов, знаток Титулов, любитель титулованных женщин, ко всему прочему хорошо знавших цену мужской силе, о коей они на ухо оповещали друг друга.

Обладатель всех этих достоинств, Марк Антоний вел жизнь, которая кидала его из древних венецианских дворцов в шотландские замки, с равнин Андалусии к регатам короля Альфонса в Сан-Себастьяне. Так он и ездил, и кружил по землям довольно потускневшей и поистрепавшейся аристократии, где уже ярко и самодовольно сверкали гербы североамериканских монополий «Армура» и «Свифта» и набирала силу американо-кетчупианская знать «Либби». Марк Антоний был в одно и то же время гениален и никчемен, экзальтирован и коварен, подобно своему папаше, но тем не менее далек от президентских приступов озабоченности; плоть от плоти, которую не считал родной, ибо называл себя «феноменом великолепия»: глашатай нашей культуры, необходимый фактор нашего национального престижа, лунатик, коллекционер перчаток и палок, денди, не желав-

ший носить рубашек, которые не были бы выглажены в Лондоне; искатель наследниц компании «Вулворт» (он спал и видел Анну Голд, подарившую дворец из розового мрамора Бони де Кастеллане), пятикратно разведенный, чемпион игры в поло, участник лыжных гонок в Шамони, чудодей рулетки и баккара — хотя при всем этом бывал довольно рассеян и казался не от мира сего, а-ля Гамлет, подписывая многочисленные необеспеченные чеки, оплата которых приостанавливалась нашими, по долгу службы, бдительными посольствами...

И вот у ног Главы Нации лежала эта Пристань Вероники, где на двери одного из домов была прибита мемориальная доска с датой его рождения и где донья Эрменехильда испускала стоны во время четырех родов под тюлевой москитной сеткой, такой же синей, как представшая его взору голубятня... Надо сказать, что сей городок перейдет в руки правительственных войск целехоньким, не задетым ни одним снарядом, ибо состоится капитуляция почти всех мятежных офицеров в исторический день 14 апреля... Покинутый всеми своими самыми преданными соратниками, не нашедший ни одного хозяина шхуны или лодочника, который пожелал бы взять его на борт, генерал Атаульфо Гальван укрылся в старом замке Сан-Лоренсо, сооруженном по приказу Филиппа II на высокой скале, с моря огражденной рифами, которые препятствовали входу в гавань. У этой скалы и высадился к вечеру в день капитуляции Глава Нации в сопровождении Полковника Гофмана, Доктора Перальты и дюжины солдат. Побежденный молча стоял в центре главного патио. Его губы странно двигались — без всякого звукового сопровождения, словно выдавливая слова, которых никто не слышал. Клетчатым платком он старался утереть пот, ливший из-под высокого кепи, ливший так обильно, что по суконному кителю расползались темные капли. Президент остановился и долго оглядывал его с головы до ног, будто внимательно изучая. И вдруг произнес, сухо и коротко: «Расстрелять!» Атаульфо Гальван упал на колени: «Нет... Нет... Не надо... Не стреляй... Ради святой доньи Эрменехильды, которая так меня любила... Ты был мне отцом родным... Дай сказать... Ты поймешь... Меня обманули... Послушай... Ради твоей матушки...» — «Расстрелять!» Его потащили, стонущего, плачущего, молящего, к задней стене. Гофман выстроил взвод. У побежденного подкосились ноги, он прислонился к стене, медленно заскользил вниз и шлепнулся задом на каменные плиты, растопырив ноги в грубых башмаках, уронив руки на пол. Стволы винтовок опустились вслед за ним, точно отмерив угол прицела. «...товьсь!» Приказ оказался излишним, ибо винтовки были взяты на изготовку. «Нет... Не надо... Священника мне... Исповедаться... Я — христианин...» — «Пли!..» И вот приклады уже стукнулись оземь. Залп возмездия, все правильно и справедливо. Шумно вспорхнули чайки. Краткое молчание. «Швырните его в море,— сказал Глава Нации.— Акулы завершат остальное».

С этим делом было покончено. Однако оставалось другое, возможно, посложнее первого. Мы недооценили боевой дух и личное обаяние забытого нами из-за экстренных военных действий доктора Луиса Леонсио Мартинеса, который совсем распоясался в Нуэва Кордобе, где из Консисторского дворца он непрерывно обстреливал манифестами Правительство, и обрел силу, большую силу в городе, где вокруг него объединились студенты, журналисты, вчерашние политики, провинциальные адвокаты, «социалиствующие» энтузиасты, не считая кое-кого из молодых офицеров, только что окончивших Кавалерийскую школу в Сомюре и являвших собой армейскую интеллигенцию — интеллигенцию, которая противостояла таким, как Вальтер Гофман, и всем тем, кто, подобно ему, обучался у немецких вояк

и обожал стальные шлемы с острием. Эти мятежники устраивали бесконечные заседания, не зная ни сна, ни отдыха, расстегнув пиджаки и кителя, выкуривая дюжинами сигареты, хмелея от черного кофе и едкого табачного дыма. Они спорили, дискутировали, обвиняя друг друга во всех смертных грехах, и горячо клялись вершить дело чистыми руками, что могло служить достойным примером для Комитета народного здравоохранения. В то же время детально разрабатывался План реформ, который час от часа становился все демократичнее и, в результате раскрытия разного рода хищений и обнаружения случаев противозаконного обогащения, постепенно превращался в довольно рискованный проект ограничения латифундий с распределением их земель среди крестьянских общин.

Глава Нации, получив тем самым утром по почте сообщение о действиях в стане противника, вначале воспринял положение вещей довольно иронически. «Бредни вегетарианца-утописта»,— заметил он. Но вскоре стало известно, что в Нуэва Кордобе кроме митингов, собраний, прокламаций и принятий разного рода законов началось интенсивое военное обучение студентов и рабочих под началом смуглокожего капитана Бесерры, неудавшегося энтомолога, любителя насекомых, получившего звание Шефа военной подготовки. И. видя, что это движение набирает силу, проявляя симпатии к синдикализму, в основу которого кладутся чужеземные, антипатриотические доктрины, недопустимые в наших странах, Посол Соединенных Штатов предложил немедленное вмешательство североамериканских войск для спасения наших демократических институтов. Как раз в эту пору несколько их крейсеров проводили маневры в Карибском море. «Нет, может пострадать наш суверенитет,— заметил Глава Нации.— А сама операция не представляет сложности. Да и этим стервецам-гринго не мешает показать, что мы сами можем управляться со своими проблемами. Они ведь тоже хороши: придут на три недели, а засядут здесь на два года и провернут большой бизнес. Влезут к нам в хаки, а вылезут в золоте. Посмотри-ка, что творит генерал Вуд [1] на Кубе»...

Три дня прошли в инспектировании и ремонте путей Восточной железной дороги, и после общеармейской мессы, в которой молили Святую Деву-путеводительницу ниспослать победу воинам — защитникам Отечества, отдельные части направились на новый фронт с развевающимися стягами и штандартами под несмолкаемое «Ура!» и при общем ликовании. Лишь за полночь пыхтя и свистя отошел последний поезд. На крышах вагонов и на платформах мужчины в пончо и женщины в накидках дружно пели гимны и песни, а бутыли с прозрачным ромом при свете ламп и фонарей держали путь от тендера с углем до светящихся глазков последнего вагона: «Если ты, Аделита, уйдешь от меня, я тебя возвращу непременно: броненосцем вспорю все моря и все земли пройду эшелоном военным...» [2]

А позади оставалась ночь и жабы в черных низинах у Пристани Вероники, возвратившейся к миру и своему сонному провинциальному бытию, к неспешным беседам в цирюльнях, хоровому пению старух в порталах, к лотереям и играм молодежи в фанты — после молитв и отбитых в лоне семьи поклонов с мыслями об одних лишь «таинствах» девы Марии.

---

[1] А. Вуд (1860—1927) — американский генерал, губернатор Кубы в период ее оккупации Соединенными Штатами (1899—1902).

[2] «Аделита» — боевая песня патриотов Бенито Хуареса в прошлом веке, а затем бойцов армии Эмилиано Сапаты в годы мексиканской революции 1910—1917 гг.

5

Суверены имеют право кое в чем изменять обычаи.

ДЕКАРТ

Город Нуэва Кордоба, основанный в 1544 году Генерал-Капитаном Санчо де Альмейдой, внезапно возникал в пустынной дали — на фоне шафранных зыбучих песков, хилых травяных метелок, кактусов, колючих кустарников, желтой акации, отдающей потом лежачего больного... и слепил глаза белизной марокканских домиков на берегу реки, русло которой, сухое десять месяцев в году, пробивалось извилистой тропой среди скал, отороченных ребрами, рогами, черепами и когтями животных, некогда погибших от жажды. В безоблачном небе от рассветной вспышки до закатного багрянца кружили ястребы, кондоры и стервятники над змеистыми ступенчатыми каньонами, пробитыми кайлом, буром и отбойным молотком, парили над странными изломами и округлыми впадинами, превращенными в гигантские геометрические фигуры людьми, которые два века добывали из чрева земли ее темное сокровище. Словно огромные кресла, сиденья и спуски высечены из скал мозолистыми, черными до самых костей, натруженными руками пеонов компании «Дюпон Майнинг К°». И вот здесь-то, в самом жарком месте страны, стояла, окаймленная кактусами-нопалами и опунциями, Нуэва Кордоба, воинственная, начиненная мятежными идеями, противостоявшая армии Главы Нации, армии, которая уже одержала победу на Востоке. Объединившись вокруг хилого университетского профессора, тысячи противников режима объявили себя Священным легионом. И, чтобы укрепить подходы к городу, войска Бесерры — уже генерала Бесерры — имели предостаточно времени для создания мощной оборонительной линии с сетью траншей и блокгаузов, защищенных колючей проволокой и заграждениями из рельсов, которые были завезены сюда для строительства железной дороги.

Наблюдая эти военно-инженерные работы в полевой бинокль, Глава Нации изрек шутку, призрачно маскировавшую его раздражение: «Я всегда говорил: в наших странах применимы только два вида стратегии — Юлия Цезаря или Буффало-Билла» [1]. И Большой совет Главного штаба решил, что в нынешней ситуации наиболее целесообразно предпринять классическую осаду, отрезав мятежникам все пути сообщений с маленькими северными деревушками — тоже бунтарскими,— снабжавшими их провиантом и оружием. «Даже водичку питьевую им надо возить из других мест! Тут климат работает на нас...» Разбив лагерь на благоразумном расстоянии от вражеских оборонительных сооружений, откуда время от времени раздавались одинокие выстрелы (противник не имел возможности тратить боеприпасы ради развлечения), армия перешла к тактике выжидания. Дни коротали за картами, шахматами, домино. Кое-кто играл в кегли, приспособив под них пустые бутылки, а другие состязались в меткости, швыряя камни в бычий череп, надетый на кол. За неимением другого чтива Глава Нации листал произведения классиков военного искусства Германии и Франции, всегда занимавшие достойное место в багаже Полковника Гофмана. И чтобы подразнить «Пруссака с черной бабкой на задворках», как называли его остряки-вольнодумцы, читал вслух с нарочито ехидными усмешками явные несуразности, попадавшиеся на глаза. «Послушай, нет, ты только послушай,— повторял

[1] Буффало-Билл (настоящее имя — У. Ф. Коди, 1846—1917) — американский авантюрист и циркач, ставший героем приключенческих книг.

он и высокопарно цитировал: — «Победу может принести лишь выигранное сражение» (Шарнхорст); «Из двух свежих, равно вооруженных армий побеждает та, что превосходит другую числом» (Шарнхорст); «Тот, кто находится в обороне, может перейти в наступление» (Лассау); «Только бой может привести к какому-либо результату» (Лассау); «При командовании надо думать головой, ибо в ней сосредоточен разум» (Клаузевиц); «Главнокомандующий должен знать войну и ее непредвиденные случайности» (Мольтке); «Необходимо, чтобы Главнокомандующий знал, чего он хочет, и обладал нерушимой волей к победе» (фон Шлиффен); «Театр военных действий имеет только три части: правый фланг, левый фланг и центр» (Жомини). «Ясно, если нет центра, не двинешь ни направо, ни налево,— заметил сквозь смех Глава Нации.— И вот эту-то дребедень вам преподают в военной академии?»...

Так и тянулись дни в безделье, которое зной и мошкара делали невыносимым, пока, наконец, однажды утром не явился сюда в пробковом тропическом шлеме с густой сеткой от москитов и в шортах — а-ля Стэнли в поисках Ливингстона — сам сеньор Посол Соединенных Штатов с весьма серьезными претензиями. Вооруженные отряды под руководством агентов того, кого уже называли «Каудильо из Нуэва Кордобы», ворвались в банановую зону Тихоокеанского побережья и завладели двумястами тысяч долларов, которые хранились в одной из контор «Юнайтед фрут». Деятельность компании «Дюпон Майнинг К°» парализована прекращением портовых работ в Пуэрто Негро. Кроме всего прочего, надо покончить с социалиствующими мистиками доктора Луиса Леонсио Мартинеса. Мы, мол, не потерпим пришествия второго Мадеро [1] в этой Америке, что ниже нас. Если страна в самом скором времени не вернется к спокойствию и нормальному режиму, уважающему иностранную собственность, североамериканское вмешательство окажется неизбежным.

Под таким нажимом Глава Нации дал клятвенные заверения, что начнет решительные военные действия в течение сорока восьми часов. И на следующий же день, представив все требуемые гарантии безопасности, переданные военным парламентером, он пригласил юного генерала Бесерру в лагерь, где, без всяких экивоков и лишних слов, могущих оскорбить его чувство собственного достоинства, всадил в него... сто тысяч песо, добавив — так, чепуху с несколькими нулями — двум сопровождавшим его лейтенантам.

К вечеру над окопами и блокгаузами взвились белые флаги, возвещавшие жителям Нуэва Кордобы — вместе с прокламацией,— что решение о капитуляции было принято, если к тому же учесть лучшую вооруженность правительственных сил, с единственной, гуманной целью избежать ненужного кровопролития... Вот тогда-то и поднялся вдруг во весь свой исполинский рост яростный и взбушевавшийся Мигель Монумент, прозванный так за свою силу, неутомимость в работе и ходьбе, за невиданной величины торс, треугольником сужавшийся от широченных плеч к такой тонкой талии, что Мигелю всегда приходилось прокалывать добавочные дырки в своих кожаных поясах, чтобы серебряная пряжка — его единственный предмет роскоши — оказывалась на середине живота. Искусный взрывник-забойщик, ухитрявшийся с динамитными шашками в зубах добираться до любого уступа в мраморной каменоломне, этот негр прославился на всю страну в течение каких-то месяцев своим открытием — тем, что из камня можно освобождать животных. Да. Именно

[1] Франсиско Мадеро (1873—1913) — мексиканский государственный деятель, после свержения диктатуры Диаса был президентом Мексики, убит реакционерами.

так. Впрочем, он уже давно знал, что лесные деревья — живые существа, с которыми можно говорить, и, если им говоришь нужные слова, они в ответ поскрипывают и покачивают ветвями. Но однажды, вон там, на том хребте, он увидел круглый камень словно бы с двумя глазами, с приплюснутым носом и впадиной рта. «Освободи меня»,— послышалось Мигелю. Взяв свой бурав и кайло, он принялся отбивать тут, откалывать там, высвобождая передние лапы, задние ноги, тихонько постукивая по спине, и оказался лицом к лицу с огромной жабой, сотворенной его руками и с нежностью глядевшей на него. Он взвалил ее себе на плечи, притащил домой, обточил острым резцом, отшлифовал наждачной бумагой, поставил на деревянный ящик, поглядел на жабу и увидел, как она хороша. Вдохновленный своим открытием, Мигель стал смотреть на скалы, на валуны, на камни, которые его окружали, другими глазами. Вот здесь заточена летучая мышь, потому что по бокам торчит что-то вроде крыльев. Вон там заключен пеликан, грустно опустивший свой зобатый клюв. Из того каменного обломка хочет вырваться лань, страстно тоскующая по свободе. «Гора — это тюрьма, где заперты животные,— говорил Мигель.— Животные в ней, внутри. Они просто не могут выйти, пока кто-нибудь не откроет им дверь». И Мигель начал выпускать на волю своими многочисленными инструментами — буравами, скобелями, зубилами, сверлами — огромных голубей, филинов, кабанов, брюхатых коз и даже освободил тапира, который предстал перед ним как живой. Мигель смотрел на все это: на голубя, на филина, на кабана, на козу, на тапира,— и все они казались ему прекрасными; устав, наконец, от тяжелой работы, он прилег отдохнуть на седьмой день...

Все свои создания Мигель поставил рядышком в заброшенном старом депо компании «Нуэва Кордоба Рэйлроуд К°», не пригодном для ремонта вагонов и платформ, куда по воскресеньям стекались толпы народа поглядеть на выставку каменных тварей. Слава Мигеля росла. Одна из столичных газет опубликовала репортаж о нем, назвав его «гением-самоучкой». Но когда к нему пришли из Испанской торговой палаты с предложением сделать статую Главы Нации, Мигель ответил: «Копирование меня не вдохновляет. За сходство не ручаюсь». С тех пор его стали считать — впрочем, без особых на то оснований — противником режима. Правда, другие — из «Атенео» — его защищали: «Ему не осилить образ человека. Он отказал не из политических соображений, а из боязни оскандалиться». И святым отцам было поручено уговорить его, упросить сделать статуи Четырех Евангелистов для украшения четырех углов сада каноников при соборе Святой Девы-путеводительницы. «Я не умею вызволять из камня людей»,— ответил Мигель. Однако, узнав, что у Марка был лев (он недавно видел одного льва в цирке, дававшем представления в соседних селениях), что у Луки имелся бычок (бык есть бык, везде и всюду), а у Иоанна — орел (здесь не водятся орлы, но все знают, что такое орел), Мигель взял заказ и стал высекать символических животных, приписываемых обитателям Апокалипсиса, отложив на последок Матфея, ибо лик юноши, сопровождавшего этого святого, он никак не мог себе представить. Но Мигель работал, работал, впервые в жизни сотворяя из камня человечьи лики с нимбами — уже не буравом, а резцами, привезенными из столицы, острыми, как ножи...

Этим-то делом он и занимался, когда узнал о подлой капитуляции Тут же бросил прочь инструменты и выскочил на улицу. Мечтатель, творец диковинных животных и людей, сумасброд и чудак вдруг стал держать речи на всех перекрестках, расправил могучие плечи и стал трибуном, стал вожаком, стал народным вождем. Ав-

торитет его был столь велик, что ему внимали и повиновались. Он велел убрать белые флаги — и белые флаги были спущены, и увидел Мигель Монумент, что это хорошо — спустить белые флаги, и хорошо снова вступить в бой. С динамитными шашками в руках, с тлеющим фитилем за спиной, он призвал сопротивляться и бороться до тех пор, пока Хлеб насущный не станет Хлебом сущим, сегодня заработанным и сегодня же съеденным, а не принадлежащим лавкам компаний янки, национальных или «смешанных» компаний, которые распоряжаются рудниками, платят бонами и за боны дают товары. Вмиг он организовал из тех, кто его слушал, роту подрывников и роту саперов. И вдохновленные речами, которые звучали правдой, хотя были неблагозвучны и грубы (красноречие души, зовущее и увлекающее, более убеждает, чем любая высокопарная речь), студенты, интеллигенты, и те, что с отбойными молотками, и те, что с кувшинами для оливкового масла, и те, что в альпаргатах, и те, что в уарачах,— все, кто уже не верил в мозгляка Луиса Леонсио Мартинеса, который наводнял страну прокламациями, взывая к народу, едва его знавшему, заявляя, что рассчитывает на помощь провинций, еще вовсе и не собиравшихся помогать,— все подтвердили свою решимость сражаться до конца...

Но — хотя к сражению готовились и взрослые мужчины, и молодые девушки, и отважные подростки, а старухи щипали корпию для перевязки раненых, и старики перековывали в кузницах ломы на копья — люди находились в совершенно открытом городе, городе без старинных крепостных стен, где глинобитные домишки выбегали из улиц прямо на песчаные пустоши. И, несмотря на устланные динамитом дороги, где в грохоте взрывов взлетали кверху изувеченные тела, вскидывая руки и ноги; несмотря на кровопролитные драки за каждый патио, за каждую крышу, не говоря уж о том, что защитники отбивались от врага старыми «винчестерами», охотничьими ружьями, допотопными мушкетами, кольтами, дробовиками и тремя или четырьмя пулеметами «максим», которые из-за нехватки воды приходилось охлаждать мочой,— правительственные войска заняли площадь, окружив Собор, где укрылась сотня отчаянных смельчаков, которые отстреливались последними патронами через окна, оконца и решетки. Наибольшую опасность представляли собой стрелки на колокольне — они брали на мушку каждого, кто пытался сунуть нос на Главную площадь. Шли часы, а, в общем, все оставалось по-старому — там урвали клочок, тут отхватили кусок, но, самое главное, никак не удавалось занять уже оставленное здание муниципалитета, фасад и галерея которого простреливались горсткой этих бандитов, у которых никак не кончались патроны и провиант. Гофман уже установил в надлежащем месте свои «крупные» пушки, подвезенные волами, и нацелил их на собор.

Однако Глава Нации вдруг заколебался: храм Святой Девы-путеводительницы, Заступницы усердной Отечества и Воинства... Предмет поклонения, цель паломничества, жемчужина колониальной архитектуры... «Пропади она пропадом! — сказал Полковник Гофман, который был лютеранином.— Или побеждать, или в куклы играть». На худой конец здание можно реставрировать — любая реставрация только укрепляет постройки, продлевает им жизнь. «А если повредят Святую Деву?» — спросил Глава Нации. «На парижской площади Сен-Сюльпис продают такие же статуэтки, причем очень миленькие»,— ответствовал Доктор Перальта. «Чего там ждут? Пора кончать с этими son of bitch [1],— сказал военный атташе Соединенных Шта-

[1] Сукиными сынами *(англ.)*.

тов.— Наши marines[1] давно бы с ними расправились. Мы не так сентиментальны, как вы...» — «Да, иного выхода не вижу,— произнес, наконец, Глава Нации.— Если Пилат умыл руки, то я заткну уши».— «Приказ поистине стратегического значения»,— сказал Гофман. Стволы крупповских пушек были направлены на цель. Старый артиллерист произвел расчет по методу «три локтя вверх, два направо с поправкой в полтора пальца», и первый выстрел бухнул. Удар пришелся по центру башенки, и колокола грохнулись на крышу храма — затрещали каменные стены, рухнули статуи. Громыхнул второй выстрел — тут расчет был произведен по всем правилам, с логарифмами,— и снаряд, пробив Главные ворота, просвистел по алтарю, не задев статую Святой Девы-путеводительницы, которая как стояла, так и осталась стоять на своем постаменте — цела, невредима, равнодушна и неподвижна: феномен, который отныне стал всюду известен как «Чудо Нуэва Кордобы».

«Святая Дева с нами!» — возопили победители. «Дева,— сказал Глава Нации, облегченно вздохнув,— не могла быть на стороне атеиста, который верит в говорящие столики и божества о шести руках...» Затем началась расправа. Отряды вояк, разнузданных и безудержных, бросились на охоту за мужчинами и женщинами, принялись рубить и колоть штыками, мачете, ножами, кидая истерзанные, изуродованные, обезглавленные голые трупы на середину улиц для острастки и наглядного урока. А последние вражьи дети — человек тридцать-сорок — были приволочены на Городские бойни, где среди содранных шкур, потрохов, луж желчи и густой крови забитого скота их повесили живьем на крючья, зацепив под мышки, за ребра, за подколенки и загривки, предварительно избив ногами и прикладами. «Кому свежего мясца? Кому свежего мясца?» — орали экзекуторы, передразнивая торговцев и лишний раз втыкая штык в какого-нибудь умирающего, до того как встать в позу перед камерой фотографа-француза мосье Гарсена, который жил в этом городе испокон веков (злые языки болтали, что он бежал с каторги из Кайенны) и изготовлял семейные портреты, навечно запечатлевая свадьбы, крещения, первые причастия и «ангелочков» — умерших новорожденных в их маленьких белых гробиках. «Улыбочку! Улыбочку! — И фотограф был готов нажать на резиновую грушу.— Два пятьдесят за полдюжины, фотография формата открытки, могу увеличить, ручная раскраска, на память... Не шевелиться... Готово... Теперь туда... На фоне тех распятых. Теперь сюда, на фоне этих повешенных... Опустите юбку той бабе, чтобы прикрыть срам... Еще разок, возле того, с вилами в брюхе... Кто закажет дюжину, даю скидку....»

Стервятники, ауры и ястребы уже кружили над Городскими бойнями. С телеграфных столбов, с тополей в парке, с балконов муниципалитета гроздьями свисали повешенные. Человек пятьдесят горняков с руками на затылке были препровождены военными на бейсбольный стадион, торжественно открытый пару месяцев назад компанией «Дюпон Майнинг К°». У ног Святой Девы-путеводительницы, возвышавшейся в опаленном алтаре среди руин ее святой обители, громоздилась куча людских тел, из которой, нарушая гармонию округлого контура, несуразно торчали чья-то нога, рука или голова с застывшей предсмертной гримасой... А ровно в полночь раздался оглушительный взрыв в заброшенном депо «Нуэва Кордоба Рэйлроуд К°». Мигель Монумент подорвал сарай динамитом, взлетел на воздух со всеми своими каменными творениями. Отдельные куски фигур евангелистов рухнули на военный отряд, прирезав трех солдат

[1] Морские пехотинцы *(англ.)*.

лезвиями своих острых нимбов, отточенных напильником вдохновенного подрывника-шахтера.

Погасив основной очаг сопротивления, Глава Нации вернулся в столицу, возложив на Гофмана, получившего за свои военные заслуги чин генерала, уже весьма несложную задачу: покарать ближние селения, оказавшие какую-либо помощь мятежникам. Доктор Луис Леонсио Мартинес сбежал в направлении северной границы по тропе вдоль какого-то сухого русла, терявшегося в безлюдных горах Ятитлана. Где-нибудь он провозгласит себя Главой правительства в изгнании, лидером Подлинной национальной партии и т. д. и т. п. и постарается слепить ее рыхлое ядро из эмигрантов-политиков, которое — это Президент хорошо знал — быстро распадется, подточенное червем соперничества и разногласий, и не будет представлять никакого интереса для тех, кто прекрасно знает, что в политике имеет цену только успех...

В честь возвращения Главы Нации в правительственные апартаменты на улицах были вывешены флаги, воздвигнуты триумфальные арки, пылали фейерверки и всюду гремел марш «Самбр-э-Мёз», который он так любил. Но на первой же своей пресс-конференции Президент, мрачноватый и словно подавленный, дал понять, что душу его снедает великая скорбь при мысли... видимо, причиной тому явились недавние события... что не весь народ беззаветно верит в его честность, бескорыстие и патриотизм. Поэтому он решил оставить свой пост и возложить свои обязанности на Председателя Сената до ближайших выборов, на которых какой-либо наидостойнейший муж, какой-нибудь добродетельнейший гражданин, обладающий неизмеримо большими, чем он, способностями направлять судьбы Нации, мог бы быть избран президентом, если — повторяю,— если плебисцит не решит иначе. И тут же был проведен плебисцит, в то время как Глава Нации занимался своими текущими делами с благородной и безмятежной отрешенностью, чтобы не сказать с достоинством глубоко, но тайно страдающего человека, который уже не верит ни во что и ни в кого, раненный в самое сердце черной неблагодарностью тех, ради кого он трудился и дни и ночи. Вот она, тщета власти! Классическая драма короны и пурпурной мантии! Горькая участь Первого из первых!..

Поскольку сорок процентов населения не умело ни читать, ни писать, были изготовлены бюллетени двух цветов, дабы упростить процедуру выборов: белый для тех, кто «за», черный для тех, кто «против». А неизвестные голоса, еле слышные и злокозненные, стали распускать втихомолку слухи в городах и селениях, в горах и на равнинах, с севера на юг и с востока на запад, что результат голосования, самого тайного, все равно будет известен сельским или городским властям. И для того уже изобретены особые приборы. Например, фотокамеры в занавесках кабин, автоматически снимающие всякий раз, как только гражданин протягивает руку к урне. Там, где нет таких аппаратов, есть люди за теми же занавесками. Также будет произведена — это уже обязательно — проверка отпечатков пальцев на бюллетенях. Не следует забывать, что в маленьких деревнях каждый знает политические взгляды соседа, и там с максимальной долей вероятности можно будет установить, кто подал эти самые двадцать голосов «против». Страх до дрожи в коленях все сильнее овладевал государственными служащими, а их было немало. С другой стороны, таинственные голоса — уже несколько громче — вещали в тавернах и публичных домах о том, что крупные компании: металлургические, банановые, текстильные и другие — уволят всех, кто выступит против продления срока полномочий Главы Нации. Неблаго-

надежные крестьяне на собственной шкуре узнают, что такое мачете сельских жандармов... Посему плебисцит увенчался поразительным единогласием и единодушием, таким единогласием и единодушием, что Глава Нации счел необходимым допустить наличие 4 781 черного бюллетеня — число было тут же представлено Доктором Перальтой,— чтобы продемонстрировать полнейшую объективность счетных комиссий...

И снова — речи, торжественные процессии, пиротехнические чудотворства и бенгальские огни. Но Президент устал. Кроме того, с каждым днем все больше начинала беспокоить правая рука — она то странно немела и тяжелела, то подрагивала, то отдавала болью в плечо, и не помогали ни массажи, ни лекарства, ни даже домашние микстуры, приготовлявшиеся Мажордомшей Эльмирой, которая, будучи дочерью колдуна, отлично разбиралась во всяких кореньях и травах: их отвары, как правило, более эффективны, чем некоторые запатентованные фармацевтические пойла, рекламируемые прессой в сопровождении прелестных сказок о Чудесном исцелении и Полном выздоровлении. Американский врач, специально прибывший из Бостона, поставил диагноз: артрит — или аналогичный недуг, но только с новым названием, похожим на те, что появляются на первых страницах прогорающих журналов и сеют еще большую панику среди больных, вселяя ужас в их души,— и заявил, что здесь, в стране, нет таких новейших физиотерапевтических аппаратов, которые могут излечить болезнь. Правительство в полном составе обратилось к Главе Нации с убедительной просьбой не пренебрегать своим здоровьем, столь дорогим для родины, и отправиться в Соединенные Штаты на лечение. Во время его отсутствия Премьер-министр мог бы исполнять президентские обязанности совместно с Генералом Гофманом, ответственным за национальную оборону, и Председателем Сената...

Одним словом, Глава Нации отчалил в США на борту роскошного парохода компании «Кунард-лайн». Однако, прибыв в Нью-Йорк, он вдруг почувствовал какую-то робость, почти детский страх — вероятно, результат утомления и нервного расстройства, связанного с недавними событиями,— перед американскими врачами с их непонятным языком, неуважительным обращением, неприятной манерой по любому поводу хватать скальпель и кромсать пациента без особой на то надобности, с их пристрастием ко всяким жутким и рискованным экспериментам, столь отличным от мягких, деликатных и мудрых терапевтических методов французских или швейцарских докторов, которые — и он подумал о Дуаене, Ру, Венсане — были в Европе истинными светилами. Белым, стерильным, безликим кабинетам здешних американских врачей с красующимися в застекленных шкафах пинцетами, зондами, зазубренными ножницами и другой адской утварью Президент предпочел бы кабинеты, украшенные пейзажами Арпиньи, портретами Каролюс-Дюрана — персидские ковры, старинная мебель, книги в переплетах XVIII века, едва ощутимый запах йода или эфира,— кабинеты докторов с эспаньолками и в сюртуках с орденом Почетного легиона, принимающих столь мило и любезно на авеню Виктор Гюго или на бульваре Малерб. «Прекрасно,— сказал Перальта.— Но... Как вы думаете, разумно ли уезжать так далеко? А если там снова затеют резню, мой Президент?» — «Эх, дружок... Все возможно в наших странах. Но сейчас это маловероятно. И отсутствовать мы будем всего лишь несколько недель. Здоровье для меня — самое главное. Я не желаю быть одноруким. Если бы еще потерять руку при Лепанто [1]... А так — чего ради? Идиотство. К тому же

[1] Греческий город, под которым во время морского сражения между испанцами и турками (1571) М. де Сервантес-и-Сааведра лишился руки.

без своей правой руки я не могу положиться даже на того, кто меня искренне любит. Ибо, когда я на родине, где так меня любит народ, я лишь тогда чувствую себя спокойным, уверенным, твердым на приемах и обедах, когда знаю, что эта штука со мной». И, кивнув в сторону своего левого плеча, где под мышкой прятался браунинг, Глава Нации не упустил случая воздать должное чуткости Гашетки и красоте Рукоятки «этой штучки». Когда он говорил, в его голосе звучала такая нежность, с какой лишь влюбленный может говорить о достоинствах своей любимой: она и верна, и послушна, и надежна, и изящна, и совершенна в пропорциях, приятна в обращении, изысканна и красива вплоть до маленького рота... то бишь дула; разит наповал, хотя и такая крошка, а на рукоятке выгравирован Национальный герб.

Таким образом отказавшись от электрических приборов, изобретений, новейших методов и столов пыток американских больниц, похожих, по его мнению, на огромные исправительные тюрьмы, Глава Нации вступил однажды утром на борт «Ла Франс», чтобы после стольких напастей и тревог вкусить прелести парижского лета — в том году такого жаркого и солнцеобильного, какого, по сообщениям газет, не наблюдалось с середины прошлого века.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Все истины могут быть правильно поняты, но не всеми — по причине предубеждений.

ДЕКАРТ

6

Путников встретил на Северном вокзале Чоло Мендоса — желтые перчатки, гардения в петлице и, как всегда, летом или зимою, серые гамаши. Получив радиограмму с борта парохода, он срочно вернулся из Виши, где гармоничное сочетание ежедневных водных процедур с ежевечерними винными возлияниями и разумное чередование «виши» с виски «бурбон» омолодили его почти до неузнаваемости. Остальные служащие Посольства проводили свои летние отпуска с детьми в Трувийе или Аркашоне. Офелия была в Зальцбурге на моцартовском фестивале, который открывался оперой «Così fan tutte»[1].

Посол изобразил на своем лице крайнюю тревогу при виде Главы Нации с рукой на перевязи — безжизненная длань покоилась в кашемировом шарфе, свисавшем с шеи. «Боли мучительны, но ничего особо опасного нет»,— пояснил Перальта. Здешние доктора с их далеко ушедшей вперед медициной одолеют недуг. А кроме того — новая обстановка, вечное движение, всегдашнее веселье, французская цивилизация... Стоит тут только вдохнуть воздух — вот так· вдох, выдох, расправить грудь... и уже чувствуешь себя лучше... Давно известно, что душевное состояние определяет физическое самочувствие и боль лишь усиливается, если сосредоточить на ней свое внимание, ибо в конечном итоге все современные психологи, равно как и Эпикур когда-то, придерживаются мнения, что и т. д. и т. п. Однако трудно разговаривать на вокзале — шум поездов, свистки, суета носильщи-

[1] «Все они таковы» *(итал.)*.

ков,— и ты, Чоло, иди-ка лучше вперед с багажом, а мы с Перальтой пойдем помедленнее: ноги затекли от долгого сидения...

И Глава Нации в сопровождении своего секретаря зашел в знакомое бистро фламандского стиля, где можно выпить горького пива «хугаарде» или крепкого «ламбика»,— в общем, все напитки были хороши, чтобы начать день, который должен быть насыщен вновь обретенными ароматами. Все было прекрасно в ту пору: и люди, сидевшие на открытых верандах кафе; и красные брюки военных, и фески зуавов, и эмблема — огненно-красная морковь — «Ле Брацца», и крики автобусных кондукторов, несчетное число раз объявлявших Оперу, Республику, Бастилию, площадь Монсо и разные остановки на пути наполеоновской славы. Вновь прибывшие были готовы подчиниться знакомому ритму беспечной жизни и направиться куда глаза глядят: от пивной «У Пантеона» к тюльпановым луковицам набережной Межисри. от книжного магазина оккультных наук Шакорнака к гимнастическому залу, где часто практиковался благородный вид боксирования в перчатках и ботинках с правом удара ногой по лицу; от небесно-голубого тента прилавков «Предметы Культа» Нотр-Дам де Виктуар к рю Сент-Аполлин, 25,— «Под зеркалами», где по утрам частенько «несла караул» одна пышная блондинка, большая мастерица по части обхождения а-ля герцог Д'Омаль, что можно сравнить с упражнениями в забавном комфортабельном манеже для лежащих всадников.

В барах на цинковых стойках и на полках за стойками все говорило на языках запаха и вкуса: сдобные булочки в маленьких плетенках. вздыбленные складками пирожные, сверкающая керамика бутылей голландского джина, лестницы деревянных полок, запруженных бочонками виноградной водки; благоухание— нечто среднее между смолой и апельсиновой коркой — «амер пикона».

«Здесь получше, чем в Пещере с Мумиями»,— пробурчал Глава Нации. И, усевшись, наконец, в авто с открытым верхом, велел везти себя на рю де Тильзит. «Париж всегда Париж»,— глубокомысленно изрек его секретарь, когда вдали показались кони Марли, неуклюже-великолепная громада Триумфальной арки...

Удобно устроившись — утонув в своем кожаном кресле,— Глава Нации почувствовал органическую потребность восстановить былые связи с городом. Он позвонил по телефону на Кэ Конти, где бывали такие приятные музыкальные вечера, но мадам не оказалось дома. Позвонил скрипачу Морелю, но тот поздравил его с приездом так поспешно и сухо, как человек, желающий скорее окончить разговор. Позвонил Луизе де Морнан, экономка которой, заставив его прождать у трубки сверх всякого приличия, изволила, наконец, сообщить, что прекрасная дама на время отлучилась из Парижа. Позвонил Бришо, профессору Сорбонны. «Я почти слеп,— сказал тот,— но газеты мне читают». И повесил трубку. «Хамом был, хамом и остался»,— подумал Глава Нации, несколько опешив от такого странного ответа и отыскивая следующий номер в своей книжечке. Он звонил, звонил, звонил; тому, другому. И чувствовал, что тон голосов — впрочем. за исключением его портного и парикмахера — как-то странно изменился. Тогда он подумал о Д'Аннунцио, который должен был быть в Париже. но служанка сказала, что ее хозяин уехал в Италию. Однако из трубки вдруг вырвался голос поэта, который опроверг сие утверждение и стал яростно поносить своих кредиторов, буквально осаждавших его дом. Да, именно осаждавших, как полчища каких-то эриний, эвменид, фурий или как псы Персефоны; здесь, везде, всюду: в бистро напротив, в табачной лавке за углом, в ближайших бу-

лочных — они сторожат его дверь, высматривают, ждут, когда он выйдет, чтобы наброситься на него и растерзать, опозорить своими наглейшими требованиями денег. «О, чего бы я только не дал, чтобы обладать правами латиноамериканского тирана и очистить рю Жоффруа Л'Анье от проходимцев и еретиков, как это сделал в Нуэва Кордобе мой благородный друг, позвонивший мне!..» Не желая подставлять себя под следующий удар — видимо, не последний,— Глава Нации стал постукивать по трубке своей авторучкой, приговаривая: «Ne coupez-pas, mademoiselle... Ne coupez-pas...» [1] — и нажал на рычажок, оборвав собеседника на полуфразе, дабы тот подумал, что нарушилась связь. Однако сам он встревожился и расстроился. Явно не знал, как оценить слово «тиран», ибо поэт всегда выбирал «образно-призрачный», не банальный способ выражения. А что касается Нуэва Кордобы, он даже представить себе не мог, что Д'Аннунцио мог знать имя этого города. В чем же дело? Видимо, следует позвонить Рейнальдо Гану, милому и любезному «земляку» из Пуэрто Кабельо. Композитор не замедлил внять телефонному зову. После обмена обычными приветствиями Рейнальдо своим тусклым голосом, лениво и равнодушно — будто рассказывая о чем-то совсем постороннем — сообщил ему, что «Матэн» опубликовала серию страшнейших репортажей о событиях т а м и что его «земляк» назван «Мясником из Нуэва Кордобы». Фотографии мосье Гарсена заняли три или четыре колонки, демонстрируя трупы, завалившие город: трупы изуродованные, трупы растерзанные, трупы, подвешенные на крючьях в Городских бойнях под мышки, за ребра и подбородки, пронзенные пиками, вилами, саблями и ножами. Были там и женщины, одни — отбивающиеся от солдат, нагишом бегущие по улицам под градом штыковых ударов. Другие — изнасилованные под сенью Храма. Третьи — распростертые во дворах. И горняки, сотнями расстреливаемые у стен кладбища под грохот военных оркестров и взвизги блестящих кларнетов. А рядом — фотография Главы Нации в походном мундире: в профиль, вполоборота, иногда спиной, но и тогда его можно было узнать по фигуре весьма внушительных размеров — отдающего приказ бить из пушек по Национальному сокровищу, по Собору Святой Девы («Не я приказывал, а Гофман»,— протестовал Глава), по этому чуду архитектуры барокко, по «Нотр-Дам Нового Света», как сказано в газете. Но, наверное, самым неприятным было то, что его сын Марк Антоний, давший интервью журналисту дня два назад на пляжах Лидо, где он проводил время в компании одной Арсинои [1] из «Комеди Франсэз», вместо того чтобы встать на защиту отца, заявил: «Je n'ai que faire de ces embrouillements sudamericains...» [2]

Только теперь дошел до ошеломленного слушателя истинный смысл многих извинений и любезных отговорок, мнимого отсутствия Луизы де Морнан и странный ответ Бришо. «Я знаю, земляк, что здесь многое преувеличено... Ныне творят чудеса в области фотографических трюков... Вы, конечно, не могли... Все это, понятно, фальшивка...» Но композитор, увы, не нашел времени отужинать с ним тем вечером в «Ларю». И назавтра тоже не обещал, ибо дал слово встретиться со своим коллегой Габриэлем Форе. К тому же так много работы: опера на либретто испанца Моратина «Девушки согласны», Концерт для фортепьяно с оркестром. Очень, очень жаль...

Совершенно сраженный, Глава Нации свалился в гамак, подвешенный по диагонали на кольцах, которые несколько месяцев назад он велел укрепить в противоположных углах своей спальни. Даже

[1] Не разъединяйте, мадемуазель, не разъединяйте... *(франц.)*

[2] Не имею отношения к этим латиноамериканским заварухам *(франц.)*.

не набросился в ярости на Чоло Мендосу, который ведь мог сообщить ему обо всем этом заранее. Он прекрасно знал, что из всех газет его дипломаты читают только «Рир», «Фантази» и «Ви паризьен» и всегда последними узнают то, что пишется об их стране. Он глядел на лепные украшения белого потолка с горьким чувством досады, какую, видимо, ему еще никогда не приходилось испытывать. Плевать на те прозвища — «мясник» ли, «варвар», «кафр» и прочие,— какими его наградили бы в местах, которые он никогда не любил и сам отзывался о них весьма неуважительно. Так, он не скрывал мнения, что Берлин по праву может называться «Медвежьим логовом» [1]; их Бранденбургские ворота — просто нелепый гранитный паровоз, который норовит раздавить само понятие архитектурной композиции. Вена, хотя и славится элегантностью и сластолюбием благодаря опереттам и вальсам, в действительности страшно провинциальна со своими расфуфыренными официериками, с дюжиной — или менее того — ресторацией, из кожи вон лезущих, чтобы казаться парижскими, и своим кофейно-молочным Дунаем, который бывает голубым, наверное, лишь 29 февраля, да и то не каждого високосного года. Берн — скучнейший городишко, загромоздивший свои улицы каменными швейцарскими герольдами и превративший дома в выставки часов и барометров. Рим, со своими театральными площадями, переулками — сплошные оперные подмостки, где прохожие (как бы ни были они одеты, что бы они ни говорили) все равно не более чем сборище хористов из опер Верди «Сила судьбы» или «Бал-маскарад». А Мадрид — вообще город второго сорта: бродячие торговцы водой, сластями и спиртным, ночные стражники со связками ключей за поясом, пирушки-тертулии в кафе... Париж — совсем другое дело. Это — Земля Обетованная, Благословенный Край, Святое Место интеллигенции, Метрополия всех образов жизни, Источник всяческой культуры, город, который год за годом в журналах, газетах и книгах восхваляли — пожив з д е с ь и в полную меру удовлетворив свое честолюбие — такие знаменитости, как Рубен Дарио, Гомес Каррильо, Амадо Нерво и многие другие латиноамериканские писатели, каждый из которых, по своему умению и разумению, сделал для себя из этого Великого города Врата Рая.

Постепенно и упорно Глава Нации тоже добивался своего, соблюдая строгие правила светского этикета: меняя костюмы в соответствии с часами, днями и временами года, преподнося щедрые, но не сверх меры роскошные подарки, рассылая огромное количество цветов, не жалея денег на благотворительных базарах и лотереях в пользу бедных, а также приобретая друзей среди артистов и писателей, открыто презиравших экстравагантности богемы; посещая все выдающиеся концерты, торжественные рауты и театральные премьеры — показывая тем самым, что в наших странах т о ж е знают толк в светской жизни. Так он вступил на путь, который еще не привел его к вожделенным страницам Альманаха Готы, но тем не менее уже трижды приводил на музыкальные вечера мадам Вердюрен, что было неплохим началом. Ему хотелось когда-нибудь — когда он будет по горло сыт заварухами и треволнениями т а м — навсегда, до конца дней своих поселиться в этом доме, который с каждым новым приездом становился все милее его сердцу. И вот теперь все пошло прахом. Навсегда закроются перед ним двери домов, о которых он мог лишь мечтать с той поры, когда был провинциальным журналистом и бродил по извилистым улочкам Пристани Вероники. Или когда, вдыхая в какой-нибудь портовой таверне чад подгоревших креветок и

[1] От Der Bär — медведь *(нем.)*.

пережаренной хамсы, уткнувшись в журналы о т т у д а, он наслаждался зрелищем великолепия, которое сотворили лучшие художники мира, смотрел на пурпур и позолоту фойе Гранд-Опера, на яркие соцветия женщин, которые выглядели на картинках какими-то жар-птицами, брильянтовыми симфониями, чудо-существами, неведомо откуда явившимися вдруг на страницы «Иллюстрасьон»...

Теперь же ему казалось, что он видит презрение и немое осуждение в глазах решительно всех, кто его окружал: камердинер Сильвестр как-то странно отводил взор, кухарка при виде его подозрительно вытирала руки о фартук — что, правда, можно было объяснить тысячей разных причин; консьержка с вытянутой физиономией даже не сочла нужным проявить интерес — или, кто знает, сочла вопрос бестактным? — к его руке на перевязи. В конце концов, желая избавиться от снедавшей его тревоги, Глава Нации, по совету Перальты, нежданно-негаданно явился к Именитому Академику, который стольким был ему обязан. Там, в мрачноватых апартаментах с видом на Сену, среди старинных книг, рисунков Хокусаи, портретов Сент-Бёва, Верлена, Леконт де Лиля и Леона Дьеркса, Президент нашел радушный прием, полное понимание и здравый взгляд на жизнь, что тронуло его до глубины души. Власть налагает ужаснейшие обязанности, утверждал его друг. «Если король исполняет обет, это страшно; и если не исполняет — тоже страшно»,— говорил он, цитируя, кажется, Оскара Уайльда. Любой народный вождь, любой популярный монарх, любой Великий Правитель имел твердую руку... Перед глазами Президента проплывали драматические и вдохновляющие видения и картины: разрушение Карфагена, осада Нумансии, падение Византии. В памяти — ни с того ни с сего, вперемежку — всплывали образы короля Филиппа и герцога Альбы, Саладина. И к тому же... Разве удавалось кому-нибудь и когда-нибудь удержать разнузданную солдатню, упоенную победой, умерить ее ярость, неистовство, жестокость? Явление прискорбное, но неизбежно повторяющееся на протяжении всей Истории. А когда надо подавить восстание индейцев и негров, ситуация еще более усложняется. Ибо в конечном итоге, если говорить честно... это был заговор — да, без всяких сомнений! — именно заговор негров и индейцев...

Снова став самим собой, обретя боевой дух в беседе, Глава Нации невольно соскользнул с рельсов своего очень правильного французского языка, очень старательного произношения и словоупотребления и в пылу красноречия обрушил на собеседника лавину креольских, в том числе отборных, словечек, которые тот в полной растерянности воспринял как речевое извержение каких-то звукообразов, недоступных его пониманию. «Индейцы, негры» — да, но далее: «самбо, чоло, пеладо агорранте, рото, гуахиро, леперо, ихо-де-чингада, чусма и моралья»[1], что Доктору Перальте пришлось перевести на французский, усовершенствованный в стенах «Буа-Шарбон» мосье Мюзара. Но самое главное — тут Президент вернулся к своему прежнему французскому,— социалисты, социалисты, входящие во Второй интернационал, анархисты, люди, проповедующие абсолютно невозможное равенство классов, толкающие к человеконенавистничеству неграмотные массы; люди, использующие в своих интересах упрямство темного народа, который отказывается от предлагаемого ему образования и фанатически верит в манипуляции колдунов, кошмарные наваждения и в святых, которые похожи на наших святых, но отнюдь не наши святые, ибо для этого невежественного народа, чуждого грамоте, «Прекрасный бог» Амьенский — просто Элегуа, «Распя-

[1] Презрительные прозвища жителей стран Латинской Америки.

тый Христос» Веласкеса — Обатала, а «Пьета» Микеланджело — Огум... Вот чего здесь не понимают... «Понимают, понимают больше, чем вы думаете»,— заметил Именитый Академик, все более размякавший и убеждавшийся в правоте гостя. Это можно объяснить—и он вернулся к Филиппу II, к герцогу Альбе, перейдя затем к Америке Кортеса и Писарро,— испанской кровью, исконным испанским темпераментом, испанской инквизицией, боями быков: бандерильи, плащ и шпага, лошади с распоротым брюхом, блестки и пасодобли. «L'Afrique commence aux Pyrénées» [1]. Такая, мол, кровь у латиноамериканцев течет в жилах, такова роковая неизбежность. Народ там не похож на народ здесь, хотя, впрочем, есть и некоторые приятные исключения, ибо, в конце концов, Сервантес, Эль Греко, который, кстати говоря, был открыт для мира гением француза Теофиля Готье... В этот момент, не вытерпев, бывший школьный учитель, коим был Перальта, подскочил на месте, взревев от ярости: «Je vous emmerde avec le sang espagnol!» [2] И с горячностью, презрев всякий пиетет, красочно живописал оторопевшему Именитому Академику, словно чередуя картины волшебного фонаря, преступления Симона де Монфора и кровавые крестовые походы против альбигойцев, зловещую фигуру Робера Гискара, героя его собственной драмы, приобретенной нашей Национальной библиотекой, драмы, повествовавшей о том, как этот нормандский разбойник вырезал пол-Рима; Варфоломеевскую ночь — общепринятый синоним ужаса; преследования гугенотов-«камизаров» в Севенских горах, массовые убийства в Лионе, кровопролитие в Нанте, белый террор после Термидора и прежде всего, да, прежде всего, если проводить более точные параллели,— последние дни Коммуны. Вот где французы, самые интеллигентные и самые цивилизованные люди в мире, после того как было сломлено сопротивление революционеров, прикончили без колебаний более семнадцати тысяч человек. Лазарет семинарии Сен-Сюльпис — «Oh ! Fuyez douce image!» [3]— версальцы превратили в сплошной эшафот. А мосье Тьер, прогулявшись после расправы по Парижу, заявил как ни в чем не бывало: «На улицах — горы трупов, но это ужасное зрелище должно послужить неплохим уроком». Газеты той поры — версальские прежде всего — призывали буржуазию к крестовому походу, с кровопусканием и резней. Возьмем более близкое время... Что вы мне скажете о жертвах забастовки в Фурми? И еще более близкое! Очень ли был любезен великий Клемансо с забастовщиками в Драveле или в Вильнёв-Сен-Жорж?.. А?..

Не выдержав лобовой атаки, Академик обернулся лицом к Главе Нации: «Tout cela est vrai. Tristement vrai. Mais il y a un nuance, messieurs...» [4]. И затем, после долгой торжественной паузы, он напомнил, смачно и звучно произнося каждое имя, что Франция подарила миру Монтеня, Декарта, Людовика XIV, Мольера, Руссо, Пастера. Президент хотел было ответить, что, несмотря на свою более короткую историю, его Континент тоже успел породить борцов за свободу и святых, героев и мучеников, мыслителей и даже поэтов, которые модифицировали, правда не лучшим образом, литературный язык Испании, но подумал, что названные имена все равно останутся пустым звуком для той культуры, которая о них не ведает. Тем временем Перальта все более и более припирал Академика к стенке: именно потому, что здесь звучит александрийский стих Расина и всем хорошо известно «Рассуждение о методе», некоторые варварства никак нель-

---

[1] Африка начинается за Пиренеями *(франц.)*.

[2] На... я на вас хотел вместе с вашей испанской кровью! *(франц.)*

[3] Здесь: да, прелестная картинка! *(франц.)*.

[4] Все это правда. Печальная правда. Но есть один нюанс, господа... *(франц.)*

зя оправдать. Неприлично, например, что мосье Тьер, первый Президент Третьей Республики, известный знаток и историк эпохи Революции, Консульства и Империи, прославился также и зверской расправой с Коммуной, расстрелами на кладбище Пер-Лашез и ссылками в Новую Каледонию — и поэтому гораздо менее неприлично то, что какой-то Вальтер Гофман, внук самбы [1] и гамбургского иммигранта, липовый пруссак и бивуачный тенор осуществил — ибо это именно он виновник всего происшедшего — карательную операцию в Нуэва Кордобе... «La culture obligue, autant que la noblesse, monsieur l'Académicien» [2]. Видя, что брови его знаменитого друга печально ползут к переносице, Президент устало шевельнул рукой, призывая своего секретаря уняться, а сам, впав в черную меланхолию, съежился в вольтеровском кресле. Взгляд его блуждал по вещам — портретам, старинным книгам,— не видя их. Академик, напротив, вскочил вдруг с места и, будто не видя Перальты, задел его плечом. «Pardon! — Наступил ему на ногу.— Je ne vous ai pas fait mal? — И стал ходить по кабинету с чрезвычайно озабоченным видом.— On peut essayer! Peut-être...» [3] Затем позвонил по телефону Главному редактору газеты «Матэн». Фото мосье Гарсена — ах, этот проклятый француз из Нуэва Кордобы! — доставлены сюда студентами, которые бежали о т т у д а и сейчас бродят по Парижу, занимаясь болтовней и агитацией в кафе Латинского квартала. Газета не хочет идти на попятную и снять уже анонсированные статьи. Говорят, что газету недавно купил человек, владеющий огромным состоянием. Можно было бы вырвать лишь одну уступку: попросить не помещать подготовленное для завтрашнего выпуска фото, на котором Глава Нации изображен рядом с трупом, прислоненным к стойке в винном погребке как раз под календарем, где можно ясно различить дату убийства. «Да, тут мы дали маху»,— грустно прошептал бедняга Президент. Эх, если бы случилось что-нибудь,— ну, хоть что-нибудь! — могущее отвлечь внимание публики: кораблекрушение, подобное катастрофе с «Титаником»; какая-нибудь комета Галлея, предвещающая конец света; новое извержение Мон-Пеле, землетрясение в Сан-Франциско; великолепное убийство, подобное убийству Гастона Кальметта, совершенному мадам Кайо [4]... Так нет же, ничего. Тем гнусным летом не происходило ровным счетом ничего. И все отвернулись от него в единственном месте Вселенной, где он еще как-то считался с мнением людей.

Видя Президента в таком тяжелом душевном расстройстве, в полной прострации, сутулившей ему спину и туманившей взор, Именитый Академик вложил в долгое пожатие его левой руки весь пыл своей дружбы и доверительно стал шептать о возможной контратаке. Французская пресса — как ни печально признаться в этом — легко идет на подкуп. Газеты, которые, получив в свое распоряжение определенные фонды (Глава Нации с готовностью кивнул), могли бы, ну, вы меня понимаете... Надо только не дремать.

И вот три дня спустя «Журналь» уже стала публиковать серию статей под общим названием «Латинская Америка — Непознанный край», где, бросаясь от универсального к местному, от общего к частному, от Христофора Колумба к Порфирио Диасу (походя было замечено и о том, что такая великая страна, как Мексика, не сумев вовремя обуздать революцию, допустила страшную анархию...), дошли, наконец, и до нашей родины, воздавая хвалу ее водопадам и вулканам,

---

[1] Дочь негра и индеанки.

[2] Культура так же обязывает, как и положение, мосье академик *(франц.)*.

[3] Извините. Я вам не сделал больно? Можно попробовать! Может быть... *(франц.)*

[4] Речь идет об убийстве редактора газеты «Фигаро» Г. Кальметта женой французского министра финансов Кайо.

ее кенам и гитарам, ее блузам — уипилям и ликилики, ее хижинам, ее кукурузным лепешкам с разными специями, ее мясным похлебкам с перцем, а также другим блюдам, не забыв и о великих поворотах ее Истории — истории, которая принуждала страну вступать в эру прогресса, развития сельского хозяйства и общественных работ, расширения сети школ и установления прекрасных отношений с Францией и т. д. и т. п., благодаря дальновидной и проницательной политике Главы Нации. В то время как остальные молодые республики Континента погружались в пучину хаоса и беспорядка, эта маленькая страна возвышалась над ними, служила примером и т. д. и т. п. Однако при этом нельзя и забывать, что, имея дело с народностями, как правило, невежественными и непокорными, легко поддающимися подстрекательским проповедям, учитывая распространение вредных, анархистских идей, только лишь энергичное правительство может принять энергичные меры, иной раз не будучи, правда, в состоянии остановить спровоцированных врагом, разозленных, ожесточившихся солдат, которые совершают достойные сожаления проступки, но тем не менее при этом разумеется, что...

«О! Замечательно, мой Президент! — восклицал Доктор Перальта, читая и перечитывая статьи.— Теперь мы приструним вонючих студентишек, взбаламутивших Латинский квартал своими митингами и своими листовками, которых никто не читает».

В это же время Глава Нации получил телеграмму с извещением об отправке в Париж ящика, волшебного ящика, чудесного ящика, самой судьбой уготованного к этому часу ящика, который недавно был погружен на пароход в Пуэрто Арагуато и в котором ехала со всеми своими украшениями, нарядами и костями мумия — Мумия той злосчастной ночи,— предназначенная для музея Трокадеро. Ловко подправленная не видимыми глазу скрепками и заклейками, посаженная в новый погребальный кувшин с проломом впереди — достаточно большим, чтобы скелет был виден во всей его красе,— она была прекрасно реставрирована одним швейцарским таксидермистом, который обычно бальзамировал пресмыкающихся и птиц, но в данном случае превзошел самого себя. Итак, Мумия была в пути, пересекала океан, прибывала вовремя, очень вовремя, чтобы снабдить материалом определенную часть прессы, которая, сказать по правде — Президент с каждым днем все более поражался скрытым резервам ее алчности и наглости,— казалась просто ненасытным чудищем. Ибо отныне дом на рю де Тильзит был объектом настоящих атак с раннего утра до позднего вечера. Тут были журналисты, борзописцы, публицисты, хроникеры, редакторы каких-то газет, никем не виданных ни в киосках, ни на лотках; репортеры-«слухоловы», люди в сюртуках, люди в потертых костюмах, люди в цилиндрах, люди в кепи, люди со стилетом в трости, с моноклем, запачканным яичным желтком,— так называемые специалисты по внешней политике, которые об Америке знали лишь то, что там есть Кондор из романа «Дети капитана Гранта», Последний из могикан, Перикола и аргентинское танго «Эль чокло», сенсация тех дней...— люди, приходившие ежечасно «в поисках информации», заявлявшие с ноткой угрозы в голосе, что получают потрясающие новости о т т у д а, из нашей страны; что знают о жестоких преследованиях студентов и журналистов т а м; об опасности, нависшей над многими европейскими капиталовложениями, и самое интересное, да, самое интересное, о странном, удивительном самоубийстве мосье Гарсена — бывшего каторжника, но, как ни говори, француза,— чье тело было недавно найдено висящим на брошенной землечерпалке в нескольких километрах от Нуэва Кордобы. После «Пти журналь», которая в ту пору несла не-

малые убытки, сюда являлась «Эксельсиор», ехидно напоминая о том, что на ее страницах иллюстративный материал выглядит особенно красочно и броско; за «Кри де Пари» жаловала «Либр пароль», и вот так, начиная от великих и малых, от бульварных газет и скандальных журналов, кончая провинциальными листками, ежедневно лезли в двери коварные вымогатели, с которыми надо было разговаривать языком денежных знаков при магическом содействии образа Мумии. Они получили ее фотографии во всех видах; они любовались Бабушкой Америки, возраст которой, в зависимости от силы воображения редактора, мог насчитывать две тысячи, три тысячи, четыре тысячи лет,— это был самый древний памятник Континента, и его появление с головокружительной быстротой отодвинуло назад начало Истории Латинской Америки. Честь и хвала нашим научным учреждениям, честь и хвала Главе Нации, герою сенсационной находки; тысячи благодарностей за столь щедрый дар музею Парижа.

Но Мумия не приехала. Отправленная на шведском судне в Шербур, она по ошибке попала в Гётеборг, куда на ее поиски и отправился Чоло Мендоса... А тем временем вечно требующие, вечно угрожающие репортеры продолжали атаковать рю де Тильзит, жаждая «новостей». «Я больше не могу, больше не могу! — вскричал Глава Нации после визита редакторши «Лизе-муа Блё».— Эти кровопийцы оставят меня без медяка в кармане! Пусть болтают что хотят, но я им больше не дам ни сантима!» Но сам давал и давал, потому что Мумия, сфотографированная вдоль и поперек, описанная до косточки, детально сравненная с другими мумиями — из Лувра, из Британского музея...— уже не давала пищи для статей. В поисках новых сенсаций Перальта изыскивал случаи явлений Богоматери народу, чтобы сравнить их с чудесами нашего культа Святой Девы-путеводительницы,— эта тема могла бы заинтересовать читателей католических изданий... И вот из такого-то тяжкого положения его вывел пистолетный хлопок в Сараево [1], прозвучавший до выстрелов в кафе дю Круассан, где убили Жореса. «Слава тебе господи, наконец что-то случилось на этом драчливом континенте!» — сказал Глава Нации. Второго августа была объявлена всеобщая мобилизация, а третьего — война...

«Не впускать ни одного журналиста в мой дом»,— сказал Президент Сильвестру. «Теперь можно и отдохнуть»,— сказал Доктор Перальта... И тем же самым вечером Глава Нации вернулся к своей прежней нормальной жизни. Он посетил со своим секретарем «Буа-Шарбон» мосье Мюзара, рю Сент-Аполлин, 25, — «Под зеркалами» — дом воспитанниц английского колледжа и сестричек Сен-Венсан де Поль. Всюду обсуждали последнюю новость. Одни говорили, что война долго не продлится и французские войска скоро вступят в Берлин. Другие говорили, что война будет затяжной, трудной, страшной. «Ерунда! — сказал Президент.— Франко-прусская война 70-го была последней войной, ибо она была последней классической войной». Один известный английский экономист перед этим заявил («Вы, кстати, можете купить его книгу в издательстве Нелсон...»), что ни одна цивилизованная нация не в состоянии нести тяжкое финансовое бремя долгой войны. Новейшее оружие, мол, слишком дорого, и едва ли нашлась бы такая страна, которая могла бы расходовать средства на содержание армий, уже насчитывавших миллионы человек. Кроме того, французский Генеральный штаб уже объявил: «Три месяца, три битвы, три победы»...

[1] 28 июня 1914 г. в югославском городе Сараево сербскими националистами был убит австрийский эрцгерцог Франц-Фердинанд, что послужило поводом для начала первой мировой войны.

В ту же пору из Зальцбурга, через Швейцарию, вернулась Офелия, зачавшая от Папагено из «Волшебной флейты». Она так глупо дала провести себя и вернулась разъяренной — разъяренной потому, что избавиться от «этого» надо было где-то в другом месте, ибо там стервецы врачи ни за какую цену не соглашались на такого рода хирургическое вмешательство, разъяренной потому, что публикации «Матэн» получили резонанс в немецких и австрийских газетах, а в мюнхенском «Симплициссимусе» появилась карикатура, где Глава Нации изображен в широкополом мексиканском сомбреро с патронными лентами крест-накрест, с большим брюхом миллионера и с гаванской сигарой в оскаленной пасти, стреляющим в коленопреклоненную крестьянку. Ultima Ratio Regum [1] — гласила надпись... «Ты всегда садишься в лужу! — вопила Инфанта.— Макакам не спрятать хвост под фраком! Если ты стольких прихлопнул, мог бы кокнуть и фотографа!» — «Его уже убрали!» — «Опомнился! Лучше поздно, чем никогда! Слава богу, что этого эрцгерцога вовремя шлепнули! Может, хоть теперь забудут твои дикие выходки! Весь свет от нас отвернулся! Мы погибли. Сидим в дерьме по самую...» — (Ее палец при этом чиркнул по шее...)

Глава Нации вытащил свою правую руку из шелковой перевязи. К ней вернулась подвижность, и локтевой сустав уже не причинял страданий. Президент мог снова поглаживать рукоятку своего пистолета. Бросив Офелию, кричащую и стучащую ногами об пол (должно быть, перебрала виски в вагоне-ресторане), он отправился ужинать с Доктором Перальтой в погребок неподалеку от вокзала Сен-Лазар, где за длинным столом, уставленным кувшинами с вином, можно было отведать восемьдесят сортов сыра — и среди них один особый, козий, благоухающий ароматическими травами, острый вкус которого напоминал куахаду андских долин.

7

Чем больше мы о себе мним, тем нетерпимее относимся к обидам.

ДЕКАРТ

Стояло такое прекрасное солнечное лето, какого давно не отмечалось в метеорологических анналах Европы. Весело шептались каштаны и не стихал птичий гомон среди статуй в парках Тюильри и Люксембургском, несмотря на тревожную военную обстановку в Париже, который, говоря по правде, был изрядно обескуражен ходом событий, и, хотя ряд признаков уже предвещал драматический исход войны, для многих это было неприятным сюрпризом, особенно для тех, кто помнил эпохальные волнения 1870 года. Глава Нации тем временем положил конец дорогостоящей шумихе, которую, наперебой восхваляя его страну и его правительство, подняли газеты,— на их страницах публика теперь искала только то, что относилось к шабашу ведьм в Европе. Эта шумиха стала ненужной по двум причинам — из-за новых происшествий и из-за того, что, откровенно говоря, ему не удалось восстановить свое реноме там, где он жаждал этого больше всего. Во всяком случае, ничто не подтверждало успеха. Никто не позвонил ему по телефону, чтобы выразить восторг по поводу хотя бы одной публикации,— кроме, впрочем, его портного и парикмахера. Лица, представлявшие для не-

[1] Последний аргумент королей *(лат.)*.

го особый интерес, проводили лето неизвестно где, благоразумно продлив свой летний отдых ввиду развертывавшихся событий. От Рейнальдо Гана, которому он отважился задать вопрос, был получен неопределенный, вежливый, но уклончивый ответ: «Да, да, читал... Все очень хорошо... Поздравляю вас, земляк»... В общем, было ясно, что в конце года, когда он снова окажется на родине, ему уже не придется получать из Парижа ни поздравительных открыток с колоколами и омелой, ни писем на прекрасной бумаге с водяными знаками и порой с автографами, более дорогими его сердцу, чем все посвященные ему панегирики отечественной прессы,— автографами, начертанными рукой высокочтимых и достойных восхищения особ в ответ на его учтивейшие рождественские поздравления, всегда сопровождавшиеся какой-нибудь милой поделкой наших кустарей.

Итак, надо было отказаться от мысли приручить Важных Персон, на общение или тесное знакомство с которыми он рассчитывал в будущем, когда отступится от своей Высокой Должности — пресытившись властью, утомившись делами или кто знает почему...— и приедет провести последние дни жизни в этом уютном и радующем душу пристанище на рю де Тильзит. У него не было намерений тотчас покидать Париж (по правде говоря, ему и бояться-то было нечего): подходил к концу курс лечения больной руки, уже почти восстановленной по методу доктора Фурнье, госпитального врача, который по долгу службы не эвакуировался из города. В сопровождении своего секретаря Президент совершал долгие пешие прогулки без определенной цели в ожидании вечерних выпусков газет и порой добирался, когда вдруг хотелось вдохнуть свежий запах зелени, до Булонского леса, где аллея «Sentier de la vertu» [1] ныне была пуста, а лебеди на озере вопросительно вытягивали шеи в напрасной надежде на то, что, как совсем еще недавно, прохожие и дети бросят им кусочки бисквита. Оба располагались на террасе «Пре-Катлан», с грустью вспоминая о былых веселых и фривольных развлечениях, хотя иной раз Глава Нации, переходя от доверительного монолога к полуисповеди, начинал рассматривать эту войну, к удивлению Перальты, сквозь призму этакого всевидящего опечаленного моралиста. Богатые, обленившиеся нации, говорил Президент, хиреют и теряют свои основные достоинства. Эстетизм — это хорошо, но человек, дабы укрепить мускулы, которые слабеют от чрезмерно долгого созерцания Красоты, жаждет, после пребывания в длительном трансе, Борьбы, жаркой схватки, битвы не на жизнь, а на смерть. Прекрасен образ Людвига Баварского, воспетый нашим Рубеном Дарио и даже Верленом, но для объединения и возвеличения раздробленной и впавшей в спячку Германии более полезен грубый, неотесанный Бисмарк со своим воинственным пылом, чем правитель-музыкант, строитель поэтичных, но по существу ненужных замков. Эта драка не будет ни долгой («три месяца, три битвы, три победы», утверждали его собственные генералы), ни такой кровопролитной, как в 1870-м, ибо народы, уже наученные горьким опытом, не дадут ей вылиться в нечто, подобное «мерзкой Коммуне». А Франции полезна встряска, сильнодействующее лечение, шок, чтобы покончить с ее летаргическим самодовольством. Зазналась, нужно дать ей урок. Все еще полагает, что мир живет по ее указке, а на самом деле исчерпала свои великие духовные возможности и вступила на путь явного декаданса. Пришел конец царствованию Литературных гигантов: Гюго, Бальзака, Ренана, Мишле, Золя. Здесь уже перестали появляться всемирно значимые величины, и потому Франция начала искупать великий грех, который

[1] Стезя добродетели *(франц.)*.

в наш многообразный век состоит в пренебрежительном, презрительном отношении ко всему тому, что существует за ее границами. Все, что чуждо его стране, нимало не интересует француза, убежденного, что он живет для того, чтобы доставлять удовольствие человечеству. Но перед ним встает теперь во весь свой рост новый человек, который вселяет ужас громогласным утверждением своей воли и который, вероятно, станет властелином эпохи; ницшеанский человек, обуреваемый неистребимой Жаждой Власти, трагический и агрессивный герой спектакля под названием Вечное Повторение Прошлого, возвращающегося снова в действиях, которые потрясают мир...

Перальта, знавший скромные мыслительные возможности своего господина, был уверен, что Глава Нации никогда не читал Ницше и цитирует его с таким авторитетным видом только потому, что в какой-нибудь вчерашней статье натолкнулся на его изречения, конечно, приведенные в кавычках. Кроме того, постигнув изменчивый нрав Президента, Перальта понял, что за этими неумеренными излияниями кроется жгучее возмущение людьми, которые унизили и оскорбили его, захлопнув перед ним двери своих домов. Произнося имена Бисмарка или Ницше, Президент мысленно направлял орудия своего злопамятства в сторону обжоры Бришо, наглецов Курвуазье, Форшевиля и графа Д'Аржанкура. Последний же, этот незадачливый дипломат, случайно встретив Президента в книжном магазине, где они оба покупали порнографические книжки под такими научно-историческими названиями, как «Краткое изложение индуистского эротизма» или «Фривольные авторы XVIII века», но иллюстрированные весьма современными фотографиями, и вовсе отвернулся от него с холодным презрением, не ответив на поклон. Перальта видел это и злонамеренно подливал масло в огонь, еще больше распаляя гнев Президента вескими аргументами, которые он нашел в прочитанных недавно — на скорую руку, в трудные минуты жизни — писаниях о явлениях Богоматери народу, когда подбирал материалы для статей о «Чуде в Нуэва Кордобе», статей, которые уже не будут ни напечатаны, ни тем более оплачены. Однажды утром он неимоверно развеселил Главу Нации, показав ему текст, где один видный католический писатель утверждал, что после «избранного израильского народа» господь бог, мол, более всех любит народ Франции. Без Франции «бог не был бы истинным богом», утверждал писатель. Кроме того, важные факторы подтверждали его правоту: фраза «...посмотрите на лилии полевые...» из Евангелия от Матфея предрекала, конечно, появление Флор-де-Лис Французского Королевства; Петух, упоминаемый на Евхаристическом общении во время Вечери,— явный намек на Галльского петуха. Франция Лилии, Франция Петуха, Франция Пречистых Хлеба и Вина — страна Избранного Народа, что в наши времена, добавляет автор, подтверждается тремя явлениями Богоматери в течение тридцати трех лет: в Понмэне, в Лурде и в Ла Салете....

Никогда так не смеялся Глава Нации, как в этот раз, услышав о стольких чудесах: «Значит, Франция и есть земля Святого духа? А куда же денет сей сеньор Испанию, которая насадила католическую веру на громадном куске планеты от мексиканской Рио Гранде до льдов Южного полюса?.. А что же говорить тогда о наших Святых Девах!» Великолепная Дева Гуадалупанская из Тепеяка, Дева из Кобре на Кубе, Дева из Реглы, покровительница моряков и рыбаков, Дева из Валье в Коста-Рике, Святая Дева-путеводительница нашей страны, Дева из Чикинкира, надменная и пышногрудая, Дева из Коромотос, Великие воительницы за Веру — Дева из Кинче в чине генерала Эквадорской армии и Дева из Мерседес, Патронесса Армии и

Маршал Перу? И всегда рядом с ними — монах-миссионер Сан Педро Клавер, покровитель рабов, и Санта Роса из Лимы, истинная Королева Континента. Беспрепятственно наступает сия Чудотворная рота Дев во славе и блеске, слегка запятнанная смуглым ликом Девы из Реглы и карими глазами Девы из Коромотос. Шествуют Девы, всемогущие и милосердные, нарядные и стройные, награждая людей Семью болестями и Семью радостями, принося с собой чудеса, счастье, утешение и исцеление; всегда готовые откликнуться на зов, сотни раз виданные, сотни раз слышанные, усердные и щедрые, всевидящие и вездесущие, они являются — как явился Спаситель Святой Терезе — и из Морских Глубин, и в высях Башен из Слоновой Кости. Но прежде всего — они матери, Матери божественного Младенца, который, прободенный в бедро, воссядет однажды одесную Бога, ниспосылающего милости и налагающего кары свои, невзирая на лица, и будет судить нас, живых и мертвых... Девы — только у нас, Девы истинные и подлинные, и настанет время, когда собьется спесь с французов, со здешнего люда, убийственно невежественного в отношении всего того, что к ним не относится. Теперь они тут узнают, что такое сильный, знающий цену порядку и дисциплине, восходящий народ.

И Германия, где он был всего лишь несколько раз, вдруг предстала перед ним этакой огромной, великолепной панорамой со Шварцвальдами, Миннезингерами, Королями-воинами, Кафедральными соборами, где под стрельчатыми сводами окон ровно в полночь показываются Апостолы и Герольды, а рядом — Рейн, великий Рейн со своими удивительными замками — воспетыми и нарисованными Виктором Гюго,— и Ундинами, которые ловят юношей в сети, сплетенные из собственных волос. А эти празднества, где пиво льется рекой и танцуют веселые люди с толстыми ляжками, люди, умеющие сочетать йодли под аккордеон с философским духом (о, этот увитый плющом Гейдельберг!), с математическим гением, с культом Повиновения, с любовью маршировать колоннами по десять человек в ряд, в общем, со всем тем, чего недостает этим вонючим латинянам Второго Декаданса. Но теперь-то они узнают хорошую жизнь, когда под Триумфальной аркой продефилируют генералы Мольтке, Клюк, Бюлов и Фалькенхайн на буланых конях под звуки грандиозного марша из «Тангейзера», который, в такт строевому шагу, будет исполнен более четко, чем обычно — в оперных театрах. В этот день Германия сыграет, наконец, роль «живительного фермента», пророчески отведенную ей Фихте в историческом манифесте — манифесте, который Глава Нации, конечно, тоже не читал, подумал Перальта, хотя ему никак нельзя отказать в восхитительном умении употреблять к месту чужие мысли и слова.

Встревоженные опасностью, которая грозила Парижу (хотя люди на улицах все еще кричали: «На Берлин! На Берлин! На Берлин!..»), спрашивая себя — не лучше ли перевести свои представительства в Лион, Марсель или Бордо, консулы и ответственные сотрудники латиноамериканских посольств собирались — за рюмкой аперитива утром, за рюмкой аперитива днем и за многими вечерними рюмками — в кафе на Елисейских полях, чтобы обсудить события дня. Внимательно прислушиваясь к высказываниям на этих сборищах и запоминая мнение каждого, Чоло Мендоса приносил новости, которые соответствовали интуитивному решению Главы Нации. (Он получил от своего земляка Хуана Висенте Гомеса [1], Генерала из генералов, приверженных кайзеровским усам и вросшему в глаз моноклю, кон-

[1] Х. В. Гомес (1859—1935) — президент, фактический диктатор Венесуэлы в течение тридцати лет.

фиденциальный совет — переданный устно, ибо венесуэльский диктатор боялся насмешек над своей малограмотностью,— мудрый совет быть подальше от европейских дел: «Когда грызутся взрослые собаки, не лезь, щенок, в их драки».) Почти все дипломаты симпатизировали Франции — у одних там были чисто эстетические, у других — душевные привязанности, одни любили ее литературу, другие любили ее женщин в свободное или несвободное от немудреной дипломатической службы время, которое в целом уподоблялось долгим веселым каникулам на весь срок существования данного правительства и именно в этом месте, где было особенно приятно их проводить,— однако многие не сомневались в том, что Францией война проиграна. Оставалось лишь наблюдать неразбериху, безалаберщину, pagaille [1], творившиеся в стране, хотя и не находившие своего отражения в газетах, которые обычно искажали события, как утверждал сам доктор Фурнье. На улицах распространялись новости совсем иные, чем те, которыми были напичканы статьи Барреса, Деруледа [2] и других Тиртеев [3], поднимавших боевой дух нации. Говорили, к примеру, о «неприкаянных» полках, не имеющих ни командира, ни офицеров и направляемых туда, где вовсе не было военных действий; о том, что винтовки есть, но нет патронов; снаряды есть, но пушек нет. И конечно — всюду слухи, такие фантастические и страшные, что сразу же принимались на веру в кафе, в подъездах и в толпах уличных стратегов: под самым Парижем уже видели двух немецких уланов, существует строжайше засекреченный немецкий проект проникновения в город по туннелям Метро; везде и всюду шныряют шпионы — высматривают, подслушивают и передают врагу сигналы по ночам из мансард с помощью раздвижных штор, пользуясь световым шифром, изобретенным одним прусским криптографом... Из наших стран уже пришли первые газеты, освещавшие «Европейскую войну» — тему новую, тему благодатную, тему великолепную в нашей однообразной жизни — и подававшие материалы страстно и сенсационно. Снова появились крупные заголовки и телеграфные сообщения «В последний час», набранные двенадцатипунктовым шрифтом, как бывало в волнующие времена, с пометкой «Важное известие», которое помещалось в рамку. Многие наши пылкие сограждане, привыкшие не реагировать на местные конфликты из страха перед репрессиями, волновались, ликовали, облегчали душу катарсисом, сопереживая прекрасную далекую трагедию, которая разыгрывалась на мировой авансцене. Наконец-то можно было дискутировать, спорить, открыто высказывать свое мнение, не соглашаться (ругать фон Тирпица, критиковать нейтралитет итальянцев, насмехаться над турками...) — в соответствии с тенденциями, общими для всех стран нашего континента. Т а м, на родине, германофилами были священнослужители, ибо нечестивая Франция первой ввела светское образование и отделила церковь от государства, а также чистокровные испанцы, многочисленные потомки и родственники немецких иммигрантов, которые вместе с приверженцами узкого офицерского клана — их в шутку называли «Вторыми Фрициками» — заранее аплодировали второй победе Кайзера. «Союзниками» (слово «Антанта» никак не прививалось) были представители интеллигенции, писательских и университетских кругов, читатели Рубена Дарио или Гомеса Каррильо; люди, уже побывавшие в Париже или мечтавшие сюда приехать:

---

[1] Суматоха *(франц.)*.

[2] П. Дерулед (1846—1914) — французский националист, автор бездарных шовинистических стихов и песен.

[3] Тиртей — греческий поэт (VII в. до н. э.), воспевший воинственный дух и силу спартанцев.

школьные учителя, вольнодумцы-самоучки, медики с парижским дипломом, а также немалая часть буржуазии, прежде всего та, что на своих балах и вечерах иной раз объяснялась по-французски — так же аффектированно и литературно, как персонажи из «Войны и мира»,— и вообще весь наш народ, ибо француз в латиноамериканских странах занимался, как правило, коммерцией, не составляя при этом конкуренции местному жителю; был со всеми любезен и мил и, не стесняясь, ложился в постель с самбами и чолами, чем весьма отличался от тех, кто сидел, запершись, при мюнхенских свечах в своих «Немецких клубах», в своих «Немецких кафе»; кто имел официально подтвержденный белый цвет кожи и встретил бы здесь любого негра или индейца, ощерив клыки Фафнера [1]...

Так, в сомнениях и колебаниях прошел конец августа, хотя Глава Нации наблюдал течение дней и ход событий с почти веселым любопытством. Судя по быстроте проводимых операций, армии Мольтке без особых затруднений вскоре подойдут к Триумфальной арке, ибо теперешним французам-генералам далеко до тех, чьи имена высечены на громаде наполеоновского монумента. И этот чванливый и развратный город подвергнется такому очищению огнем, какого не предвидел ни один здешний католический писатель, сравнивая Париж с Содомом и Гоморрой и даже с распутным Вавилоном, после эрекции (это слово, как сказал Флобер, следует употреблять лишь в разговоре о статуях и архитектурных сооружениях) его Эйфелевой башни, Вавилонской башни, этого современного Маяка космополитизма.

Однако Глава Нации, любитель раздавать индульгенции, если чьи-либо действия не вынуждали его быть Карающей десницей, помышлял не об огне пожарищ или разверстых небесах, а лишь о моральном очищении и наказании Высокомерных и Самодовольных, которым придется усмирить свою гордыню мольбой о мире. А потому желанный очистительный огонь не должен причинить ущерб ни фрескам Пантеона, ни розовым камням Вогезской площади, ни витражам Нотр-Дама, или поясам целомудрия аббатства Клюни, фигурам и виденьям музея Гревэн или раскидистым каштанам на авеню, где живет графиня де Ноай (хотя и она от него отвернулась); ни, конечно же, музею Трокадеро, где вскоре под стеклом будет красоваться наша Мумия, которую Чоло Мендоса отправится искать в Гётеборг, как только кончится война. И в самом деле, до окончания войны, казалось, оставались считанные дни...

Однако днем 5 сентября началась битва на Марне. («Войну не выиграешь одними шоферами такси»,— иронически заметил Глава Нации.) Скоро обнаружилось, что, вопреки тактической и стратегической установке Жомини, французская линия фронта не имела центра (!), ибо здесь у нее была лишь слабая кавалерийская застава. 8-го стало казаться, что эта сторона потерпит поражение. Но 9-е число принесло победу.

В тот же вечер латиноамериканские дипломаты, собравшиеся в кафе на Елисейских полях, отпраздновали триумф, приглашая выпить вместе с ними всех проходивших мимо проституток, в то время как Глава Нации, который впервые посетил сие собрание — величавый патриарх в сюртуке, общепризнанный кладезь житейской премудрости,— проворчал: «Да... Но это еще ничего не решает». На следующий день он встал рано утром в дурном настроении и вперил взор в Триумфальную арку, которая то росла на глазах, то тут же умень-

[1] Фафнер — сказочный великан, убивший из-за золота родного брата и обернувшийся драконом (древнегерманская мифология), также персонаж тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга».

шалась в зависимости от того, кому желал он поражения. Закончив курс лечения, он уже подумывал о возвращении т у д а. Свое дальнейшее пребывание здесь оправдывать становилось трудно, и к тому же оставалось все менее надежд увидеть победный марш германцев с их военными оркестрами, одновременно оглушающими и вызывающими смех ненатурально-чеканным шагом и видом едва не лопающихся щек трубачей, ведомых толстым тамбурмажором. И только было собрался Глава Нации позвать Перальту, чтобы вместе прогуляться в «Буа-Шарбон» к мосье Мюзару, как вдруг его секретарь сам вошел к нему с искаженным лицом и вручил ему длинное послание на голубой бумаге: «Прочтите... Прочтите...» Это была телеграмма от Роке Гарсиа, Председателя Сената:

«ИМЕЮ ЧЕСТЬ ИЗВЕСТИТЬ ВАС ГЕНЕРАЛ ВАЛЬТЕР ГОФМАН ПОДНЯЛ ВОССТАНИЕ В СЬЮДАД МОРЕНО С ПЕХОТНЫМИ БАТАЛЬОНАМИ 3. 8. 9. 11. ТАКЖЕ ЧЕТЫРЬМЯ КАВАЛЕРИЙСКИМИ ПОЛКАМИ ВКЛЮЧАЯ ГУСАРОВ «РЕСПУБЛИКА» ТАКЖЕ ЧЕТЫРЬМЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПОД ЛОЗУНГОМ «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОНСТИТУЦИЯ ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА»...»

«Подонок, так его растак, сукин сын!» — взвыл Глава Нации. Но это было еще не все: трое из «Вторых Фрициков» — Брекер, хороший рыжий малый, всегда получавший сверху доверительные указания и тайные инструкции; Гонсалес, бывший военный атташе в Германии; Марторелль, артиллерист-каталонец, ставший креолом из-за своей ненависти к испанской монархии,— трое этих офицеришек, захваленных и осыпанных орденами, досрочно повышенных в чинах, тоже затесались в бунтовщики. «Сволочи! Сволочи!..» И Глава Нации кричал, вопил, буйствовал в неистовой ярости, пока его вдруг не одолевала безутешная тоска, и тогда он, которому всадили нож в самое сердце и наплевали в душу, начинал жалобно стонать, тихо изгрыгая бранные эпитеты, призванные навеки заклеймить измену, коварство, черную неблагодарность, притворство и обман. Его вдохновенные монологи, достигнув вершин остервенения, переходили в сетования, чуть ли не в рыдания, ибо уже не находилось слов, чтобы выразить разочарование в людях, но вскоре он снова приходил в себя, свирепел, распалялся, взрываясь проклятиями и страшными угрозами. («Я допускаю, что Мунэ-Сюлли — великий трагик,— думал Перальта,— но второго такого, как мой Президент, не сыскать»). А Глава Нации продолжал вопить и бушевать, ломая в диком гневе мебель, швыряя на пол книги, целясь в гладиаторов Жерома из своего бельгийского пистолета, и вошел в такой раж, что Сильвестр в тревоге выбежал из лакейской: «Monsieur est malade?.. Un médecin, peut-être?...»[1] Внезапно утихнув или овладев собой, взбешенный властелин обернулся к своему слуге: «Ce n'est rien, Silvestre... Rien. Un mouvement d'humeur... Merci...»[2]

И поправив галстук, но еще судорожно дергаясь, явственно слыша свист бичей, гуляющих по спинам изменников, вспотевший Глава Нации зашагал по кабинету и стал диктовать приказы и распоряжения Доктору Перальте. Сейчас же пойти в ближайшее агентство путешествий — какое-нибудь еще должно функционировать возле Гранд-опера — и сделать все возможное, чтобы попасть т у д а как можно скорее. Запросить у Роке Гарсиа точные данные о боевом духе гарнизонов, преданных Правительству. Послать телеграмму Ариэлю, дать телеграммы нашим газетам с воззванием к народу для первой полосы («...еще раз, слепое честолюбие человека, недостойного носить свое звание... и т. д. и т. п. Ладно, ты сам знаешь...»); те-

[1] Мосье плохо? Может быть, доктора?.. *(франц.)*

[2] Не надо, Сильвестр... Ничего... Дурное настроение... Благодарю... *(франц.)*

леграмму сюда, телеграмму туда, телеграммы и снова телеграммы... В это время послышались голоса газетчиков, предлагавших дневные выпуски с последними известиями о войне. «Очень мне она нужна, будь все они прокляты!» И в бешенстве пнул ногой картину, стоявшую на полу, только что принесенную одним из учеников Жан-Поля Лорана, протеже Офелии. Эту картину еще не успели повесить, и называлась она «Казнь Ганелона» [1]. «Подонок! Сволочь!» — повторял Глава Нации, злобно топча полотно каблуками, словно в теле знаменитого предателя из средневекового эпоса таилась ренегатская, подлая, смрадная душонка Генерала Вальтера Гофмана.

8

Лучше менять свои желания, чем порядок мира.

ДЕКАРТ

Итак, они добрались поездом до Сен-Назэра, откуда на Нью-Йорк отходил пароход, битком набитый американцами, которые видели немцев чуть ли не на подступах к Сене, а теперь поняли, что предстоит затяжная война, чреватая неудобствами и нормированием продовольствия, и пожелали вернуться на противоположный берег океана. После морского путешествия, как и в прошлый раз — несколько дней вынужденного отдыха в отеле «Уолдорф Астория». А может быть, просто подвернулся случай побывать на премьере «Мадам Сан-Жен» Умберто Джордано, состоявшейся в Метрополитен-опера с участием Джеральдины Фаррар (и хотя дочь считала его полным невеждой в музыке из-за того, что иной раз он клевал носом на опере «Золото Рейна» и, осовев от теллурических интриг всех этих карликов, ундин и великанов, засыпал в своей ложе, Президент по достоинству ценил колоратуру Марии Баррьентос, чарующую мощь лирического баритона Титта Руффо и чистоту тембра невероятно длинных и высоких фермат Карузо — голос настоящего кудесника в теле неаполитанского трактирщика). Офелия, после того как избавилась где-то в Швейцарии от «награды», уехала в Лондон, спасаясь от скуки, которую несла с собой война и неприятные симптомы которой, по ее мнению, уже успели проявиться в том, что исчезли русские балетные труппы, оркестры, игравшие танго, и балы с шикарными туалетами. Напротив, в Англии, где рекрутский набор проходил на добровольных началах, жизнь текла в целом по-старому. Так она очутилась в Стратфорде-на-Эйвоне с целью укрепить свои познания в шекспировской драматургии. «Посмотрим, что ей там сотворит теперь какой-нибудь Фортинбрас иль Розенкранц»,— подумал отец, зная, что его дочери ровным счетом начихать на то, что происходит т а м, на родине, ибо Офелия уже давно решила навсегда поселиться в Европе, подальше, говорила она, от «этой грязной разбойничьей страны» с такими примитивными развлечениями, как концертики в городских парках, семейные сборища и приемы во Дворце.

Накануне вечером Глава Нации и Доктор Перальта распрощались с «Буа-Шарбоном» мосье Мюзара, напившись до зеленого змия. Затем, с двумя девицами, прихваченными по пути, отправились отдохнуть в роскошный дом свиданий на рю Сент-Бёв. Когда к ночи они вернулись на рю де Тильзит, упакованные Сильвестром чемоданы и баулы уже загромождали салоны и коридоры. Доктор Перальта

[1] Ганелон — персонаж из эпоса «Песнь о Роланде», изменник, предавший Роланда и казненный.

стал показывать порнографические открытки с помощью стереоскопа новой модели — «Вераскоп Ришар», купленного вчера и поражавшего эффектом объемного изображения. «Взгляните... Взгляните на эту... Мужчина как живой... А вот эти две — тоже не дурны... А как вам нравится композиция — пять в ряд?..» Но, несмотря на весь выпитый ликер, опьянение Главы Нации почти испарилось, уступив место грусти. Огромная усталость сразу разлилась по телу при мысли о том, сколько моральных и физических сил он растратил на усмирение четырех бунтов за время своего правления. И вот скоро — опять встреча в Пуэрто Арагуато. Поезд, гремя старыми вагонами, поползет вверх к столице сквозь сельву, где листья деревьев сплетаются с листьями ветвей на кровлях хижин и где трудно понять, что принадлежит живым стволам, а что отсечено от них мачете; где деревушки так унылы и мрачны под этим беспросветным зеленым шатром, что любой смех прозвучал бы в них непристойным ревом животного.

Потом — непременная речь с балкона Дворца. Походный мундир, наверное успевший пропахнуть нафталином и снова отутюженный Мажордомшей Эльмирой, этой незаменимой служанкой, здравомыслящей женщиной и, когда на ее господина находит блажь, покорной и податливой утешительницей. Путешествие к месту военных действий, на сей раз — к югу; несколько месяцев тому назад было к северу, еще раньше — к западу и востоку. Теперь предстояло навестить территорию Больших болот с их сизыми лагунами, бурливыми и бурчащими, словно чрева зверей и крокодилов, затаившихся под обманчивым спокойствием викторий-регий. Марши по колено в воде, лица, натертые тошнотворными мазями, которые на один лишь час — или того менее — могут защитить от укусов мошкары сотен различных видов. Здесь свой мир, мир потливых ирисов, коварных гвоздик — ловушек для насекомых, пенных мхов, от зари до зари свивающих и распускающих свои завитки; грибов, пахнущих уксусом; сочных гирлянд на гниющих стволах, зеленых напильников и зеленых опилок, полуразрушенных термитников, кинжальной осоки, режущей кожу ботинок. И по таким-то местам надо преследовать Генерала Гофмана, загнать его, окружить и схватить, чтобы в конце концов поставить спиной к стене монастыря, церкви или кладбища и расстрелять. «Пли!» Ничего не поделаешь. Таковы правила игры. Превратности метода.

Однако на этот раз что-то тревожило Главу Нации. Да, проблема слов. Теперь, после возвращения т у д а, но до того, как надеть на себя блестящий мундир Генерала, этот парадно-маскарадный костюм — что правда, то правда, ибо он сам напялил его на себя со всеми галунами, нашивками и прочим еще в молодости, в день мятежа, закрепив этот чин за собой навсегда (какая разница, что в его стране будет одним генералом больше, одним меньше?),— теперь, до того, как воссесть на коня, до того, как прицепить звенящие острые шпоры, надо что-то сказать, произнести слова. А слова не приходили в голову, ибо классические, гладкие, которые он ранее обычно употреблял в подобных случаях, так часто повторялись, хотя и в разных регистрах, с соответствующими жестами и мимикой, что стали казаться затасканными, устарелыми, уже непригодными. Расходившиеся с делом сотни раз, эти слова с трибуны вернулись в словарь; вместо едких цицероновских катилинарий превратились в обычный риторический набор, из красочной речи перебрались в чулан со старым хламом — лишенные смысла, обветшалые, пустые и никчемные. Оплотом его впечатляющих политических выступлений много лет были такие термины, как Свобода, Преданность, Независимость,

Суверенитет, Честь Нации, Святые Принципы, Законные Права, Гражданское самосознание, Верность нашим традициям, Историческая Миссия, Долг перед Родиной и т. д. и т. п. Однако ныне эти термины (он имел обыкновение относиться к себе строго критически) приобретали звучание фальшивой монеты, позолоченного свинца, обесцененного пиастра. И, раздраженный своими приевшимися себе же самому языковыми выкрутасами, он спрашивал себя, чем же заполнить речи и письменные воззвания, призывы и устрашающие заявления, неизбежные при таких военных действиях, карательных, какие ему вскоре предстоит развернуть. Поддержанный в свое время большинством сограждан как человек с твердой рукой, могущий в периоды трудностей и беспорядков решать судьбы страны, он видел постепенное падение своего престижа, растущую угрозу своему господству после каждого хитроумного маневра, который надо было изобретать, чтобы удержаться у власти. Он видел, что вызывает ненависть и озлобление многих, и сознание этого заставляло его находить — в качестве морального противоядия — все большее наслаждение и удовольствие в любых проявлениях угодничества и заискивания, в лести тех, кто зависел от него и потому стоял за него, заботясь о его благоденствии и, соответственно, о продлении на неопределенный срок его полномочий, стараясь не вспоминать — основаны ли эти полномочия на Законе и Конституции или нет. Но он не мог игнорировать тот факт, что его враги располагают мощными аргументами против него, тыча, например, ему в нос непрерывно растущие уступки, которые он делал гринго, а этих гринго — только дурак может это отрицать — все проклинали на нашем континенте. Всем нам было известно, что они называют нас «латиносами» и что для них сказать «латиносы» все равно что сказать «сброд», «хамье», «мулатня» и «черная орава» (они даже изобрели корректный эвфемизм — «latin colour» [1], чтобы как-нибудь оправдать пребывание в отелях Нью-Йорка или Вашингтона высокопоставленных особ, чей цвет кожи имеет несколько экзотический оттенок)...

И Глава Нации продолжал обдумывать предстоявшее ему выступление с речью, но никак не мог придумать ничего нового. Слова, слова, слова. Все те же самые слова. Нет, Свобода не звучит — тюрьмы забиты политзаключенными. Не годится ни Честь Нации, ни Долг перед Родиной — этими принципами всегда жонглируют мятежники военные. Не подходит ни Историческая Миссия, ни Прах падших Героев — по той же самой причине. Нельзя толковать о Независимости, ибо в пору его правления это могло навести на мысль о Зависимости. Ни к чему толковать и о Честности и Добродетели, если известно, что он — хозяин крупнейших предприятий страны. Не следует вспоминать о Законных Правах — он с ними никогда не считался, если они не входили в его личный свод законов. Словарный состав решительно сократился. А перед ним стоял грозный противник, восставшая треть Армии, и надо было держать речь, но раздосадованный оратор чувствовал, что потерял голос, стал забывать родной язык,— ибо уже не находились нужные, зажигающие, хлесткие слова, потому что он сам их затаскал, обвалял в грязи, обесценил повтором во времена более мелких заварух, не стоивших такого расточительства. Как говорят наши крестьяне, «стрелял из пушки по мушкам».

«Становлюсь стар»,— подумалось ему. И тем не менее надо было что-нибудь сочинить. Что-нибудь... Он приложился к фляжке в щетинистом футляре и сделал несколько частых нервных глотков; затем, желая облегчить себе ожидание никак не приходившей счастли-

[1] Латинский цвет *(англ.)*.

вой мысли, взял одну из утренних газет, «Фигаро», из пачки на письменном столе. И там, на первой же странице, в первой колонке увидел статью Именитого Академика, набранную жирным шрифтом и помещенную в рамку. Резюмируя последствия битвы на Марне, наш друг утверждал, что это чудо военной стратегии было не столько победой французского воинства, сколько торжеством интеллекта и означало прежде всего триумф латинского духа — «Латинидад» — над духом германским. Преемники Великой Средиземноморской Культуры, внуки Платона и Вергилия, Монтеня, Расина и бесподобных голодранцев из Вальми [1] — на сей раз пригодившихся, хотя одно воспоминание о них приводило в неистовство предместье Сен-Жермен,— противопоставили Гений своей Расы, которая отличается уравновешенностью, благоразумием и чувством меры, патологической агрессивности Тевтонцев. Галльский Петух против Драконов и пещерных гномов-Нибелунгов. Горячий, легкий и благородный конь почти уже святой Орлеанской Девы — она непременно будет причислена к лику святых — против дикого буцефала Брунгильды. Олимп против Валгаллы. Аполлон против Хагена. Версаль против Потсдама. Глубокая мудрость Паскаля против философского гигантизма Гегеля, изложенного тем заумным гейдельбергским слогом, от которого инстинктивно открещиваются наши лучшие умы, предпочитающие ясность и простоту выражения. Битва у болот Сен-Гона выиграна не столько 75-дюймовыми орудиями, сколько философией Декарта. Статья заканчивалась тем, что ее автор выносил разящий, суровый, не подлежащий обжалованию приговор всей немецкой культуре — этой «кюльтюр», как он ее называл: музыке Вагнера, дурному вкусу берлинцев, педантичному наукообразию Геккеля, идеям тщеславных карликов, которые, считая себя «сверхчеловеками» и Заратуштрами со шпагой за поясом и черепом на кивере, вызвали — эти новейшие колдовские отродья — нынешнюю катастрофу. Современная война — более чем просто война, это Святой крестовый поход против прусского неоварварства.

Прочитав статью, Глава Нации зашагал по салону. До него вдруг дошло, что до сих пор он впадал в явную ошибку: от этой его германофилии разобиженного метека—он тут же припомнил, что греки не придавали слову «метек» оскорбительного звучания,— нет ему ни пользы, ни выгоды. Какую, скажем, помощь могут ему оказать сейчас, в этот критический момент его собственной политической карьеры, уланы фон Клюге или подводные лодки фон Тирпица? Какое ему, в сущности, дело до каких-то Валькирий, от которых нет и не будет проку. Гораздо лучше признать, что в Латинской Америке народ стоит за Францию — точнее скажем, за Париж. И т а м, если перенести этот вопрос на землю нашей родины, германофилами были иезуиты, якшавшиеся со знатными прихожанами, исповедовавшие богатых дам и презиравшие скромных французских маристов, которые дали ему, Президенту, образование; германофилами были толстосумы-испанцы, кавалеры «импорт-экспорта» — чтобы не сказать: спекулянты и ростовщики — с солидными счетами в банках Каталонии и Бильбао, отнюдь не питавшие симпатии к креолам (по привычке и традиции), обитатели Колонии Ольмедо, внуки баварских или померанских землепашцев, которые не играли, впрочем, никакой роли в общественной жизни страны. Кроме того,— черт побери, только сейчас меня осенило! — ведь все Святые Девы наших стран — латинянки. Ибо Матерь Божья была латинянкой, вдвойне латинянкой, так как подонки лютеране — вроде Гофмана и «Вторых Фрициков», которые с ним

[1] Под г. Вальми в 1792 году французские повстанцы-революционеры разгромили прусских интервентов.

снюхались,— вышвырнули ее из своих храмов. Святая Дева-путеводительница из Нуэва Кордобы, все Девы — из Чикинкира, из Коромотос, из Гуадалупе, и Дева Каридад дель Кобре, и другие, составляющие Божественный Легион Заступниц наших,— суть вездесущие образы той, Единой и Вечной, что была возведена на престол в нефе собора Нотр-Дам Людовиком XIII в знак посвящения своего королевства культу Девы Марии. Надо объединить, следовательно, всех Святых Дев на нашей стороне, а их общий образ на моем боевом знамени станет сопровождать меня в сражениях, ибо Первый человек Государства, которому угрожает опасность, обязан применять все средства, чтобы добиться победы. Гибким, а не твердолобым должен быть Кормчий народов, Предводитель людей, хотя бы даже ему пришлось — ради сохранения власти — отказаться на какое-то время от своих сугубо личных пристрастий.

И вот таким-то образом перед Президентом ясно предстала идеологическая — она же тактическая — база предстоящей борьбы с изменником Гофманом. Стоит только заострить внимание на фамилии врага, напомнить о его германском воспитании, о его стремлении слыть чистым арийцем, хотя у него и была достаточно темнокожая бабушка, прозябавшая где-то на задворках его просторного колониального домища. Внезапно «Тетушка Джемина», как ее называли т а м, на родине, наши недоумки, превратилась в символ «Латинидад». (Глава Нации, совсем было сникший и упавший духом, приободрился, вскинул голову, трахнул кулаком по столу, вновь обретя уверенность трибуна...) В конце концов «Латинидад» отнюдь не означает ни «чистоту крови», ни «очищение крови», как это толковала святая инквизиция в своих ныне отживших канонах. Все расы античного мира смешались в магической средиземноморской обители, породившей нашу культуру. На непостижимо огромном круглом ложе нашлось место и для римлянина с египтянкой, и для троянца с карфагенкой, и для прекрасных гречанок с бледнокожими мужчинами. У Волчицы, вскормившей Ромула и Рема, хватало сосков не для одного чоло, не для одной самбы,— к тому же все знают, что Италия не сегодня-завтра выступит против Центральных держав. Поэтому сказать «Латинидад» — это значит сказать «расосмешение», и все мы в Латинской Америке — помесь, у всех есть что-то от негра или индейца, финикийца или мавра, уроженца Кадикса или от кельтибера; имеется и лосьон «Уокер» в дальнем ящике домашнего комода, чтобы прилизывать курчавые волосы. Да, мы — Метисы, и гордимся этим!..

И забурлили тут мысли у Главы Нации, нашлись вдруг свежие слова. Слова яркие, звучные, душещипательные, которые должны были задеть за живое т а м, на родине, многих равнодушных, колеблющихся, потенциальных врагов — людей, так или иначе связанных с проантантской интеллигенцией и превратившихся в тех доморощенных стратегов, что передвигают в кафе на карте Европы трехцветные флажки, втыкая их — в соответствии со своими тайными желаниями — гораздо дальше того места, где наступление приостановлено самим Верховным Командованием союзных войск. В народе кипели страсти, и надо было мудро использовать их в собственных целях. Alea jacta est [1]. Решено: он, современный тамплиер, тоже присоединится к Священному крестовому походу за «Латинидад». Победа Вальтера Гофмана и его камарильи означала бы германизацию нашей культуры. Кроме того, было весьма легко скомпрометировать этого человека в глазах общественности, пригвоздить к позорному столбу

[1] Жребий брошен *(лат.)*— слова, приписываемые Юлию Цезарю при переходе через Рубикон (49 г. до н. э.).

вместе с его учебниками, портретами Фридриха II, Бисмарка и Мольтке, украшавшими его кабинет; напомнить о том, как унижает он бедную старушку мать — истинное воплощение нашего народа, плоть от плоти нашей, плоти наилучшей,— мать, которую он, полагая, что неказистая родительница лишь компрометирует его, спровадил куда-то за тамаринды, поближе к скотному двору, где она выкармливала поросенка к сочельнику. В общем, этот мятежник оказался самим олицетворением прусского варварства, которое не только расползалось по Европе, но и могло в самом скором времени стать угрозой нашим Землям Будущего, ибо немцы видели свое предназначение в господстве над миром, считая истиной миф о «высшей расе», что было недавно черным по белому написано в кичливом и ксенофобском «Манифесте интеллектуалов», который уже опубликовала наша пресса. Посему надо поднять Корону Святой Росы из Лимы против Щита Валькирии, Куаутемок[1] против Алариха. Крест Спасителя против копья Вотана. Шпага всех Освободителей, всего нашего Континента — против технифицированных вандалов XX века...

«Перальта, ко мне...» И в течение двух часов, легко находя бьющие не в бровь, а в глаз эпитеты и сверкающие новыми красками образы — хотя на сей раз он не слишком расцвечивал свой стиль,— Президент диктовал статьи для газет своей страны, определяя главное направление идеологической кампании, которая должна была быть развернута до его приезда. «Бери все это и беги в «Уэстерн юнион»[2]... Затем с трудом поднял голову, видимо устав от диктовки, и оглядел с тихой грустью салон, милую сердцу мебель, окружающие его картины, скульптуры. Через несколько часов придется отказаться от этого покоя материнского лона, от приятного отдыха среди шелков, атласа и бархата, чтобы взгромоздиться на коня и зашлепать по болотам жарких южных областей — лианы, мангровые заросли в стоячей воде, коварный мрак, невидимые нити, секущие лицо...— далеко о т с ю д а, где он был по-настоящему счастлив. Президент думал о том, что делается т а м, и уже заранее начинал терзаться тоской при мысли о возвращении, которое словно означало возврат к исходной точке для человека, ушедшего с течением лет далеко вперед. Скоро начнется ноябрь, настанет День поминовения усопших, и кладбища превратятся в места увеселений и ночных гуляний, пышного разукрашивания могил, визга шарманок, бренчания гитар над старыми захоронениями, звякания марак в сопровождении кларнетов и чаранго у изголовий давно усопших.

Приходят сюда и те, кто продает забавные скелетики: танцоров в митрах, в коронах, в цилиндрах, в кепи, дергающихся в Танце Смерти на всем пути — вдоль памятников и крестов — под крики торговцев: «Покойничка для вашего ребеночка»; торговцев, которых приглашают в такие дни на празднество и угощают водкой и яичными лепешками. А послушать только реплики, шутки или колкости, несущиеся от креста к кресту, от ангела к ангелу, от эпитафии к эпитафии: «Эй, кум! Ну и хорош был твой упокойничек!» — «Не говори, кума, и твой-то не лучше — бродяга да потаскун!» — «Так-то оно так, куманек, но и твоему, скажу я тебе, далеко до святого!» — «Потому, кум, он и пристрелил свою бабушку!» — «Поди, куманек, разберись, кто там у вас кого пристрелил!..»

Вспомнив эти картины, Глава Нации почувствовал себя так, словно попал в заколдованный круг, очерченный шпагой демона. История, которая была и его историей, ибо он играл в ней определенную роль,

[1] Куаутемок (ум. в 1522 г.)— последний император ацтеков, сражавшийся против испанских конкистадоров и казненный Э. Кортесом.

[2] Американская радиотелеграфная компания.

повторялась, ловила себя за хвост, пожирала самое себя, застывала на месте — какая разница, что на листках календаря красовался 185(?), 190(?) или 190(6?) год?.. Мимо все так же дефилировали те же сюртуки и мундиры, высокие цилиндры — на английский манер — и каски с перьями на манер боливийских, как это делается в театрах с маленькой труппой, когда устраивается триумфальное шествие из тридцати человек, которые, пройдя вдоль рампы на фоне одной и той же декорации, бегом огибают ее, чтобы вовремя выскочить снова на сцену и закричать в пятый раз: «Победа! Победа! Да здравствует Порядок! Да здравствует Свобода!»... Классический пример с ножом, у которого меняют то потертую рукоятку, то сточившееся лезвие,— и получается, что по прошествии многих лет нож остается тем же самым — презрев бег времени,— хотя и рукоятку и лезвие ему меняли несчетное количество раз. Время словно замерло в военных мятежах, в чрезвычайных положениях, отменах конституций, восстановлениях нормальных прав и в словах, словах, словах, в этих перипетиях — быть или не быть, вознестись или не вознестись, удержаться или не удержаться, упасть или не упасть,— и все это каждый раз выглядит как круговой ход часовых стрелок, которые сегодня возвращаются к своему вчерашнему положению, а вчера отмечали сегодняшнее время.

Он глядел на шелка, атлас, бархат, на поверженного гладиатора, на спящую нимфу, на волка Губбио, на святую Радегунду. Ему хотелось остаться в Париже, вырваться из заколдованного круга, но, словно заточенный в этот круг, он не мог одолеть себя. И подсознательные устремления, и благоприобретенное восприятие, и осмысление жизни — все это вместе взятое направляло его волю. Он знал, что многие, там, на родине, его ненавидят; знал, что многие, очень многие, даже слишком много людей мечтают о том, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь набрался смелости прикончить его. Именно поэтому он вернется. Вернется и покажет, что хотя он и стоит на пороге старости, хотя и не выглядит, как прежде, бравым молодцом, стойкости, энергии и крепости духа ему не занимать, и он еще мужчина в соку, в силе, даже в расцвете сил. И будет давить своих врагов, покуда жив. Он не хотел разделять печальную участь тирана Росаса, который умер где-то в Суэйтлинге [1], забытый всеми, даже своей дочерью Мануэлитой. Он не желал походить на Порфирио Диаса, того, из Мексики, который живым трупом — в сюртуке, перчатках и шикарном цилиндре — разъезжал по Булонскому лесу в глубоком фаэтоне-катафалке с черными колесами, катившемся вслед за лошадью так уныло и плавно, словно это уже был последний, погребальный выезд... Тут Главе Нации вспомнилась та Страстная неделя, когда все жители его городка разыграли грандиозную многолюдную мистерию «Страсти Христовы» в полном соответствии с текстом манускрипта, датированного XVII веком и хранившегося в архивах Епархиального управления. В течение многих месяцев женщины и дети копили серебряные бумажки от конфет и карамелек, чтобы оклеить ими шлемы и щиты центурионов; собирали ослиный и конский волос, чтобы украсить гребни шлемов. Портьеру из выцветшего бархата превратили в одежды Спасителя; пояс Христу сделали из хенекеновой веревки, вымоченной в настое из ароматических трав; для тернового венца взяли ветку кустарника «змеиное жало», росшего на соседней горе. Судилище происходило в патио Ратуши, где на Главу Нации, в ту пору еще Губернатора, возложили роль Пилата. Он отдал Сына бо-

[1] Х. М. Росас (1793—1877) — фактический диктатор Аргентины, свергнут в 1852 г., умер в Суэйтлинге (Англия).

жия фарисеям и умыл руки в японской чаше, одолженной для сего случая в гончарной мастерской братьев Суарес. И началось восхождение на Голгофу в сопровождении воплей и криков народных... Одна маленькая глупая нищенка подумала, что перед ней развертываются подлинно исторические картины из тех, что она видела в десятках алтарей деревенских церквушек, и она приблизилась к сапожнику Мигелю, исполнявшему роль Сына божия, с намерением переложить на свои плечи тяжелое бревно с перекладиной, которое тот еле тащил, обливаясь потом, спотыкаясь, пошатываясь, падая, снова поднимаясь, издавая душераздирающие стоны великолепного театрального мученика и упорно подвигаясь к холму, где должен был участвовать в сцене распятия. Оттолкнув дерзкую девчонку, которая хотела помешать его достойному восхищения деянию, Христос простер к ней свою левую руку и сказал: «Если ты у меня отнимешь это, кем я буду и что мне останется?» И продолжал тащиться вверх по своему Тернистому пути, а толпа хором пела старинную песню, неизвестно откуда пришедшую и звучавшую торжественно и просто, как хорал:

Если казнь моя завтра, судьбу не кляня,
Молю сразу, без пыток прикончить меня...

А, вот и Перальта вернулся из «Уэстерн юнион» и, видя, что хотя я на ногах, но все еще о чем-то размышляю, спросил меня: «Почему вы не пошлете их ко всем чертям и не останетесь здесь наслаждаться тем, что имеете? Денег у вас хватит. А сколько бутылок нас жаждет! Сколько женщин нас ищут!»—«Если ты у меня отнимешь мой Крест, кем я буду и что мне останется?» — сказал я тогда, думая о людях, которые из-за наведения мною порядка в Нуэва Кордобе вышвырнули меня из своих домов, дав мне, ко всему прочему, понять, что моя персона слишком незначительна и не имеет веских оснований для внесения в тот Апокалипсис, который здесь, в Париже, чтили. Чтобы оставить свой след в истории, я провозгласил Крестовый поход во имя «Латинидад». И если Богоматерь соблаговолила бы ниспослать мне победу в течение ближайших недель, я дал бы обет, да, обет склонить перед ней голову после возвращения с триумфом и совершить паломничество к Святилищу Девы-путеводительницы, смешавшись с народными массами (конечно, в тесном окружении масс, одетых как «народные массы») в знак благодарности и душевной радости за оказанные милости и снисхождение ко многим свершенным мною грехам. Со всеми теми, кто еле волочит изъязвленные ноги, льет слезы по ночам из затянутых бельмами глаз, вместе с паралитиками и прокаженными я на коленях пересек бы широкую, мощенную плитками площадь и, отбросив прочь красный ковер, постеленный для меня прихожанами, полз бы по голому полу, чтобы пасть ниц перед Богоматерью и выразить ей мою превеликую благодарность... Смотрю на часы. Теперь надо немного отдохнуть. Завтра рано вставать. Шутки ради, уже в ночном белье, я нахлобучиваю на голову английскую шапку с наушниками и набрасываю на плечи клетчатое пальто с пелериной, купленное в дорогу. «Вылитый Шерлок Холмс»,— говорю я, обозревая себя в императорском зеркале, стоящем на двух позолоченных сфинксах. «Не хватает лупы»,— говорит Перальта и опускает мне в карман фляжку в футляре из свиной кожи со щетиной.

...И уже звонок. Четверть одиннадцатого. Не может быть. Четверть десятого. Пожалуй. Нет. Четверть девятого? Этот будильник — бесспорно, великое творение швейцарских мастеров, хотя его стрелки так тонки, что их почти не видно. Четверть восьмого? Где очки? Четверть седьмого. Да, совершенно верно. Утренний свет

уже пробивается сквозь золотистые гардины. Ногой никак не нащупаю вторую ночную туфлю, которая всегда теряется в пестроте персидского ковра. Вот и Сильвестр в своем полосатом жилете с подносом из чистого серебра в руках — серебра из моих рудников:

«Le café de monsieur. Bien fort comme il l'aime. Monsieur a bien dormi?» — «Mal, très mal,— говорю я.— J'ai bien de soucis, mon bon Silvestre». — «Le revers attriste les grands de ce monde» [1], — вздыхая, отвечает он александрийским стихом, классическая ритмика которого наполняет духом театра «Комеди Франсэз» этот дом, где в атмосфере уже начавшейся суматохи, но еще далеко от авансцены моей судьбы, открывается в этот ранний утренний час новая глава моей Истории.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

9

Не вижу ли я из этого окна только плащи и шляпы, в которые облачены фантомы или искусно сделанные куклы, приводимые в движение пружинами?

ДЕКАРТ

Не было надобности расстреливать Вальтера Гофмана. Известно, что каждый конфликт обычно улаживается самым непредвиденным образом, и потому генералу-изменнику был уготован конец, который, если вдуматься, не лишен впечатляющей вагнеровской силы: агония Фафнера в лесах, гораздо более страшных, чем лес Зигфрида, казавшийся просто парком, Тиргартеном или Унтер-ден-Линден в сравнении с территорией Больших болот. Мы загнали мятежника в район гиблых трясин, куда он вынужден был отступать, теряя по дороге солдат и офицеров, столь подавленных своим разгромом, что они не внимали ни речам, ни воззваниям, ни угрозам; даже щедро раздаваемое спиртное не могло притупить мысль о том, что их карта бита и все козыри у нас на руках,—напротив, они снова и снова с отчаянием убеждались в этом все более и более. Пустым номером оказалось для Генерала Гофмана и открытие в лесной чаще развалин древнего индейского храма, и громогласное обращение к своим людям: «Солдаты... С высот этой пирамиды на вас взирают пятьдесят веков» (в пылу патриотизма он прибавил к сорока векам из наполеоновской речи лишний десяток...) «По мне, будь хоть все пятьдесят пять»,— думали солдаты, чьи «старухи» — женщины, пошедшие вслед за бунтовщиками,— утверждали, будто горы этих никчемных бунтовщиков с норами и дырами могут служить лишь питомниками самых ядовитых в мире змей, сороконожек, тарантулов и скорпионов, которые «здоровы, как...» (у каждой была своя мера длины...). А после внезапного исчезновения «Вторых Фрициков», давших тягу к южной границе, началось массовое дезертирство и братание с громкими криками «нас обманули, мы поверили, нам приказали...», пока, наконец, Генерал в сопровождении немногих оставшихся приверженцев не решил-

[1] «Кофе для мосье. Крепкий, по вашему вкусу. Мосье хорошо спали?» — «Плохо, очень плохо. У меня так много забот, мой добрый Сильвестр».— «Оборотная сторона жизни великих мира сего» *(франц.)*.

ся пересечь гиблые места — единственный путь к морю,— которые из-за обилия болот дали название всей области. Чем труднее и опаснее становилось продвижение вперед, тем больше людей покидало его — два артиллериста с лейтенантом, пятнадцать рядовых с капралом, около семидесяти человек во главе с капитаном и т. д. Мятежник остался почти в одиночестве, не считая нескольких соратников,— а кто знал, что у них на уме? — перед тем как ступить на топкую желтоватую равнину, покрытую невысоким кустарником, среди которого зияли маленькие окна — или, точнее, большие пятна — вязкой жидкой глины, похожей на безобидную грязь мелкой лужицы. В один из этих колодцев и угодил Генерал Гофман, пришпорив лошадь после того, как резко рванул ее за узду, чтобы не напороться на колючую ветвь, преградившую путь. И лошадь, почувствовав, что все глубже и глубже увязает в коварной топи, словно всасываемая мощным вдохом, идущим из глубин земли, вдруг отчаянно заржала, прося помощи у людей, и стала биться, напрасно стараясь вырвать из топи то задние, то передние ноги. Однако отчаянные усилия не спасали ее от медленного, но верного погружения. Генерал, уже по колено в этой бездонной грязи, пытаясь вытащить из нее сапоги, словно наливавшиеся свинцом, дергая изо всех сил, но, увы, тщетно, узду и видя, что дикие броски лошади лишь ускоряют неминуемую гибель, отчаянно возопил: «Петлю... Веревку... Ремень... Тащите меня... Скорее!.. Петлю... Веревку... Канат!» Но люди, окружавшие адскую лужу, хмуро и молчаливо, в выжидательном спокойствии смотрели на замедленную, жутко замедленную кончину своего начальника. «Умри, гад!» — сказал почти шепотом капрал, которому Гофман несколько лет назад дал пощечину за непочтительный ответ. «Умри, гад!» — сказал, повышая голос, сержант, которого Гофман недавно не повысил в чине. «Умри, гад!» — сказал громогласно лейтенант, который долго и безуспешно выпрашивал высокую награду — орден «Серебряная Звезда». «Нет, ой, нет! Спасите не дайте погибнуть!» — взвыл военачальник, хватая за уши лошадь, которая еще лязгала зубами поверх грязины. «Умри, гад!» — отвечал ему греческий хор. А вязкая жижа заливала шею, подбородок, лезла в рот Генералу, который, захлебываясь, пытался еще что-то произнести, но рот был уже полон грязи. Пузырьки от предсмертного хрипа, неслышные стоны, финальный всплеск вместо агонии... Когда одна лишь фуражка закачалась на зыбкой поверхности, кто-то из зрителей бросил на нее маленькое распятие, но вскоре и оно было проглочено трясиной, вернувшейся, в конце концов, к своему желто-зеленому спокойствию.

Отделавшись от противника Глава Нации вернулся в столицу, чтобы получить под сводами наскоро построенных арок и среди бумажных флажков и гирлянд титулы «Миротворец» и «Благодетель Отечества» которыми наградили его обе палаты Конгресса, Движущие силы Торговли и Промышленности, Архиепископ со своего высокого амвона, Коадъюторы с других, менее высоких, амвонов и Пресса на страницах газет, где со всеми подробностями была представлена мастерски проведенная Президентом военная кампания с опубликованием карт, усеянных черными флажками, которые указывали направления наступательных и отступательных операций, прорывов, обходов и место разгрома оборонительных линий врага, решающей Битвы у Четырех Дорог — битвы долгой, кровавой, тяжелой, поскольку на той стороне были военно-стратегические знания, на этой — определенная доля тактической смекалки. Однако в конечном итоге победы добились правительственные войска, использовав карты и схемы, которые печатала парижская «Иллюстрасьон» для наглядной демонстрации хода битвы на Марне...

В речи, насыщенной возвышенными мыслями, Глава Нации скромно утверждал, что не заслуживает тех похвал, которые расточают ему сограждане, ибо не кто иной, как сам Господь бог, великий в своем милосердии, но страшный во гневе, захотел покарать отступника. Не вызывает никаких сомнений, что Гофман нашел свой конец в результате ордалии [1] и победитель,— по воле Господа бога, пути коего неисповедимы,— был избавлен от лишних страданий: ведь так больно пролить кровь старого товарища по оружию, ослепленного безумным властолюбием. «Здесь не прозвучал шекспировский клич «Коня! Коня! Корону за коня!» [2], ибо преступник, гонимый Богинями мщения нашего Воинства и придавленный тяжестью угрызений собственной совести, погрузился вместе со своим тоже буйным конем в Царство Теней...» Но главное было не в том, что Враг Порядка утонул в Больших болотах. Главное состояло в том, что укрепилось — как раз во время катаклизма, потрясавшего весь мир,— наше Латинское Самосознание, чувство «Латинидад», потому что мы — латиняне, исконные латиняне, настоящие латиняне, носители великой традиции, которая восходит к Юстинианову своду законов — этой основе основ нашей Юриспруденции — и воплощается в Вергилии, Данте, Дон Кихоте, Микеланджело и т. д. и т. п. (нескончаемый синтаксический период, увенчанный нескончаемыми аплодисментами).

Старая «Тетушка Джемима», сменившая по сему случаю затрапезный клетчатый платок на траурную шаль, с трудом взобралась на трибуну, чтобы вручить Главе Нации послание от семьи Гофмана с заверениями в своей преданности, шепнув ему заодно о том, что супруга Генерала, искренне сожалея о заблуждениях мужа, верноподданнейше просит назначить пенсию, которая ей, возможно, полагается по Закону от 18 июня 1901 года, как вдове офицера, состоявшего более двадцати лет на действительной военной службе...

Весьма утомленный войной, которая завела его в самые лесистые и нездоровые области страны, Глава Нации отправился на отдых в свой дом в Марбелье. Там был большой прекрасный пляж, хотя его серый песок часто сплошь заливало пузырчатым киселем медуз, погибавших в пятнах дегтя или нефти, расползавшихся из порта, который был неподалеку. Акулы и манты не преступали границ дозволенного, если можно так выразиться, благодаря четырехугольной ограде из колючей проволоки, увитой лохматыми водорослями. И хотя мурены еще попадались в гротах небольшого скалистого мыса, люди уже не помнили, чтобы — в купальне — кто-нибудь был растерзан барракудой. Когда дули северные ветры — «зимники», как их называли,— море становилось аспидно-синим и огромные волны мерно и величественно накатывали на берег, бросая пену к подножию кокосовых пальм гуанабана. Бывали там и погожие дни — особенно летом,— когда вода делалась поразительно спокойной и прозрачной, утихомирив даже свою обычную легкую зыбь. И купальщик, бросившийся в воду, испытывал странное чувство: будто плавает он в желатиновом озере. Потом с изумлением убеждался, что вовсе и не плавает, а скользит по студенистой массе прозрачных, почти незаметных моллюсков, величиной и формой схожих с монетой, которых ночью прибивало к этим берегам после долгих непостижимых миграций. Чтобы придать курорту больший блеск, муниципалитет соорудил у конца цементного волнореза казино на сваях — точную копию подобного заведения в Ницце: металлический каркас, оранжевая керамика, железный купол, позеленненный селитрой. Там можно было

[1] «Суд божий» — средневековый способ выяснения виновности: подсудимый, не выдержавший пыток (огнем, водой и др.), объявлялся виновным.

[2] Шекспир. «Ричард III», акт V *(пер. Б. Лейтина).*

поиграть в рулетку, в баккара, в шмэн-де-фер, где крупье в смокингах, ведя счет на луидоры и су — о каковых тут и не слыхали игроки,— заменили реплики местных содержателей игорных домов «Играйте дальше» и «Хватит кидать» заученными фразами, все еще резавшими слух: «Faites vos jeux» и «Rien ne va plus...» [1]

Резиденция Главы Нации «Эрменехильда», расположенная на соседнем холме, возвышалась над пляжем. Дом был построен в стиле, среднем между балканским и рю де ла Фэзандри, с кариатидами 1900-х годов в одеянии а-ля Сара Бернар, которые, благодаря необычайной прочности своих шляп с плюмажами, подпирали головами — надежнее, чем любой атлант берлинских дворцов,— широкую террасу, окруженную балюстрадой со столбиками в виде морских коньков. Над сверкающей кровлей из майолики, глазурованной под мрамор, высилось нечто вроде фонаря-балкона-маяка. Комнаты, обширные, прохладные, с высоченными потолками, были меблированы креслами-качалками нуэва-кордобского изготовления, спальными гамаками на неизменных кольцах и красными лакированными креслами. В столовой висела копия — впрочем, меньших размеров, чем оригинал,— картины «Плот Медузы», а напротив — два прелестных морских пейзажа Эльстира, которые, сказать по правде, были совсем раздавлены тяжелым драматизмом композиции Жерико. Дом был окружен большим садом, где копошились садовники-японцы и где над кустами букса царило беломраморное тело Венеры, обезображенное зеленоватыми пятнами лишайника на животе. В глубине, под соснами, виднелась часовня, посвященная набожной доньей Эрменехильдой нашей Святой Деве-путеводительнице,— часовня, созерцание которой вызывало теперь у Президента мучительные угрызения совести, ибо напоминало о неисполненном обете, который он дал в Париже в весьма трудный момент своей жизни: вползти на паперть базилики Святой Девы со свечой в каждой руке. (Но в то же время он утешал себя тем, что Святая Дева так же хорошо разбирается в политике, как и во всем остальном; Святая Дева, которая трубным гласом недавней победы ясно дала понять, что не оставляет его своей Божьей милостью, конечно же, видит, как нелепо выглядело бы сейчас публичное исполнение обета на глазах у всех. К тому же это вызывающее свидетельство пылкой приверженности католицизму обратило бы против него — а у него и так врагов предостаточно — ярость своры масонов, крестоносцев, спиритуалистов, не говоря об уйме всяких атеистов и вольнодумцев — легионе еретиков и нечестивцев,— всех этих приверженцев Франции, где священнослужители не могли преподавать в школах, а семинаристы должны были отбывать воинскую повинность и где зародилась и крепла единственная, по их мнению, религия, возможная в этом великолепном XX веке, веке Прогресса — Религия Науки...)

За домом, через тенистую гранатовую рощу пролегла тайная тропка, по которой после захода солнца Доктор Перальта приводил очередную укутанную в шаль женщину к спальне Главы Нации. («Смотрите не умрите, как умер президент Феликс Фор»,— неизменно повторял Секретарь, вручая свою находку господину. «Аттила и Феликс Фор были мужчинами, которые сумели приятно умереть»,— так же неизменно отвечал Глава Нации...)

На рассвете раздавался свист локомотива, тащившего Немецкий составчик, и Президент с чашечкой кофе в руках выходил на балкон посмотреть на него. Словно лакированный, сверкал на фоне рождавшегося утра маленький локомотив с блестящими шатунами и мел-

[1] Делайте ставки. В игру не входить *(франц.)*.

ными заклепками, поднимавшийся по узкоколейке в гору, бодро пофыркивая и таща за собой красные крытые вагончики к Колонии Ольмедо. Как только этот маленький Немецкий состав выходил из Пуэрто Арагуато, казалось, сразу все становилось игрушечным на его пути: крохотные станции, карликовые мосты над водопадами, железнодорожные переезды, шлагбаумы, семафоры, — хотя грохот слышался далеко вокруг, даже когда поезд подходил к маленькой платформе Конечного пункта, доставляя туда, наверх, десяток пассажиров, несколько тюков и бочек, почту, газеты, а порой и бычка, который высовывал морду в окошко единственного скотного вагона. Словно только что явившийся из какого-нибудь магазина игрушек в Нюрнберге, цветистый, глянцевый, лощеный, отдыхал паровозик с вагончиками, закончив свой трудный путь, в своеобразном и экзотическом мирке, который отличался от оставшегося внизу мира — и своими домами, будто прямо из Шварцвальда, стоявшими среди пальм и кофейных деревьев, и своей пивной с Королем-Оленем на вывеске, и своими женщинами в тирольских платьях, и своими мужчинами в кожаных штанах с подтяжками, в шляпах с перышком за лентой. Хотя все они были достойными гражданами Республики вот уже более века, испанский язык у них так и не привился. С тех пор как их привез в эту страну граф де Ольмедо, богач с гербом креольского изготовления и землевладелец, озабоченный проблемой «обеления расы», иммигранты прилагали большие старания, чтобы не общаться с местными женщинами, усматривая в каждой из них самбу, чолу или квартеронку: у одной чересчур круто вьются волосы, у другой — слишком темные глаза, у третьей — чуть приплюснут нос, хотя кожа довольно светлая. И вот таким образом укоренился обычай, переходивший от отца к сыну: письменно вытребовать женщин из Баварии или Померании и жить — поколение за поколением,— распевая лютеранские хоралы, играя на аккордеоне, выращивая ревень, приготовляя похлебки из пива и танцуя старинный лендлер. Потому и плескались в наших горных реках упитанные селянки с рыжеволосыми лобками, носившие, возможно, вполне креольские имена вроде Воглинды, Вельгунды или Флосхильды. Мало было дела Главе Нации до жизни этих тихих людей, уважавших законы, никогда не лезших в политику и во время выборов всегда голосовавших за правительственных кандидатов, чтобы только никто не нарушал их традиций. Но теперь ежедневное чтение французской прессы заставляло его глядеть на этих поселян с известным раздражением. Если, допустим, их жилища были, по традиции, украшены хромолитографиями с изображением заснеженных пейзажей, берегов Эльбы, состязаний в Вартбурге или мифической Валькирии в шлеме с крылышками, уносящей в небо на летучем коне тело юного атлета, павшего в сражении, то наряду с этим там и сям встречались и портреты Вильгельма II. А Вильгельм II, судя по материалам газет, был воплощением Антихриста. Его полчища, его орды, его механизированные банды, ворвавшись в смирную Бельгию, во Фландрию с ее веласкесовскими пиками — прародительницами наших кавалерийских копий,— сметали все на своем пути. Они шли напролом, как конкистадоры, попирая руины соборов, дробя августейшие камни, проходя кощунственным маршем — после поджога Лувенской библиотеки — по настилу из инкунабул, вышвырнутых на улицу. «Ein, zwei»... «Ein, zwei» [1]. Они шагали, как варвары, топча уникальные свитки, бесценные манускрипты, пергаменты с великолепными заставками и витиеватыми прописными буквами, сражаясь уже не с людьми, а с прославленными дей-

[1] Раз, два... *(нем.)*.

ствующими лицами из Нового и Ветхого заветов, обретающимися испокон веков как на страницах распахнутых книг, так и в тимпанах, портиках и на папертях церквей.

Германские пушки палили по Исайе и Иеремии, Иезекиилю и Ездре, по Соломону и Суламифи, по Давиду, который вместе с Вирсавией — сюжет драмы, рукопись которой мы купили у нашего друга, Именитого Академика,— уготовил печальный конец старому рогатому вояке (какой же полководец не рогат, думал Президент, если к тому же он стар...); пушки палили и по «Прекрасному Богу» Амьенскому, бесподобному лику — ныне разбитому, расплывшемуся в тумане, растаявшему последним вздохом камня в необратимых сумерках — самого прекрасного из Улыбающихся ангелов. Но это выглядело, может быть, еще не так ужасно, как возмутительная хроника насилий над людьми. Парижская «Иллюстрасьон» издавала специальное приложение — серые брошюрки, которые убирались подальше от детей,— где подробно рассказывалось, как немецкие солдаты, овладев деревней или городком, хватали невинных девушек — школьниц, подростков — где-нибудь на задворках сапожной мастерской, аптеки или похоронного бюро и насиловали их — девять солдат, десять солдат, одиннадцать, писала «Иллюстрасьон»; пятнадцать, сказал бы Луи Дюмон, любитель описывать такие зверства,— насиловали, не изменяя гнусной германской дисциплине и подчиняясь команде фельдфебелей, которые отдавали распоряжения: «Твоя очередь... Следующий, готовься...»

Глава Нации ежедневно изучал эту прессу, отмечая красным карандашом то, что считал нужным перепечатать в своих газетах, дабы сконфузить и устыдить некоторых военных, бывших сотрапезников Гофмана, потенциальных «Вторых Фрициков», которые, по имеющимся у него сведениям, были недовольны — хотя и не выражали открыто своего недовольства — недавней отменой каски с острием, этой важной принадлежности парадной формы офицеров Национальной армии. Подобным читателям, особо нуждающимся в дегерманизации, и предназначались в первую очередь статьи об ограблениях прекрасных замков, краже часов — о часах, кстати, уже начали писать в 1870 г.,— о переплавке шестисотлетних колоколов, о базиликах, превращенных в сортиры, о надругательствах над святынями и о состязаниях в стрельбе по холстам Мемлинга или Рембрандта, затевавшихся пьяными капитанами...

Смотрел Глава Нации по утрам на подоблачные выси Колонии Ольмедо: черные скалы в тутовых деревьях, одна-две прижившиеся там ели, тонкие изгибы виноградных лоз — и думал, что эти подонки там, наверху, несмотря на вопли «Да здравствуйт ррродина!» их девок с рыжими косами, наряженных местными крестьянками и встречавших его с букетами фиалок, когда он посещал их главное селение, были в глубине души заодно с теми, кто отсекал руки детям там, в Артуа или Шампани, чьи обезображенные войной пейзажи — выщербленные дома, обуглившиеся деревья, перепаханная снарядами земля — представали перед нами на картинах Жоржа Скотта и Люсьена Симона, присылались в качестве бесплатных приложений и годились для рамок любого размера: болотно-серая цветовая гамма была призвана подчеркнуть трагизм пустых площадей, изувеченных ратуш, скелетов средневековых зданий, а кое-где — как обвинение, выдвинутое самой Землей,— изображался голый ствол некогда величавого дуба, без листвы и ветвей, героически выжившего, устоявшего, ствол, который, казалось, кричал среди всеобщего опустошения сотней ртов своей изодранной коры...

Глава Нации отрывался по утрам от мрачного газетного чтива

всякий раз, чтобы из окна взглянуть на Немецкий составчик, когда тот начинал свой подъем на гору, иногда останавливаясь и яростными свистками вспугивая коз, увлекшихся молодой травкой на середине пути. А после своего обычного завтрака — маисовых лепешек, крестьянского творога и приправленного перцем мяса — Президент усаживался перед пианолой «Вельт-Миньон», подаренной ему испанской колонией из Нуэва Кордобы. Старательно нажимая на педали и перебирая регуляторы, чтобы извлечь из перфорированного ролика мелодию «К Элизе» и начало — всегда только начало — «Лунной», думал при этом, что манипуляции с музыкальным инструментом чем-то похожи на работу машиниста, ведущего сейчас Немецкий составчик к лесам, где резвятся импортированные белки, которые, по мнению одного нашего журналиста, большого мастера по части всяких происков — м-да, коварный конкурент! — грозят вызвать эпидемию бруселлёза и сгубить весь наш национальный рогатый скот, и так, впрочем, довольно хилый и жалкий на вид, ибо, как показала практика, у местных худосочных коров подкашивались задние ноги при встрече с многопудовыми быками-симменталами, привезенными из Шароле, и добрые намерения последних улучшить здешнюю породу оказывались, увы, бесплодными.

«Ну и война, мой Президент!» — вздыхал каждое утро Доктор Перальта, закуривая после крепкого кофе свою первую дневную сигару. «Ужасная, ужасная»,— отвечал Глава Нации, обращаясь мыслями к Немецкому составчику. «И конца ей не видно...» Но однажды он узнал, что в столице ресторанные стратеги задали пир на весь мир, не скупясь на вино и чурраско [1], при получении телеграммы о том, что «Матэн» недавно опубликовала сообщение на восьми колонках с поистине сенсационным заголовком: «Казаки в пяти переходах от Берлина». «Теперь, выходит, объявились новые защитники «Латинидад» — казаки вместе с сипаями и сенегальцами, которые уже ввязывались в это дело»,— заметил Перальта с ехидной усмешкой. «Хоть бы застряли в пути!» — проворчал его собеседник, думая о том, что благодаря всеобщему интересу и ажиотажу, которые вызывала эта страшная война, внимание народа привлечено к событиям, происходящим где-то в большом и чуждом мире. Покой и благодать снизошли, наконец, на Главу Нации под сенью пушек, готовых к бою.

10

...Хотя многие вещи и могли бы нам показаться в высшей мере необычайными и смешными, они тем не менее уже введены и приняты другими великими народами.

ДЕКАРТ

Проходили недели, а Глава Нации не покидал своей резиденции в Марбелье, решая государственные дела в помпеанского вида беседке, окруженной апельсиновыми деревьями большого сада. По утрам он отправлялся на прогулку вдоль берега на Олоферне, холеном гнедом коне, который кусал и лягал всех, но был заискивающе ласков с хозяином, потому что хозяин ежедневно и собственноручно поил его английским пивом «гиннесс», кажется, из бочки, появление которой всегда вызывало радостное ржание. У Президента имелись все основания быть довольным жизнью, ибо никогда его Государство не

[1] Мясо, поджаренное на углях.

знало такого благоденствия и процветания, как в эту пору. Европейская война — которая, по правде сказать, хотя об этом лучше и не говорить, оказалась благословением божьим — взвинтила цены на бананы, сахар, кофе, гуттаперчу, благодаря чему невиданно разбухли банковские счета, десятикратно увеличились состояния, появилась такая роскошь и такая изысканность вкусов, о чем до недавнего времени можно было только мечтать, читая романы из великосветской жизни или любуясь такими почти сказочными гуриями, как Габриэль Робин, Пина Меничелли, Франческа Бертини или Лидия Борелли, без которых не обходился ни один фильм. Окруженная дремучими лесами, столица сама превратилась в массив лесов — строительных — и стропил, нацеленных в небо, в город с тарахтящими лебедками и землечерпалками, с непрестанным визгом блоков, громыханием молотов, бьющих по железу и стали, звоном клепки и стуком колотушек, шуршанием сухого цемента. И все это сопровождалось криками рабочих где-то наверху и криками рабочих где-то внизу, свистками, сиренами, скрипом повозок с песком и громким урчанием моторов. Магазины вырастали за одну ночь, вдруг являя на рассвете блестящие витрины, где восковые манекены — еще одно нововведение — праздновали первое причастие, демонстрировали свадебные наряды, шикарные туалеты и даже военные мундиры из английского габардина — модели на заказ и готовые — для высших офицерских чинов. Машины, изготовлявшие медовые лепешки у входа на старый Королевский рынок, поражали прохожих мерным движением металлических рук, которые месили, раскатывали, резали белое тесто, окропляемое чем-то красным и пахшее ванилью и алтеей. Неистово множились адвокатские конторы, банки, страховые агентства, торговые фирмы, акционерные общества. Теодолит и веревка превращали заливные луга, пустоши и козьи выгоны в земельные участки — строго разделенные, отмеренные, квадратные, на тех местах, что испокон веков звались «Лужайка прокаженного», «Дикое место» или «Хлев тетки Петры», а теперь стали называться «Багатель» «Вест-сайд» или «Арменонвиль» и делиться на парцеллы, которые существовали только на земельных планах, почти никогда не застраивались и росли в цене при продажах и перепродажах по нескольку раз на день в конторах с целыми батареями «Ундервудов», с позолоченными вентиляторами, рельефными картами и великолепными макетами, с коньяком и водкой в сейфах; в конторах, где торговались и спорили под звон бокалов, в дыму гаванских сигар, принимали приглашения женщин, которые — это тоже было великое новшество — по телефону предлагали свои услуги на языке с иностранным акцентом, сулившим утонченные наслаждения, что шокировало наших — и тем хуже для них — слишком конфузливых проституток, дававших «представление» в классическом стиле, без тени фантазии, без оригинальных находок и удивительных выдумок, чем уже славились другие страны. Пианолы наводнили столицу, раскручивая ролики с песнями «Мадлон», «Пикардийская роза» и «Путь далек до Типперери» от зари до зари. В кабачках, где играли в бридж и домино, в барах, где ром «Санта Инес» уступил место виски «Белая лошадь», говорили только о доходах, которые благодаря войне заставили забыть самое войну, хотя весь народ: белые, а также чоло, самбо, индейцы и прочие мулаты и метисы — все стали галломанами, трехцветниками, реваншистами, жанна-д'аркцами и барресистами, утверждая, что скоро мы оправимся от Седанской катастрофы и снова вернутся аисты из поэм стихотворца Анси на колокольни Эльзаса и Лотарингии. В ту же пору вырос и первый небоскреб — пять этажей с аттиком — и незамедлительно началось строительство восьмиэтажного здания под именем

«Дом-Титан». А старый город со своими двухэтажными домиками обернулся Городом-Невидимкой. Да, Невидимкой, потому что столица, превратившись из горизонтальной в вертикальную, скрыла его от глаз людских, от любопытных взоров. Каждый архитектор, которому поручали возводить новые здания выше прежних, заботился о художественном облике лишь «своего» фасада, словно бы этим фасадом можно было любоваться со стометрового расстояния, тогда как улочки, где не могли разминуться две повозки или два экипажа, а вьючные животные шли только караваном, были шириной не более шести-семи вар[1]. И вот, задрав голову у какой-нибудь бесконечно высокой колонны, прохожий тщетно старался разглядеть чудеса ее орнаментации, оценить которые могли только ястребы да грифы. Люди з н а л и, что где-то там, наверху, красуются гирлянды, рога изобилия, жезлы Меркурия или, того лучше, где-то над пятым этажом высится целый греческий храм с конями Фидия[2] и прочим, но об этом всего лишь з н а л и, ибо сии королевские роскошества, все эти купола и украшения царили — город над городом — в сферах, недоступных взору. А еще выше — одинокие, незнакомые, словно изгнанники,— торчали изваяния Меркурия (на Торговой Палате) и Минервы, в чье копье ударяли все летние молнии; торчали статуи возниц, крылатых ангелов и христианских святых, которые господствовали, далекие друг другу и чуждые людям, над хаотическим нагромождением черепичных кровель, шиферных крыш, резервуаров для воды, над печными трубами, громоотводами и вышками для подъемных устройств и лифтов. Люди, сами того не ведая, жили в новоявленных Ниневиях, в головокружительных Вестминстерах, в воздушных Трианонах с фигурными украшениями и бронзовыми скульптурами, которые ветшали, так и не успев войти в общение с народом, что там, внизу, сновал меж портиков, аркад и колоннад, несших на себе всю тяжесть недоступных взору композиций. А поскольку все жаждали новизны, те, кто два века прожил в домах колониальной постройки, бросали свое жилье, чтобы скорее обосноваться в новых зданиях, стиля романского или модерн, а-ля замок Шамбор XVI века или ультрасовременного Стэнфорд Уайт. Поэтому просторные дворцы старого города — со своими порталами в стиле платереско и высеченными из камня гербами — заполнились оборванным, вшивым, обездоленным людом: тут были и мнимый слепой с наемным поводырем, и непробудный пьяница, и хромой аккордеонист с деревянной ногой, и бедняга паралитик, просивший подаяние христа ради. Прекрасные внутренние галереи, закопченные дымом жаровен и перекрытые развешанным бельем, заполнились нечесаными женщинами, голыми детьми, проститутками и бродягами, а патио служили подмостками для спектаклей и ареной для бокса, петушиных боев и выступлений фокусника вкупе с вором-карманником. Сотни автомобилей «форд»— тех самых, что демонстрировались в фильмах Мак-Сеннета,— колесили по плохо замощенным улицам, пробираясь среди рытвин, наезжая на тротуары, сваливая лотки с фруктами, разбивая витрины, стремясь развить скорость, невиданную в этих широтах. Всюду спешка, суета, гонка, нетерпение. За какие-то несколько месяцев войны от масляной лампы шагнули к электрической лампочке, от бадьи для нечистот к унитазу, от ананасного сока к кока-коле, от лото к рулетке, от Рокамболя к кинокрасотке Пирл Уайт, от курьера на осле к почтальону на велосипеде, от коляски, запряженной мулами — с кисточками и колокольчиками,— к роскошному «рено», которому на-

[1] Вара — мера длины около метра *(исп.)*.

[2] Фидий (500—431 гг. до н. э.) — скульптор Древней Греции.

до было проделать ряд сложных маневров — вперед, назад, вперед, назад,— чтобы развернуться в тесноте этого города и катить дальше по улочке, отныне именовавшейся Бульваром, вызывая панику среди коз, коими еще изобиловали некоторые кварталы, где брусчатые мостовые зеленели аппетитной травкой. Монахини-урсулинки освятили местный Лурдский грот, прибегнув к эффектам электрического света; открылся первый дансинг с джаз-бандом, прибывшим из Нового Орлеана; из Тихуаны привезли лошадей и жокеев для празднично украшенного ипподрома, построенного на месте болота.

И вот таким образом допотопный городишко, названный «Правоверным и Достославным» в Акте основания (1553), проснулся однажды утром в осознанной уверенности своего превращения в полноправную Столицу XX века. Бежали последние змеи — гремучие, мапанары, гадюки и прочие — из районов городской застройки, умолкли щеглы и заголосили во всю мочь фонографы. Появились клубы игроков в бридж, залы для демонстрации мод, турецкие бани, биржа и бордель высшего класса, куда не впускали тех, кто выглядел смуглее Министра общественных работ,— избранного эталоном, видимо, потому, что если он и не был паршивой овцой в Кабинете министров, то, несомненно, был там овцой самой темной. Полицейские сменили залатанные башмаки на уставные ботинки и мановением белоперчаточной руки останавливали или пропускали транспорт, шумовая гамма которого обогатилась таким разнообразием клаксонов, что на их резиновых грушах можно было сыграть вальс из «Веселой вдовы» или первые такты Национального гимна...

Глядя на этот город, который рос и разрастался, Глава Нации порой не мог подавить грусть, одолевавшую его при виде пейзажа, менявшегося за окнами Дворца. Он сам участвовал в крупных операциях по купле-продаже недвижимого имущества при посредничестве Доктора Перальты и строил здания, разрушавшие панораму, с незапамятных времен так тесно связанную с его судьбой, что изменение привычных взору картин, о чем порой напоминала Мажордомша Эльмира — «взгляните сюда»... «взгляните туда»,— разило в самое сердце как дурное предзнаменование. Воздвигнутые недавно фабричные трубы кромсали, рассекали отнюдь не эстетичную сеть телеграфных проводов, теперь уже казалось, созданную самой природой. А Вулкан, Вулкан-Старец, Вулкан-Покровитель, Жилище древних богов, символ и эмблема, чей конус запечатлен на Гербе Нации, становился не похожим на вулкан — тем более на Жилище древних богов,— когда туманным утром высовывал свою царственную голову с робостью униженного монарха, короля без свиты, из-под одеяла густого дыма, которым его прикрывали четыре высоких жерла большой Электростанции, недавно расположившейся по соседству с ним. Устремляясь вниз по спирали, дробя на части склоны гор, холмы, долины и леса, город брал в кольцо своего Властелина. А поскольку городское население росло за счет стекавшихся сюда из провинций крестьян, поденщиков и ремесленников, влекомых процветающей Столицей, здесь росли и полчища хворых стариков, людей, изнуренных малярией; золотушных детей, истощенных паразитами и служивших в очередную эпидемию первой добычей злостных гриппов неизвестно откуда являвшихся. Частые похороны, гробы и траур обтекали Президентский Дворец со всех сторон. «Опять Совушка[1] пожаловала!» — восклицала Мажордомша Эльмира, завидев катафалк державший путь на кладбище. «Чур меня!» — отвечал заклинанием Глава Нации, подворачивая на обеих руках указательный палец под

[1] В некоторых странах Латинской Америки сова служит символом несчастья.

средний, чтобы отвести напасть. «Да вас самому Напольону не одолеть»,— утешала его Мажордомша, наградившая бессмертием персону, чье имя было для нее воплощением наивысшей власти, дарованной богом существу человеческому, потому как вышел «Напольон» из низов, родился, по слухам, как Христос, в яслях, а подчинил себе весь Мир, не перестав при этом быть добрым сыном, добрым братом, другом своим друзьям (даже прачку щедротами своими не оставил, когда сделался великим человеком!), и всегда знавал толк в настоящих бабах, вроде той, с Карибского моря, которая подцепила его [1] не знаю где, но знаю только, что хороши мулатки и чолы, сам бес у них в паху сидит, и кто с ними свяжется, ох... (Бывало, мужчины все на свете бросали, бежали из дому, голову теряли, услышав «Молитву к Одинокой душе», молитву, которую знают Женщины Великой силы и повторяют ее при закрытых дверях и зажженной лампе столько раз, сколько зерен в четках: «Псом бешеным беги за мною. Аминь...»)

После долгих размышлений Глава Нации с поистине юношеской энергией — энергией, которой на кое-что другое уже не всегда хватало в его годы,— взялся за дело, которое должно было стать великим творением правителя-созидателя и запечатлеть в камне эпоху его правления: он счел нужным преподнести стране Национальный Капитолий. Приняв это решение, Президент было задумал провести открытый международный конкурс с приглашением всех желающих архитекторов, чтобы иметь возможность сравнивать идеи, планы и проекты. Но едва лишь распространилось известие о конкурсе, как местные архитекторы, недавно создавшие свою коллегию, заявили протест, утверждая, что с такой-то задачей они и сами справятся. И начался затяжной процесс обсуждений, с бесконечными критическими замечаниями и предложениями, в ходе которых будущее здание — его внешний вид, стиль и пропорции — подвергалось многочисленным метаморфозам. Сначала выплыл Греческий храм, уснащенный дорическими колоннами — с тридцатиметровыми стволами без оснований,— пародия на Парфенон в масштабах Ватикана. Однако Главе Нации вспомнилось, что Кайзер Вильгельм, сие воплощение прусского варварства, очень любил подобные эллинские громады и даже владел «Аквилеоном» парфенонского типа на острове Корфу. Кроме того, греки не додумались до купола, а Капитолий без купола не Капитолий. Лучше обратиться к вечному Риму, матери нашей культуры. Поэтому наши архитекторы резво перескочили от колонны дорической, даже не задев ионическую, прямо к колонне коринфской и предложили купол, сходный с тем, что украшает Дворец юстиции в Брюсселе. Но, увы, полукружье — с двумя секторами для Палаты и Сената — явно напоминало амфитеатры Дельфийского храма Аполлона и Эпидаврского храма Эскулапа и потому выглядело слишком суровым, мрачным и несовременным — особенно без трибун для публики, чье присутствие в подобном месте отвечало основному требованию демократии. Один национальный архитектор, сменивший двух предыдущих национальных архитекторов, которые уже были дискредитированы и впали в немилость вследствие гнусных происков многих других национальных архитекторов, вдохновился какой-то английской иллюстрацией к «Юлию Цезарю» Шекспира и сделал проект амфитеатра в романском духе, с колоннадой наверху, что сначало было одобрено Советом Министров. Однако вскоре вспомнили, что наша страна — крупнейший поставщик красного дерева и что наше красное дерево — с древесиной огненной, багровой — должно

[1] Речь идет о Жозефине де Богарнэ (1763—1814), первой супруге Наполеона Бонапарта, креолке, уроженке о-ва Мартиники.

быть широко использовано при постройке такого монументального здания: для его обшивки, резных украшений, трибун, лестниц, скамей, парадных дверей, мест для председателей и т. п. в обеих частях амфитеатра. Но так как римляне никогда не применяли дерево в подобных целях, возник пятый проект Капитолия, в основу которого был положен неоготический стиль здания парламента в Будапеште. Однако, ввиду того что Австро-Венгерская империя вела войну против «Латинидад», отвергли и этот план, тут же вспомнив о гении Эррера и о впечатляющей громаде Эскуриала [1]. «Выбросить из головы,— возразил Глава Нации.— Сказать Эскуриал — значит сказать Филипп II, а сказать Филипп II — это значит сказать сожженные на кострах индейцы, закованные в цепи негры, казненные герои-касики, погибшие под пытками вожди, пресловутые суды инквизиции...»

Проект № 15 был отклонен из-за того, что архитектор переусердствовал в своем рвении применить для облицовки национальный мрамор, недавно найденный в районе Нуэва Кордобы, и здание воскрешало в памяти Миланский собор, а подобная церковная реминисценция могла вызвать неудовольствие масонов, вольнодумцев и других людей, с чьим мнением приходилось считаться. Проект № 18 был назван непристойной копией парижской «Гранд-опера». «Конгресс — не театр»,— сказал Глава Нации, сбрасывая на пол чертежи со стола Совета. «Бывает...» — пробормотал за его спиной Доктор Перальта.

Наконец после долгих размышлений и дискуссий, многих предложений и контрпредложений был принят Проект № 31, который предлагал самое простое решение: контур — примерно как у вашингтонского Капитолия, интерьер — с использованием национальной древесины и национального мрамора, а если последний окажется не так хорош, как считается, заменить его мрамором, закупленным в итальянском городе Карраре, хотя для публики он останется мрамором национальным...

И подготовка Дня Столетия Независимости ознаменовалась началом строительства — закладкой Первого камня и торжественными речами, в которых на самой высокой ноте прозвучали все относящиеся к теме пустопорожние слова. Но оставалась еще одна проблема: под самый купол должна была подняться монументальная статуя Республики. Все национальные ваятели тотчас предложили свои услуги. Однако Глава Нации знал, что никто из них не способен создать подобную скульптуру. «Как жаль, что умер Жером! — сказал он, думая о своих «Гладиаторах».— Это был мастер».— «Зато жив Роден»,— заметил Доктор Перальта. «Нет, Родена не надо... Скульптор великий, ничего не скажешь. Особенно в искусстве голого реализма... Но если он сфабрикует для нас нечто вроде своего нагого Бальзака, мы сядем в лужу... Отказаться нельзя, там, в Париже, засмеют, а не откажешься — хоть беги из собственной страны...» — «Запретите всякие комментарии в прессе».— «Это противоречит моим принципам. Ты сам знаешь. Подлых изменников — стрелять и рубить. Но допускать полную свободу критики, полемики, дискуссии и ученых споров в сфере, касающейся искусства, литературы, поэтических школ, классической философии, загадок Вселенной, тайн древних пирамид, происхождения Человека в Америке, концепций Красоты и тому подобных вещей... Это и есть культура...» — «А в Гватемале наш друг Эстрада Кабрера [2] создал культ Минервы, воздвиг ей храм...» — «Прекрасная инициатива великого властителя...» — «...и вот уже восемнадцать лет он у Кормила власти...» — «...именно поэтому.

[1] Х. де Эррера (1530—1597) — испанский архитектор, построивший под Мадридом Эскуриал — дворец-монастырь, усыпальницу испанских королей.

[2] М. Эстрада Кабрера (1857—1924) — диктатор Гватемалы.

Однако его Афина Паллада не имеет ничего общего с той статуей, что в Европе...»

В полном расстройстве Глава Нации послал письмо Офелии, которая вернулась в Париж после того, как в течение нескольких месяцев колесила по андалусским пастбищам, вдруг так же помешавшись на быках, манипуляциях с плащом и канте-хондо [1], как прежде теряла голову от представлений в Байрейте или Стратфорде-на-Эйвоне. Не питая ни малейшего пристрастия к эпистолярному общению, которое нескромно демонстрирует орфографическую немощь и не раз ее подводило, Инфанта ответила телеграммой, содержавшей два слова: «АНТУАН БУРДЕЛЬ» [2]. «Не знаю такого»,— сказал Доктор Перальта. «Я тоже,— сказал Глава Нации.— Видимо, кто-то из богемы, ее приятель». И, чтобы развеять сомнения, обратился к Именитому Академику с просьбой о более детальной информации. Обратная почта доставила фотографии рельефов, сделанных скульптором для монументальной отделки Театра Елисейских полей в 1913 г. Одна из работ, аллегорически изображавшая музыку, особенно не понравилась Перальте своей неестественностью, надуманностью, манерностью композиции; две фигуры, словно насильственно втиснутые в замкнутый четырехугольник: нимфа, которая скорчилась над скрипкой, но никак не дотянется до нее смычком, зажатым в заломленной за голову руке, и паукообразный остроугольный сатир — скорее энтомологической, нежели грекомифологической принадлежности,— дующий в огромную свирель, более похожую на ствол пулемета 30-30, чем на источник безыскусных мелодий. К фотографиям был приложен номер «Газетт-де-боз-ар» со статьей, где подчеркивались красным карандашом высказывания известного критика Поля Жано о том, что сей ваятель создает свои произведения не в архаической манере, а тяготеет «к неотесанности в германском духе».

«Германском, германском! Нашла кого рекомендовать нам сейчас! Эти игры с быками превратили ее в полнейшую дуру. Ни капли политического чутья...» Президент не упустил из виду и фонетический аспект проблемы. «А кроме того, нам абсолютно не подходит его фамилия. Бурдель. Подумай, как это будет звучать по-испански». «Совершенно верно! — сказал Перальта.— Сначала его будут именовать Боооуурдель. А потом станут называть правильно».— «...И начнут тогда чесать языки мои заклятые друзья... Мы сами поднесем им подарок на серебряном блюде: мол, это не Капитолий, а...; не Республика, а...; не правительство мое, а сплошной... Нет, и думать нечего!» — «Нам надо обратиться к Пеллино»,— подал мысль Перальта. И вот этот итальянский мастер по мрамору, поставщик широкого ассортимента ангелов, крестов и склепов для кладбищ, скульптор, которому многие наши, весьма довольные его работой, города обязаны неподражаемыми памятниками героического и религиозного характера, горячо рекомендовал одного миланского ваятеля, чьи произведения были отмечены наградами в Риме и Флоренции и который специализировался главным образом на монументальной скульптуре, городских фонтанах, патриотических мемориалах, конных статуях и вообще предпочитал искусство официальное, серьезное, торжественное, с исторически точно воспроизведенными мундирами, если того требуют обстоятельства, с достойно прикрытой наготой, если вообще нагота нужна для какого-либо аллегорического образа, в своих изобразительных средствах понятный всем и предпочитающий

[1] Народные андалусские песни.

[2] А. Бурдель (1861—1929) — французский скульптор, чьи произведения приобретались странами Латинской Америки.

эстетические принципы отнюдь не устарелые, но и не слишком модернистские — ибо известно, что модернизм в пластике тех времен являлся предметом ожесточенных споров. Альдо Нардини — так звали скульптора — прислал эскиз, который немедля был одобрен Советом министров: Республика была представлена в виде гигантской пышнотелой женщины в греческих одеждах, опиравшейся на копье, символ бдительности; с лицом благородным и строгим, как две капли воды похожим на лицо ватиканской Юноны; с двумя массивными грудями, одной прикрытой, другой обнаженной, служившими символом плодородия и изобилия. «Гениальностью не пахнет, но всем понравится,— заключил Глава Нации.— Выполняйте...»

Долгие месяцы занял процесс лепки форм и отливки статуи, сопровождавшийся регулярными сообщениями в газетах о ходе работ, пока, наконец, однажды утром в гавани Пуэрто Арагуато не пришвартовался корабль из Генуи, доставивший Гигантскую Матрону. Толпы любопытных собрались у мола в ожидании ее появления. Но жаждавших увидеть статую в натуральном виде, такой, какой она будет возвышаться в Капитолии, постигло некоторое разочарование при известии о том, что ее привезли не целиком, а кусками, дабы потом собрать на месте установки. Но зрелище и без того было весьма впечатляющим. Портовые краны подняли канатные крючья, опустили их в трюмы, и скоро, под общий вздох восхищения, появилась из темных недр Голова, поплывшая по воздуху, а вслед за ней взвились вверх другие части тела. Левая нога с соответствующим фрагментом задрапированной Ляжки, Правая рука с обломком копья, Массивный живот с бороздой жизни, эффектно оттененной в бронзе; прикрытая Левая грудь — сразу за Правой ногой и Левой рукой, а за ней ввысь полез огромный Фригийский колпак, которому надлежало увенчать Республику. Но тут как раз прозвучал гудок: двенадцать часов. Краны замерли, грузчики оставили работы и отправились обедать. Народ, однако, не расходился. И было из-за чего: в чреве корабля оставалось еще кое-что, вызывавшее интерес. В два часа пополудни вернулись рабочие, и из трюма, под аплодисменты и восторженные возгласы, выплыла Обнаженная правая грудь Великой Женщины и с торжественной неторопливостью опустилась на землю. Затем все составные части тела были водружены на грузовики и доставлены к товарному составу, на платформах которого распласталась Исполинша в эстетически немыслимом виде — по куску туловища на вагон — и хотя она являла собой женское тело, гармоничным сложением похвастать не могла. Вагон первый — Фригийский колпак; 2-й — Плечо с Прикрытой левой грудью; 3-й — Голова; 4-й — Плечо с Обнаженной правой грудью; 5-й — Массивный живот... А далее, в хаотическом беспорядке — бедра, руки, ноги в греко-креольских сандалиях, три обломка копья; локомотив впереди и локомотив сзади, ибо состав был так тяжел, что железнодорожники выражали опасение — сумеет ли эта бронзовая махина дотащиться доверху и перевалить через Вершины, где из-за обильных ливней дорогу уже не раз перекрывали оползни и обвалы... Однако Республика прибыла, наконец, в столицу, и, таким образом, Страна, вместо того чтобы обзавестись монументом Бурделя, сделалась обладательницей статуи миланца Нардини, статуи, чей ясный и строгий лик вскоре навсегда сокрылся от людей, потому что из-за чрезмерной величины фигуры голова терялась где-то под куполом, круглая галерея которого посещалась лишь дважды в год рабочими-уборщиками — этими истинными циркачами, слишком занятыми своей эквилибристической работой на головокружительной высоте, чтобы оценить по достоинству все прелести произведения искусства.

11

Капитолий подрастал. Белый, еще бесформенный колосс, заточенный в клетку строительных лесов, поднимался над крышами города, вознося свои колонны, простирая крылья, хотя, бывало, его сооружение внезапно прекращалось в силу финансовых и других чрезвычайных обстоятельств. Нет, дело было не в экономике страны, переживавшей невиданный расцвет, а в том, что стоимость материалов росла с каждым месяцем, подскакивали цены на инструменты и оборудование, увеличивалась плата за морские и сухопутные перевозки, и поэтому всегда не хватало отпускаемых на строительство средств, немалая часть которых к тому же незримо оседала в карманах министров и ответственных чиновников Комиссии общественного снабжения и государственного украшательства, не говоря уже о необходимости часто погашать два чека: один на очень значительную сумму, другой на сумму более скромную, которые окольным путем пересылались Доктору Перальте из Министерства общественных работ. И вот ни с того ни с сего приостанавливались все работы: аркада замирала без перекрытий, портал — без фасада; замирали долота резчиков по камню, из которого рождались консоли и астрагалы,— и опять нужны были новые ассигнования, введение налогов на шведские спички, на импортные ликеры или на тотализатор, чтобы возобновилось возведение здания. А меж тем, в периоды затишья, центр Столицы превращался в своего рода римский форум, эспланаду Баальбека, террасу Персеполиса под луной, которая бросала свет на сей странный пейзаж, являвший собою разбросанные глыбы мрамора, фризы с едва намеченной резьбой, обрубки пилястров, груды камней вперемешку с цементом и песком — словно развалины, руины, тлен того, что еще не успело воплотиться в памятник. Но, хотя и без крыши, уже высились в этом хаосе созидания будущего оба сектора великолепного амфитеатра со скамьями для Палаты и Сената, и во время строительных пауз их использовали для своих надобностей университетский факультет Гуманитарных наук вместе с владельцем Скэтинг-ринга. Поэтому вечерами доносились, бывало, стенания Аякса или вопли Эдипа, этого кровосмесителя и отцеубийцы, из Северного сектора, который занимали студенты под свой Античный театр, а напротив, в Южном секторе, под звуки самого радостного вальса Вальдтейфеля по громыхающему деревянному настилу кружились женщины, которые, не пожелав презреть моду ради спорта, ухитрялись прикреплять роликовые коньки к туфлям с каблуками а-ля Людовик XV. В проходах и других свободных местах время от времени появлялись бродячий «Музей Дюпюйтрен» [1], «Грандиозный Паноптикум эпохи Открытия Америки и Уничтожения индейцев», скопища собак, кошек или нищих, а наверху, по проволоке, натянутой меж колонн без карнизов, канатоходцы в розовых трико, балансируя шестами с электрическими лампочками, путешествовали от капители к капители над трагедиями Софокла и хороводами танцоров на роликах, не удостаивая вниманием эти разыгрывавшиеся где-то далеко внизу спектакли — канатных плясунов больше тревожило очередное возвращение армии рабочих, которые периодически снова приступали к этому почти литургическому возведению Общественного храма, стремясь к его самой верхней башенке.

Так и шло строительство — то прекращаясь, то возобновляясь,— когда однажды утром Доктор Перальта с сияющим видом ворвался

[1] Г. Дюпюйтрен (1777—1835) — французский хирург, именем которого назван патологоанатомический музей в Париже.

в личные покои Главы Нации, где Мажордомша Эльмира еще разгуливала в дезабилье: «Чудо, мой повелитель! Чудо! Немецкие подлодки только что пустили на дно «Виджиленс», американское судно! Вся корабельная команда гринго досталась рыбам на обед! Ни один не уцелел! (С хохотом.) Ни один не уцелел, мой Президент! Ни один! Всех смели под чистую!.. И хотя еще нет официального подтверждения, известно, что Соединенные Штаты вступили в войну. Да, сеньор, вступили в войну». И столь велико было ликование обоих, что руки сами собой потянулись к саквояжику-«гермесу», и полился рекою ром «Санта Инес». («А я что, хуже?» — сказала Мажордомша и быстро опорожнила стаканчик.) Давно так не радовался Глава Нации, ибо Европейская война, превратившаяся в войну позиционную, окопную, с упорными и малоэффективными боями за какую-то высоту, за рощицу, за руины уже травой поросшего разрушенного форта, в войну с ничтожными успехами и пустячными отступлениями, с таким количеством убитых, что их перестали считать, стала развлечением малозанимательным, чтобы не сказать — скучнейшим. Для тех, кто наблюдал ее отсюда, она как спектакль утратила всякий интерес. Прошли времена, когда люди передвигали флажки на картах дальних стран, отмечая победы и поражения, потому что уже не было вестей о каких-либо ошеломляющих победах или поражениях, а если разыгрывалась какая-нибудь примечательная баталия, все происходило в тех же самых пределах Аргонн или Вердена, возле местечек с неизвестными именами — один сантиметр влево или один вправо на картах масштаба 1 : 1000, еще валявшихся — запыленных и никому не нужных — в редакциях газет. Страна богатела и процветала, вне всякого сомнения. Но жизнь дорожала, и богатство страны отнюдь не вызволяло всегдашних бедняков из их всегдашней нужды: на завтрак — жареные бананы, в полдник — бататы, к обеду в конце рабочего дня — ломоть хлеба с маниокой или куском копченой козлятины, или вяленой говядины (от больной прирезанной коровы) по воскресеньям и дням рождения,— и так далее, несмотря на с виду вполне приличные заработки. Поэтому студенты, интеллектуалы, профессиональные агитаторы — все эти гнилые интеллигенты, которые кого угодно выведут из терпения,— мало-помалу стали сплачиваться, создавая широкую тайную оппозицию. И когда, казалось, воцарилась тишь да благодать, Глава Нации был неприятно удивлен ростом сил своих противников, которые пробрались в столицу и стали напоминать о себе там, где меньше всего их ждали, отравляя настроение и прогоняя сон. Слишком поздно стало известно (и этот кретин, Шеф сыскной полиции, не смог с самого начала пресечь вредительство!), что в Университете на кафедре новой истории читались лекции о Мексиканской революции, шли разговоры о силах пролетариата, о крестьянских лигах, о социалистическом правительстве Каррильо Пуэрто [1] на Юкатане и о статьях «авантюриста гринго» Джона Рида — обо всех этих вещах, которые погубили, разорили, осквернили Мексику, эту великолепную страну дона Порфирио, гуманиста и цивилизатора, который, вместо того чтобы покоиться в шикарном национальном пантеоне, недавно умер, сраженный черной неблагодарностью сограждан, и похоронен в унылом закоулке кладбища Монпарнас. А сверх всего неизвестные анархисты, прибывшие, конечно, из Барселоны — их наши Секретные службы никак не могли схватить,— неуловимыми призраками шныряли по ночам и мелом писали на стенах буквы А. С. Р., видимо, означавшие «Анархо-Синдикалистская Революция» и порой сопровождавшиеся такими приписками, как

[1] Ф. Каррильо Пуэрто (1872—1924) — губернатор мексиканского штата Юкатан, социалист, друг Советской России, расстрелянный реакцией.

«Собственность — это грабеж», и другими затасканными лозунгами, которые принимались всерьез разве только в нашей отсталой обезьяньей Америке...

Теперь же, после блистательного потопления «Виджиленса», в войну должны были вступить Соединенные Штаты, должны были вступить в войну и мы; вновь подогрелось бы патриотическое чувство, и, поскольку война действительно требует введения постоянного чрезвычайного положения, можно было бы устроить под музыку нашего Национального гимна, «Марсельезы», «Боже, храни короля», «Боже, царя храни» и «Звездно-полосатого флага» [1] грандиозную облаву на оппозиционеров — на всех германофилов, во всяком случае,— облаву, еще невиданную в нашем государстве...

Затем, всласть подкрепившись ромом, как в добрые старые времена, Глава Нации пригласил Посла Соединенных Штатов и сообщил ему, что наша Республика в эти дни суровых испытаний пойдет рука об руку со своим Великим Северным Соседом и Братом, а затем, после молниеносно проведенного совещания Совета министров, Глава выступил на срочно созванном совместном заседании обеих Палат, где единогласно был одобрен текст Объявления войны Германии и ее союзникам, всякий раз сопровождавшийся аплодисментами после слов «учитывая» и «ввиду чего», которые подтверждали справедливость этой акции...

И в тот же самый день начались военные действия, открывшиеся операцией, столь же удачной, сколь быстрой, если судить по трофеям и ее молниеносному проведению: ровно в пять часов пополудни представители военной администрации Пуэрто Арагуато поднялись на борт четырех германских кораблей — «Любек», «Гранне», «Шверт» и «Куксхафен», которые стояли здесь на приколе в ожидании распоряжений своего правительства,— наложили на них эмбарго и интернировали команды. Моряки, вне себя от радости, что война для них кончилась, встретили портовые власти криками «ура» и направились бодрым строевым шагом к месту своего заключения, шумно приветствуя прохожих. Одного офицера-ницшеанца, крикнувшего: «Лучше умереть, чем сдать судно!» — они выпивырнули за борт, предварительно отпустив по его адресу ругательство, которое на тевтонском языке, вероятно, означало нечто вроде «пошел ты...». Пленников разместили на большом огороженном участке земли, где они, развесив свои гамаки между деревьями, тотчас стали выдергивать чертополох и выпалывать сорную траву. На следующее утро из досок, предоставленных им по велению свыше, одни стали мастерить очаровательные шале в ренановском стиле, а другие — сажать гладиолусы и утаптывать землю для двух теннисных кортов. Три недели спустя участок целины превратился в образцовую усадьбу. Была там и библиотека с поэмами Генриха Гейне и даже со стихами не чуждого социалистическим идеям Демеля [2]. Правда, не хватало женщин, но многие обходились и без них, собственными силами, а что касается непогрешимых упрямцев, то они выхлопотали себе разрешение посещать каждую пятницу заведение Рамоны под конвоем солдат. И поскольку пленные были очень музыкальны, то, собрав все имевшиеся на кораблях инструменты, принялись наигрывать легкие вещички Гайдна, Мендельсона и Раффа — обычно его Каватину. Иногда какая-нибудь змея — гремучая, кораль или мапанар — посещала концерт, но всегда, вовремя замеченная виолончелистом, который больше всех музыкантов смотрит в землю, погибала от ловкого удара деревянной

[1] Гимн США с 1931 г.

[2] Р. Демель (1863—1920) — немецкий поэт, для раннего творчества которого характерна социальная тематика.

дужкой смычка по хребту — col legno, выражаясь профессионально... Часто, в сопровождении всего стройного ансамбля, суперкарго с «Любека» выводил приятным тенорком:

Wintersturme wichen
dem Wonnemond,
In milden Lichte
leuchtet der Lenz...[1]

Вторая операция этой войны имела целью захват Немецкого составчика — операция, которой лично руководил Президент, возглавляя 2-й Оперативный саперный полк. На рассвете дня «N» были заняты обе конечные станции — верхняя и нижняя, а также полустанки, семафорные установки, блокировочные посты и т. п. И поскольку железнодорожное сообщение было прекращено до особого распоряжения, Президент обрел, наконец, возможность выполнить свою заветную мечту: вдоволь позабавиться с паровозиком, отправив в тендер с углем Перальту, сразу лицом почерневшего. Немного разбираясь в механизме управления, он заставлял локомотив то рваться вперед, то давать задний ход, врываться в депо и выноситься обратно, без устали маневрировать в поворотных кругах, свистеть, пускать пар из всех клапанов и вентилей и дымить почем зря, застилая гарью все вокруг во время нескончаемых рейсов и остановок, когда хотелось что-нибудь погрузить в вагоны: охапки ли сахарного тростника, бочки или корзинки с кальмарами, бадьи с орехами, пустые клетки или с курами, контрабас или негров-музыкантов, барабанивших на сухих тыквах. А когда Глава Нации, наконец, полностью овладел премудростью топки котла, искусством вождения паровоза, регулировки скорости и использования тормозов для точной остановки поезда у заданной точки перрона, Кабинет министров в полном составе был приглашен осуществить первое путешествие в Колонию Ольмедо, где состоялось празднество с доставленными туда пирожками и маисовыми запеканками и, конечно, шампанским, которого вполне хватало, чтобы выпить за здоровье Главного Механика Государства. И так радовался Президент своему умению управлять паровой машиной, что даже забыл на несколько дней о Европейской войне, потеряв всякий интерес к иностранной прессе, которую регулярно приносил Доктор Перальта и украшением которой был французский журнал «Режиман», где нагая натура чередовалась с наглухо застегнутыми кителями...

А тем временем, затмевая успех «Мадлон» и «Пикардийской розы», песня «Там, вдали!» распространялась по стране с непостижимой быстротой. Вырвавшись из пианол Пуэрто Арагуато, она неслась все выше и выше, от граммофона к граммофону, вдоль линии Великой восточной железной дороги, завладевая консерваторскими фортепьяно, буржуазно-салонными фортепьяно, пианино в кинематографе, пианино в кафе, пианино монахинь, фортепьяно проституток, пока не достигла своего музыкального апогея в воскресных выступлениях военного оркестра в Центральном парке. «Там, вдали!» «Там, вдали!»... Огромные плакаты, на которых североамериканский солдат втыкал штык в невидимого врага с энергичным криком «Come-on!» [2], убедительно призывали покупать облигации военного займа, имевшего в стране такой успех, что некоторое время спустя Посол Ариэль смог торжественно преподнести президенту США Вудро Вильсону целый миллион долларов, собранный менее чем за месяц. В кино шли доку-

[1] Шторм холодный уступил место радостной поре, лучик солнца возвестил о сверкающей весне... *(нем.)*

[2] Рази! *(англ.)*

ментальные фильмы о героических подвигах генерала Першинга[1], того самого, что не так давно провел нашумевшую «карательную операцию» в Мексике. «Там, вдали!», «Там, вдали!». А затем, кроме «Там, вдали!» — зажигательные марши с басистым ревом туб и трелями флейт-пикколо. Один молодой офицер, энтузиазм которого горячо поддержало Правительство («Лишь на войне мужает молодежь,— сказал Глава Нации,— война для мужчин то же, что роды для женщин»), задался целью сформировать Легион национальных добровольцев, чтобы ехать воевать во Францию — под его командой, разумеется. Вооруженные столкновения, конечно, таят в себе опасность, но несут с собой и много развлечений. В доказательство сего было достаточно прочитать статью Мориса Барреса, перепечатанную всеми местными газетами: «В окопах царит приподнятое настроение. Понятно, что по ночам, когда льет дождь,— это вам не залы роскошного ресторана... Однако я знаю такие места, где в восьмикилометровом лабиринте прекрасных окопов переходы получают такие названия, как «Елисейские поля» или «рю Мосье ле Пренс». Я видел такое подземное убежище, где офицер сидит в кресле с обивкой из красного бархата за столом с букетами роз и ест из тарелок старинного страсбургского фарфора. Землянки обставлены мебелью, перенесенной из руин разбомбленных поселков. В окопах царит веселье». Такие сочинения рядом с изображениями бенгальских уланов, молодцеватых берсальеров, казаков — недавно ставших республиканцами,— всех, кто снова с удвоенной энергией ринулся на Германию, где голодающий народ питался одним хлебом из соломы и опилок,— подобные сочинения, уместно снабженные фотографией Офелии, которая в одежде сестры милосердия из Красного Креста (ничего не скажешь: лучезарная креолка, подлинная чула!) перевязывает лоб раненому англичанину,— подобные сочинения вдохнули жизнь в новоиспеченное военное подразделение из двухсот пятидесяти юнцов, жаждавших побывать на Эйфелевой башне, в «Мулен Руж» и в ресторане «У Максима».

«Теперь они т а м увидят, чего стоят наши парни»,— сказала Перальта. Однако публика была обескуражена, когда узнала через несколько недель, что рать ее страны, прибыв т у д а, была включена в французские воинские части и что молодой офицер, оставшийся без подчиненных, вернулся в ужасе и ярости домой, утверждая — а ведь он видел все своими глазами,— что союзники проиграют эту войну, несмотря на американскую помощь и тому подобное, ибо т а м сплошная неразбериха и хаос. Но нашу публику меньше всего интересовал вопрос — проиграют или выиграют войну союзники; гораздо важнее было то, чтобы эта война длилась как можно дольше. Еще бы годика три, четыре, пять лет войны — и мы стали бы великой нацией. Впрочем, с заутрени до вечери, от первого удара колокола на заре до колокольного звона в сумерки сограждане молились за Мир, хотя и следуя при этом новому распространенному обычаю, который трудно объяснить иностранцу,— то есть осеняя себя таким крестом, когда средний палец ложится поверх указательного. Ведь в конечном итоге то, что происходило в Европе, случилось не по нашей вине. Мы не были в ответе за чужие дела. Старый Свет хотел показать пример благоразумия и сел в лужу. И если наша страна в ту пору нежданно-негаданно вступила в эпоху расцвета и обогащения, это было лишь доказательством того, что Всемогущий Господь бог, как сказал Архиепископ в своей страстной проповеди, пожелал вознагра-

[1] Дж. Дж. Першинг (1860—1948) — американский генерал, возглавлявший в 1916—1917 гг. карательную экспедицию в Мексике против революционного войска Панчо Вильи.

дить тех, кто отверг пустые философские учения, лишь пеплом осыпавшие сердца человеческие; кто отринул нечестивые и подрывные социальные доктрины, чуждые нашему национальному своеобразию; кто сумел сохранить религиозные и патриархальные традиции Нации,— так сказал Прелат и взмахнул рукой, откачнув в сторону деревянного голубя Святого духа, висевшего над ним, и указав перстом на Главу Нации, который тем утром присутствовал в Соборе.

Строительство Капитолия близилось к концу. Сдавленная стенами дворца, слишком узкого, несмотря на свою монументальность, чтобы служить ей удобным жилищем, эта Исполинша, Титанша, Колоссальная Женщина — одновременно Юнона, Помона, Минерва и Республика — росла не по дням, а по часам внутри своей все более сжимавшейся обители. Каждое утро она становилась заметно выше— как растения дремучей сельвы, которые невероятно быстро растут по ночам, стараясь успеть дотянуться к рассвету до неба, куда их не впускают кроны деревьев. Сжатая, стиснутая камнем, в который ее заточали, она казалась вдвое более тучной, более дородной, более высокой — гораздо выше, чем была бы, если бы ее собирали из кусков под открытым небом. Купол уже прикрыл ей голову величественным фонарем, скопированным с Дома Инвалидов в Париже, освещенным изнутри — маяк и эмблема,— царившим в городской ночи, жестоко уничижая башни Собора, которые стали теперь такими низкими и жалкими, что не могли вести «беседу, завязанную ими с далекой вершиной Вулкана-Покровителя»,— как выразился один наш великий поэт прошлого столетия...

Строительство шло к концу, но не так быстро, чтобы могло быть закончено, как это намечалось, к знаменательной дате — празднованию Столетия Независимости, которое было не за горами. В тот день, когда эта проблема сроков бурно обсуждалась на заседании Кабинета министров, Глава Нации, внезапно вскипев гневом, тут же снял Министра общественных работ с его поста, пригрозив остальным ссылкой и тюрьмой, если здание не будет завершено, расписано, отшлифовано, отделано, окружено садами и прочим точно в срок... И тогда обратились к трудовому опыту египтян. С помощью сотен пригнанных сюда и размещенных в бараках крестьян, впрягавшихся в волокуши и повозки, выходивших посменно при звуке рожка на работу, стали подниматься колонны, которые еще не были подняты; воздвигаться обелиски, возноситься на высочайшие фризы боги и солдаты, музы и касики, танцоры и капитан-генералы в шлемах и латах, всадники и греческие воины. Полировалось то, что надо было полировать; золотилось то, что надо было золотить; красилось то, что надо было красить. Работали днем и ночью — при свете фонарей и прожекторов. Кругом был такой стук и звон, что неделями город жил будто в кузнице, между молотом и наковальней, особенно когда высекали из мрамора ступени парадной лестницы. А как-то однажды в город въехали Королевские пальмы — лежа растянувшись на грузовиках с прицепными повозками, подметая кронами тротуары, вздымая пыль на перекрестках, пока, наконец, их не воткнули в глубокие ямы, которые забили черноземом, песком и удобрениями. За пальмами, как лес в «Макбете», вырастали низкорослые сосенки, кусты букса, пальмочки-ареки, которые съезжались со всех сторон в город, сюда, где их встречали сотни людей с лейками в руках и подпорками наготове, но, по правде говоря, без особой уверенности в том, что листья сохранят цвет и свежесть к Великому Дню. «Желтые листья подмалюйте зеленым заранее. Они прекрасно выдержат слой краски «Лефранк» часов десять»,— сказал Глава Нации. Тем временем, кося глазами на часы и календари, дрожа от нетерпения и шатаясь от уста-

лости, крича на людей, как каудильо, и пиная людей, как работорговцы, строители и надсмотрщики торопились вовсю, пока, наконец, возведение здания не подошло к финалу, который был достойно увенчан еще одной государственной затратой: у подножия статуи Альдо Нардини, в самый центр зелено-розовой мраморной звезды был вставлен крупный бриллиант от Тиффани, дабы он служил пунктом Ноль — Исходной точкой автострад Республики в этом идеальном месте слияния всех шоссейных дорог, запланированных Правительством для связи Столицы с самыми отдаленными областями страны...

И вот, в тот долгожданный вторник столица проснулась с полным ощущением своей Столетней Независимости — блестящая, отмытая, принаряженная флагами, штандартами, знаменами, гербами, эмблемами и символами, дешевыми аллегориями и картонными конями в память о великих сражениях. Были и сто орудийных залпов на рассвете, ракеты и фейерверки над домами, ликование во всех кварталах города, большой военный парад и оркестры, множество оркестров — местных полковых и провинциальных, которые по окончании официальной церемонии продолжали греметь целый день в городских парках и на уличных эстрадах, передавая по кругу, с посыльным, партитуры — их было немного, считанные экземпляры,— которые в основном являли собой народные песни, патриотические марши и порой отдельные классические вещи, как говорится, «вне программы», тщательно отобранные Главой Нации с помощью Директора Национальной консерватории. Естественно — никакой немецкой музыки, а тем более Вагнера, казалось, навеки изгнанного из симфонических концертов Парижа после того, как композитор был назван в безапелляционных статьях Сен-Санса злосчастным и мерзким воплощением германского духа. Бетховена в ту пору лучше было тоже не трогать — хотя кто-то осмелился заметить, что Германия в его эпоху была все же немного иной, чем при Гинденбурге. И потому на площадях и эстрадах, в парках и на уличных перекрестках чередовались увертюры к «Цампе» и к «Вильгельму Теллю», «Эльзасские сцены» Массне и «Родина» Паладиля, «Тореадор и андалузка» Рубинштейна — в репертуаре должен был присутствовать и русский автор — и «Серенада» Викторина Жонсьера, серенада, которая перестала быть «венгерской», ибо мы находились в состоянии войны с Центральными державами, и потому же самому «Венгерский марш» Берлиоза с его ошеломительным барабанным боем преподносился просто под названием Марш...

Суматошный и веселый был день: водка кувшинами, телячьи туши над огнем, жареный маис бесплатно, пиво большими бочками, игрушки для бедных детей, ленточки и бантики, хоры в Национальном Пантеоне, богослужения во всех церквах, танцы у семейного очага и в питейных заведениях, на улицах и в публичных домах — под аккомпанемент всех пианол, фортепиано, граммофонов и маракас бродячих музыкантов. Сплошь музыка и радость в ожидании торжественного открытия Капитолия, где, в Великом полукружии, соберутся Члены Правительства, Командующие всеми родами войск, Дипломатический Корпус и элегантная публика, тщательно процеженная, обрамляемая и обозреваемая легионом агентов, хранителей нашей Безопасности, облаченных по сему случаю в смокинги, слишком одинаковые, чтобы отличаться от форменной одежды.

Настал час пышного празднества, где были выставлены напоказ все парадные мундиры, эполеты, золотое шитье и ордена: орден Изабеллы Католической, Карла III, немало орденов Почетного легиона,

Honni-soit-qui-mal-y-pense [1] и других подвязок и крестов, изобретений Густава Адольфа [2], и даже таких экзотических знаков отличия, как «Дракон Аннама», Ордена «Водяной лилии» и «Арки победы», недавно пожалованные нашим высшим должностным лицам. Прозвучал Национальный гимн, и на трибуне появился Глава Нации — да, действительно, тем вечером он имел поразительно самодовольный и внушительный вид — при всех регалиях, соответствующих его Высокому Чину. Речь свою он, как всегда, начал в замедленном темпе, сопровождая ее жестами заправского актера и не менее заправского оратора и законченного адвоката, рисуя точную и грандиозную схему нашей истории — со времен Конкисты до Независимости. И те, кто ожидал, с затаенным злорадством, услышать его обычно цветистую словесность, его замысловатые эпитеты, его страстные призывы, были ошеломлены, услышав, как изящно он перешел от вполне спокойного экскурса в великое эпическое прошлое к сухому миру цифр, которые он стал выкладывать с педантичностью экономиста, чтобы показать ясную и убедительную картину национального процветания, хотя оно и совпало — здесь, наконец, его голос дрогнул от волнения,— совпало с решительной попыткой разрушить Великую греко-латинскую культуру, зародившуюся где-то на заре человечества. Но эта великая культура будет спасена. Уже недалека победа наших Духовных прародителей, и она сохранит непреходящие культурные ценности, которым т а м грозит опасность и которые воссоздаются в невиданном блеске по эту сторону Океана.

И любуясь, и приглашая полюбоваться сим грандиозным строением, где находились гости, сим воплощением в камне, мраморе и бронзе классических заповедей греко-латинской — Витрувий, Виньола, Браманте — архитектуры, Глава Нации ускорил ритм своей речи, наращивая ее бравурность, размашисто жестикулируя и внезапно возвратясь к тому пышно орнаментированному, помпезно-барабанному стилю, над которым так потешались его противники. И, завершая свое обращение к Той, что, будучи Вершиной всего Разума и всей Мудрости, должна быть превыше всех и вся — даже самой Республики — в этом только что возведенном Общественном Храме, он разразился следующей вдохновенной тирадой: «О Афина, идеал, воплощаемый гением человеческим в великих произведениях искусства, я предпочитаю быть последним в твоем обиталище, чем первым в прочих местах! Да, я восстану из стилобата твоего храма, я отрину всякое наставление, кроме твоего; я стану жить столпником на твоих колоннах и устрою себе келью на твоем архитраве [3]. Но — как это ни трудно! — во имя тебя я сделаюсь если смогу, нетерпимым и пристрастным! (Публика затаила дыхание.) Я буду, может быть, несправедлив, но именно ради справедливости и ради тебя; и я никогда не перестану быть слугой ничтожнейшего из твоих сынов. Я буду прославлять, восхвалять нынешних обитателей земель, которые ты дала Эрехтею. Я приложу все свои силы, чтобы любить их, даже с их грехами, и заставлю себя видеть в них — о, Гиппий! [4] — потомков тех всадников, что торжествуют там, наверху (палец вверх), свою бессмертную победу в мраморе твоих рельефов...»

---

[1] Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает *(франц.)* — девиз английского ордена Подвязки.

[2] Густав Адольф (или Густав II) — король Швеции с 1611 по 1632 г., реорганизовавший шведскую армию и введший новые знаки отличия.

[3] Стилобат — подножие колоннады; архитрав — главная балка перекрытия пролета (архит.); столпник (религ.) — отшельник, обитавший «ради благочестия» на колонне.

[4] Эрехтей (древнегреческая мифология) — сын богини земли Геи, воспитанный Афиной в ее храме; Гиппий — тиран, властитель Афин (VI — нач. V в. до н. э.).

На этом речь Главы Нации, кажется, закончилась. Публика, стоя, разразилась бурными аплодисментами. Однако Перальта, сидевший на месте секретаря лицом к залу, чтобы иметь в поле зрения Дипломатический корпус, заприметил, как Посол Франции толкнул локтем Посла Англии, когда зазвучал призыв к Афине. При слове «стилобат» толчок Посла Англии уже отозвался в боку Посла Италии, а после «столпника» и «архитрава», Эрехтея и Гиппия локти ритмично заработали во всех направлениях — от посла к поверенному в делах, от посланника к атташе по культуре и т. д.,— пока, наконец, худосочный Торговый Советник-японец, который вздремнул, убаюканный звуками незнакомого языка, чуть было не слетел со скамьи от тычка в ребро, подобно тому как последний в ряду шарик отскакивает в воздух от щелчка такого же соседнего шарика, в свою очередь получившего по цепи заряд механической энергии от какого-то изначального импульса при проведении физических опытов. На свет выпорхнуло множество платочков, чтобы прикрыть гримасы смеха и, только для вида, промокнуть пот на лицах, ибо тем вечером вовсе не было жарко: дул северный ветер, охлажденный снегами Вулкана-Покровителя. И как раз в этот момент Глава Нации, восстановив тишину смиренным наклоном головы, сказал, что он «сейчас особенно благодарен за аплодисменты, так как они служат выражением признательности знаменитому Эрнесту Ренану, чье «Моление на Акрополе» включает прекрасный фрагмент, который только что был текстуально процитирован, ибо полностью отвечает его (Президента) внутреннему, душевному состоянию в этот торжественный вечер». Снова раздались аплодисменты, на сей раз более продолжительные и полнозвучные — будто публика желала испросить себе прощение,— а Перальта, встав со своего места, подошел к Послу Франции и обронил с ехидной усмешкой: «Il vous a bien eu hein? Pas si con que ça, le vieux!» — «Pas si con que ça en effet» [1],— ответил тот, захваченный врасплох, и вдруг ужаснулся при мысли, что его неосмотрительный ответ может быть передан на Кэ д'Орсей, где в те дни было не до шуток и откуда блистательный остряк Алексис Леже пулей вылетел в Китай, а Поль Клодель назначен на пост посла в Рио-де-Жанейро для повышения низкого интеллектуального уровня французских представительств в Азии и Латинской Америке... Но долго думать было некогда — все без дальнейшего промедления сорвались со своих мест и, толкаясь, невзирая на лица и чины, лавиной покатились вниз по лестницам, штурмом беря двери необъятного банкетного зала, прорываясь к столам, где на огромных серебряных блюдах изысканные заморские блюда — Нью-Йорк и Париж — соседствовали с национальными яствами: фазаны во всем своем оперенье, перепела с трюфелями, фаршированные поросята с фисташками, пироги-тамали с острой мясной начинкой и индейки в брусничном соусе, сентоноре с кремом и сладкая рисовая размазня-махарете в чашах, а также прочие родимые пятна нашего поварского искусства под горами черной и красной икры на высеченных изо льда слонах. Но всюду, в центре и на флангах, над всем этим изобилием возвышались кулинарно-архитектурные сооружения из безе и песочного теста, являвшие собой Капитолий со всеми его обелисками и статуями — из марципана,— со всеми, без исключения, колоннами. Публика восхищалась и уплетала кушанья за обе щеки, смаковала вина и ликеры, многочисленные сорта крепкого писко и мексиканской текили, проявляя немалый интерес и к шампанскому в ведерках со льдом розового цвета, на фоне которого особенно ярко сверкали золотистые горлыш-

[1] «Здорово он вас надул? Старик не такой уж простофиля!» — «В самом деле, не простофиля» *(франц.)*.

ки бутылок... Звенели бокалы вокруг колоссальной Республики, а оркестр, вознесенный под самый купол, исторгал оттуда дансоны и креольские бамбы, чередуя их с вальсом из «Прекрасного Огайо» или синкопами, впрочем, не доходившими до слуха стольких жующих и одновременно говорящих людей, из «Прелестной бэби». А потом был фейерверк, который, озарив небеса, низвергался огненными водопадами, рассыпал искры и звезды над террасами и крышами городских домов.

Ровно в два часа пополуночи — официальный прием не может продолжаться дольше, как сообщил Шеф Церемониала,— Перальта и Глава Нации вернулись во Дворец, усталые, но счастливые, с одним лишь желанием — поскорее сбросить фрак и выпить чего-нибудь покрепче и попроще того, что было на празднестве. В президентских покоях их встретила Мажордомша Эльмира, в исподнем, но с теплым платком на плечах, потому что дувший с гор холодный ветер легко проникал сквозь жалюзи. И так как Секретарь исполнил обещание принести ей для пробы тех яств, что подавались на банкете, любопытная самба, хотя и не ждала от них ничего особенного, первым долгом стала выуживать из корзины свертки, но с опаской и осторожностью пиротехника, который знакомится с подозрительным содержимым чемодана какого-нибудь анархиста. Для каждого кушанья у нее находилось уничижительное определение: не бургундские устрицы, а «слюнявки»; это икра? — «дробь в масле», трюфели — «черные головешки», халва — «простая нуга, и в сравнение не идущая с той, что из города Хихона...» Уже сильно подвыпивший, но велевший наливать себе еще и еще, Президент и думать не желал о сне, а Перальта не мог нахвалиться его гениальным использованием цитаты из Эрнеста Ренана. «Итак, значит, не говорят, что моя речь надуманна или смешна? — заметил Президент.— Жаль только, что не было там нашего друга Академика. Он, пожалуй, тоже попался бы на удочку».— «Да, этот текст будто специально создан для торжественного открытия нашего Капитолия,— поддакнул Перальта.— И с такими уместными угрозами в адрес этих сволочей из оппозиции...» Глава Нации глядел из окна на беспорядочную панораму строек, помостов, которые скоро заполнятся рабочими. Вулкан-Покровитель, маячивший вдали, только что сбросил шлейф предрассветной дымки. Мажордомша, опустошив — прямо из горлышка — седьмую бутылку пива, разлеглась на своей походной кровати возле дверей и тут же уснула — с карабином под рукой, по старой привычке. Охмелевший Перальта растянулся на кожаной софе с широкой спинкой и удобными подушками, придвинувшись к камину в ренессансном стиле — со скульптурным портретом этого дикобраза, Людовика XII, наверху,— хотя в камине вместо огня, который никогда не разжигался, мигали красные лампочки среди бутафорских угольков.

«Да, это был успех, настоящий успех, настоящий успех»,— твердил Глава Нации, прислушиваясь к тихому утреннему звону колоколов Собора,— звону приглушенному, ибо новые соседи, которые вставали гораздо позже прежних, требовали, чтобы отныне колокола не трезвонили так громко, как трезвонили прежде. И Президент продолжал свой круговой обход, от кресла к креслу, прикладываясь по пути к последней рюмке, которая все время оказывалась предпоследней. Любивший поспать после обеда и не терпевший долгого сна по утрам, он, чьи вызовы на заре были истинной пыткой для его советников, решил этой ночью вовсе не ложиться в свой гамак — длинную плетеную люльку, как в Париже,— а подождать, пока Мажордомша Эльмира не приготовит ему, как всегда, ванну, надушив воду английскими ароматическими средствами и подогрев до температуры тела.

После торжества в Капитолии он был поистине счастлив. Теперь фотографии этого здания будут разосланы нашим посольствам, чтобы их опубликовали газеты Европы и всей Америки,— разумеется, с соответствующей мздой за каждый сантиметр колонки, как и полагалось, когда надо было навязать редакциям работы с большой ретушью. И мир узнает, каким гигантом стал этот город, который в начале века был всего лишь большой деревней в окружении змеиных пустошей, лысых холмов, зарослей колючего кустарника и стоячих прудов с тучами малярийных комаров и где по главным городским улицам с криком и свистом гнали скотину... Такими сладкими грезами он тешил себя, а день между тем разгорался: вдали заиграли зорьку, зазвякали первые трамваи, развозя народ с сумками, корзинками, котомками по рынкам, где уже бились в клетках птицы, а в ящиках похрустывали салатом черепахи. Глава Нации заглянул в свою записную книжку. Сегодня — день, свободный от совещаний, аудиенций и всякой ерунды. Можно изменить своей привычке и после ванны поспать до обеда. Но так не хотелось вылезать из этого кресла, где так приятно было сидеть и лениво посасывать шоколадные конфеты с ликером. «Когда пожелаете, Ваше Превосходительство?»,— пробурчала в полусне Мажордомша. «Я тебе дам знать, милочка, не торопись». И, чувствуя себя самим Вулканом-Покровителем, который, разметав черные тучи, высился теперь, величественный и могучий, в сиянии своих хрустальных граней на фоне сине-голубых красок неба, он продолжал твердить вполголоса: «Успех... Успех... Ничего не скажешь...»

Невероятной силы взрыв потряс Дворец. Оконные стекла фасада вылетели вмиг, некоторые люстры сорвались с потолка, бутылки и бокалы, керамика и декоративные тарелки превратились в груды осколков на полу; слетели со стен и кое-какие картины. Бомба немалой мощности взорвалась в ванной Главы Нации, распространив тяжелые клубы дыма, пахнувшего горьким миндалем. Пепельно-серая бледность разлилась по лицу Президента, который, стараясь казаться спокойным, взглянул на свои часы: «Ровно половина седьмого... Сидел бы я в ванне... Поздравляю, сеньоры, но мой час еще не пробил...» К месту происшествия толпой валили телохранители, слуги и горничные; Мажордомша взывала к народу о помощи. Он прибавил, указуя пальцем на город: «А все потому, что я был слишком добр к ним».

(Окончание следует)

Из современной политической поэзии ФРГ

■

Перевод с немецкого Е. ВИТКОВСКОГО

С середины 1960-х годов в общем потоке демократической литературы ФРГ все различимее слышны голоса поэтов (и прозаиков), которые активно выступают в защиту интересов трудящихся масс, отстаивают идеи интернационализма, пишут о своем дружеском отношении к Советскому Союзу и странам социализма [1].

В 1972 году — в пятидесятую годовщину образования СССР — в Гамбурге вышла небольшая (103 стр.) книжка в мягкой красной обложке. Название — «В гостях у друзей». Один из подзаголовков на титульном листе: «Издание подготовлено Петером Шюттом к 50-летию СССР». На обложке рисунок: вечерняя Москва, Красная площадь, на фоне Спасской башни — три летящих голубя. Книга содержит стихотворения, очерки, эссе о Советском Союзе, проникнутые дружеским расположением к нашей стране и искренним желанием привить это чувство гражданам ФРГ.

Однако, естественно, главная тема, волнующая демократическую поэзию,— положение в самой ФРГ, отражение борьбы трудящихся за свои классовые интересы. Обострение социальной борьбы сказалось и в новой расстановке акцентов в эстетических программах прогрессивных литературных объединений — с 1970 года в ФРГ достаточно широко распространились «мастерские рабочей литературы» [2]. Участники этих «мастерских» — в подавляющем большинстве рабочие или бывшие рабочие — видят свою важнейшую задачу в том, чтобы не только отражать противоречия современного капиталистического общества, но и способствовать своим творчеством «изменению общественного положения трудящихся». Поэтому неудивительно, что наиболее передовые по своим политическим убеждениям поэты активно сотрудничают в коммунистической и демократической прессе. Их имена нередко можно встретить, например, на страницах журнала «Кюрбискерн», уже более десяти лет играющего заметную роль в консолидации демократических сил в стране.

Ряды прогрессивных политических поэтов ФРГ заметно выросли. Они включают и такие уже известные у нас имена, как Франц Йозеф Дегенхардт [3], поэт-песенник, прозаик и публицист, А. Андерш, один из старейших писателей ФРГ, чье стихотворение «Параграф 3/3» вызвало целый поток воинствующей брани со стороны реакционных

---

[1] Некоторые из этих авторов известны советскому читателю по переводам, появлявшимся в периодической печати, по статьям видных советских критиков; см., например: Дымшиц А. Сражаясь поэтической строкой. «Литературная газета», 22 марта 1972 г.; Книпович Е. Два Мюнхена «Литературная газета». 21 января 1976 г. *(Здесь и далее — примечания автора вступления.)*

[2] Подробнее см.: Сергеев М. Проблемы «рабочей литературы». «ИЛ». 1973 № 4.

[3] См.: Дегенхардт Ф. И. Бикфордов шнур, «ИЛ», 1976, № 1—2; Кушник Г. Разговор о насущных проблемах, «ИЛ», 1977, № 5; его же: Пять веков немецкой политической песни, «ИЛ», 1975, № 5.

кругов, П. Рюмкорф, Д. Зюверкрюп, а также поэтов группы «Floh de Cologne» («Кёльнская блоха») и многих других, с которыми нашему читателю еще только предстоит познакомиться. Публикуемые переводы — один из этапов такого знакомства.

Различны жизненные судьбы и возраст этих поэтов, вносящих революционную струю в современную западногерманскую литературу,— даже если обратиться только к предлагаемым ниже именам. Есть здесь и потомственные рабочие. Такие, как Артур Тропман, выросший в семье прачки и машиниста в мюнхенском «квартале разбитых стекол» и за годы нелегкого труда — А. Тропман стал инвалидом, не достигнув сорокалетия,— сполна познавший правила классового «правописания» (см. публикуемое ниже стихотворение). Рурский рабочий Рихард Лимперт — самый старший (род. в 1922 г.) из представляемых поэтов — бывший солдат вермахта. В одном из своих стихотворений он рассказал, как, попав в советский плен, смог наконец разобраться, кто его «враг» и кто для него — «человек и друг». С тех пор, вернувшись на родину, он «ненавидит врагов своих друзей», то есть стоит на позициях пролетарского интернационализма.

Петер Шютт — сын школьного учителя, филолог и историк, защитивший диссертацию по драматургии XVII века. В настоящее время — секретарь Демократического Культурбунда ФРГ. Новые стихи П. Шютта, как и произведения более ранних сборников [1], насыщены конкретным социальным содержанием. Коммунистические идейные убеждения П. Шютта помогают ему находить контакт с массовой аудиторией — не случайно в его творчестве обращение к различным жанрам агитационной поэзии. Поэт старается пробудить чувство классовой солидарности у тех слоев трудящихся своей страны, которые еще не утратили иллюзий относительно стабильности западногерманского «индустриального общества».

Одна из своеобразных страниц современной политической поэзии ФРГ — сатирические песни и стихи Дитриха Киттнера, входящие важной составной частью в программы его «критического кабаре», пользующегося в ФРГ (и не только в ФРГ) огромной популярностью. Д. Киттнер, утверждающий, что «эффективнее иметь партнеров в зале, чем на сцене», в последние годы предпочитает выступать перед своими зрителями один: на профсоюзных собраниях, в театрах, в школах, университетах, перед молодежной аудиторией, в заводских цехах, перед бастующими рабочими, на сценах уличных театров — в среднем перед 150-тысячной аудиторией ежегодно, проезжая по дорогам страны до 70 000 километров. В чем причины такой популярности? Очевидно, в удачном сочетании профессионального актерского искусства и социальной заостренности программ Д. Киттнера — недаром Гюнтер Вальраф считает его театр «в политическом отношении наиболее значительным и актуальным кабаре нашего времени». Одна из сильных сторон творчества Д. Киттнера — в опоре на богатые традиции «политического кабаре» двадцатых и начала тридцатых годов в Германии, когда в этом жанре с огромным успехом выступал Эрих Вайнерт. Показателен и политический путь Д. Киттнера: исключенный из социал-демократической партии за революционную пропаганду, поэт приходит к решению вступить в ряды ГКП и бороться на основе ее программы за «демократическое обновление общества» в ФРГ.

Самый молодой из представляемых поэтов Петер Майвальд (род. в 1946 г.) уже заявил о себе как лирик с богатым и разносторонним дарованием. Особый читательский интерес вызвали его «Стихотворения о рабочем Б.». Каждое стихотворение представляет собой лаконичный ответ-реплику лирического героя — рабочего Б.— на тот или иной обращенный к нему вопрос или просто краткое замечание по поводу какого-то увиденного или услышанного факта. Ответы и замечания «рабочего Б.» всегда неожиданны и на первый взгляд парадоксальны. Парадоксальность эта обусловлена явной несовместимостью двух позиций, представляемых в стихотворении,— позиции буржуа и позиции рабочего:

ПРОВЕРКА ОДНОГО СООБЩЕНИЯ

Рабочему Б.
сообщили:
В стране Икс
положение
безнадежно.
Б. спросил:
Разве в этой стране
нет рабочих?[2]

[1] См. рецензию: М о т ы л е в а Т. Первые шаги, «ИЛ», 1971, № 6.
[2] Подстрочный перевод автора вступления.

Развитое классовое чутье, ощущение своей принадлежности к угнетенным классам, чувство пролетарского интернационализма — все это помогает развивающейся революционной поэзии ФРГ сохранять уверенность в исторической неизбежности торжества идей научного коммунизма. Многие из этих поэтов могли бы сказать вместе с Петером Шюттом:

Коммунизм заявляет о себе во всем:
в трепете берез под мартовским ветром,
в приближенье трамвая,
в шелесте древесной кроны.
Каждый слышит
музыку будущего, она растет,
как грохот судовых моторов,
и остается в ушах,
как шум моря за дюнами.
Неоспоримо
и неотрицаемо:
реальность будущего[1].

А. ГУГНИН

ПЕТЕР ШЮТТ

Путь познания[*]

Когда мне предлагали вступить в профсоюз,
мне стало жалко денег на взносы:
я бы лучше съездил на Мальорку.

Когда мне предлагали участвовать в дискуссии
о кризисе, мне стало жалко времени:
я собирался срочно чинить автомобиль.

Когда мне предлагали участвовать
в забастовке, мне стало жалко себя:
я надеялся на прибавку к зарплате.

Сейчас у меня много времени для дискуссий:
я безработный.

---

[1] Перевод Е. Витковского.

*© Weltkreis—Verlag, 1974.

Встреча[*]

В вагоне
разговорился с соседом —
одноруким.
— Война? — спросил я.
— Нет, — сказал он, — несчастный случай:
взрыв на химическом заводе.
Кто виновен?
Вопрос открыт.

Гамбургская демонстрация тельмановцев

Мы несли по улицам Гамбурга
портреты Эрнста Тельмана,
мы несли транспаранты,
мы пели песни,
скандируя, мы требовали
признания ГДР,
выполнения соглашений,
мы призывали к борьбе с капиталом —
это была большая демонстрация.

Свыше тысячи полицейских
оберегало от ГКП
общественный порядок,
всем зрителям раздавались листовки,
их текст гласил,
что коммунисты навсегда изолированы,
что их крайние требования
не находят у народа
никакого отклика.

Когда мы шли с портретами Тельмана
по Гамбургу,
люди на тротуарах
шептались: коммунисты
снова здесь! Они просто
неистребимы! Некий господин
застрял на своем «мерседесе»
и стал орать на шофера: Закрывай дверцу,
поехали дальше! Но тот сухо ответил:
Нам не повезло.
Слишком много коммунистов,
они задерживают все движение.
Шофер «мерседеса» увидел что-то красное —
перед ним был транспарант:
«Социализм не остановят
ни вол, ни осел».

1971 г.

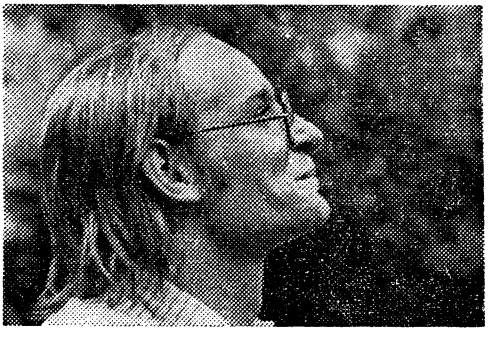
Классовый враг не дремлет!

Не вешайте голову, люди: за вами
следят охотники за головами.
Если головы мы теряем —
жизнь для них становится раем.
Товарищ, помни, сжимая кулак:
не дремлет классовый враг!

Враг не скрывает восторгов горячих,
узнав, что спорим мы о задачах:
для подавленья народной воли
враг нуждается в нашем расколе!
Товарищ, помни, сжимая кулак:
не дремлет классовый враг!

Завтрашний день для нас не наступит,
если нас обещанья врага подкупят;
если сами себе создаем помехи,
можно ли думать нам об успехе?
Товарищ, помни, сжимая кулак:
не дремлет классовый враг!

Друзья, сплотитесь, пока не поздно;
жизнь диктует нам твердо и грозно:
если мы уступим сегодня, сейчас —
завтра враги похоронят нас!
Товарищ, помни, сжимая кулак:
не дремлет классовый враг!



ПЕТЕР МАЙВАЛЬД

Песня о пособии по безработице

Вот однажды на работе
босс к тебе придет,
сообщит, что сожалеет,
но дает расчет.
И внезапно на глаза
наползает тьма.

Ощущаешь ты себя
кучею дерьма.
Дело скверно, это верно:
ты теперь — отброс.
Куплен ты за медный грош,
а теперь за дверь пойдешь:
так желает босс.
Перед биржею труда
ты стоишь и ждешь чего-то.
Нет работы у тебя,
а тебе нужна работа.
Завтрак — ужин — телевизор.
День на день похож.
И будильник по привычке
тоже заведешь.
Жизнь событиями нынче
сделалась бедна:
в школе — сын, весь день на службе
трудится жена.
Нет, видать, подачки эти
не для приверед —
ничего себе работка!
Вот и рявкнешь полной глоткой —
толку снова нет.
Перед биржею труда
Вдруг берет тебя досада.
Что-то, видно, тут не так.
Не иначе выпить надо.
Из газеты ты узнаешь:
твой почетен труд.
Безработные сегодня
с голоду не мрут.
Все же есть у человека
не одни кишки.
Сохнет мозг, а с ним успешно
сохнут две руки.
Если ужин не заслужен,
он из горла прет.
Нуль приходу, тьма расходу,
счет за газ, за свет, за воду —
мчит круговорот.
Перед биржею труда
медлишь, угнетен заботой:
не рабочим ли себя
обеспечивать работой?

*Молодой рабочий**

Я полагал: поставя в жизни цель,
сумею жить и все дела налажу.
Из школы я пустился на панель,
на рынок, то бишь — то бишь на продажу.

---

*© Kürbiskern, № 4, 1976.

Я клянчил, я подсиживал коллег;
в итоге: я без места и без денег.
Так что ж еще обязан человек
терпеть за каждый свой паршивый пфенниг?

Я не гожусь быть попросту слугой,
я стать обязан прессом для банкнотов,
чтоб он включался на денек-другой
и отключался, честно поработав.

А я — с руками, с сердцем, с головой.
Но человек — товар неходовой.

Вопрос о такте

Жаль, сказала
одна дама,
но низшие классы
совершенно не умеют
себя вести.
Они бесцеремонно
пренебрегают
элементарным тактом.
Вы знакомы
с тактом работы
нашего конвейера? —
заинтересованно
спросил Б.

Точка зрения

После того
как владелец предприятия
еще раз подтвердил свою
точку зрения
(а именно:
экономический баланс предприятия
неприкосновенен),
Б. призвал коллег
не прикасаться
к экономическому балансу предприятия.
Предприятие
остановилось.

Христианский предприниматель

Именно о нем
сказал рабочий Б.:
Он
в поте лица моего
ест
свой хлеб.

ДИТРИХ КИТТНЕР

Пришел наш час

(На мотив песенки о мыле)

Коричневую державу
строил коричневый брат.
Он хочет пожить на славу,
он крутит время назад.
А пену взбить —
несложный трюк:
и можно кровь отмыть с поганых рук.

Во имя спасенья Германии
он диктует закон топора:
он все продумал заранее,
он решил, что уже пора.
А пену взбить —
несложный трюк:
и можно кровь отмыть с поганых рук.

От их хваленой свободы
свастикою разит.
Мы узнали в прежние годы,
чем такая свобода грозит.
А пену взбить —
несложный трюк:
и можно кровь отмыть с поганых рук.

Смрад от лозунгов старых
становится слишком крут:
бандиты во фрачных парах
как наследники рейха идут!
... бить —
несложный трюк:
и можно кровь отмыть с поганых рук.

Но они подзабыли малость,
как уже нажрались дерьма:
не дадим, чтобы вновь бесновалась
коричневая чума!
Готовы мы,
пришел наш час:
фашизма и фашистов хватит с нас!

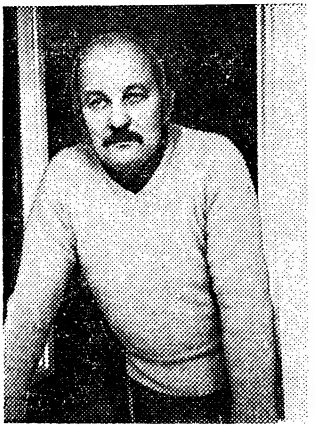
РИХАРД ЛИМПЕРТ

Цена места

На первой странице
на первом месте
всегда — обнаженная женщина

На выборных плакатах
женщина —
редкость

В таблице заработков
она всегда
на последнем месте



АРТУР ТРОПМАН

Правописание

Я из тех,
кто не в ладах
с правописанием.
Еще недавно я писал
процент
и провокация,
через «а»
и сатиру путал с сатиром.
Многому ли могли
научить меня
мои товарищи —
наши школьные годы
прошли под бомбежками.
Зачем я пишу?
Я пишу,
чтобы мне подобные и я сам
обрели сознание.
Я пишу,
потому что наши дети
должны знать
правду.
Я пишу,
обращая свой голос против тех,
кто дает бомбардировщикам команду «на взлет»,
и против тех, кто наживается
на бомбардировщиках и бомбежках.
Итак, товарищи,
я полагаю,
что пишу правильно.

■

ВИТИ ИХИМАЭРА

Рассказы

■

Перевод с английского И. БАГРОВА

За соседским забором

Сегодня воскресенье, семейство Симмонсов только что вернулось домой с пикника. Все немного устали, но это приятная усталость. Хорошо съездили.

Каждое воскресенье, сразу после утренней службы в церкви, Симмонсы обычно едут за город, прихватив корзину с бутербродами и прочей снедью. Когда они жили в Англии, то часто устраивали пикники, понятно, что и здесь, в Новой Зеландии, они не изменяют своей традиции. Соседи уже привыкли видеть, как старенькая машина весело катит по улице, увозя все семейство за город. И уже мало кто обращает на это внимание. Лишь в соседнем доме, где живет семья Херемейа, шесть пар глазенок каждый раз тоскливо провожают машину. Для этих детишек воскресенье — печальный день, потому что Симмонсы уехали. И целый день ребята слоняются по двору, им не играется одним, в конце концов они начинают ссориться. А к вечеру все шестеро уже сидят на заборе, за которым начинается двор Симмонсов, сидят, словно птенчики на насесте, и ждут, когда соседи вернутся, ведь Симмонсы их друзья.

Но сегодня на заборе никого нет. Пусто во дворе, тихо в доме. Не видно радостных ребячьих глаз, не слышно привычных возгласов:

— Ну, как, хорошо съездили?

— Миссис Симмонс, не осталось ли у вас бутербродов?

— Эх, вот бы нам с вами прокатиться...

А на этот раз — тишина.

Вот из машины выходит Салли Симмонс, за ней двое ребятишек — Марк и Энн.

— Марк, бери корзину, неси в дом,— командует мать,— а ты, Энн, захвати коврик. Джек, постарайся с машиной побыстрее управиться, а я пойду чай вскипячу.

Джек кивает в знак согласия, провожает взглядом жену и детей, потом ставит машину в гараж, аккуратно запирает все дверцы, улыбается чему-то про себя, и взгляд его падает на соседний дом. Он видит, как из окна спальни на него во все глаза смотрит маленький Джимми Херемейа. Улыбка на лице Джека становится еще шире. Он запирает дверь гаража. Так-то оно надежнее, а то как бы потом жа-

леть не пришлось. Ведь от этих соседских ребятишек всего можно ожидать.

И, довольный собой, Джек Симмонс направляется по тропинке к дому. У дверей он снимает обувь.

— Салли, я успею до ужина принять душ?

— Конечно, дорогой, только сначала бы чаю попил.

Он заходит на кухню. У коробки с печеньем крутятся Марк и Энн, а Салли то и дело их отгоняет. На столе два стакана молока для детей, а для себя и мужа Салли заваривает чай.

— Вот все и готово! Марк! Энн! Живо за стол.

Дети усаживаются.

— Интересно, куда они все подевались? — нарушает молчание Марк.

— Кто? — спрашивает Джек.

— Ну, Джордж, Хенаре, Анни.

— Ужинают, должно быть,— говорит Салли.

— А потом, бог даст, сразу отправятся спать,— подхватывает Джек и подмигивает жене. Та шутливо толкает его локтем. Оба отлично знают, что дети в семье Херемейа рано спать не ложатся. Слава богу, что они пока весь дом не заполонили. При одной мысли Джек морщится. Сейчас хоть можно отдохнуть в тишине и покое...

Джек Симмонс никогда бы не сказал, что недолюбливает соседских детей. Наоборот, они даже нравились ему, но в их присутствии он всегда бывал настороже. Господи, ведь когда он узнал, что соседями будут маорийцы, то приготовился к самому худшему. Но чем это «самое худшее» может оказаться, ему так никто и не объяснил. В данном случае это дети Херемейа. И, заметьте, временами ребятишки вели себя очень хорошо, тогда Джек бывал с ними ласков и смутная тревога покидала его. Но порой... нельзя сказать, что они ему досаждали, но уставал он от них изрядно. Разве объяснишь внезапные перепады их настроения и поведения! Иногда они бывали очень милыми, иногда — нет. То добрые, то жестокие, сегодня говорят правду, а завтра обманывают, щедрость уживается с жадностью. Несмотря на то что их воспитывали добрыми христианами, понятия о Добре и Зле были у них очень и очень неустойчивыми. Каждое воскресное утро Джек Симмонс видел, как они гуськом, один за другим, шли в церковь. На их тщательно вымытых мордочках сияли улыбки. Джек лишь вздыхал, удивляясь, как такие с виду невинные ангелочки могут превращаться в сущих дьяволят! Нет, должно быть, он их никогда не поймет.

Взять, к примеру, Джорджа, старшего сына Херемейа: одиннадцать лет, мальчонка симпатичный, вежливый, всегда готов помочь. Хорошего в нем много, да вот только на руку нечист и уж очень любит маленькими помыкать. Последний налет на курятник Симмонсов — дело рук Джорджа. Джек в этом не сомневался, он как-то увидел яркие петушиные перья на голове Джорджа, когда тот играл с ребятами в ковбоев и индейцев. Джордж был самым сильным и задиристым мальчишкой на улице, поэтому ребята поменьше всегда тянулись к нему. И все трепетали от страха, когда индеец Джордж вступал на военную тропу, ковбои тогда неизменно проигрывали. И попробуй подстрели его — он ни за что не согласится, что его убили. А если его стрела кого заденет, тут уж не спорь, падай. Иначе попадешь к нему в плен и он придумает страшные пытки. Падай со стоном, схватившись за сердце, и терпи, пока Джордж «скальпирует тебя».

Хенаре на год младше, а повадки, что и у старшего брата. Тоже в играх больше проявляются. Все кругом зовут Хенаре не иначе как «надувала». Какую бы игру ни затеяли, всегда Хенаре в выигрыше, всегда он сжульничает, вокруг пальца обведет.

Например, играя с Марком в камешки, вдруг достает большой, с теннисный мяч, шарик и, конечно, выигрывает, все камешки Марка перекочевывают к нему. В этом что Джордж, что Хенаре одинаковы — что такое честная игра, им будто невдомек. Правда, Хенаре себя несколько реабилитировал, вернув Марку камешки, но ведь так он поступил только потому, что с ним все перестали водиться, а ему хотелось играть. Ну, Марк, конечно, снова проиграл.

— Почему ты с ним играешь? — спросил как-то Джек сына.

— Потому что он мне друг!

— Но он тебя обманывает.

— Все равно он мне друг. Он сказал, что скоро ему надоест играть в камешки и он мне даже свои отдаст. Вот. Друг он мне.

Подобных мелких недостатков у детей Херемейа хватало, и с ними можно было еще как-то мириться, но были у них две черты, которых Джек не выносил: чрезмерное любопытство, приводившее к тому, что ребята брали без спроса разные вещи, и бесстыдство, с которым они всегда это отрицали.

Например, Джек как-то спросил, не знают ли они, куда пропал его велосипед. Он подозревал, что это их рук дело, но искренние улыбки, вздохи, слезы в нужный момент способны были кого угодно убедить, что они не виновны. Да разве им в голову могла прийти такая мысль?!

— Мистер Симмонс, неужели вы на нас думаете? (Вздох.) А, мистер Симмонс? (В глазах притворный ужас.) Честное слово, не брали мы ваш велосипед! (Руки клятвенно сложены на груди.) Провалиться нам на месте, если врем! (Тут уж можно и перекреститься.)

Им это так мастерски удавалось, прямо хоть в ладоши хлопай. Мимика, жесты, телодвижения — все было представлено в их обширном репертуаре. Они то закатывали глаза, то скорбно их опускали, выдавливали одну или две (в зависимости от серьезности обвинения) слезинки, вздыхали, всхлипывали, всплескивали руками, губы их дрожали, слезы в случае необходимости катились уже градом. И все это входило в программу Великого Оправдания.

— Разве мы могли взять ваш велосипед, мы же ходили в церковь. Как, сегодня не воскресенье? Ах, да, ну, конечно, мы бегали на речку купаться. Но без велосипеда, спросите миссис Дэвидсон. Кто сказал, что она уехала и вернется только в понедельник? Да, везет же некоторым! Ну, значит, нас кто-то другой видел. Должно быть, мистер Кейт. Честное слово. Всю дорогу пешком шли. Джимми даже хромал. Покажи мистеру Симмонсу, как ты покалечил ногу. Видите? Стойте, стойте, мы и вправду видели у реки какого-то мальчишку с велосипедом вроде вашего. Ну, конечно, Анни еще сказала: «Смотрите-ка, а велосипед-то никак мистера Симмонса». Но мы ее разуверили. «Не может этого быть — мистер Симмонс всегда прячет велосипед под замок, так что стащить его не могли». Жаль, конечно, что мы не дали тому парню хорошую взбучку ведь вы наш лучший друг! Нет, мы его знать не знаем. И раньше никогда не видели. Бывают же такие наглые воры, а?!

Но на этот раз, несмотря на убедительность Великого Оправдания, опасения Джека Симмонса подтвердились. Он сходил на реку и нашел там свой велосипед, а то, что Джордж ехал на нем, подтвердил очевидец.

И снова шестеро ребят стоят перед ним.

— Ну, как же, мы сразу сказали, что взяли велосипед! Разве не так? Что уж мы, глухие и не слышим, что говорим? Нас шестеро, мистер Симмонс, а не слышали только вы. Неужели б мы соврали? Вы же наш друг. Что вы, что вы, мы его не украли. В жизни ничего не воровали. Вы сами говорили, чтобы мы брали велосипед, когда нужно. Сами же говорили. Мы все слышали, как вы это говорили. Нам было нужно — мы и взяли, разве это воровство? Мы больше не будем. Провалиться нам на месте, если врем. А все из-за того, что Джимми ногу покалечил. Да не ту суешь, дурак! Он упал, мы уж думали, что ногу сломал. Потому и взяли ваш велосипед. Это была крайняя необходимость, а вы сами говорили, чтобы в случае крайней необходимости мы брали ваш велосипед. Еще хорошо, что взяли его мы, а то бы утащили какие-нибудь воры. Ведь вы его у забора оставили вот Анни и говорит: «Возьмем-ка велосипед мы, пока до него воры не добрались». Мы его и взяли. Разве это плохо?

У маорийцев принято брать без спроса чужие вещи: все мое — твое, все твое — мое, и Джек Симмонс об этом знал Но ведь они живут не в какой-нибудь маорийской общине, а в городе. Правда, земля на которой поселились Симмонсы, со временем могла бы достаться детям Херемейа, но все получилось по-другому. И теперь он, Джек Симмонс, здесь хозяин, это его дом. здесь живет его семья И чем скорее соседи это поймут, тем лучше. Старым порядкам пришел конец.

Джек Симмонс слышит, как хлопает калитка из проволочной сетки. Он торопливо допивает чай. Нашествие начинается Он выглядывает в окно кухни: нет, пока не нашествие, пока только одна Катарина. Ему видно, как девочка бежит по тропинке, перелезает через забор. Джек построил его три года назад. И подумать только, все ребятишки Херемейа помогали ему. Стыда у них нет!

Джек Симмонс улыбается. Забор стоит, а что толку-то! От этих пострелят не отгородишься. Не мытьем, так катаньем свое возьмут, сквозь игольное ушко пролезут. И Симмонсам пришлось смириться.

В дверь стучат.

— Входи, Катарина,— кричит Джек. Дверь распахивается, и влетает Катарина.

— Ух,— никак не может отдышаться она,— бежала к вам со всех ног, запыхалась.

— Ты где пропадаешь? — спрашивает Марк.

— И правда, где? — подхватывает Энн.— Ты у нас уже сто лет не была.

— Пришлось дома сидеть. На маму опять нашло,— отвечает Катарина.— Она так рассердилась, когда мы вернулись. Я вырвалась всего на минуточку, если мама узнает, мне попадет.

Марк и Энн переглядываются. На миссис Херемейа опять нашло...

— Слушайте-ка,— не умолкает Катарина,— а пирожки у вас еще есть? Я за этим и пришла. Ведь после пикника осталось хоть немножко?

— Нет, Катарина, не осталось,— отвечает Джек.

— Осталось, осталось,— кричат Марк и Энн.

— Я так и знала.— Катарина довольно фыркает.— Зачем вы меня обманываете, мистер Симмонс? Марк и Энн ребята добрые. Делиться так делиться, чтобы всем досталось.

Катарина радостно хихикает. У нее прямо глаза разгорелись при виде пирожков, которые принесла Энн.

— Вот это да! А самим-то хватило? Печенье — это тоже мне? Вот это да!.. Ну, я побежала, ладно? Отнесу все это домой, угощу Джимми.

Он болеет. Гриппом, кажется. Может, поэтому на маму и нашло. Джорджу тоже дам, и Хенаре, и Анни, и Томми тоже. Делиться так делиться, чтобы всем досталось.

— Подожди-ка,— останавливает ее Салли,— сейчас дам тебе коробку.

— Ничего, и так сойдет, в подоле донесу. И, вот увидите, со всеми поделюсь. Ну, я побежала. А вы хорошо съездили, да? Эх, мне бы с вами. Энн, я тебя завтра крикну, когда в школу пойду. Ой, Джимми болеет, на маму нашло! Ладно, пока. Смотри, Энн, завтра не проспи.— И ее уже нет, словно ветром сдуло.

— Ну и ну,— смеется Салли,— что за ребенок. Наш пострел везде поспел.

— Это ты ее приучила,— ворчит Джек,— пирожками да печеньем. Она только за этим и приходит. Каждое воскресенье, ни разу не пропустила. Жаль, что я раньше это не пресек.

— Но ведь не пресек же,— Салли улыбается.— А что, Катарина мне нравится. Она по-своему очень милая.

Милая? Джек подумал, что эпитет этот меньше всего подходит к кому-либо из детей Херемейа. Впрочем, в них много забавного, и долго сердиться на них нельзя. С ними как-то веселее, это нужно признать, независимо от того, любишь их или нет, а ведь Джек к ним не питал неприязни. Вот Катарина, например, любого рассмешит. Братья и сестры ласково называли ее Куколкой — уж больно она неказистая. И тем не менее Салли она очаровала с первого дня. Тогда в дверь постучали, Джек открыл, и перед ним предстала Катарина, этот сияющий гадкий утенок.

— Меня зовут Катарина Макарете Эрихапети Херемейа,— шепотом представилась она. Затем взмахнула ресницами и хихикнула:— Но вы можете звать меня просто Куколкой.

Она бродила по всему дому как хозяйка, эта маленькая лазутчица клана Херемейа. Закончив осмотр, она подошла к окну и, как ни в чем не бывало, сунула два пальца в рот и пронзительно свистнула. Тут и остальные налетели. За три года их ни разу не выставили за дверь. А Катарина приходила к Симмонсам как к себе домой. Ей все можно было простить, кроме любопытства, которое всякого из себя выведет, и привычки все брать без спроса. Настоящая сорока-воровка. Ей нравилось все блестящее: серьги, бусы, флакончики духов, голубые глаза куклы Энн, монеты. Но Салли быстро нашла выход из положения: если что-то пропадало, она просто не пускала Катарину в дом, пока пропажа не находилась. А девочка обожала Салли и всегда возвращала блестящие побрякушки. Что же касается денег, то в доме взяли за правило — не оставлять мелочь на столе при Катарине.

Анни, сестренка Катарины, тоже особа занятная. Первая болтушка в семье. Когда она начинала говорить, остановить ее было невозможно. Она щебетала так быстро, что трудно было сообразить, где кончается одно слово и начинается другое. Если Анни во дворе, то лучше не выходить, иначе набросится и заговорит до смерти. Братья и сестра постоянно ругали ее за это.

— Где у тебя выключатель?— дразнили они Анни.— Где у тебя выключатель? Как заткнуть твой огромный рот?

Да, она тоже была занятным ребенком, хотя временами и она изрядно досаждала. С другими детьми ее объединяла страсть брать все без спроса. А как мастерски она умела выкручиваться, ее выдумкам не было конца. Но самое ужасное то, что ей абсолютно наплевать на чужие вещи. Она могла нечаянно испортить что-нибудь, сломать,

разбить, а это еще хуже, чем брать без спроса. Ветки почему-то трещали, когда на них садилась Анни, оконные стекла бились вдребезги, когда она проходила мимо, клубничная грядка, за которой ухаживал Джек, прекратила свое существование после того, как рядом побывала Анни. Но время шло, и потери казались уже не столь невосполнимыми, хотя сначала бывало не до смеха. А хуже всего то, что во всех проступках начинаешь подозревать детей Херемейа, так уж они себя зарекомендовали. И даже когда нет уверенности, что это их рук дело, сомнения остаются. Случай с золотыми рыбками — наглядный пример.

В Англии одним из увлечений Салли Симмонс было разведение золотых рыбок. У нее уже накопился большой опыт, и она решила заниматься этим и в Новой Зеландии. Джек соорудил ей маленький пруд, куда она пустила рыбок нескольких разновидностей для скрещивания. Она хотела вывести золотую рыбку с пурпурным отливом. Ее опытами заинтересовались другие любители, на их улице Салли стала знаменитостью. Особое любопытство проявляли дети Херемейа, хотя им было строго-настрого наказано не подходить к пруду, который к тому же отгородили проволочной сеткой.

Спустя несколько месяцев пришли первые успехи. Салли вывела рыбку нежных розовато-красных тонов. Но однажды утром Симмонсы, проснувшись, обнаружили, что сетка прорвана, а рыбка исчезла. Джек сразу подумал, что это злодеяние совершил кто-то из соседских ребят. Их родителям — Сэму и Милли — был устроен скандал. Но дети не признавались. Тогда о случившемся известили полицию. Снова детям Херемейа учинили допрос. Милли и Сэм считали, что Джек Симмонс придирается к их ребятам, и отношения между семьями стали более прохладными. Полиция так и не нашла виновного, а соседи еще долго не могли восстановить мир. Все это так подействовало на Салли, что она решила больше не заниматься рыбками.

Остался неприятный, горький осадок. А может, соседские ребятишки и не виноваты? На них пало подозрение, их сразу же посчитали виновными. Нет ничего хуже, чем, не выяснив все до конца, без колебаний выносить приговор.

Впрочем, сейчас это значения не имеет. Столько воды утекло. Ребята сами предложили мировую, и Джек в конце концов перестал сердиться. Но осторожность и недоверие остались, они все время дремали где-то в душе, дожидаясь своего часа.

Джек печально вздыхает. Живешь рядом с семьей Херемейа — покоя не жди. Уже три года идет непрерывная война, после каждого боя наступает длительное затишье, и обе стороны уже друзья. Если бы эти чертенята были поспокойнее! Тогда бы не было этих перепадов — от мира к войне. Отношения бывали то хуже, то лучше, давались обещания, потом они не выполнялись. И как только обе семьи вообще сохранили какие-то отношения после всего случившегося! А ведь Херемейа достаточно проявить хоть капельку сдержанности. Взять Милли, например: спокойная, уравновешенная женщина, а вот сегодня на нее нашло...

— О чем задумался, Джек?

— Да так. Все об этих Херемейа, о Милли.

— На миссис Херемейа нашло,— шепотом повторяет Марк услышанную фразу.

— Она такая страшная делается,— добавляет Энн.

— Ну, хватит,— вмешивается Салли,— за чаем я бы предпочла

разговор на другую тему. Спасибо. Сыта по горло настроениями миссис Херемейа.

Настроение Милли — главная тема разговоров на улице. Она не более вспыльчива, чем кто-либо, но зато, когда на нее находит, об этом узнают все вокруг: на другом конце улицы слышно, как она кричит. Разве подумаешь, что эта маленькая и в общем смирная женщина может войти в такой раж.

— Ну, а сегодня с чего бы? — недоумевает Марк.

— Кто ее знает,— вздыхает Джек.— На миссис Херемейа «находит» по любому поводу.

— Может, хватит,— не выдерживает Салли,— а то боюсь, как бы на меня не нашло.

Джек смеется. Впрочем, настроение соседки — дело нешуточное. Ему не раз приходилось испытывать это на себе. И все из-за ребят. Как-то он подошел к Джорджу и спросил, не лазил ли тот накануне в курятник. Не успел он дотронуться до руки Джорджа, именно дотронуться, как...

В доме Херемейа прогрохотал гром, дверь распахнулась, чуть не слетев с петель, и Милли понеслась выручать свое дитя.

— Видела, своими глазами видела, как ты чуть не избил мальчишку. Лопни мои глаза, если вру! Вот что! Попробуй хоть пальцем его тронь, я уж тебе тогда вмажу, узнаешь, как маленьких обижать. Вот меня ты почему-то не трогаешь, боишься.

Джек торопливо отхлебывает чай. Да, Милли... Она тогда так разошлась — вся улица слышала. А ей хоть бы что! Кому не нравится, пусть не слушает. Только она своих детей в обиду не даст.

Этот жуткий скандал многому научил Джека. Хочешь доказать, что ребята нашкодили,— готовься к встрече с Милли. И хорошо, если факты подтвердятся. Но не дай бог ошибиться. Тогда уж лучше рта не раскрывать, а вместе с толпой выслушивать гневные протесты Милли. А если дело пустячное, так с ним лучше и не обращаться, а то она обрушит на тебя всю мощь неистощимого арсенала материнских чувств.

Конечно, когда одержишь победу, жить вроде спокойнее. Но все равно плохо, потому что в минуты гнева Милли беспощадно расправляется с детьми. И уже не знаешь, стоило ли вообще все затевать. Во всяком случае, слыша крики детей, начинаешь жалеть, что обращался к ней.

Джек Симмонс допивает чай.

— Душ сейчас будешь принимать? — спрашивает Салли.

— Нет, я передумал. Помоюсь после ужина, а сейчас схожу в курятник, посмотрю, как там дела.

— Как хочешь. И выбрось, пожалуйста, из головы все мысли о Милли и ее настроениях.

И она выпроваживает его в коридор. Джек снова надевает башмаки.

Удивительно, как в одной женщине дикие порывы уживаются с теплотой и сердечностью, ведь Милли и такой бывает. Конечно, и ей, и ее мужу Сэму не хватает тактичности. Конечно, добродушие их порой грубовато, но зато всегда искренне. А когда они смеются, так заслушаешься — смех у них открытый, от души. Странно, но он мог бы рассказать много хорошего о семье Херемейа.

Джек покачивает головой: вот еще забота. Он открывает дверь и выходит. Солнце еще не село, дует прохладный ветерок. Взгляд его падает на соседский дом, и тотчас же в окне спальни исчезает лицо Джимми. Бедняга. Может, у него все-таки не грипп... Будь остальные ребятишки на него похожи, не знал бы Джек забот.

Если бы Джека спросили, кто из детей Херемейа ему больше всех по душе, он, не колеблясь, выбрал бы Джимми. Предпоследний ребенок в семье, он заметно отличался от братьев и сестер. Его любопытство не причиняло вреда, это был мальчик впечатлительный и обаятельный. Если он и делал что-либо не так, то лишь по примеру старших ребят, являясь, так сказать, косвенным соучастником. Господи, да разве он виноват, что родился маорийцем; несмотря на эту ошибку природы, душа у него нежная и отзывчивая. Джек надеялся, что со временем это поможет мальчику избавиться от недостатков, свойственных его соплеменникам.

Понять Джимми было значительно труднее, чем других ребят. Те просто вторгались в жизнь, не оставляя никаких сомнений. Они, можно сказать, навязывались, а Джимми все три года их знакомства оставался где-то на заднем плане, словно ожидая, что его пригласят. Джеку это очень нравилось. Он полюбил мальчика за серьезность, тактичность, вежливость. Приятно было найти хоть одного воспитанного мальчугана. Конечно, когда он озорничал вместе со всеми, все это исчезало, но, оставшись с ним наедине, Джек чувствовал, какой он скромный и благородный.

За три года Джимми совсем не изменился к худшему. А так легко было подпасть под влияние братьев и сестер. Но он оставался все тем же Джимми, который мог спросить:

— Простите, мистер Симмонс, а почему вы срезаете эти ветки? Разве деревьям не больно?

Или:

— Правда, что макинтош — все равно что плащ? Почему тогда одно и то же называется по-разному?

Если бы Джимми так и вырос, не набравшись дурного у других детей! Джек очень надеялся на этого мальчика. Чем быстрее маорийцы приобщатся к европейской культуре, тем лучше. Зачем жить по-старому, бесшабашно и безответственно? Нужно научить их считаться с соседями, к чему выносить сор из избы. Мой дом — моя крепость — так живут англичане, так живет Джек. И Джимми будут рады в любом таком доме.

Жаль, что этого не скажешь о Томми, самом младшем. Четыре года, а уж вся улица знает о его проделках.

Усмехнувшись про себя, Джек идет к курятнику. На глаза ему попадается велосипед Марка, забытый у стенки гаража. А может, кто из детей Херемейа ездил на нем без спроса? Джек уже не сдерживает улыбку. А велосипед лучше поставить в гараж, там ему и место, думает он. Надо же, как эти три года изменили его. Раньше он бы страшно рассердился, если бы его вещь взяли без спроса. И что интересно, сердится он и сейчас, только вся злость куда-то пропала, он ощущает ее редко-редко, лишь в самые критические моменты. Нельзя же сердиться всю жизнь. И потом, в этих Херемейа много хорошего, что полностью компенсирует их недостатки.

Самая замечательная их черта — доброта. Когда Симмонсы только приехали на новое место, у них не было ни мебели, ни кухонной утвари — их пожитки еще не прибыли из Веллингтона. На помощь пришли Сэм и Милли, которая с удовольствием угощала их маорийским хлебом, одолжила вилки, ложки и все необходимое. А когда привезли мебель, Сэм приходил каждый день и помогал Джеку ее перетаскивать. Был он мужчина крепкий, здоровый, как бык. И он, и дети находились под пятой Милли. Только и слышишь: «Сэм, сделай то, Сэм, сделай это!», «Сэм, куда ты запропастился?» Безусловно, это Милли заставила его скосить траву во дворе Симмонсов, когда те уехали на рождественские праздники. А когда Джек поблагодарил

его, Сэм рассмеялся и ответил, что лишь выполнял приказания своего командира. Затем он выкрутился, сказав, что трава очень пригодилась овцам. Он понемногу разводил овец и продавал их на местной ярмарке. Сэм — личность занятная. Вечно он приносил детям конфеты. А когда жена сердилась, отвечал, что хуже не будет, все равно зубы у ребят гнилые. Он и Марка и Энн угощал — пусть уж будут плохие зубы у всех, так справедливее.

Если взвесить все «за» и «против», то отношения между двумя семьями были вполне добрососедскими. Марк и Энн часто ходили на пляж с детьми Херемейа. Сэм время от времени приносил подарки: то баранью ногу, то мешок картошки. Как-то он угостил их ханги, и Салли очень понравилось, но кина она отказалась попробовать, а пуха[1] показалось ей несколько грубоватым.

Джек поставил велосипед в сарайчик, запер дверь и направился к курятнику. Кур они держат недавно, это последнее увлечение Симмонсов, и Джек страшно гордится результатами. Пока курятник мал и кур немного, но скоро у Марии выведутся цыплята.

...Бедная Мария, ей так достается от соседских ребятишек. Все за перьями охотятся.

Джек лишь качает головой. Вот и курятник. Странно, что дверь заперта как-то небрежно. Впрочем, он же торопился утром. Куры с кудахтаньем бегут к нему, провожают до кладовки с зерном.

— Ну, налетели,— смеется Джек.— Не торопитесь, сейчас дам.

Он высыпает зерно на пол, и куры начинают клевать. С минуту Джек наблюдает за ними, затем идет туда, где смиренно высиживает цыплят Мария.

— Как дела-то? — шепчет Джек. Мария лишь тревожно кудахчет в ответ.

— Давай-ка, старушка, посмотрим. Ну-ка, пусти.

Мария сопротивляется, бьется у него в руках.

— Ну-ну, не бойся, глупая,— успокаивает Джек.

Всего яиц восемь. Но лишь два из них целы. Скорлупа остальных раздавлена, внутри видно цыплят. Они мертвы. Кто-то не дал им вылупиться.

Джек остолбенел. Если бы он был маленьким, то наверняка бы заплакал. Но он взрослый, и вместо слез в нем поднимается ярость.

Так вот почему плохо закрыт курятник! Утром все было в порядке, он сам запирал. На полу какие-то следы... так и есть, отпечаток маленькой ступни. Не Мария же, в самом деле, раздавила яйца.

Кто-то побывал здесь днем и разбил их. Наверняка кто-то из соседских детей. Только они способны на такое.

Дрожащими руками Джек посадил Марию в гнездо, и та тут же стала устраиваться поудобнее.

— Поздно, старушка, поздно,— в ярости шепчет Джек.— Но видит бог, на этот раз они у меня получат!

Джек закрывает за собой дверь курятника.

— Салли! Салли!

Жена появляется на пороге и спешит навстречу.

— Что случилось, Джек? — недоумевает она.

— Опять эти Херемейа,— зло бросает Джек.— Все! Лопнуло мое терпенье. Ведь сто раз просил, чтобы не подходили к курятнику. При тебе предупреждал. Говорил, говорил, да что толку...

— В чем дело, Джек?

— В чем дело! Эти ребята — в них все дело. Пока нас не было, они залезли в курятник и...

---

[1] Ханги, кина, пуха *(маори)* — блюда национальной маорийской кухни. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

Он не договорил. Заскрипела проволочная калитка — появляется Хенаре. Он машет рукой и бежит к ним.

— Здрасьте, мистер Симмонс, здрасьте, миссис Симмонс! Хорошо съездили? Мы уж о вас соскучились.

Улыбаясь, он забирается на забор.

— Лучше не подходи,— рычит Джек.

Хенаре, удивленный тоном Джека, тревожно смотрит на него.

— А что случилось, мистер Симмонс?

В его глазах недоумение. Джек молча подходит к забору, поднимает руку и...

— Джек, не надо!— кричит Салли. Она видит, как Хенаре сползает с забора, тело его сотрясается. Он закрывает лицо руками — слезы катят градом. Он все еще не понимает, в чем дело.

А Джек орет:

— И чтобы больше я никого из вас не видел по эту сторону забора. Слышал, что я сказал?

Хенаре смолкает. Салли поворачивается к мужу.

— Зачем ты так, Джек!

Вдруг дверь дома Херемейа распахивается, и во двор вылетает Милли.

— Что такое? — кричит она.— Что здесь происходит, а?

Она подбегает к сыну и склоняется над ним. Привлеченные криками, во двор высыпают и остальные дети.

— Ну-ка, марш в дом,— командует Милли. И, страшная в своем гневе, поворачивается к Джеку.

— Считай, что тебе повезло — Сэм уехал,— кричит она.

— Опять ваши дети нашкодили у меня в курятнике,— взрывается и Джек.— Спасенья от них нет!

— О чьих это детях речь?! — перебивает его Милли.— Чьи это дети нашкодили?! Кто именно?!

Она выкрикивает фразы, точно кнутом бьет.

— Ну, кто, кто?!

— Сами знаете кто,— отвечает Джек. Милли Херемейа начинает смеяться. Смех у нее завистный, даже вызывающий.

— Конечно, как не знать! Разумеется, всегда виноваты мои дети. То стекло разобьют, то велосипед упрут. Другие дети так не могут, только мои. И в курятник ваш они без конца забираются. Вы ведь так думаете, да? А я вам вот что скажу, всезнающий и всемогущий мистер Симмонс: может, мои ребятишки когда и лазили к вам в курятник, да только не сегодня, вот!

— Бросьте, Милли, будто своих детей не знаете! От них спасенья нет!

— Хватит, сыта по горло вашими разговорами. Конечно, мои дети не ангелы, но и ваши не лучше. Пойдите спросите вашего прекрасного сынка, чем он вчера занимался. Не знаете? Так это потому, что ни я, ни муж не пойдем трезвонить об этом каждому встречному-поперечному.

— Постойте, постойте, Милли...

— Что, правда глаза колет? Знаю я тебя, Джек Симмонс. Вечно наговариваешь за глаза. Думаешь, я ничего не вижу! Эти соседи, они ведь маорийцы, что, угадала? Вечно воруют, вечно обманывают. Слушай, слушай, хорошенько слушай. Думаешь, только Симмонсы по воскресеньям уезжают? А твои соседи-маори тоже дома не сидят — что, непонятно говорю? Сегодня мы все ездили собирать маис. И вернулись как раз перед вами. Ну как, мистер, ведь вы же никогда не ошибаетесь? Что скажете?

Милли Херемейа, как огромный куст, возвышается посреди двора. Но вот она поникает и сгибается, как после урагана.

— И попробуйте еще хоть раз тронуть моих детей! Вы меня слышите? Слышите, что я говорю? Только попробуйте... еще раз...

Она обнимает Хенаре, и они медленно идут к дому. Дверь за ними тихонько закрывается.

Невеселым был в тот вечер ужин у Симмонсов. Детей пораньше отправили спать. Салли убирает посуду, моет, а Джек помогает вытирать.

— Видишь, я оказался неправ,— вздыхает он.

— Да, Джек, плохо, что ты не сдержался.

— Но я же чаще бываю прав. Ты ведь знаешь этих неугомонных.

— Чаще или реже — не в этом дело. Важно, что ты сейчас неправ.

— Салли, я был вне себя, вот и не сдержался.

И он замолкает.

— А впрочем,— добавляет он,— Милли ведь за всеми не уследит. И кто-то из них мог уже после возвращения слазить туда.

— Ну, о чем ты, Джек,— вздыхает Салли.

— А, черт! Больше некому. Ты ведь знаешь, у них одно на уме.

— Не всегда.

— Почти всегда. Ты-то что заступаешься? Будто я не знаю, на что они способны.

— Ах, Джек! То, что способны, еще не значит, что виновны. Неужели ты не понимаешь?

Салли отворачивается, садится за стол, искоса поглядывая на мужа. Он в сердцах комкает полотенце и швыряет на пол. Затем смотрит в окно на дом Херемейа. Черт бы их всех побрал...

— Нужно что-то делать, Джек.

— Знаю.

— Так что же?

— Извиниться, наверное. Пойти и извиниться.

— Да, это самое лучшее.

— Таким дураком себя чувствую,— подавленно шепчет Джек.

— Каждый может оказаться неправ. И ты, и Херемейа, каждый.

Некоторое время они сидят молча. Джек отворачивается от окна.

— Чем скорее я это сделаю, тем лучше.— Он улыбается Салли.— Если через десять минут я не вернусь, вызывай «скорую помощь».

Он выходит, дверь за ним закрывается. Салли подходит к окну. Муж машет ей со двора, а она — ему. В окне соседской спальни мелькает лицо Джимми. Неужели ни он, ни Анни, никто из этих ребятишек не придет к ней в гости? А Хенаре... что-то он думает о Джеке?

Она отходит от окна. Нужно заварить чай себе и Джеку. Бедный Джек.

Ну, разве могли ребятишки сделать это? Разве могли они залезть в курятник? Нет. Но ведь и Джек не виноват, что заподозрил их, конечно, не виноват. Впрочем, Хенаре он ударил напрасно. Вот это уже непростительно. Как неприятно, ужасно неприятно. После каждого конфликта с Херемейа остается тяжелый осадок. От всех подозрений, сомнений, обвинений, справедливых и напрасных. И все потому, что Херемейа — семейство многочисленное и все время на глазах. Как нарыв на пальце — всегда о себе напомнят. Не научились они еще жить бок о бок с европейцами, которым, может, не по вкусу их обычаи. Уж больно эти маорийцы откровенны, даже в проявлении своих недостатков. Люди они добрые, но тактичности им порой недостает. Так стоит

ли удивляться, что когда на улице происшествие, то всегда подозрение падает на детей Херемейа. Сами на себя беду накликают.

Салли лишь вздыхает и ставит чайник. Видит бог, она как могла старалась избегать конфликтов. Сохраняла нейтралитет в делах мужа с маленькими Херемейа, была беспристрастным судьей. Иногда ей это удавалось, иногда — нет. Кому как не ей знать, что порой обвинения мужа бывали совершенно беспочвенны. Сегодняшний случай — наглядный тому пример. А сколько она помнит других! Джек зачастую не мог судить со всей объективностью — мешало укоренившееся представление об этих ребятишках. Джек не сомневался в их вине даже тогда, когда не было доказательств.

Взять историю с золотой рыбкой. Наверное, и сейчас Джек считает, что это дело рук соседских детей.

Как-то раз она обнаружила в почтовом ящике вскрытое письмо. Джек, не задумываясь, решил, что виновен кто-то из Херемейа. Он оказался прав, они сами признались, сказав, что письмо по ошибке бросили в их ящик. Так вполне могло быть, а Джек не поверил. Он как всегда считал, что они сделали это нарочно. Ни в чем он им не верил. Вообще-то повод для этого у него был, и не один. Слишком много небылиц выслушал он от ребят Херемейа. Так недоверие и росло.

Или такой случай. Как-то ребят спросили, не залезали ли они в дом Симмонсов, когда те уезжали на пикник. Сначала они отпирались, потом сознались, потом снова стали отказываться и, наконец, признались вторично. Но разве кто стал слушать их объяснение, будто они услышали, как мяукает Силки, кошка Симмонсов, и решили ее выпустить. Из-за их выдумок им никто не поверил и на этот раз. Как узнать, говорят они правду или лгут? В этом-то и беда: не веришь ни одному их слову.

Недоверие порождает все новые и новые конфликты. И уже начинаешь судить о ребятах по их прежним делам. Да к тому же никогда не забываешь, что они все-таки маорийцы. Тут уж возразить нечего. А всем известно, что они за люди. А все хорошее забывалось, тем более что соседские детишки сами способствовали этому.

Чайник вскипел. Салли Симмонс снимает его с плиты. Милли, конечно, неправа, утверждая, что Джек порочит их за глаза, не было такого. И Салли, и Джек всегда пытались понять семью Херемейа. Не то что некоторые: сначала превозносят «наш маорийский народ», а через минуту уже отмежевываются от него. Она-то, по крайней мере, никогда не делала далеко идущих выводов из дурных поступков ребят. Не все же время они себя плохо вели.

Салли вновь смотрит в окно. Джека не видать. Но вот снова мелькнул Джимми. Бедняжка. По словам Катарины, у него что-то вроде гриппа. Придет ли он завтра? Последнее время он каждый день справлялся, не вылупились ли цыплята. Да, Джимми, теперь только двое увидят белый свет...

На окне, из которого выглядывал Джимми, задернули занавеску. Вдруг Салли пришла в голову мысль: а что, если это сделал Джимми? Нет, такого не может быть. Но ведь и другие не могли. Тогда кто? Кто?

Погруженная в свои мысли, Салли заваривает чай. Она слышит, как хлопает дверь в доме Херемейа. Джек возвращается. Салли быстро достает из шкафа две чашки, два блюдца, наливает чай. Дверь открывается. Салли поворачивается, чтобы поцеловать мужа.

— Ну что, Джек,— вздыхает она,— все-таки кто-то из них, да?

— Да.

— Джимми?

Джек кивает.

— А Милли знает?

Джек лишь молча мотает головой.

— Не сказал я ей. Хотел сначала, но на нее опять нашло. От нее всего можно ждать. Если бы я сказал, неизвестно, чем бы все кончилось для Джимми.

— А как ты узнал?

— Я видел Джимми. И мне все стало ясно без слов.

— Что же ты так долго там делал?

— Стоял, выслушивал ругань Милли. Стоял и молчал, как последний идиот. Хенаре даже глаз на меня не поднял. А про Джимми я сказать не мог. Ну, да ладно. Все уже позади.

— Бедный ты, бедный...

— Он же не нарочно их разбил, у него нечаянно получилось. Просто любопытство взяло верх. Но он не нарочно. Джимми не из таких.

— Тяжко, должно быть, тебе там пришлось.

— Пожалуй. Нужно было решить — сказать Милли или нет. Думаю, я поступил правильно. Вот увидишь, все обойдется.

— Расскажи по порядку, как все было. Как ты догадался про Джимми?

И Джек начал рассказывать.

Ему открыла Анни и сказала, что он им больше не друг, пускай уходит. Но он не ушел и велел позвать Сэма, ее отца. Анни ответила, что его нет дома. Тут и Милли появилась. «Может, хватит на сегодня?» — спрашивает. И хотела у него перед носом дверь захлопнуть, да он не дал. Сказал, что пришел извиниться. А она в ответ: «Зла словами не искупишь».

— Что дальше? — интересуется Салли.

— Ну, впустила она меня наконец,— продолжает Джек.— Стою, а слова на ум не идут. Впрочем, Милли и рта бы раскрыть не дала. Ты же знаешь Милли. И пошла, и пошла. Говорит, раз она не велела детям подходить к курятнику, значит, они и не подходили. Попробовали бы не послушаться. Дети они хорошие. Почему я на них постоянно клевещу? Завелась она, а дети стоят, смотрят.

Тут как раз в коридоре позади нее Джимми появился. Мне-то его видно было, а она его не заметила. Он и простоял всего с минуту. Но я видел, как он плачет. По лицу видно, что виноват он. Я был поражен, но странно, ничуть не рассердился. Напротив, мне жалко его стало. Я улыбнулся ему, а он закрыл лицо ручонками и убежал в спальню. После этого Милли была мне не страшна. И я ничего не сказал. Понимаешь, Салли, не мог.

— Тяжко тебе там пришлось,— шепотом повторила Салли.

— Джимми еще тяжелее. Жаль, я не успокоил его. И так-то он болеет, бедняга. А мне сейчас легко — ведь я поступил правильно.

Салли обнимает мужа, и они подходят к окну. В спальне Джимми уже темно.

— Все наладится,— успокаивает Салли.— Не завтра, так послезавтра, через неделю. Вот увидишь.

Джек улыбается.

— Думаешь, наладится?

Взгляд его устремлен на соседский дом. Дом Херемейа. Дом за забором. Там живут шестеро ребятишек.

Вдруг он начинает смеяться.

— Господи! И когда эти чертенята поумнеют?

В поисках изумрудного города

Сегодня мы уезжаем!

— Собирайся, Матиу,— кричит отец.— Пора ехать.

Вот это да! Сердце так и выпрыгивает из груди. Хаэрэ ра, прощай, ферма, хаэрэ ра, дом. Прощайте навсегда...

Ой, да я же забыл попрощаться с Эмери.

Я спрыгиваю с подоконника и бегу к двери.

— Матиу! — кричит мама вслед.— Куда это ты?

— Пойду попрощаюсь с Эмери.

— Смотри не пропадай. И в грязь не лезь, а то задам тебе.

— Хорошо, мам.

Я перелезаю через забор и осторожно ступаю, выбирая, где почище.

— Эмери! Эмери! Иди сюда!

А, вон она где — пасется на лужайке.

— Тена коэ, Эмери, добрый день! Смотри только близко не подходи, а то мне пачкаться не велели. Я буду по тебе скучать в городе. Жаль, что мы не можем взять тебя с собой, там ведь коров не держат. Папа говорит, что мы быстро разбогатеем в городе. Ну почему ты меня не слушаешь, глупая ты скотина!

Это я сгоряча сказал. Она лишь мычит в ответ, а мне стыдно.

— Прости меня, Эмери. Но по правде говоря, ума-то у тебя действительно маловато. Ну что ж, прощай.

И я целую ее.

— Фу! Ну и грязнуха же ты, Эмери!

И вот я уже бегу к дому. На ходу поплевываю на руки — нужно стереть пыль с лица и почистить одежду, а то мама ругаться будет. На нее иногда находит.

— Матиу,— зовет отец,— иди-ка, помоги мне погрузить вещи.

— Сейчас, папа.

— Ух, ну и ящик — не поднять. И что только в нем может быть?

— Там твои учебники. Мисс Райт сказала, что они мне пригодятся в новой школе.

— Может, какие оставить, а? — спрашивает отец.

— Что ты, папа, мне все книги нужны. Мисс Райт велела...

— Ну, хорошо, хорошо. А вот без этой наверняка можно обойтись.

— Это моя самая любимая, как же ее не взять? Замечательная сказка. Про соломенного человечка и про железного, про трусливого льва и про изумрудный город и...

— Ох, Матиу, тебя не остановишь,— смеется отец и протягивает другую коробку.— Здесь мамино барахло. Что она только с собой не везет!

— Было бы о чем говорить,— на веранду выходит мама.— Матиу, ты не знаешь, где Роха? Ну и бездельница сестра у тебя.

— Она пошла попрощаться с Хоном, мама.

Хон — это ее парень, они ходят вместе. А видели бы вы нашу машину! Папа купил ее у мистера Уоллеса. Новехонькая. Бип-бип, поехали. Я и водить умею. Пусть вон папа подтвердит. Шофер из меня что надо получится.

— Посмотрите, кто к нам идет. Все соседи — пришли попрощаться. Тена коэ, мистер и миссис Парата, тена коэ, миссис Мохи, тена коэ, тетушка Миро, добрый день. Проходите, мама в доме. Нет, вы пришли вовремя. Мы как раз кончаем собираться. Добрый день, дедушка Пирипи. Тена коэ.

— Эй, Матиу! — слышу я чей-то голос. Ба, да это же Хеми, мой закадычный друг. Он машет мне рукой, я срываюсь с места, и мы бежим прочь от дома, смеемся неизвестно чему и бросаемся на траву в тень деревьев.

— Хочешь закурить? — предлагает Хеми. Он закуривает и неумело затягивается.

— Спасибо, я не буду, а то мама по запаху догадается. Откуда ты сейчас?

— С реки. Смотри, что я принес.

И он вытаскивает из кармана голову хинаки[1]. Таких больших я еще не видел.

— Какая красивая! Где ты ее поймал?

— Под ивами.

У меня даже дыхание перехватило. Мы долго охотились за этой хинаки. Говорят, они достигают такой длины, что в речке им и не развернуться.

— Это я тебе принес. На память.

— Да что ты... Хеми...

— Бери, бери. Для тебя старался. Покажешь городским, что такое хинаки.

— Ну, Хеми...

И я замолкаю. Говорить как-то трудно. А вот и мама зовет меня.

— Мне пора. Может, пойдем к нам?

— Нет, там и без меня народу хватает.

— Ну, прощай, таку хоа[2].

Он уходит. Уходит мой самый близкий друг. Но для меня он самым близким и останется. Честное слово.

— Где ты все бегаешь? — ворчит мама.— Мог бы помочь. Да скажи отцу, чтобы перестал дуть пиво. С пьяным я никуда не поеду.

— Верно, Хине,— поддакивает тетушка Вики.— Ну-ка, покажи своему старику, кто в семье голова.

И обе смеются. Миссис Коко — ей снова скоро рожать, уже в седьмой раз — тоже неразлучна с бутылкой пива.

— Эй, Макарете! — кричат ей.— Не много ли пьешь? Смотри, ребенок пьяным на свет появится.

Я бегу на задний двор. Мужчины пьют, Сонни бренчит на гитаре. Отец беседует с дядей Пита.

— Папа, мы скоро поедем? — спрашиваю я. Но отец занят разговором.

— Конечно, я прав,— доказывает он,— здесь работы не найти. Только железная дорога, лесничество, завод или иди пастухом.

— Ну, зачем же так говорить, брат,— отвечает дядя Пита,— я вот живу, и неплохо. Почему бы тебе вновь не заняться стрижкой овец? Ты ведь большой мастер по этой части.

— Ох, Пита, мы с женой не одну тысячу овец остригли. Хватит. Эта работа на пару месяцев, а потом что? Либо идешь фрукты собирать, либо дальше на юг едешь и снова — стриги, стриги, стриги. Нет, мне постоянная работа нужна. Надоело как цыгану скитаться. А зимы нынче холодные. Вот в Веллингтоне жизнь — это да! И работы вдоволь, и платят хорошо.

— Эх,— вздыхает дядюшка.— Все куда-то едут, прямо целыми деревнями.

— Ничего не поделаешь. Мне, думаешь, хочется уезжать? Здесь

---

[1] Водяная змея *(маори)*.

[2] Друг, дружище *(маори)*.

мы родились, здесь бы нам и жизнь прожить. Но нужно ехать, оставаться бессмысленно.

— А то пожил бы еще немного,— не сдается дядюшка.— Может, все еще обернется к лучшему. А если деньги нужны, так я могу дать.

— Да, трезвый денег не предложит,— смеется отец,— спасибо, но деньги оставь себе. Еще пригодятся. Семья у тебя большая. Детишкам учиться нужно. Такие-то дела, брат. Мои ребята тоже вроде не дураками уродились. И я хочу, чтобы им жилось лучше, чем мне. Чтобы не пришлось им надрываться. Мы с женой всю жизнь работали не покладая рук, да так ни с чем и остались. Нужно туда ехать, где можно разбогатеть. Так живут все пакеха[1].

— Только и разговоров что о белых,— ворчит дядюшка.— Не успеешь оглянуться, как все маори превратятся в пакеха.

Отец молчит, в его глазах грусть:

— Да так и получится. Думаешь, молодым есть дело до их родной маоританга?[2] Наверное, мы в этом виноваты. Хотя, кто знает, может, и нужно так жить, как эти пакеха, «при деле», а может, мы и впрямь, как говорят, вымирающая раса. Но пока жив — надо жить. Умру — пусть похоронят на родине. Это мое последнее желание.

Дядя шутливо шлепает отца:

— Ну-ка, выше нос! И чтобы таких разговоров я больше не слышал. Ты еще полон сил.

— Да где уж там, Пита. Иногда годы дают себя знать. Чувствуешь себя старым и беспомощным.

— Прекрати сейчас же. Выпей-ка лучше пива.

Тут уж я не утерпел:

— Мама не велела больше пить, папа.

Отец как-то странно посмотрел на меня.

— Ведь все это я затеваю ради тебя, Матиу,— шепчет он,— ради тебя.

— Ладно, папа, поживем — увидим.

Подходит мама.

— Ну-ка, муженек, давай отправляться. До Веллингтона далеко.

— К чему спешить, жена?

Мама почти силой вырывает бутылку у него из рук.

— Хватит пить. Я не хочу, чтобы на дороге в Веллингтон мои косточки собирали. Поторапливайся. Пора ехать.

Я иду за мамой и папой к крыльцу. Все как-то притихли. Народ все подходит. Роха, горько рыдая, прощается с Хоном.

— Ну,— сказал отец, помолчав,— пора и в путь.

— Хаэрэ ра, Куини,— прощается мама с тетушкой. Они трутся носами и начинают плакать.— Хаэрэ ра, бабушка, прощайте, Хопа. Хаэрэ ра, мама, прощай, родная.

Мы проходим сквозь толпу, пожимаем протянутые руки, обнимаемся, тремся носами.

— Прощай, отчий дом. Прощайте, друзья, хаэрэ ра, мои родные и близкие. Мне так грустно расставаться с вами всеми.

Сонни наигрывает на гитаре. Собравшиеся начинают петь, ритмично раскачиваясь. Мама достает носовой платок.

В открытый океан мы держим путь,
Но сердце дом родной забыть не может.

Пусть мы уезжаем в большой город. Но душой мы всегда останемся на родине.

---

[1] Чужестранцы, особенно белые *(маори)*.

[2] Маорийской культуры *(маори)*.

Кончается песня. Слышны лишь всхлипывания. Мама садится в машину и забивается в угол. Роха устраивается на заднем сиденье. Я залезаю туда же.

— Прощайте, друзья, прощай, родная деревня,— шепчет отец, и машина трогается. Люди машут нам вслед. Мама плачет, уже не скрывая слез. Не выдержал и отец. Они то и дело оборачиваются. Домики становятся все меньше и меньше. Деревня уже позади. Провожающих почти не видно — только словно маленькие флажки трепещут вдалеке. Мы выезжаем на шоссе.

Я смотрю вперед. Дорога ведет в Веллингтон, в Изумрудный город. Мне бы прыгать от радости, но радости нет... Я думал раньше, что уезжать так просто.

Ведь правда, просто?

И разве мне сейчас не радостно?

Я оборачиваюсь. Здесь мы прожили всю жизнь, здесь наш дом, наши близкие, здесь зеленые луга, на которых паслась наша корова Эмери.

Прочь, слезы.

Хаэрэ ра, прощай, Эмери.

Кит

Вот он, старый кауматуа [1]: сидит в полумраке Общего дома. Он пришел сюда, потому что здесь живут тени давно минувших дней.

В своем ванау [2] он самый старый. Из его поколения уже никого нет в живых, ни братьев, ни сестер, ни родственников. Жена Руна много лет как в могиле. И из друзей никого не осталось. Правда, есть дети, внуки. Только он сам да старый Общий дом напоминают о былых временах.

Общий дом...

Ты тоже старик, вздыхает кауматуа, и тьма вздыхает вместе с ним. Он глядит на деревянные резные панели, на хитросплетения тукутуку [3], на затейливые красно-черно-белые узоры — здесь начиналась его жизнь. Давно это было, словно в другом мире, тогда и в Общем доме, и во всем селении, его родном ванау, царили счастье и любовь. Здесь прошла вся его жизнь. Этот дом вырастил его и дал силы. Он любил бывать здесь, где живут воспоминания о семье, близких, о всех радостях и горестях. Некоторые воспоминания — как мечты, не верится, что все это было. А мечты, где они сейчас? Они умирали вместе с людьми, и их становилось все меньше и меньше. Сейчас и мечтать-то уже некому — один он остался.

Одинокий кауматуа — на глазах наворачиваются слезы. Сегодня он в последний раз пришел в Общий дом, он чувствует, что в последний. Тени на стенах все длиннее, солнце заходит, так и жизнь идет на закат. Скоро и его фотография займет место на стене рядом с портретами друзей, родственников, предков. Поскорее бы оказаться среди них. Мир вокруг так изменился, больно смотреть, как уходит прежняя жизнь.

---

[1] Старик *(маори)*.

[2] Род, семья, селение *(маори)*.

[3] Плетеный настенный орнамент из тростника *(маори)*.

А ведь когда-то их селенье было гордостью округи, смех и песни не умолкали. И жили в нем сильные люди, жили одной семьей. И сердцем деревни был Общий дом. Он знавал и ссоры и невзгоды. Но в памяти своей хранит только счастливые дни.

А сейчас деревня опустела, много домов заброшено, поля заросли сорняками, могилы стоят неухоженные. Все реже слышится в деревне детский смех.

И где та прежняя ароха [1], когда каждый тебе близок и дорог? Все ушло, осталась лишь боль в сердце. Когда-то оно билось ровно и сильно, жизнь ему дарило родное селенье. Но шли годы, рождались дети, они вырастали и уезжали, и большая семья распадалась. Мало кто возвратился назад. И все тише и слабее бьется сердце.

Вновь вздыхает старый кауматуа. Нет, он не боится смерти, ему лишь жаль тех, кого он покидает. Они будут плакать. Они будут плакать, особенно Хэра, племянница. Но потом и она вспомнит его слова:

— Не печалься, Хэра, когда меня не станет. А если будет очень грустно, приходи в наш Общий дом. Там ты и найдешь меня, сможешь поговорить, и подарком мне будет твоя любовь.

Давно, еще маленькой девочкой, она слышала эти слова. А мир вокруг уже тогда начал изменяться. Хэра интересовалась, как жили маори раньше. Остальных ее сверстников привлекал дразнящий и яркий мир пакеха. Так пусть хоть в племяннице живет маоританга.

И он рассказывал ей то, что мальчишкой слышал сам:

— Хэра, в доме этом не только собираются люди со всей деревни, дом этот словно тело наших предков, наших типуна. Навес над крыльцом — словно голова, называется он коруру, а балки по бокам — руки. А вон хребет — тахуху, он тянется вдоль всей крыши, от него отходят стропила — ребра, называются хеке. А где стоим мы, тут сердце. Слышишь, как оно бьется?

И Хэра прислушивается, потом испуганно хватает его за руку.

— Дедушка! Наш Общий дом и вправду живой.

— Не бойся, он тебя никогда не обидит. Ведь ты одна из его деток. Ну, успокойся.

Потом он приподнимает занавеску на стене, где собраны фотографии всех родственников, и рассказывает ей о каждом:

— Это твой дедушка Вити. Храбрый был человек. А вот моя тетушка Хирия, красавица, правда? А этот мужчина был нашим рангатира [2]...

И они еще долго сидят, и старик все говорит девочке о доме.

— Наш общий дом как книга, Хэра. В этих резных деревянных панелях вся история деревни, нашего ванау. Люди пакеха, белые, считают, что все это — легенды. А для меня это больше чем просто сказка.

И, словно переворачивая страницу за страницей, он рассказывает:

— Это Пу. Он летит с Гавайки на спине огромной птицы. Он несет кумара [3] в край Аотеароа [4]. А это Пайкеа, и он держит путь в Аотеароа, плывет на спине кита. Ему был дан наказ не подпускать кита к берегу раньше времени. Но долгое путешествие утомило его, и он решил отдохнуть. И как только кит коснулся песка, он тут же превратился в остров. Его и сейчас можно увидеть, недалеко от Вангары. А видишь тукутуку на стене? Это плетенье изображает небо и звезды.

---

[1] Любовь *(маори)*.
[2] Вождем *(маори)*.
[3] Сладкий картофель *(маори)*.
[4] Маорийское название Новой Зеландии *(маори)*.

Глаза Хэры горят от возбуждения.

— Неужели это правда, дедушка? Неужели все так, как ты говоришь?

— Именно так, Хэра. Не забывай того, что я тебе рассказывал.

Старик закрывает глаза, пытаясь отогнать грусть. Прошли годы, и даже Хэра стала другой, повзрослела, печально думает он. И как многие ее сверстницы, Хэра уехала в город. А когда приехала домой погостить, то он увидел, что мир пакеха изменил и ее. Он попытался было разбудить в ней воспоминания, вернуть ее в мир детства, но она рассердилась:

— Перестань, дедушка. И кроме маори есть на свете люди. И мне жить среди них. А ты как во сне. Старые времена не вернуть. И я тут ничем помочь не могу. Неужели ты не понимаешь?

Но он, этот кауматуа, так просто не сдавался. Если уж к старому возврата нет, то пусть она хотя бы увезет с собой частичку прошлого.

— Пойдем, Хара. Я кое-что тебе покажу.

— Не стоит, дедушка.

— В этих книгах живет дух твоих предков. Это наше Вакапапа [1]. Здесь имена всех твоих родственников с тех пор, как Токитиму построил каноэ. Возьми их с собой.

— Но, дедушка...

— Бери без разговоров. Вот видишь свободную строчку. Сюда впишешь мое имя, когда я умру. Сделай это для меня. Береги эти книги. И не забывай о своем народе. Всегда помни, что ты тоже из маори.

Голос его сорвался от волнения, и Хэра обняла его, чтобы утешить.

— Дедушка,— прошептала она,— ты воспитал меня в любви, ты пытался возродить во мне дух маори, но как уберечься от мира пакеха, ты меня не научил...

Он открывает глаза, в ушах еще звучат слова внучки. Да, он хорошо ее воспитал, когда-нибудь она это поймет. А старых времен не вернуть, он это и сам знает. Но дух народа не должен умирать. Вот что хотел он передать внучке. Чтобы она это поняла.

С минуту он что-то грустно шепчет, вспоминая старинное изречение. Когда оно родилось? Наверное, когда Маори, переплыв океан, добрался до Аотеароа. Плыл он из Гавайки, или из Тавити-Роа, или из Тавити-Нуи, Тавити-Папамао — не все ли равно? Все это разные названия одной родины маори. Даже тогда приход пакеха был безошибочно предсказан:

И пришел бледнолицый, и предстал перед маори.
Суждено ему было землею владеть.

Да, с приходом пакеха жизнь маори изменилась. Что ж, старых дней не вернуть. Неужели так и умрет дух народа? Да, забывают люди древнюю культуру. И нет уже чувства единства и взаимной любви.

Не сдержать старику горьких слез.

В селении почти уже не говорят на родном языке. Обычаи маори, самое для него святое, тоже забываются. У входа в Общий дом уже не снимают обувь в знак почтения. Пол весь истоптан. Узоры тукутуку кое-где уже подпалены сигаретами. Исцарапаны лики богов и прародителей. На деревянной панели кто-то вырезал свое имя. Рядом еще

[1] Генеалогическое древо *(маори)*.

след ножа. У стоящей рядом статуи кто-то вырвал глаз, сделанный из ракушки.

А когда-то Общий дом знавал лучшие времена. Но сейчас краска на резных украшениях и затейливых орнаментах облупилась. Все обветшало. На грязном полу пятна от пива, теперь в Общий дом осмеливаются входить с бутылкой.

Где же гордый дух маори? Где уважение и трепет, когда они переступают этот священный порог? Они смотрят на резные узоры и не видят красоты, не чувствуют одухотворенности этих смелых линий, этих лепестков орнамента.

Его соплеменники тоже стали чужими, как и пакеха, эти белые. И их становится все больше. А во времена его молодости те, кто считали себя маори, были совсем другие. Их объединяла ванау — деревня, словно одна большая семья, ароха — любовь, которую они щедро отдавали ближнему. Сейчас все это уходит. Молодежи уже не сидится дома. А раньше, где бы ни были дети одного селенья, они чувствовали, что они из этого гнезда, их согревала ароха, их ждал родной Общий дом, родная деревня. Сейчас это чувство пропало, люди стали чужими. Они стыдятся своей деревни, старого Общего дома. И навсегда покидают родные края. Поэтому сердцу так больно, поэтому приходит конец Общему дому. Когда в душе маори умирает ароха, когда он уходит от родного очага, Общий дом оплакивает его...

— Ауэ, ауэ, о горе, горе!

Скорбь старика велика, она заполняет весь дом.

— Ауэ, ауэ!

Еще одно воспоминание болью отзывается в его сердце. Не так давно здесь собирались люди со всей Аотеароа, чтобы отпраздновать свадьбу.

Гости приехали из Таранаки, из Вайкато, со всех концов страны, даже с южных островов. Да, большой был праздник. Кто добирался поездом, кто автобусом, кто на машине. И радостно билось сердце в груди, тепло становилось на душе.

Все было как и в прежние времена. Вокруг Общего дома со смехом бегали ребятишки. Встречались старые знакомые. Улыбки, слезы радости. Вкусно пахнет от ханги [1], а когда оттуда вынимают приготовленное блюдо, поднимаются облака пара. Тесной группой стоят юноши, а за их спинами девушки, каждая выбирает того, кто ей по душе. Парни отпускают дерзкие шуточки — этим они пытаются скрыть свою застенчивость. На кухне сплетничают женщины. Да, свадьба большая, чинно сидят жених с невестой, они словно не слышат шуток о первой брачной ночи. Звучат старинные напевы, вот в зал входят одетые по старому обычаю повара. Они возвещают:

Зовите всех! Зовите всех!
Пусть гостем станет каждый
На нашей свадьбе. Всем мы рады.

Да, все было как и много лет назад. Смех и песни не смолкали весь день. А он сидел с другими стариками и смотрел, как веселится молодежь.

Наступил вечер. И тут-то все и случилось. Вдруг до него донеслись чьи-то возмущенные голоса, ругань.

— Дедушка! Скорее!

Какой-то мальчуган схватил его за руку и потащил к дому, где днем шло пиршество. Оказалось, что прибыли новые гости из Вангареи. Они устали и проголодались. Это было видно по их лицам. А его

[1] Жаровня, вырытая в земле. Туда кладутся раскаленные камни, и на них готовится пища. Сверху яма закрывается, иногда даже засыпается землей *(маори)*.

односельчане затеяли перебранку с гостями, отказывались впустить их и накормить — дом уже заперт. Нельзя опаздывать на свадьбу. И не нашлось прибывшим места в сердцах его земляков.

Старика это потрясло. Всегда в их доме привечали гостя, всегда гость находил здесь угощение, любовь и заботу. Таковы обычаи маори.

И он сказал мальчику:

— Хомаи те токи. Принеси топор.

Толпа почуяла гнев в его словах. Перед ним расступились. Опираясь на посох, он подошел к запертым дверям. Музыка больше не играла, танцы прекратились. А народ все подходил. Гнев старика рос. Он взял топор, занес его над головой и...

— Ауэ!

Удар пришелся прямо по замку.

— Ауэ!

Слезы хлынули из глаз.

— Ауэ!

Во все стороны полетели щепки.

— Ауэ!

Каждый удар — словно по сердцу.

Весь его гнев был в этих ударах, вся накопившаяся горечь и тоска. Он все рубил и рубил, топор высекал искры в темноте. В толпе тоже кто-то заплакал.

Ну, вот и все. Дверь подалась. В тишине слышен только плач. В голосе старика боль и обида.

— Хаэре маи, э те манухири, проходите, гости дорогие. Проходите.

И он повел рукой, словно обнимая их всех.

— Мне стыдно за людей нашей деревни. Понимаете? Просто стыдно.

И он ушел, не оборачиваясь. Ушел в темную ночь. Сердце, бедное сердце. Лучше бы оно остановилось, чтобы спасти его от стыда.

Воспоминания отступают. Уже вечер. В доме совсем темно. Сколько он пробыл здесь, оплакивая ушедшие времена? Он тяжело вздыхает. Лучше умереть, чем видеть, как жизнь меняется. Он слишком стар, чтобы принять этот новый мир. Он словно выброшен на мель.

Старик встает, тяжело опираясь на посох. Ждать больше нечего. Последний раз он окинул взглядом Общий дом. В лучах заходящего солнца поблескивают резные орнаменты. Ветерок шевелит черные занавески на фотографиях тех, кого уже нет в живых. Скоро уйдет и он. И имя его запишут в вакапапа. Совсем скоро.

Он стоит не шевелясь, словно изваяние. Будто еще одна деревянная статуя появилась в доме. Вот губы его зашевелились. Прощай, Общий дом,— и он шагает прочь.

— Но ваи те хе? В чем корень зла?

Он бредет по пыльной дороге через всю деревню. Домá тесно прилепились друг к другу, но каждый живет своей жизнью. А в некоторых жизни нет совсем, и они стоят заброшенные, одинокие. Мимо проехал грузовик, обдав его пылью. Старик начинает кашлять.

— Но ваи те хе?

В одном из домов играет музыка. Он заглядывает в окно — на стенах яркие картинки, вырезанные из журналов. Около другого дома собралась молодежь, слышны песни и смех. Ему машут рукой, его зовут. Старик отворачивается.

— Но ваи те хе?

Он спускается по тропинке и выходит на берег моря, где, особняком от других, стоит его дом.

Море спокойно, волны тихонько набегают на берег. Далеко на горизонте солнце погружается в море.

— Но ваи те хе?

Вдруг внимание его привлекает стая чаек у берега. Их крики наполняют тишину. Они то опускаются, то взмывают вверх, а на песке колышется что-то темное и большое. Старик подходит поближе — на мели, у волнореза лежит кит, он еще жив, но спина уже сильно поклевана чайками. Вода вокруг вспенилась и покраснела от крови.

Старик горько заплакал.

С криком взмывают чайки, унося его последние слова, темным облаком кружат над берегом.

— Но ваи те хе? В чем корень зла... зла?

В чем корень зла?

В предсмертных судорогах кит бьет хвостом по воде.

■

ГОР ВИДАЛ

Бэрр

РОМАН

Перевод с английского М. БРУКА и А. ФАЙНГАРА
под редакцией Е. СУРИЦ

Воспоминания Аарона Бэрра (6)

На последней сессии конгресса третьего созыва я возглавил борьбу в сенате против ратификации договора Джея с Англией. Договор был плохо составлен и невыгоден для нас. В нем нам запрещалось даже вывозить хлопок на американских судах. Другими словами, договор превращал нас снова в колонию. Он обнажил и глубокий, непоправимый раскол между республиканской и федералистской партиями — уже настоящими политическими партиями, а не фракциями. Одна была профранцузская, другая проанглийская. Одна хотела вольной конфедерации штатов, другая — сильного централизованного правительства; одна состояла из независимых фермеров и городских ремесленников, другая стремилась развивать торговлю и промышленность. Одна партия была — Джефферсон, другая — Гамильтон.

И так как Гамильтон одержал верх в конгрессе, договор ратифицировали. Меня считали теперь не голько первым из республиканцев в верхней палате (как Мэдисона в нижней), но и лидером — вместе с губернатором Клинтоном — партии в штате Нью-Йорк. Я приобрел союзников в лице Галлатена из Пенсильвании, братьев Эдвардс из Коннектикута, Джонатана Дейтона из Нью-Джерси, Мэдисона и (так я думал) Монро из игравшей решающую роль Виргинии. Я упорно пытался заключить союз с Теннесси. Это расположило в мою пользу главного представителя этого штата. Он подошел ко мне на улице возле конгресса.

— Господин полковник Бэрр, я ваш горячий поклонник!

Эндрю Джексон был красивый горячий молодой человек; когда он волновался (то есть почти всегда), то говорил бессвязно.

Я дал изысканный званый обед в честь Джексона, но, по-моему, он наслаждался не столько приятным обществом, сколько возлияниями. Он не любил конгресс, и конгресс отвечал ему тем же. Вскоре Джексон ушел со своего поста — думаю, ему просто стало скучно. И хоть наша дружба очень пригодилась мне во время выборов 1800 года, для него, бедняги, она оказалась чуть не роковой, когда меня арестовали, обвинив в государственной измене, а его назвали моим сообщником.

Продолжение. Начало см. в № 7, 8.

В 1792 году виргинцы обещали мне, что, если во время выборов на пост вице-президента я сниму свою кандидатуру в пользу Джорджа Клинтона, они помогут мне получить этот пост через четыре года. В политике, как и в жизни, следует держать слово. Так считал я, донкихот. Виргинцы же не отличались такой — ну, как бы это сказать?— щепетильностью. Поэтому спустя некоторое время я решил напомнить главному виргинцу об этом обещании хунты.

18 сентября 1795 года я уезжал в почтовом дилижансе из Филадельфии, а в Нью-Йорке в это время разразилась желтая лихорадка.

Прибыв в «город» Вашингтон, я почувствовал себя странно. В ушах звенело. Меня бил озноб. Однако некая мисс Дункансон приняла меня, проявив смелость, достойную святых и мучеников.

Наутро, раздвинув занавески и увидев мое лицо, мой слуга Алексис понял, что больше ему служить у меня не придется.

— Diable![1]

— Qu'a-t-il?[2]— Я едва ворочал языком. Он принес мне зеркало. Лицо и шея у меня распухли, а белки глаз покраснели, как у бедного доктора Хатчинсона, когда он последний раз на меня смотрел. Хуже того, я едва мог глотать, говорить.

Мисс Дункансон проявила невиданную деликатность. О лихорадке не упоминалось, и, не будучи помянута, она отступила. Я ничего не ел, не разрешил врачам делать мне кровопускание, встал с постели через несколько дней свежий и здоровый и начал обследовать новую столицу нашего государства.

Признаюсь, никогда я не видел таких мрачных дебрей. Лишь часть Капитолия и президентского дворца начали принимать некую форму, но и только. Строители жили в бараках — во время моего последнего посещения города в 1806 году эти бараки так и стояли, и в них по-прежнему жили.

Я участвовал в спекуляциях землей наравне со всеми, включая генерала Вашингтона, который только что приобрел два участка неподалеку от Капитолия. Я заплатил наличными за участок около Белого дома. Наверно, мы были похожи на сумасшедших. Взрослые люди верхом на лошадях разъезжали по темному лесу, сверяясь с картой, чтобы уверенно ткнуть в участок болотистой местности и сказать: «Ну вот, тут угол такой-то улицы. Отлично, совсем рядом с Капитолием. Здесь я построю дом — нет, отель». Кто проявил упорство в этих дебрях, сколотил целое состояние. Ну, а я, конечно, остался ни с чем.

Потом я отправился верхом в Монтичелло по совершенно диким местам, через предательские стремнины, вброд.

Около десяти утра в конце сентября я стоял у подножия холма, на котором строился дворец «Монтичелло». Кругом царила суета. На большом кузнечном горне вместо кузнецов дюжина черных мальчишек — «кузнечики» — делали гвозди. Апостол аграрного направления весело признался, что стал промышленником.

— Выбора у меня нет,— сказал Джефферсон, приветствуя меня у наковальни.— Отдаю весь урожай за переделку дома. Гвозди идут в уплату за бакалейные товары. При таком уровне производства я погашу долги через четыре года.

Я похвалил его. Я и сам когда-то пытался с помощью гвоздей избавиться от долгов. Но от гвоздей что-то мало толку.

Джефферсон сел на лошадь и поехал со мной на холм, ни на минуту не умолкая. Ему в то время было около пятидесяти, он начи-

---

[1] Черт! *(франц.)*.

[2] В чем дело? *(франц.)*

нал седеть, его мучил ревматизм, и он мрачно считал это предвестием конца.

Джефферсон похвалил меня за то, что я выступал против договора Джея.

— Вы — самая светлая голова в сенате.

Я сказал, что, учитывая уровень моих коллег, это не такой уж комплимент.

Мы ехали по лугу, где стояли бесчисленные печи для обжига кирпича. Повсюду сновали рабы. Я подивился тому, что они такие «светлые». Не знаю, говорят ли теперь так на Юге, но в те дни раба с большой примесью белой крови называли «светлым». Мне стало не по себе при мысли, что столько мужчин и женщин с кожей куда светлей, чем у меня, принадлежат мистеру Джефферсону.

Некоторые были очень красивы, особенно те, что из семьи Хемингс; самая блестящая представительница этой семьи — Салли—была наложницей Джефферсона, она родила ему по крайней мере пятерых детей. Недавно я узнал, что Салли живет с сыном в Мэриленде. Видимо, сына считают белым, и поэтому мать должна скрывать от соседей, кто она такая.

— Я получил светлых рабов в наследство от своего тестя,— вздохнул Джефферсон.— И не секрет — в Виргинии секретов нет,— что многие из них его дети.

Салли встретила нас в дверях. Миловидная светлокожая девушка. В скромной роли экономки она воплощала джефферсоновский идеал жены — послушной, стеснительной и глуповатой.

Остальные гости были соседи Джефферсона, виргинские помещики, которые всегда хмелеют к концу обеда. Роль хозяйки играла дочь Джефферсона Марта.

В отличие от своих гостей, он весьма умеренно пил хорошее французское вино и ел в основном овощи.

Как всегда, темой разговора стал Гамильтон. Джефферсон прямотаки бесновался, когда речь заходила о сопернике.

— Колосс монархии — да, колосс, ибо нельзя отрицать, что он человек блестящего ума. Это так же неопровержимо, как то, что он продажен и рвется к власти даже сейчас, когда он как бы в отставке.

Я знал, что он рвется к власти, и поддержал Джефферсона. Гамильтон только что организовал ряд серьезных побед федералистов над нашей партией в штате Нью-Йорк. В результате я уступлю место в сенате тестю Гамильтона, а губернаторство перейдет от нашего Клинтона к их Джону Джею.

Джефферсона особенно взволновало, что Гамильтон наконец проявил свою склонность к насилию. Кто еще, кроме монократа, мог ввести двенадцать тысяч национальных гвардейцев в западную Пенсильванию? И зачем? Чтобы схватить нескольких фермеров. которые и не думали сопротивляться — они просто не хотели платить налог на виски и были правы.

— Налог этот — глупая затея,— согласился я. Естественно, я не стал напоминать хозяину, что в бытность свою государственным секретарем он отнюдь не возражал против налога на виски.

— Мы и революцию-то совершили для того, чтобы покончить с такими несправедливостями.

— Верно. Но сейчас у нас конституция, где ясно сказано, что конгресс властен облагать налогами и взимать их, и, стало быть, налоги платить следует.

— К о н г р е с с — да! Президент — ни в коем случае! — Джефферсон умел быть потрясающим крючкотвором.

Для Джефферсона конституция являлась удобным средством, когда она позволяла ему делать что он хотел, и монархическим документом, когда она ему мешала. Он считал, что внутреннее управление — дело штатов, а внешняя политика — дело президента, наивно полагая в то время, что можно отделить одно от другого. Прозрение пришло к нему, когда, будучи президентом, он решил бороться с пиратами в Средиземном море, купить Луизиану, украсть две Флориды и, если удастся, прихватить и Кубу. К концу правления Джефферсона полномочия президента стали намного шире, чем в эпоху двух «монархистов» — Вашингтона и Адамса.

Мы вышли на лужайку, вернее, на ту полоску травы, которая оставалась между двумя ревущими обжиговыми печами. Виргинцы привыкли к шуму и суете и совершенно не замечали их, как и наш хозяин.

Джефферсон не понимал, почему Вашингтон так воспринимает учащающиеся нападки на него самого и на его правление.

— Это ведь всего лишь плата за свободу прессы, причем небольшая, учитывая все выгоды.

— Возможно, президента беспокоит источник нападок,— предположил я.

Джефферсон посмотрел на меня невинными глазами.

— Источник?

— Газета Френо представляла ваши интересы.

— Но ведь нам нужна была своя пресса в Филадельфии. И я же никогда не жаловался из-за нападок Френо на меня.

В разговорах со мной Джефферсон не упускал случая пожаловаться на клевету, ересь, оскорбление личности, безнравственность и бунтарство «свободной» прессы, и был по крайней мере один случай, когда он пытался подавить ее свободу.

— Какое дело великому человеку до комариных укусов? Вашингтону обеспечено место в истории. Если его авторитет не подорвет Гамильтон.

Джефферсон нахмурился и заговорил о Санто-Доминго:

— Это всем нам урок.— Он обращался преимущественно к виргинцам.— Черные убивают белых. Рабы убивают хозяев. Говорю вам, если мы не сумеем постепенно уничтожить рабство, наших внуков и правнуков вырежут так же, как французов в Санто-Доминго.

Я вспоминаю эти слова сейчас, когда Нью-Йорк являет собой поле брани между аболиционистами и их врагами. Обе фракции прикрываются именем Джефферсона. О, если бы он сейчас оказался с нами и объяснился бы точней!

Сорок лет назад Джефферсон, мягко говоря, не был аболиционистом. События в Санто-Доминго возмущали и пугали его. Он говорил: «Нельзя попустительствовать анархии — даже во имя высокого идеала». Он молит господа, чтобы Франция как можно скорее восстановила порядок в Санто-Доминго, даже ценой восстановления рабства. Для Соединенных Штатов он видит лишь одно решение проблемы: «Надо вывезти наших черных в Вест-Индию и в Африку — ведь вернувшись в родные места, они будут так же свободны, как мы, и в то же время обогащены знаниями, почерпнутыми у нас».

Тут виргинцы вернулись в дом, а Джефферсон пошел показывать мне плуг собственного изобретения; при этом он с любовью рассказывал о своем внуке:

— Настоящий индеец, зимой бегает босиком. Приходится просто привязывать ему к ногам мокасины.

Джефферсон пустился в ученые рассуждения об индейцах:

— Думаю, у них те же корни, что у нас. Интеллект как будто

не уступает нашему, но, к сожалению, они в плену старых дурных обычаев и не хотят обрабатывать землю, предпочитая бесцельную жизнь охотников. Но если американская природа сделала из них то, чем они являются, не окажет ли она и на нас такое же воздействие?

— То есть мы станем охотниками? Покинем наши города...

— ...наши ф е р м ы.— Это слово было явно подчеркнуто.

Затем Джефферсон снова заговорил о резне в Санто-Доминго. Она не давала ему покоя. Кошмар каждого рабовладельца стал реальностью. Рабы могли захватить не только ту или иную плантацию, но и всю страну.

— Невероятно! Но как они будут управлять? Как будут существовать? Во-первых, негры — это не индейцы, это не мы. У них интеллект значительно уступает нашему. Конечно, хочется думать, что глупыми их сделали тяжелые условия. Но чем тогда объяснить высокий интеллект римских рабов, б е л ы х римских рабов? Условия жизни у них были не лучше, чем у наших негров, а посмотрите, чего они достигли! Да ведь раб Эпиктет был мудрейшим человеком своего времени! Нет, боюсь, не условия рабства, а природный дефект виной недостаточного интеллекта негров.— Джефферсон помахал хорошо одетому чернокожему, выехавшему верхом из леса нам навстречу.— Хотя в делах сердечных природа к неграм более чем щедра.

Чернокожий оказался знаменитым Юпитером, которому поручались дела, требующие особой смекалки, вроде получения денег с тех, кто покупал у Джефферсона гвозди.

Юпитер поздоровался, доложил о проведенной операции и ускакал.

— Примесь нашей крови меняет их,— сказал Джефферсон, прочитав мои мысли.

Юпитер был черен, как деготь.

Я показал на мальчугана, который карабкался по дереву, рискуя свалиться:

— Ваш внук ушибется.

Джефферсон покраснел до корней волос.

— Это деревенский мальчишка, из Хемингсов, наверное.

Странно было ходить по «Монтичелло» и всюду встречать живые копии Джефферсона и его тестя.

— Сейчас мы не можем их освободить.— Впервые я почувствовал некоторую неуверенность в голосе Джефферсона.— Как они будут жить? Кто будет о них заботиться? — Он вздохнул.— И тем не менее несправедливо, что одна половина населения попирает права другой.

— Вы когда-нибудь отпускаете своих рабов на волю?

Джефферсон кивнул:

— Я вот-вот лишусь прекрасного повара. Обещал отпустить его, как только он научит нового повара всему, чему научился, когда был со мной во Франции.

— Он непревзойден.

— Знаю. К сожалению, он нашел место в Филадельфии, и новый хозяин его у меня откупает.

Потом я узнал, что Джефферсон никого из своих рабов не освобождал просто так. Однако иногда он разрешал рабам, нашедшим работу, о т к у п и т ь с я — обычно деньгами, полученными в задаток от будущего хозяина. Сотня мужчин, женщин и детей, которыми владел Джефферсон в «Монтичелло», составляли его капитал. Без них он не смог бы обрабатывать землю или производить гвозди и кирпичи, строить и перестраивать дома, писать Декларацию независимости. Судя по всему, он был добрым хозяином. Правда, сегодня мне уже трудно поверить, что Джефферсон, которого так любят цитировать дема-

гоги-аболиционисты, и Джефферсон-рабовладелец, которого я видел в «Монтичелло»,— одно и то же лицо.

Джефферсон умел вовремя и «правильно» ответить на любой вопрос, касающийся морали. Но сам он редко отклонялся от оппортунистического курса, рассчитанного на то, чтобы обеспечить ему власть.

Позже я расскажу, как Джефферсон устроил надо мной суд по обвинению в государственной измене, сфабриковал доказательства угрожал свидетелям — ибо, говорил он, мы не победили бы в Революции, «если бы наши руки были скованы наручниками закона», и есть «крайние случаи, когда законы бессильны и когда спасение лишь в твердой власти диктатора или военно-полевом суде». Поразительно что Гамильтон считал меня «потенциальным Цезарем» именно тогда, когда Джефферсон уже стал Цезарем и правил нами.

Но все это было еще впереди. Сейчас, на вершине милого холма, мы были союзниками.

— Ко мне приезжал Мэдисон — с невестой, которую вы ему сосватали.

— Мое главное достижение на третьей сессии конгресса.

— Мэдисон словно заново родился и, говорит, готов век сидеть у домашнего очага.

— Ну, в таком случае нам придется плохо. Если его не будет в палате, а вас в правительстве...

— Зато Аарон Бэрр сможет защищать наши интересы в Филадельфии.

Наконец, мы перешли к политике:

— Вы, конечно, знаете, кому федералисты обязаны своей недавней победой в Нью-Йорке...

— Гамильтону! — выкрикнул он.

— И несостоятельности Клинтона,— заключил я.— И потому через год я покидаю сенат.

— Значит, нам конец в конгрессе.— Он изобразил отчаяние.

Я продолжал:

— Я думаю вернуться в ассамблею штата, где за два года, я уверен, добьюсь республиканского большинства.

— Вы считаете, что такое большинство возможно?— Он, сам того не замечая, сжимал и разжимал большие веснушчатые кулаки.

— Да. Дело в том, что скорее Клинтон проиграл Нью-Йорк, чем Гамильтон его выиграл.— Я помолчал и напрямик спросил:— Каковы ваши политические планы?

— Я в отставке, мой дорогой Бэрр. Посмотрите вокруг! У меня здесь хватит работы на оставшиеся мне десять — пятнадцать лет.— Он прожил еще тридцать.— Власть мне совершенно не нужна.— Не буду воспроизводить всем известную речь. Вашингтон, Джефферсон и Мэдисон произносили такие речи в разных вариантах на протяжении всей своей политической (а другой у них не было) жизни.

Когда речь об отставке окончилась, мы вернулись к сути дела.

— Четыре года назад,— сказал я,— я уступил в пользу Клинтона, получив заверение Виргинии, что в девяносто шестом году меня поддержат, если я выставлю свою кандидатуру в вице-президенты.

— Мне кажется,— Джефферсон подобрал в пыли старую подкову и стал ее с удивлением рассматривать, словно в жизни не видел подков,— что Адамс без труда станет преемником Вашингтона.

— Думаю, все же не без труда.— Мне были известны кое-какие факты, которых он не знал.— Я полагаю, что вы будете нашим кандидатом в президенты, а я — как мы договорились — кандидатом в вице-президенты.

Джефферсон попытался разогнуть подкову.

— Честно говоря, по мне, лучше бы Мэдисон... стал президентом,— добавил он поспешно.

— Но Мэдисон предпочитает, чтоб президентом стали вы.

Он зорко глянул на меня и убедился, что мы с Мэдисоном уже это обсуждали.

— Ну и что же. А я буду тверд.

— Значит, вы поддержите кандидатуру Мэдисона и мою.

Неразогнутая подкова упала на землю.

— Я сделаю все, что в моих силах, полковник Бэрр.— Голос у него прерывался от волнения. Он неловко пожал мне руку.

Я провел приятный вечер с ним и его соседями. Он играл на скрипке и против ожидания — не так уж плохо. На рассвете я уехал.

«Я сделаю все, что в моих силах, полковник Бэрр».

Да, Джефферсон сделал все, что мог — для себя! Он был кандидатом республиканцев на пост президента, а я, как договорились, кандидатом в вице-президенты. Коллегия выборщиков выбрала президентом Адамса семьюдесятью одним голосом. Джефферсона избрали вице-президентом шестьюдесятью восемью голосами (в те времена, если кандидат шел вторым по числу голосов, он автоматически становился вице-президентом).

Но когда я изучил, каким образом голосовал каждый штат, то увидел, что Теннесси отдал мне три голоса, Кентукки четыре, Северная Каролина шесть, Пенсильвания тринадцать, Мэриленд три, а виргинцы — мои добрые друзья и союзники — отдали мне один-единственный голос.

«Я сделаю все, что в моих силах, полковник Бэрр». Больше я уже не верил Джефферсону. Но так как мы были друг другу нужны, я притворился, что прощаю его.

Потом Мэдисон пытался объяснить мне поведение Джефферсона:

— Он считает вас слишком независимым политиком и личным соперником, а потому боится.

— Вас-то он не боится.

— Потому что я его часть, а не соперник.

— А я — соперник?

— Он д у м а е т, что вы соперник.

— Что же мне делать?

Мэдисон скривился. С таким человеком, мол, ничего не поделаешь. Я так и не узнаю — да и кто узнает?— что на самом деле думал Мэдисон о своем удивительном друге.

Воспоминания Аарона Бэрра (7)

Летом 1797 года я оказался замешанным вместе с Монро и Гамильтоном в одном сомнительном деле чести или, может быть, лучше сказать, деле сомнительной чести. Пять лет назад, когда Гамильтон создавал Банк и вообще формировал республику, Джефферсон заподозрил его в махинациях в казначействе. Джефферсон убедил Джона Бекли, секретаря палаты представителей, провести частное расследование дел своего врага.

Не знаю всех хитросплетений интриги. Но знаю, что некоего нечистоплотного спекулянта Джеймса Рейнольдса посадили в тюрьму за скупку по дешевке долговых обязательств, которые выдавались солдатам — участникам революции в счет жалованья. Он, очевидно, заранее знал, в какую сумму казначейство оценит эти обязательства, и сумел заработать большие деньги до того, как отправился в тюрьму.

По предложению Бекли, конгрессмен Муленберг и сенатор Джеймс Монро посетил Рейнольдса, и тот намекнул, что если его освободят, он сможет впутать в дело Гамильтона.

Затем расследователи нанесли визит миссис Рейнольдс, миловидной простолюдинке, и та, вдосталь поплакав, показала им различные записки к ее мужу, якобы от Гамильтона, написанные «особым шифром». Никаких вещественных доказательств обнаружить им не удалось. Я бы тут и прекратил поиски, и Муленберг, думаю, к этому склонялся, но Монро заупрямился. Джефферсон в свое время даже жаловался на честность Монро: «Наизнанку его выверни — и ни пятнышка не найдешь, ни пятнышка!» И он удивленно качал головой.

Монро, Муленберг и еще третий конгрессмен предстали перед всемогущим министром финансов и попросили объяснить его связь с Рейнольдсом.

— Виноват, конечно, был только этот маленький креол! — Даже сейчас я помню, как упоенно сверкнули холодные серые глаза Монро при мысли об унижении Гамильтона.— Он потерял дар речи. Нет, вы подумайте! Гамильтон потерял дар речи! Наконец он сказал, что примет нас у себя дома вечером того же дня и скажет нам — конфиденциально — всю правду.— Смех Монро, начисто лишенный веселости, пугал всех, кто его слышал.

В тот вечер Гамильтон с поразительной откровенностью рассказал, как полтора года назад миссис Рейнольдс пришла к нему домой и попросила помощи. И хотя он ее никогда раньше не видел, Гамильтона растрогал рассказ о жестоком муже, от которого она хотела избавиться. Гамильтон не остался равнодушным и к ее прелестям — всю жизнь его привлекали женщины из низов, включая мою собственную милую супругу Элизу Боуэн. Справедливости ради скажу, что меня всегда, или по крайней мере в молодости, привлекали женщины старше меня, а вот Джефферсон любил лишь хорошеньких замужних женщин, особенно жен своих друзей.

К удивлению и отвращению Монро, Гамильтон затем рассказал, как он отправился с деньгами в пансионат «Ин-Скип» и нырнул прямехонько в постель к миссис Рейнольдс.

— Говорю вам, Бэрр,— и Монро горестно покачал головой,— я ушам своим не верил! Рассказывал он это все в гостиной жены. На полу разбросаны детские игрушки... Потом Гамильтон показал расследователям безграмотные письма от миссис Рейнольдс. В одном письме говорилось, что муж все узнал и хочет сообщить президенту Вашингтону, конгрессу и миссис Гамильтон. Именно в такой последовательности. Министр финансов заплатил. Сначала шестьсот долларов. Потом еще четыреста. Так его доили почти целый год.

Конгрессмены, занимавшиеся расследованием, настолько смутились, что потребовали прекратить дознанье.

— Тогда я подготовил отчет, и мы условились не предавать его гласности. Гамильтон взял с нас клятву держать все в тайне.— Но, конечно же, Монро немедленно рассказал Джефферсону. Реакцию Джефферсона можно было предсказать заранее.— «Гамильтон насквозь испорчен,— сказал он мне потом.— Иначе зачем бы ему с такой готовностью признаваться в адюльтере? Он решил, что признавшись в худшем грехе, он отвлечет внимание от греха помельче, который положил бы конец его карьере».

Как только Адамс и федералисты пришли к власти, они освободили Бекли от обязанностей секретаря палаты. Снедаемый жаждой мщения, Бекли немедленно передал репортеру скандальной хроники Кэллендеру все свои записи о деле Рейнольдса — Гамильтона.

В июне 1797 года вся история об адюльтере Гамильтона появилась в виде анонимного памфлета. Написал его Кэллендер на основе записей Бекли, а оплатил Джефферсон.

Через несколько недель в моем нью-йоркском доме появился Монро. Теодосия уехала; в «Ричмонд-хилле» остались одни лишь голые стены, так как мебель пошла на оплату долгов; я пребывал в мрачном одиночестве.

Монро был страшно взволнован:

— Быть дуэли! Быть дуэли!

— Гамильтон вас вызвал?

Монро рухнул на стул. Алексис, не дожидаясь его просьбы, принес ему бренди. Он залпом выпил.

— Нет, он приезжал вчера ко мне. Когда я сказал, что никакого отношения не имею к этому памфлету, он обозвал меня лжецом.

— Господи! — Джентльмены не разговаривают так друг с другом, если только они не приготовились к смерти: таков был в те времена кодекс чести.

— Я прошу вас быть моим секундантом.— Монро снова налил себе бренди. Во время революции, в бытность свою адъютантом лорда Стерлинга он, естественно, научился пить. Но в отличие от благородного патрона он научился не пьянеть, ибо на адъютанте лежит обязанность укладывать генерала в постель и сажать его на другое утро в седло.— Я абсолютно уверен в вашей беспристрастности, чести и в дружеском расположении ко мне.

Я растрогался, совсем забыв про то, какую роль он сыграл, чтобы лишить меня пять лет назад вице-президентства.

— Что ж, я согласен. Однако мне кажется, дело можно разрешить, не прибегая к... Какое будет оружие?

— Пистолеты.— Легкий всхлип: Монро словно подавился.

— В одном я совершенно уверен: Гамильтон отнюдь не горит желанием стреляться, он не такой, как мы с вами.

Монро взглянул на меня с благодарностью. Это «мы с вами» ему польстило.

— Мне кажется,— продолжал я,— надо послать ему объяснение, которое он имел бы возможность принять...

— Я сказал все, что мог. Я даже вручил ему письменное заверение в том, что мы поверили ему на слово — без доказательств, признав, что он виновен в адюльтере, но не в спекуляции.

— Другими словами, вы просто-напросто обвинили его во лжи.

— Не во лжи. Я только напомнил ему, что мы никогда не просили у него доказательств. Мы просто прекратили расследование.

Я нашел выход. Написал проект обращения Монро к Гамильтону, где снова подтверждалась непричастность Монро к памфлету Кэллендера—Бекли (Джефферсона) и было прямо сказано, что когда джентльмен утверждает, что говорит правду, у другого джентльмена нет иного выбора, как ему поверить. Эту двойную аргументацию я хитро придумал.

— Насколько я знаю Гамильтона, он будет счастлив избежать дуэли.

— Вы так считаете? — Монро сомневался, он уже видел себя мертвым на Джерсийских холмах. Да и кто бы чувствовал себя иначе перед дуэлью?

Я условился с Гамильтоном встретиться в таверне капитана Арсона на Нассау-стрит. Этот славный «капитан» воевал со мной в Квебеке и был в таком восторге от нашей ратной молодости, что таверна почти всегда пустовала, ибо закаленные бойцы боялись его воспоминаний и обращались в бегство, лишь бы не слушать все снова и снова,

как он штурмовал Квебек бок о бок — по его словам — с Монтгомери и со мной. Но я-то действительно был в Квебеке и потому был избавлен от его воспоминаний и мог наслаждаться приятной таверной, не боясь, что мне будут надоедать.

Я приехал первый, устроился в тихом уголке, заказал испанского кларета, которым увлекался в те времена (пока не отведал настоящего).

Гамильтон приехал через несколько минут, как всегда подтянутый, немного располневший по сравнению с тем временем, когда был министром.

— Ужасное происшествие, мой дорогой Бэрр! Ужасное! — Он сел возле меня, тоже взял бокал с кларетом. Я заметил, что рука у него дрожит. Трудно сказать, кто больше нервничал, Монро или Гамильтон.— Вы знаете, как я не одобряю дуэлей!

— Не замечал. Помню, вы вызвали Чарльза Ли и потом командора Никольсона, а сейчас вызываете Джеймса Монро.

— Но что делать? Вы же видели клевету, которую написали обо мне ваши друзья-республиканцы.

Тогда я рассказал ему, как Монро клялся мне, что не нарушил обещания, данного Гамильтону.

— И вы ему верите?

— Безусловно.

— Тогда кто же виноват, что все это опубликовано?

— Понятия не имею.

— Масса Том? — У Гамильтона даже голос задрожал от неприязни к Джефферсону.

— Бесполезно строить догадки. Я, откровенно говоря, заинтересован лишь в одном — помешать дуэли между вами и Монро.

— Я в лицо назвал его лжецом.— В голосе Гамильтона вдруг прозвучало раскаяние, а ведь он-то всегда считал себя правым и посему разрешал себе говорить все, что заблагорассудится, не думая о том, что может кого-то оскорбить.

— Вы сделали глупость.

— Вы действительно не считаете его лжецом? — Гамильтон мгновенно увидел выход из западни, и я помог ему из нее выбраться. Я показал ему послание Монро. Он взглянул на него (Гамильтон удивительно быстро читал). Нахмурился. Улыбнулся. Грозу пронесло.— Я могу это принять.

— Мы обсудим все с вашим секундантом.

— Вы очень любезны, Бэрр.

— Знаю.

Гамильтон улыбнулся мне своей обворожительной мальчишеской улыбкой.

— Нельзя позволять, чтобы кто-то становился между нами.— В его словах звучала пусть минутная, но неподдельная приязнь.

— Но кому это нужно? — спросил я невинно.— Ведь оба мы уже не занимаемся политикой.

— Вы очень умны, Бэрр. Пойдемте. Проводите меня до таверны «Сити».

Вместе мы пошли по Нассау-стрит и, перейдя Пайн-стрит, вышли на Бродвей. Продвигались мы медленно, нам мешала толпа: многим хотелось поздороваться с лидером федералистской партии (хотя его влияние в партии ослабевало из-за враждебности президента Адамса), и многие проявляли интерес ко мне как к лидеру республиканских сил в штате (меня снова выбрали в ассамблею несколько месяцев назад). Будучи политическими соперниками, мы по-прежнему оставались практикующими адвокатами, и нам приходилось иметь друг с

другом дело в суде и за его стенами. Думаю, до какой-то степени мы даже сблизились в те дни.

Гамильтон попытался навести разговор на Джефферсона, но я не клюнул на эту удочку.

— Конечно, я подозревал Монро. Но раз он невиновен — а мы ведь согласились, что он невиновен,— добавил он поспешно,— тогда ответственность за все несет Джефферсон, и я знаю, почему он это сделал. А вы?

— Не уверен, что Джефферсон имеет к этому отношение.— Я осторожничал.

Гамильтон пустился во все тяжкие:

— Из-за миссис Уокер.

— А кто такая миссис Уокер?

— Естественно, жена мистера Уокера, бывшего друга Джефферсона.

Я вспомнил этого джентльмена. Его, чтобы заполнить вакансию, назначили сенатором от штата Виргиния.

— Мистер Уокер очень злился на Джефферсона за то, что тот не оставил его в сенате. Вы ведь знаете, политика для виргинцев дело чисто семейное. Как бы там ни было, мистер Уокер с тех пор невзлюбил Джефферсона и сейчас распространяет слухи, что Джефферсон пытался соблазнить его жену.

— Безуспешно?

— В таких делах всегда есть две версии. Одна из двух всегда одинакова — версия жены. В отсутствие мужа миссис Уокер неоднократно и добродетельно сопротивлялась масса Тому.

— А вы давно знаете эту историю? — Мы стояли перед церковью Святой Троицы.

— Уже несколько лет.

— А можете вы — или один из ваших газетчиков — использовать ее против Джефферсона?

Он снова помрачнел. Мы ушли с шумного Бродвея в тень церковного дворика. Тогда, как и сейчас, те, кому хотелось поговорить с глазу на глаз, прохаживались парами между могил.

— Я убежден, чтобы защититься, Джефферсон первым нанес мне удар — своеобразный tu quoque [1].

Мы остановились у церковной стены в тени листвы, и Гамильтон произнес очень странную фразу.

— Иногда я начинаю сомневаться,— сказал он,— для меня ли эта страна.

— Вы предпочли бы жить под английской короной? — Я с ним играл.

— Нет, конечно! Но здесь что-то не так. Я это во всем чувствую. А вы?

Я отрицательно покачал головой.

— Я чувствую, что все просто озабочены желанием найти свое место в жизни. Более энергичным удается устроиться лучше. Но жизнь здесь мало чем отличается от того, что происходит в Лондоне, или от того, что происходило в Риме во времена Цезаря.

— Нет, все не так просто, Бэрр.— Гамильтон покачал головой.— Но я-то всегда считал, что мы можем создать здесь нечто небывалое.

— Наша «небывалость» лишь в географическом положении.

— Нет, она духовная. Лишь в этом секрет величия.

Гамильтон снова тепло поблагодарил меня за добрую услугу, и мы

---

[1] И ты тоже *(лат.)*.

вместе вышли с кладбища, пройдя по тому месту, где он, семь лет спустя, лег благодаря мне.

В ответ на выпад Кэллендера Гамильтон опубликовал сенсационный памфлет, в котором поведал миру о своем адюльтере с миссис Рейнольдс и заявил о своей безупречности на официальном посту.

Когда Монро показал мне памфлет, я подумал, что его написал кто-то другой. Но Монро заверил меня, что автор — сам Гамильтон.

— Он покончил с политической карьерой,— выпалил я.

— Не торопитесь с выводами.— Монро был осторожен.

— Но его больше никогда не выберут.

— А зачем ему выборы? Он и так командует в кабинете Адамса.

— Но не самим Адамсом.

— А он ему и не нужен. Ведь Гамильтон пользуется поддержкой этого самодовольного старика из Виргинии.— Так Монро называл основателя виргинской династии.

Четыре или пять лет назад, переходя Уильям-стрит, я увидел дряхлого старика, садившегося в карету. Меня поразили напудренные волосы, шляпа с кокардой, черный бархатный камзол. Он выглядел совсем как Рип Ван Винкль — человек из другой эпохи. И вдруг я вздрогнул, узнав своего бывшего друга Джеймса Монро. Но первое, что бросилось мне в глаза,— необъяснимое сходство с его старым врагом Джорджем Вашингтоном. Я убежден, сходство это не случайно: последний представитель виргинской династии решил уподобиться первому, которого он не выносил и поносил,— без сомнения, он устроил этот элегантный маскарад, чувствуя свой близкий конец.

Через несколько месяцев Монро умер в доме у зятя. Как все мы — банкротом!

XIX

Полковник Бэрр решил не опротестовывать иска мадам.

— Это отнимет много времени, а мне надо беречь остатки разума.— Он сидел, окруженный бухгалтерскими книгами, вырезками из газет, пачками пожелтевших писем, перевязанных выцветшими шелковыми ленточками («Любовные послания»,— вдруг сказал мне мистер Крафт с пренеприятнейшей ухмылкой).

Изо дня в день я записываю рассказ полковника, а лента повествования разматывается теперь так быстро, что я натер себе пером огромную мозоль на среднем пальце правой руки.

Сегодня после обеда, прежде чем приступить к работе, Бэрр вдруг вспомнил о Гамильтоне:

— Где-то нам необходимо сказать, что Гамильтон оставался моим другом на протяжении следующих трех лет, пока я не стал вице-президентом. Мы даже вместе работали над созданием «Манхэттенской компании»...

— Гамильтон принимал в нем участие вместе с вами?— Это что-то новое.

— Да. «Манхэттенская компания» весьма почтенная организация. В те дни основным источником водоснабжения города был большой пруд, который потом зацвел. Большинство считало, что причина желтой лихорадки — плохая вода. После эпидемии девяносто восьмого года решили брать воду для города из реки Бронкс. Я стоял за учреждение частной компании. Другие считали, что оплату водопровода должен взять на себя город, но даже Гамильтон признавал, что без новых — ненавистных — налогов не обойтись, а он ведь в этом разбирался! Тогда я убедил федералистскую ассамблею принять мой зако-

нопроект, то есть учредить компанию, которой управлял бы весьма представительный совет директоров. По просьбе Гамильтона я даже сделал одним из директоров его шурина. Так мы дали городу питьевую воду.

Бэрр вдруг рассмеялся.

— По просьбе Джефферсона на его надгробии написано, что он основал Виргинский университет. Ну, а на моем пусть будет высечено, что Аарон Бэрр коснулся скал Манхэттена — и потекла вода. Пей, о Израиль, воду Ааронову! И ведь пьют по сей день.

Тут полковник налил себе стакан крепкого чаю, открыл бухгалтерскую книгу, сделал ряд пометок и впервые поведал свою версию того, что произошло, когда они с Джефферсоном получили равное число голосов на президентских выборах.

Воспоминания Аарона Бэрра (8)

Ко времени президентских выборов 1800 года всем, кроме Джона Адамса, стало ясно, что его не переизберут.

Падение Адамса — и наше восхождение — началось с законов об иностранцах. Они известны, и нет смысла говорить о них подробно; достаточно сказать, что, боясь войны с Францией, правительство Адамса провело через конгресс четыре законоположения: во-первых, президент получал право арестовывать иностранцев во время войны; во-вторых, закон разрешал при надобности их депортировать; в-третьих, срок постоянного жительства для получения гражданства увеличивался с пяти до четырнадцати лет; в-четвертых, был принят закон о подстрекательстве к мятежу: запрещалось публиковать «какую-либо клеветническую, скандальную и злобную литературу», направленную против правительства и его членов.

У меня был разговор с Гамильтоном в июле девяносто восьмого года, когда вышел закон о подстрекательстве. Он разыграл отчаяние:

— Я жизнь отдал, пытаясь укрепить жиденькую, никудышную ткань нашей конституции, а теперь этот дурак Адамс навязывает нам тиранию.

— Не волнуйтесь. У него не будет такой возможности. Он отдал правление нам.

— Я вовсе в этом не уверен.— Розовощекое лицо вдруг приняло ехидное выражение.— В конце концов, депортация иностранцев у нас только приветствуется.

— А как насчет ареста редакторов?

— Лично я их колесовал бы и четвертовал, и вы тоже. Но, может, нам и повезет.

Неделю спустя я понял, что́ он имел в виду. Вашингтон по просьбе президента принял командование армией. Гамильтона назначили заместителем командующего в ранге генерал-майора. Далее президент Адамс предложил присвоить мне звание бригадного генерала, но Вашингтон отклонил мою кандидатуру на том основании, что я друг Джефферсона и значит — скрытый демократ, который может попытаться свергнуть правительство!

Гамильтон намеревался спровоцировать войну с Францией. Тогда американская армия (с английским флотом) нападет не прямо на Францию, а на испанскую империю и при попустительстве Англии присоединит Латинскую Америку к Соединенным Штатам — план бредовый.

К счастью для республиканской партии, Адамса не интересовала война. К не меньшему счастью, Вашингтон умер в декабре 1799 года.

Тогда со стороны французской Директории последовали миролюбивые жесты, мечты генерал-майора Гамильтона о военных завоеваниях а-ля Бонапарт рухнули, и в нем окрепло желание наказать основную фигуру, препятствовавшую его планам,— Джона Адамса.

Вскоре после наступления нового 1800 года Джефферсон посетил меня в «Гостинице Франсиса» в Филадельфии, куда я приехал по его настоянию. Я снял небольшую угловую комнатку для нашей встречи, которая оказалась довольно продолжительной. Нам многое пришлось сказать друг другу, и не все из того, что мы говорили, было приятно.

Из главной гостиной доносился громкий говор конгрессменов, которые охотнее вели дебаты не в конгрессе, а в заведении Франсиса.

День был холодный, и вице-президент оделся соответственно. Рыжие волосы его выбивались из-под меха, веснушки особенно четко выступали на зимней бледности лица.

В ту пору Джефферсон был особенно занят. Взбешенный законами об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, он, скрывшись под псевдонимом, напал на них в печати и смело принялся отстаивать право любого штата аннулировать любой закон федерального правительства, если штат сочтет его неконституционным. Он блистательно и смело поставил вопрос о выходе любого штата из Союза. Я ужаснулся, Мэдисон тоже: он устало сказал мне, что Джефферсон в гневе не ведает, что творит.

Проявив верх неблагоразумия, законодатели в Кентукки приняли формулировку Джефферсона (не зная, кто ее автор), Виргиния же приняла гораздо более разумное предложение Мэдисона. Обе резолюции затем были представлены остальным штатам на утверждение. Их отвергли. Другие штаты не желали так поспешно расправляться с федеральным Союзом.

— Я попал в весьма деликатное положение. Ведь я служащий федерального правительства. И тем не менее я против тирании федеральной системы.— Джефферсон всегда умудрялся оказаться в положении двойного агента. Будучи государственным секретарем, он дал согласие на введение налога на виски; а потом принял сторону фермеров, восставших против налога. Будучи вице-президентом, он сейчас отстаивал раздробление Союза.

Я всегда убеждался, что, имея дело с Джефферсоном, нужно при каждой новой встрече все начинать сначала, чтобы установить — нет, не близость, а некоторую общность интересов. У меня есть от него несколько писем, посланных через короткие промежутки времени, в которых он каждый раз представал передо мной будто новым человеком. Он вечно ускользал, менялся, и так же уклончива была вся его политика. Отношения с ним не имели продолжения.

Черный слуга принес нам рому. Приход негра напомнил Джефферсону про законопроект, переданный на рассмотрение конгрессу — о частичном признании Туссена Лувертюра, черного правителя Санто-Доминго.

— Мы не сможем его признать. Никогда. Хотя бы из-за наших французских друзей.— Джефферсон разволновался. Надо было дать возможность братской республике (с девизом свободы, равенства и братства) подавить черных бунтовщиков. А до тех пор о признании нечего и думать, и вот еще, оказывается, почему:— Представляете себе, во что превратят наши южные порты эти бывшие рабы, поубивавшие своих хозяев?

Блистательный довод, ничего не скажешь!

Мы поговорили об аресте редактора Джеймса Кэллендера на основании закона о подстрекательстве.

— Безусловно, его выпустят,— весело заявил Джефферсон; он любил своего ставленника.

А в августе тот же Джефферсон сказал мне печально:

— Бедный Кэллендер ждет суда в Ричмондской тюрьме.

Однако вернемся к нашему зимнему свиданью в Филадельфии. Я сказал, что арест двадцати редакторов, возможно, поможет нам на предстоящих выборах.

— Вот только означают ли эти аресты всего лишь начало? — И Джефферсон бросил на меня взгляд гонимого пророка; я уже изучил этот взгляд и боялся его, ибо он предвещал громы и молнии против «ереси», «монократов», «катилин и цезарей».

— Вы про генерала Гамильтона?

— Именно. Он командует армией. Он и только он. Адамс слишком слаб, чтоб его сдерживать, Вашингтон умер. Гамильтон может захватить власть, когда ему заблагорассудится.

Я не стал слушать знакомую тираду, заклубившуюся по небольшой комнате «Гостиницы Франсиса».

Когда Джефферсон кончил, я заговорил о текущих делах.

— А как вы расцениваете собственное положение в Нью-Йорке?— спросил меня Джефферсон.

Гамильтон и федералисты разожгли патриотические чувства в нью-йоркской ассамблее, и большинство переметнулось к федералистам, а я потерял место.

— Думаю, первого мая меня снова выберут в ассамблею.

— Вы оптимист.— Джефферсон смотрел на вещи иначе.— Мне кажется, Нью-Йорк в руках федералистов, и я не надеюсь на ваших выборщиков.

— Все голоса выборщиков Нью-Йорка будут ваши.

Джефферсон знал, конечно, что на свете есть остроумие, ирония, юмор. Но моя манера выражаться всегда сбивала его с толку.

— Думаете, вы сможете обеспечить республиканское большинство?

— Совершенно верно.

— Разрешите узнать, каким образом?

— Извольте.— Я решил отыграться за все его коварство.— Но должен предупредить: хоть я и думаю, что мой штат будет голосовать за республиканцев, я вовсе не уверен, что вы будете нашим кандидатом. Так что будьте готовы к нападкам. Говорят, что вы якобинец и хотите уравнять общество, уничтожить богачей...

— Ну, этот слух на голосование не повлияет.

— Согласен. Еще вас будут обвинять в распутстве.

— Кто, Гамильтон? — Сколько презрения! — Любовник миссис Рейнольдс?

— Нет. Некий мистер Джон Уокер из Виргинии.

Бледное лицо вдруг залилось краской.

— Я привык к таким нападкам.— Он не подтвердил, но и не опроверг обвинения. Позже он признавался, что лишь раз, один-единственный раз согрешил, «предложив любовь» прекрасной даме — увы, жене старого друга. Тогда я ничего не знал про его интрижку во Франции с некой миссис Косвей, женой миниатюриста, который (конечно, весьма скромно) даже способствовал этой связи. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Но редко когда существенным.

Заставив Джефферсона обороняться, я стал закреплять собственные позиции — оговаривать, что хочу быть кандидатом от республиканцев на пост вице-президента.

— Мы уже говорили об этом, мистер Джефферсон, и я не хотел бы вас утомлять, но хочу надеяться, что Виргиния отдаст все голоса за меня, точно так же, как вы получите все голоса Нью-Йорка.

Джефферсон уставился на боковину франклиновской печки.

— Мне кажется, партийная игра унизительна для всех.

— Она никому не нравится, но вы сами разработали правила и должны им подчиняться.— Будто бы наш самый хитрый политик нуждался в моих советах! Он меня уже обыграл, а я и не подозревал об этом.

— Вы ставите мне условия, полковник Бэрр?— Наконец-то он посмотрел мне в глаза.

— Я возвращаюсь к прежней договоренности, мистер Джефферсон. И от вас жду того же.

— Я всегда стараюсь придерживаться всех договоренностей.— Он не отрывал глаз от моего лица. Как видно, решил преодолеть свое неумение сосредоточиться на чем-то одном и заставить меня отвести глаза. Это ему не удалось.

— Значит, вы поддержите мою кандидатуру на пост вице-президента?

— Но я не обладаю таким уж большим влиянием, полковник Бэрр.

— Ну, а то, которым обладаете, вы, конечно, любезно используете. Как и мой друг Мэдисон, на чье слово я совершенно полагаюсь.

Губы его сжались.

— Влияние не поддается измерению, сэр. Я не ответствен за чужую совесть.

— В таком случае, мистер Джефферсон, вам, как и мне, придется положиться на случай.— Я выложил последнюю карту.

— Вы будете против моей кандидатуры в президенты.— Помню, веснушки на пепельно-сером лице вдруг потемнели, словно чумные пятна.

— Я не хочу вам препятствовать. В конце концов, у меня еще есть время. Но если меня снова предадут...

Слово было произнесено. Ответ последовал мгновенно.

— Вы получите голоса Виргинии, полковник Бэрр.— Он отвел глаза от моего лица. Поединок был окончен. Началась война.

— А вы получите голоса штата Нью-Йорк и президентство,— в тон ему отвечал я.— Я же буду всего лишь вашим вице-президентом, то есть буду ждать, когда меня пригласят на ужин и я удостоюсь чести побеседовать с вами — самое большее, на что может рассчитывать вице-президент, вы это лучше меня знаете. К счастью, ваши речи я предпочитаю самой сладкой музыке.

Джефферсон воспринял мои слова совершенно серьезно, стал дружелюбен, доверчив, завлекая меня. Завлекая меня!

XX

Я пристрастился писать для «Ивнинг пост» под псевдонимом «Старожил» от лица эдакого консервативного, сердитого, строгого нью-йоркца. Мистер Брайант в восторге, Леггета это забавляет.

Забавляет «Старожил» и полковника.

— Ты очень мило управляешься с нашим трудным языком. Наверное, станешь юристом-литератором, как Верплэнк.

Полковник разложил на столе бумаги, которые ему нужны для работы, и начал диктовать мне очередную порцию своих воспоминаний.

Я вернулся в штат Нью-Йорк и застал Джорджа Клинтона в глубоком унынии. Он не любил Джефферсона, не желал принимать участия в выборах. Мне удалось его разубедить, я выразил надежду, что губернатора Джона Джея провалят, и добавил, что буду счастлив занять его место. Мысль о том, что я вдруг стану губернатором, вызвала у старика неожиданный прилив энергии. Он был готов на коленях умолять шестой округ — лишь бы я поскорее стал вице-президентом и убрался из штата.

Я создал себе «маленькую шайку»: братья Суортвут, Мэтт Дэвис, братья Ван Несс (незадолго до этого в юридическую контору Питера Ван Несса прибыл с севера штата молодой клерк по имени Мэтти Ван Бюрен), семья Прево и т. д. Через Дэвиса мне удалось заручиться поддержкой Общества св. Таммани.

Я подозревал, что Гамильтон выдвинет в законодательное собрание одних ничтожеств, и дождался, пока федералисты отзаседают. Увидев безвестные имена гамильтоновских кандидатов, я понял, что разобью его наголову, ибо намеревался выдвинуть в законодательное собрание от республиканцев самых известных людей в штате.

Сам я баллотировался по округу Орейндж, где друзья защищали мои интересы, а мне предоставили возможность действовать в городе.

Выборы проходили с 29 апреля по 1 мая. Мы с Гамильтоном несколько раз выступали с одних и тех же трибун. Соблюдая декорум, на публике мы отдавали друг другу должное и, не теряя времени, тут же наносили друг другу удары. За несколько недель до этого мы, демонстрируя безоблачность наших отношений, даже объединились для защиты человека, обвиненного в убийстве,— и добились его оправдания.

К вечеру 2 мая стало ясно, что республиканская партия одержала в городе полную победу и обеспечила нам большинство в законодательном собрании. Таким образом, все двенадцать выборщиков Нью-Йорка проголосуют за Джефферсона и Бэрра.

Примечательно, как отозвался на это Гамильтон. Он отправил «секретное» письмо губернатору Джею, призывая его немедленно собрать сессию действующего законодательного собрания (с федералистским большинством), чтобы изменить избирательный закон. Выборщики президента не должны-де избираться законодательными собраниями штатов — пусть их избирает народ. К чести Джея, он не откликнулся на этот призыв.

Любопытно, как Гамильтон (способный на любое беззаконие, вплоть до военного переворота) сумел прочно приклеить ко мне этикетку «потенциальный Цезарь». При всем своем честолюбии я никогда не помышлял отменить законные выборы или уничтожить конституцию.

В последний момент Гамильтон отдал нам президентские выборы точно так же, как, нелепо подобрав кандидатов, отдал нам выборы в штате. Как всегда, не сумев сдержаться, он излил свою ярость в памфлете (хорошо бы высечь перо у него на надгробии), обличавшем Джона Адамса, лидера его же партии. Более мудрые — и пуганые — федералисты уговорили Гамильтона не публиковать памфлет. Но они не сумели помешать ему отпечатать памфлет, и он ходил по рукам. К счастью, Элиза Боуэн добыла мне экземпляр, и я опубликовал его в газете республиканцев «Аврора». Президенту Адамсу все это не очень понравилось, а Гамильтон с тех пор винил меня (и бедную Элизу) в том, что сам же написал.

Потом я поехал по Новой Англии и Нью-Джерси, чтобы посмотреть, на какую поддержку можно рассчитывать. Джефферсон охотно отдал всю подготовку к выборам в мои руки. «Вы сделали,— писал он мне из Филадельфии,— то, что казалось мне невозможным (он имел в виду республиканское большинство в законодательном собрании Нью-Йорка), и я препоручаю все Вам — не удивлюсь, если Вы даже в Массачусетсе установите демократию, несмотря на церковников и все прочее».

Я не превратил Массачусетс в республиканский штат, но обласкал тех федералистов, которые не любили Гамильтона и ему не верили. Позже меня обвинили в том, что я заручился их поддержкой, чтобы пройти в президенты. Обвинение это было наполовину справедливо. Я всегда обхаживал федералистов ради достижения нашей главной цели. К тому же многие их лидеры верили мне, ибо не считали меня фанатиком, вроде Джефферсона, решившего принизить богачей и возвеличить бедняков.

Обвинение, которое впоследствии выдвинул против меня Джефферсон, будто я хотел лишить его президентства, вполне в духе бредней Гамильтона, видевшего во мне военного авантюриста. Джефферсон не держал слова, когда ему было не с руки, и меня мерил по своей мерке. Я же делал лишь то, о чем мы договорились в Филадельфии: добивался избрания Джефферсона и Бэрра.

Летом и осенью 1800 года я был занят как никогда. Мы все замучились — я, Джефферсон и бедный Джон Адамс. Я надеялся склонить Нью-Джерси на нашу сторону, но этот штат перешел на сторону федералистов, как и Коннектикут. Поздней осенью борьба перекинулась в Пенсильванию, и там царила полная неразбериха. Род-Айленд тяготел к нам, а Южная Каролина имела сомнительное счастье быть родным штатом оголтелых братьев Пинкни, причем один из них, благодаря Гамильтону, стал активным кандидатом в президенты.

Джефферсон был в отчаянии. Я как мог его подбадривал. «С одним Род-Айлендом Вам уже обеспечено большинство»,— писал я ему. Но его так же трудно было убедить в том, что он победит на выборах, как меня в том, что я могу положиться на виргинцев и их заверения. К счастью, у меня был союзник в лице Джеймса Мэдисона. Он убедил южан, что поддержать меня — дело их чести.

В начале декабря Пенсильвания избрала законодательное собрание, где республиканцы имели перевес над федералистами в один голос. Южная Каролина голосовала последней. Стало ясно, что Джефферсон будет президентом, но если Южная Каролина проголосует за своего Пинкни, вице-президентом станет он (или Адамс). К счастью, у меня было достаточно друзей и союзников в этом очаровательном штате. В результате выборщики из Южной Каролины отдали все свои голоса за Джефферсона и за меня. Мы победили на выборах с помощью бойкого пера Александра Гамильтона.

Я был в «Ричмонд-хилле», когда пришло сообщение о результатах голосования в Южной Каролине. «Маленькая шайка» пришла в восторг. А я — нет. Я почувствовал: тут что-то не так. Извинившись, я немедленно поднялся в кабинет, сел в кресло с томом Блэкстона на коленях (мой письменный стол продали) и начал подсчитывать голоса выборщиков по Соединенным Штатам в целом. Мои опасения оправдались: Джефферсон — 73. Бэрр — 73. Адамс — 65. Пинкни — 64. Джей — 1.

Мы с Джефферсоном сыграли вничью, и теперь палате представителей решать, кому быть президентом. Вторичная проверка цифр показала, что исход выборов предрешили выборщики от штата Нью-Йорк. Без Нью-Йорка у Джефферсона было бы на семь голосов мень-

ше, чем в девяносто шестом году, Адамс же без Нью-Йорка получил на девять голосов больше. Как бы ни обстояли дела в палате представителей, я победил в штате Нью-Йорк, и Нью-Йорк решил исход выборов.

Той ночью я спал особенно хорошо, а утром увидел, что улицы завалило снегом. Это напомнило мне дни революции, и я как будто помолодел.

Приблизительно тогда же Джефферсон написал мне одно из своих хитроумнейших писем. Поздравил меня с победой. Заметил, что пост вице-президента выше любого поста, который он мог бы мне предложить, и выразил глубокое сожаление, что «новое правительство будет лишено Вашей помощи. Пробел этот трудно восполним. Я хотел сплотить вокруг себя людей, чьи таланты, честность, имена и поведение сами по себе внушают доверие. Вас я теряю, в остальных не уверен».

Так изящно воздал мне должное человек, который потом утверждал, что никогда не доверял мне и сомневался в моей честности. Важна дата: письмо написано накануне голосования в Южной Каролине. Я убежден, что Джефферсон принял меры (или слышал, что принимаются меры), чтобы я проиграл вице-президентство Адамсу или Пинкни. Письмо должно было предвосхитить и смягчить мою злость посулом поста в кабинете. К счастью, у меня были сильные позиции в Южной Каролине, и я набрал не меньше голосов, чем Джефферсон.

Федералисты пришли в смятение. Иные склонялись поддержать меня на том основании, что при всех своих недостатках (а Гамильтон, как я позже узнал, счел возможным их описать во всех подробностях каждому мало-мальски влиятельному члену конгресса) я в отличие от Джефферсона — не фанатик. В худшем случае во мне подозревали бонапартистские устремления. Это, конечно, плохо. Но Джефферсона подозревали в робеспьеровских устремлениях, а это куда хуже.

Я принял срочные меры, чтобы меня не противопоставляли Джефферсону и не выдвигали в президенты. Существовала, конечно, опасность, что федералисты в конгрессе совсем сойдут с ума и, воспользовавшись двусмысленностью конституции, выберут президента pro tem [1], и тогда этот человек станет президентом вместо Джефферсона или меня.

Гамильтону, преуспевшему в уничтожении Адамса и расколе его партии, пришлось выбирать между Джефферсоном и мной, двумя людьми, которых он больше всего на свете презирал и опасался. Как ни странно, он предпочел мне Джефферсона. Как бы там ни было, хочу сказать раз и навсегда: я отказался бы от президентства по соображениям практическим (мне чужда виргинская спесь), ибо было ясно, что народ Соединенных Штатов хотел, чтобы президентом был Джефферсон, и, захватив его законное место, я лишился бы возможности править. Тогда мне было сорок пять лет, и я считал, что еще смогу занять этот высокий пост, как предыдущие вице-президенты; к тому же я заслуживал такой награды, принеся первую победу республиканской партии на национальных выборах. Я не предполагал, что, вновь захватив исполнительную власть, Виргиния еще четверть столетия не выпустит ее из рук.

В январе я поехал в Олбани и занял свое место в ассамблее, проводя дни в созерцании нью-йоркских каналов и рек, а вечерами наслаждался прелестями гостиничной жизни. Вряд ли такое поведение типичного для интригана.

---

[1] Временно *(лат.)*.

Как ни странно, моей единственной серьезной искусительницей оказалась Теодосия. За день до того, как обвенчаться с Джозефом Олстоном из Южной Каролины, она пришла ко мне — так я думал,— чтобы провести с отцом последний вечер перед тем, как расстаться с девичеством.

Я сидел с Джоном Суортвутом — его тоже выбрали в ассамблею. Мы просматривали последние газеты с Юга и длиннющую записку от одного из моих стойких поклонников в Вашингтоне, который хотел, чтобы я предложил свои услуги федералистам и стал президентом на следующих выборах. Мы со Суортвутом обсуждали это письмо, когда вошла Теодосия. Суортвут тотчас направился к двери.

— Нет, нет! Останьтесь! — Она положила руку ему на плечо.— Я все слышала из соседней комнаты.

— В таком случае, я плохо тебя воспитал.

— Напротив! Вы сделали меня мудрее, чем вы сами!

— Она завтра выходит замуж.— сказал я Суортвуту,— и немножко рехнулась от счастья. Это пройдет.

— Вовсе нет! — Тут я понял, что это не обычные ее капризы. Она повернулась к Суортвуту.— Он станет президентом. У него нет выбора.

Суортвута не меньше, чем меня, поразила ее страстность.

— Это невозможно,— возразил я.

— Нет, возможно, только бы вы захотели! Сегодня же напишите конгрессмену Бейярду, скажите ему все, что он хочет услышать. Он преподнесет вам Вермонт в первом же туре... Он обеспечит вам и Мэриленд.

— Что это ты вдруг заинтересовалась закулисной стороной политики?

— Потому что я заинтересована в вас и знаю — это ваш единственный шанс занять первое место, а не воспользуетесь — всю жизнь будете жалеть.

Я поразился этой совершенно несвойственной ей горячности.

— Дитя мое, я дал слово Джефферсону.

— Нарушьте его! Он станет вас только больше уважать, он должен уважать любой смелый шаг. Он предал вас четыре года назад и предаст снова. Уничтожьте его.

— Он нужен народу...

— Народу нужнее вы, лишь бы он узнал вас получше. Вы восхищаетесь Бонапартом. Подумайте о нем. Он не упустил случая, и теперь он первый человек в Европе, ну, а вы можете стать первым человеком в Америке, и да помилует нас бог, зачем вам быть вторым?

— Зря я давал тебе читать так много Плутарха.

Теодосия рассмеялась:

— Я поняла, что мудрый поступает так, как требуют обстоятельства.— Она указала на письмо моего поклонника из Мэриленда.

— Я не могу нарушить слово.

— Вот и будете всю жизнь жалеть, что не нарушили.— Моя дочь стояла перед жертвенным костром, как кумская сивилла, а я — глупец — считал, что она потеряла голову из-за приближающейся свадьбы.

— А теперь, я полагаю, ты выслушаешь речь отца о браке и о грубых потребностях самца.

Теодосия улыбнулась — сивилла исчезла, ее сменила моя прежняя веселая дочка:

— Старшая мисс де Пейстер уже мне все рассказала. В самый тяжкий момент надо громко молиться. И устыдить грубияна.

— Аминь,— прошептал я. И мы рассмеялись.

На другой день она обвенчалась. Я палец о палец не ударил, чтобы получить президентство. Я повел себя достойно и, как и предсказывала Теодосия, всю жизнь об этом жалел.

Одиннадцатого февраля 1801 года началось голосование. Делегация от каждого штата имела один голос. Если бы президента выбирали большинством голосов палаты представителей, меня выбрали бы, несмотря на все мои протесты: во время первого тура голосования я получил 55 голосов, а Джефферсон — 51 голос. Собственно, из шестнадцати штатов, входивших в Союз, за Джефферсона голосовали восемь (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Виргиния, Пенсильвания, Северная Каролина, Кентукки, Джорджия и Теннесси). Шесть штатов голосовали за меня (Массачусетс, Коннектикут, Южная Каролина, Род-Айленд, Нью-Гемпшир и Делавэр). Мы поровну поделили между собой Вермонт и Мэриленд. В первый день было проведено девятнадцать туров голосования, которые ничего не решили. Федералисты все как один, невзирая на советы Гамильтона, решили поддержать меня — меньшее из двух демократических зол.

На второй день голосования Джефферсон пометил у себя в дневнике: «Федералист Бейярд». Бейярд, единственный представитель от Делавэра, мог решить исход выборов. Впоследствии Бейярд любил повторять: «Мы вполне могли избрать Бэрра, но он не пожелал с нами сотрудничать». И так как я палец о палец не ударил, чтобы наклонить весы в свою сторону, после семидневного тупика победил Джефферсон.

Сам же Джефферсон, председательствуя в сенате рядом с недостроенным — господи, доколе? — Капитолием, несмотря на все уверения, что никогда не искал президентства, что он выше этого и прочее и прочее, прекрасно устраивал свои дела.

Джефферсон рассказал мне во время нашей первой неофициальной встречи после вступления в должность, что когда федералисты пригрозили с помощью конституции отклонить наши кандидатуры и выбрать президента из членов конгресса, он «предупредил мистера Адамса, что если его партия попытается сделать нечто подобное, срединные штаты восстанут и силой оружия утвердят волю народа». Я не знаю, что ответил Джон Адамс. Могу лишь догадываться. Как многие, не нюхавшие пороха, Джефферсон любил угрожать кровопролитием.

Джефферсон с гордостью сообщил мне, что Бейярд согласился поддержать его, если он не уволит кое-кого из федералистов с правительственной службы.

— Я сказал мистеру Бейярду, что не могу дать такое обещание ради того, чтобы занять пост, которого я вовсе не жажду. Мне этого не позволяет совесть. Генерал Смит обратился ко мне с такой же просьбой и получил такой же ответ.

Несколько лет спустя генерал Смит клялся, что Джефферсон согласился, что не следует увольнять правительственных чиновников по политическим соображениям. После этого заверения Бейярд отдал свой голос за Джефферсона, и тот, став президентом, уволил всех чиновников-федералистов, каких, не нарушая приличий, мог уволить, и оставил лишь тех, о ком просил Бейярд. Он всегда был верен себе.

XXI

Я показал последние страницы Леггету, и тот, как и следовало ожидать, ухватился за упоминание о Ван Бюрене.

— Надо бы развить эту тему! — Мы были у него в кабинете в «Ивнинг пост».

— Нет. Она ни к чему не приведет.

Вошел мистер Брайант и передал Леггету клочок бумаги.

— Завтра вице-президент выступит с речью о демократии.

— Я буду там, переодевшись мастеровым.

— В его честь сегодня прием в отеле «Американ». — Поклонившись, мистер Брайант исчез.

Леггет встал.

— Пора вам познакомиться с человеком, которого мы собираемся уничтожить.

Зала в отеле «Американ» кишела политиками. Все демократы, занимавшие мало-мальски официальные посты в городе, явились туда. Руководство Таммани тоже явилось.

Вот двери распахнулись, и тамманская чернь заорала: «Вице-президент!»

Мартин Ван Бюрен показался в дверном проеме.

На мгновение в зале воцарилась тишина, и элегантная, изящная фигурка медленно двинулась через расступающуюся толпу. Одет он был изысканно (Элен научила меня обращать внимание на такие вещи): темно-коричневый костюм с бархатным воротничком, густое кружевное жабо, сафьяновые сапожки, желтые лайковые перчатки в левой руке. Ван Бюрен поворачивался то в одну, то в другую сторону, пожимал руки, слегка улыбался, и у меня голова закружилась при мысли, что такому крошке дана такая власть.

При виде Леггета вице-президент улыбнулся еще шире.

— Мистер Леггет! — Маленькая рука стремительно протянулась, коснулась руки Леггета и отдернулась (обычная манера политических деятелей — иначе совсем расплющат руку). — Как поживает мистер Брайант? — Да Ван Бюрен картавит и говорит с легким акцентом.

— Очень хорошо. Аплодирует каждому вашему шагу, за исключением недавней поддержки рабства на Юге.

Вызов остался без ответа. Ван Бюрен повернулся ко мне. Леггет произнес мое имя. У меня закружилась голова, когда его ручка коснулась моей руки. Мы абсолютно одинакового роста. На миг он настолько ко мне приблизился, что я почувствовал запах кордовской кожи и дорогого нюхательного табака.

— Мистер Скайлер служит в адвокатской конторе Аарона Бэрра.

Ни в лице, ни в поведении вице-президента ничто не изменилось. Он просто вежливо поглядел на меня. Большие золотые глаза в точности как у Аарона Бэрра, но без той глубины.

— Как поживает полковник Бэрр?

— Ах, очень хорошо, сэр, — глупо затараторил я, — и он просил передать поклон, сэр, и еще говорил, как премного он...

Вдруг Ван Бюрен сказал мне что-то по-голландски. Длинное предложение, без всякой картавости. Затем, не поинтересовавшись, понял я его или нет, отошел, оставив меня в смущении, а Леггета в ярости: что толку в голландском происхождении, если ни черта не смыслишь в этом проклятом языке?

Позднее я описал (конечно же, кое-что опустив) эту сцену полковнику Бэрру и все гадал, что же сказал вице-президент.

— Вероятно, пожелал тебе счастья и успеха. Мэтти Ван хорошо воспитан. Немудрено: я столько времени на него потратил. А вот на тебя — маловато. — И все.

Сходство между ними разительное, особенно похоже они двигаются. Я бы сказал, величественно — другого слова не подберешь. Меня уже почти тяготит та роль, которую я должен буду играть в уничтожении Ван Бюрена.

— А теперь,— сказал полковник,— давай-ка посмотрим, каким был город Вашингтон весной тысяча восемьсот первого года.

Воспоминания Аарона Бэрра (10)

В начале марта Теодосия, ее муж и я прибыли в новую столицу, мало похожую на город и еще меньше на столицу. На возвышенности посреди дикой природы стояло здание сената. В нескольких ярдах от него находилось эллипсообразное здание, наспех построенное, чтобы приютить палату представителей, и прозванное несчастливыми обитателями «Духовкой». Два здания связывал крытый переход. Вот и весь Капитолий. Нынешний благородный купол был тогда лишь мечтой.

Несколько десятков домов поблизости от Капитолия составляли ядро города. В те времена стремились селиться в верхнем конце Эф-стрит, а если не пугало расстояние — в Джорджтауне.

В полутора милях от Капитолия уже почти отстроили здание казначейства и президентский особняк. От дома президента к Капитолию вела длинная коровья тропа, по обеим сторонам которой Джефферсон посадил потом несколько рядов жалких деревьев и всем, кому не лень слушать, рассказывал, как это напоминает парижские бульвары. На самом же деле Пенсильвания-авеню годилась больше для отстрела куропаток, гнездившихся в старом кустарнике, или для ловли окуней в маленькой речушке (под названием Тибр!), пересекавшей «авеню».

Первые несколько ночей мы провели в пансионе Конрада, неподалеку от Капитолия. Пансион был переполнен, и я спал в одной комнате с Теодосией и ее мужем. Джефферсон жил в роскошном одиночестве. Остальные номера были битком набиты конгрессменами — многим приходилось спать на полу.

Тот вечер мы приятно провели в столовой Конрада. Джефферсон куда-то удалился (обычно он сидел во главе стола, подальше от камина, всячески подчеркивая свой демократизм — куда девались кольцо с топазом, серебро, кружева?). Столом правила Теодосия, и я гордился ею как никогда.

В те времена было тридцать два сенатора и сто шесть членов палаты представителей, из которых меньше половины были республиканцы. В тот вечер у Конрада собрались почти все республиканцы. Произносились тосты, бутылки переходили из рук в руки, и казалось, что в мире зла победило добро.

Вскоре после полуночи я откланялся, оставил Теодосию с мужем править пиршеством и поднялся наверх. Дверь в гостиную Джефферсона была открыта. Он полулежал на софе и что-то читал секретарю. Оба испуганно посмотрели на меня. Секретарь хотел закрыть дверь. Джефферсон его остановил.

— Заходите, полковник.— Оба поднялись, когда я вошел.— В последний раз наслаждаюсь уютом в Вашингтоне.— Секретарь предложил мне сесть в кресло. Джефферсон растянулся на софе.— Я страшусь того дома.— Он сделал неопределенный жест в направлении президентского особняка.— Слишком большой. Неудобный. При нашей жизни его уже не достроят. И там нет конюшен.

Я сказал, что еще не видел дома изнутри.

— Вы должны приехать погостить. Составите мне компанию. Без жены совсем плохо.— Джефферсон повернулся к секретарю.— Когда уезжает мистер Адамс?

— По последним данным, он собирался выехать в полночь.

Джефферсон взглянул на каминные часы.

— Значит, уже выехал.— Он повернулся ко мне.— Мистер Адамс решил не присутствовать завтра на нашей инаугурации.

— Мне кажется, это очень... нелюбезно.— Сославшись на траур по поводу недавней (несколько месяцев назад) кончины одного из сыновей, Адамс решил не присутствовать на узурпации места, которое считал своим по праву.

— Я не хочу ссориться.— Джефферсон дотронулся до стопки бумаги — это оказалась речь, приготовленная для церемонии вступления в должность.— Замечательное произведение! — Джефферсон держал преданного секретаря. И редкостного урода.

— С удовольствием послушаю.

— Но я сам буду читать ее без всякого удовольствия.— Джефферсон действительно очень не любил выступать публично — зато рта не закрывал в неофициальной обстановке! Он с силой прихлопнул муху, севшую ему на руку.— Особенно перед моим недоброжелательным кузеном.— За несколько недель до этого Адамс назначил государственного секретаря Джона Маршалла на пост верховного судьи Соединенных Штатов. Маршалл питал глубокое недоверие к Джефферсону, а тот ненавидел кузена. В конце концов они столкнулись на процессе по обвинению меня в государственной измене.

— Я обратился к верховному судье с просьбой — смиренной и робкой — привести меня к присяге, и, к моему удивлению, он согласился. За такое примерное поведение мы теперь должны построить Верховному суду небольшое здание где-нибудь в городе.

Секретарь прыснул.

Наутро Теодосия с мужем и я отправились пешком из пансионата Конрада к Капитолию. В те дни население Вашингтона насчитывало три тысячи душ, если считать и жителей Джорджтауна. Все три тысячи были в то утро налицо и топтали кустарник вокруг Капитолия, дрожа от пронизывающего северного ветра.

Рота стрелков вытянулась по стойке «смирно», когда я появился у входа в Капитолий. Кто узнавал меня — аплодировал. В то время политических деятелей не так хорошо знали в лицо, как сейчас, и мы не часто показывались народу. Джефферсона знали по высокому росту и рыжим волосам; меня — по маленькому росту и темным волосам.

Я переступил порог зала заседаний сената и увидел весьма впечатляющий, благодаря дорическим колоннам и мрамору, интерьер, хотя новизна отделки немного резала глаз. На стенах полукруглой палаты висели не слишком похожие портреты Людовика XVI и Марии-Антуанетты, камины по обоим концам палаты обильно дымили, но мало грели. Под потолком помещалась обширная галерея, до отказа набитая зрителями. На помосте стояло три кресла. В центре сидел Джон Маршалл, ростом почти с Джефферсона, черноволосый, с непомерно маленькой головой.

Я стоял рядом с церемониймейстером, ожидая, когда установится тишина; затем направился по проходу к помосту. Когда я поднялся, верховный судья встал, приветствуя меня.

Наступило неловкое молчание. Надо ли произносить речь? Никто толком не знал. Мы выглядели глупо. Наконец верховный судья прошептал:

— Я думаю, лучше сначала привести к присяге президента.

Через несколько минут нестройный ружейный залп возвестил о прибытии новоизбранного президента.

Церемониймейстер распахнул двери, и под аплодисменты галереи Джефферсон вступил в палату. На нем был скромный темный костюм. Он очень нервничал: лицо горело; глаза бегали; он облизывал пересохшие губы. Когда он двинулся вдоль прохода, сжимая в руках рукопись речи, грянули артиллерийские залпы и прекратились, лишь когда он взошел на помост.

Я указал ему на центральное кресло. Сам сел в кресло справа. Снова мы замешкались. Джефферсон стоял, смущенно прижимая к груди листки.

— Пожалуй, начнем,— сказал я, и Джефферсон прочитал верховному судье и мне свою вступительную речь. Я говорю, прочитал нам, ибо больше никто в палате не услышал ни слова, даже Маршаллу и мне приходилось то и дело наклоняться в креслах, чтобы уловить мудрость, слетавшую с красноречивых уст.

Маршалл, видимо, испугался и обрадовался, когда Джефферсон заявил:

— Расхождения во мнениях — еще не расхождения в принципах. Мы лишь по-разному именуем поборников одной и той же идеи. Мы все республиканцы, мы все федералисты.

Я же был просто ошеломлен и подавлен его лицемерием: ведь Джефферсон поистине отравил политическую жизнь нации, клеймя именем монархиста всякого, кто стоял у него на пути. Правда, речь не была mea culpa [1], хотя и содержала скрытое признание прежних излишеств. И то хорошо: народ всегда доволен, когда вожди государства после избрания честно и искренне заявляют, что не собираются ничего менять.

Но вот Джефферсон сел под сдержанные аплодисменты конгресса, не услышавшего ни слова из его речи.

Верховный судья вышел вперед, и Джефферсон снова встал, уронив несколько страниц. Я их подобрал. Его привели к присяге. Вслед за ним я тоже присягнул в верности конституции Соединенных Штатов. Таким образом 4 марта 1801 года Томас Джефферсон стал третьим президентом, а Аарон Бэрр третьим вице-президентом двенадцатилетней американской республики.

XXII

Мистер Дэвис сегодня утром прислал мне записку, прося оказать ему честь и встретиться с ним в гостинице «Сити».

Когда я приехал, он сидел один в углу бара и тянул пиво из оловянной кружки.

— Как полковник?

— Чудесно.— Полковник, и правда, последнее время был в хорошей форме.— По крайней мере, когда я его видел два дня назад. Он в Джерси-сити.

— Сегодня-то он там.— Мистер Дэвис принял свой обычный заговорщический вид.— А вот вчера он был в городе. В этой самой гостинице. В половине шестого. Наверху. В особой комнате для встреч.

Мистер Дэвис любит тайны. Я — нет.

— Разумеется,— отрезал я.

---

[1] Покаянием *(лат.)*.

— Вам, наверно, небезынтересно узнать, с кем он встречался наверху?

— Возможно.

— Он был с мистером Ван Бюреном более сорока минут. Наедине.

— Они старые друзья.— Нет, я не дам мистеру Дэвису удивить меня. Я переменил тему разговора и сам удивил его.

— Мне интересно другое: что произошло между президентом Джефферсоном и полковником Бэрром после церемонии вступления в должность?

— Что произошло? — Мистер Дэвис вытянул губы трубочкой; вид у него был озадаченный: лгать или нет? — Ну, полковник Бэрр попросил всего три должности. Получил две. Я должен был получить третью. За работу во время избирательной кампании меня хотели назначить таможенным инспектором Нью-Йорка. Но поста этого я не получил, как не получили своего поста и другие друзья Бэрра. Джефферсон отказал бэрритам и заключил союз со старым губернатором Клинтоном и его племянником молодым Де Виттом Клинтоном.

Я спросил мистера Дэвиса, почему Джефферсон хотел уничтожить полковника Бэрра. Вопрос простой, и я уже много раз его задавал. К сожалению, я так и не получил на него исчерпывающего ответа.

Мистер Дэвис вздохнул.

— Это же очевидно. Когда Бэрр набрал равное с Джефферсоном количество голосов и никак этого не использовал, для Джефферсона это решило все. Такие, как Джефферсон, никогда не прощают сопернику, если тот ведет себя благородно. К тому же Джефферсон уже давно задумал — для блага народа, естественно,— выдвинуть другого виргинца после окончания второго срока своего президентства. В отличие от полковника Бэрра, он не имел друзей. А только слуг, вроде Мэдисона или Монро.

— Но он вознаграждал их.

— Мэдисон и Монро продлили правление Джефферсона на шестнадцать лет. Дружба тут ни при чем. Джефферсон оставался хозяином в республике.

По-моему, он сильно преувеличил. Ведь умер Джефферсон в бедности, да и влияния под конец, кажется, никакого не имел.

К нам подсел невозмутимый молодой человек с громадными бакенбардами, спускающимися на подбородок, и лысой головой.

— Вот и Реджинальд Гауэр.— Сказано было так, будто я обязан знать этого человека. Я не знал. Но скоро разобрался, что к чему. Гауэр — печатник. Владеет книжной лавкой. Хочет опубликовать мой памфлет про то, кто отец Мартина Ван Бюрена.— И что еще важнее, мистер Скайлер, про политическое влияние полковника Бэрра на вице-президента. Вчерашняя встреча весьма показательна.

— Леггет хочет убрать Ван Бюрена, потому что тот недостаточно радикален. Мы хотим его убрать, потому что он слишком радикален. Леггет хочет, чтобы президентом стал Джонсон. Мы хотим Клея. Вы, Чарли, мальчик мой, можете угодить нам обоим. Такое редко бывает!— Увеличенные очками глаза мистера Дэвиса смотрели на меня, добродушно помаргивая.

Я хотел было спросить, откуда он узнал про нашу договоренность с Леггетом, но решил, что это ему слишком польстит.

Мистер Гауэр повернулся ко мне.

— Насколько я понимаю, вы уже начали. Хочу, чтобы вы знали, мистер Скайлер, что я готов дать вам аванс в пятьсот долларов сейчас же, а остальные пятьсот, если вы закончите к сентябрю.

Я не был готов к подобному искушению. Я никогда еще не держал в руках больше ста долларов. Я молчал. И не мог придумать, что ответить.

Гауэр не заставил себя ждать:

— Естественно, вы получите еще и гонорар...

— В зависимости от тиража.— Мистер Дэвис пытался сэкономить Гауэру деньги, но я тоже не зевал, и мы пришли к соглашению.

В баре гостиницы «Сити» я сообразил, что могу теперь качать деньги с моего счета в 500 долларов в Манхэттенском банке (изобретение полковника Бэрра, чье же еще?). Я богат.

Я тут же направился на Томас-стрит. Миссис Таунсенд встретила меня в гостиной, где высилась большая позолоченная статуя толстого голого мужчины.

— Это Будда... Давненько мы вас не видели. Элен по вас сохнет.

— Я интервьюировал мистера Ван Бюрена.

Глупо, но я не смог сдержаться. Миссис Таунсенд кивнула, по всей видимости довольная, что я не ограбил банк и не возглавил бунт.

— Как же, помню, помню, милый молодой человек, живет по-доброму, зла никому не сделал.

Она незаметно улыбнулась Будде. Похоже, они понимают друг друга.

— Он был вчера с полковником Бэрром.

— Вот как? — Миссис Таунсенд зажгла сандаловую палочку и поставила ее перед статуей. Пряный дым, извиваясь, потянулся к потолку.— Полковник Бэрр добрый друг молодого человека.

— Он сын полковника?

Миссис Таунсенд приложила длинный палец к тонким губам и повернулась к Будде. Надо быть осмотрительной, не то бог рассердится.

— Слышала я эти сплетни в Киндерхуке, но и внимания не обратила. Ведь я знала матушку Ван Бюрена. Совсем простая женщина. И намного старше полковника.

— А вы знали первую жену полковника?

— О да. Часто видела на рынке. Всегда с двумя неграми в ливреях. Элегантная дама.

— Тоже из простых и намного старше полковника?

— Да, кажется.— Миссис Таунсенд задумчиво посмотрела на меня.— Понимаю.

Уж если миссис Таунсенд в чем и разбирается (кроме разных ликов бога), так это в интимных странностях мужчин.

— А кто может знать правду?

— Это важно?

— По-моему, да. Я не для публикации спрашиваю. Просто надо разгадать тайну близости Бэрра и Ван Бюрена.

Миссис Таунсенд кивнула:

— Аарон Колумб Бэрр как-то мне рассказывал, что ездил по Гудзону с мистером Ван Бюреном и полковником. Говорил, что мистер Ван Бюрен наиприятнейший человек.

Я спросил ее, где найти молодого ювелира. Она сказала. Я чуть не забыл про Элен — так мне хотелось поскорей заработать себе свободу. Но не мог же я огорчить миссис Таунсенд, не говоря уже о собственном удовольствии.

У Элен было плохое настроение, и оно еще ухудшилось, когда я предложил ей покинуть Томас-стрит.

— Но куда же я денусь? Буду стоять у Пяти углов?

— Я найду тебе комнату.

— А что, интересно, я буду целый день делать в твоей комнате? —

Она вдруг рассвирепела; лицо побледнело, глаза горели, как в лихорадке.

— Что хочешь. Работай. Зарабатывай деньги.

— Чем? — Она указала на умывальник и кувшин с холодной водой.

— Чем угодно.— Она упрямилась, а я все больше волновался.— Я думал, ты хочешь работать, шить платья.

— А ты что будешь делать?

— Тебя навещать.

— Ты сейчас тоже меня навещаешь, и это дешевле обходится, чем каждую неделю платить за комнату и еду, уж я-то знаю.

Мы решили, что она подумает. Я с ума сошел, сам знаю, но я никогда еще не был так свободен, так богат!

XXIII

Аарон Колумб Бэрр так же высок ростом, как полковник мал, но он такой же темноволосый и необычайно красивый. И хотя не очень похож на полковника, у него те же утонченные манеры, которые лишь подчеркивает сильный французский акцент.

Пока мы говорим в маленькой тесной мастерской, он чеканит лист серебра на деревянной форме. Молоточек мелькает с такой быстротой, что рябит в глазах — словно бьются крылышки колибри.

Я представился как друг миссис Таунсенд. Густые темные брови взметнулись вверх. Сверкнули белые зубы.

— Значит, у нас с вами есть кое-что общее.

Я вдосталь поломал голову, за кого бы себя выдать, ибо не мог назваться ни журналистом, ни политиком, не портя игры, и я не мог признаться, что знаю полковника Бэрра, тут я бы вдвойне себя разоблачил. Ну, а раз я клиент миссис Таунсенд — значит, мы просто принадлежим к одному клубу и у нас общая тайна.

— Я через месяц женюсь, мистер Бэрр, на девушке из Коннектикута.— Полуправда всегда звучит правдивее правды. Я сказал, что хотел бы узнать цену на серебро — старое и новое: мой будущий тесть щедр.

Француз Бэрр был сама услужливость; полчаса показывал мне свою мастерскую, а следующие полчаса расспрашивал про миссис Таунсенд.

Я пригласил его в бар неподалеку. Он крикнул что-то своей жене в верхних комнатах. Затем запер мастерскую, мы пересекли оживленную Бауэри и вошли в маленькое французское кафе с вывеской у входа, на которой было написано «Кафе Лафайет».

Французы за круглыми мраморными столиками играли в шахматы и домино и вспоминали родной дом — где-нибудь на островах Вест-Индии. Экзотическая публика.

Хозяин обнял Колумба и проводил нас к угловому столику, где нам подали хлеб и сыр и простое красное вино,— все это заказал Колумб (как я называл его по его просьбе), притом на беглом французском. Я деликатно намекнул, что он, видимо, француз, несмотря на английскую фамилию.

— Это фамилия отца. Видите ли, он американец. Адвокат. Очень старый. Очень известный. Моя мать — француженка. Они поженились в Париже. Она любит Париж. Он любит Нью-Йорк.

— Бэрр? Я, кажется, слышал.— Я нахмурился.

Но от Колумба было мало проку.

— Он старый, старый человек. Моя мать была очень молодая, когда они женились.— Колумбу хотелось поговорить о девицах, так мы и сделали, и я все подливал ему красного вина, а он все пил. От девиц и миссис Таунсенд мы, естественно, перешли к религии, от религии почти естественно — к политике.

Да, он знаком с мистером Ван Бюреном.

— Я знаком с ним на корабле, который шел в Олбани,— о, когда я только здесь приехать — может быть, десять лет назад.— На самом деле это было шесть лет назад. Я вычислил, что это было в мае или в июне 1828 года. Колумб сопровождал полковника Бэрра и сенатора Ван Бюрена из Нью-Йорка в Олбани.

Я изо всех сил старался выведать, известно ли Колумбу, кто настоящий отец Ван Бюрена, но нет, он ничего не знал, или он более скрытный, чем кажется.

Кое-что я все же уточнил. За несколько месяцев до поездки по реке Ван Бюрен произнес в сенате речь о сохранении половины жалованья всем оставшимся в живых офицерам Революции.

— «Лучшей речи я никогда для вас не писал, Мэтти»,— говорил полковник. «Но еще напишете»,— говорил мистер Ван Бюрен.

XXIV

Я пересказал этот разговор Леггету, и тот пришел в восторг.

— Для начала более чем достаточно.

Я рассказал ему о встрече с Гауэром, но не упомянул о гонораре, который должен получить. Леггет задумался.

— Лучше быть поосторожней с Мэттом Дэвисом.

— У него с тобой общие цели.

— Возможно.— Леггет удивленно покачал головой.— Я понятия не имел, что Ван Бюрен с Бэрром так близки и совсем недавно занимались совместной юридической практикой — а когда?

— Шесть лет назад. И вчера сорок минут беседовали в гостинице «Сити».

— Остается только догадываться, о чем.

— Может, нам написать, что они обсуждали вопрос восстановления рабства в штате Нью-Йорк? — Меня уже раздражает мое задание.— Но только — зачем лгать? Особенно о человеке, которым восхищаешься.

— Бэрром ты восхищаешься? Или Ван Бюреном?

— Угадай! — Я почувствовал неприязнь к Леггету, да и сам себе стал просто противен.

— Ты не повредишь своему другу полковнику. Он привык к клевете. К тому же, если ты будешь исправно выполнять поручение, он ничего не заподозрит. Исправно выполняй поручение, и мы водворим Джонсона в Белый дом.

— Заманчивая перспектива. А тебе-то что за выгода? Станешь инспектором порта или послом в Англии?

— Добродетель, Чарли! Я буду добродетельным, и это положит начало новому миру без рабства, без...— И он произнес небольшую речь.

XXV

Итак, мы подходим к вице-президентству полковника. Я снабжен карандашом, блокнотом — и мозолем на указательном пальце. Я слишком сильно сжимаю карандаш. Настоящий профессионал держит его легко, жалеет себя.

— Как мистер Ван Бюрен? — Я осмелел. Так или иначе, пора кончать с этим делом.

Бэрр заморгал; сжал зубами сигару; вдохнул дым.

— Я же говорил Мэтти, что место чересчур на виду, а у него времени не было куда-то еще ехать. Но до чего умен! Я не перестаю восхищаться, с какой ловкостью он всего добивается. Умей он еще и писать, знай грамматику, избавься от нелепого голландского акцента — о, тогда бы! Твой друг Леггет будет его поддерживать, верно?

— Как вам сказать? Он считает позицию мистера Ван Бюрена в вопросе о рабстве недостаточно сильной.

— В день выборов Мэтти будет безупречен и в этом вопросе.— Бэрр положил ноги на каминную решетку.— Мэтти бесстыдно мне льстит. Просит у меня юридических советов. Представь себе!

Вот и все, что я выведал о разговоре в гостинице «Сити». Надо, наверное, присочинить что-то зловещее? Должен сказать, мне не очень-то нравится этот жанр — политического памфлета. Ну да ладно, зато я разбогател, и Элен Джьюет будет жить в доме за Вашингтонским рынком.

Вчера вечером она дала согласие. «Конечно, ненадолго, но миссис Таунсенд лучше не посвящать. Я ей сказала, что жду ребенка и оставлю его тетке, которая хочет ребенка — вот странная тетка! — а миссис Таунсенд вроде поверила; говорит, возьмет меня обратно, когда я «поправлюсь» — именно так она и сказала».

Воспоминания Аарона Бэрра (11)

Через шесть месяцев после нашего вступления в должность Джефферсон объединился с семьей Клинтонов, дабы удалить меня с политической арены не только общенациональной, но — что еще хуже — и штата Нью-Йорк.

Молодой Де Витт Клинтон оказался страшным противником. Умный, злющий, пьяница — он ни перед чем не останавливался, лишь бы достигнуть цели. Во-первых, он восстановил своего дядюшку в должности губернатора. Затем, холодно, с помощью ряда поправок к конституции штата, лишил губернатора всякой власти и передал ее совету, своему детищу. «Мальчишка очень умен, полковник. Очень умен.— Рот у губернатора Клинтона задергался; густые кустистые брови изогнулись дугой над маленькими глазками.— Когда он начинает задираться, он пугает меня до полусмерти».

Клинтон действительно не зря был в ужасе от племянника. За несколько месяцев племянничек полностью завладел штатом, устранив всех до единого федералистов с официальных постов. В общем и целом он дал тепленькие местечки шести тысячам человек, в том числе место и себе в сенате Соединенных Штатов. Я не припомню более ловкой победы, чем захват Нью-Йорка Де Виттом Клинтоном. Вряд ли ему бы такое удалось, если бы меня не убрали с дороги с помощью вице-президентства. Но дело не в этом. В тридцать три года Де Витт Клинтон стал полновластным хозяином республиканской партии в штате Нью-Йорк.

Не могу сказать, что вспоминаю тот период с особым удовольствием. Я сидел в долгах. Безуспешно пытался продать «Ричмонд-хилл». Теодосия скучала где-то на краю света, в Южной Каролине. Вашингтон был унылой деревней посреди пустыни, и, как ни старались Мэдисоны создать салон, скованность царила в нашей наспех сооруженной по прихоти Джефферсона столице.

Как-то, в один из мартовских дней 1802 года, я зашел в книжную лавку Джона Марша на Эм-стрит и вдруг услышал знакомый голос. Просили какую-то книгу. Я обернулся и увидел, как Гамильтон перелистывает стопку английских газет, без сомнения, с одного взгляда запоминает целые страницы.

Я подошел, он поднял глаза, вздрогнул. Низко поклонился.

— Сам вице-президент. И во плоти!

— Что до последней, так ее даже чересчур много...

— Ну, а первого — мало?— Как всегда он не лез за словом в карман. Он тоже стал более грузным, чем в былые годы. Все мы потучнели. Помню, в те времена в Вашингтоне мы только и делали, что ели да пили.

Гамильтон приехал в город по судебным делам.

— Иначе зачем бы? Счастливец, вы уже вне этого!

— Знай я, в какой бедности окажусь, я предпочел бы прежние занятия.

Мистер Марш принес Гамильтону нужный роман.

— Ну как, вы довольны? — Гамильтон был сама любезность.

— Более или менее. Я строг со своей паствой. Запретил есть пирожные в зале сената. У нас и так крысы и мыши бегают на каждом заседании. Следующий запрет наложу на яблоки.

— Какой чинный вице-президент!

— Очевидно, я нашел свое место в жизни. Чинность — вот и все, чего требует мое положение.

Гамильтон пригласил меня в «Таверну Союза» на Эм-стрит.

Дрожа от холодного ветра, мы быстро зашагали по грязной улице Джорджтауна. Это была настоящая улица, не то что коровьи тропы и безымянные перелески соседнего Вашингтона — «весьма обширной столицы», по словам одного тактичного посланника.

Гамильтон, как всегда, пытался прощупать меня насчет Джефферсона, и, как всегда, я не прощупывался. Я только пересказал пустую сплетню.

— Крыша в особняке протекает. Стены еще не оштукатурены. И мистер Адамс забыл построить лестницу, так что президент карабкается по стремянке, отправляясь спать.

— Вы часто там бываете?

— Дважды в месяц мы обедаем и решаем все дела земные.

Гамильтон нахмурился, подумал, не лгу ли я. Но я не лгал. Джефферсон очень хотел, чтобы мы сохраняли — на людях — видимость дружбы.

Хозяин «Таверны Союза» поставил два удобных кресла на каменном полу около камина. Рабы развели огонь, принесли вино.

Впервые после выборов я был наедине с Гамильтоном. До 1800 года я всегда считал его дружелюбным соперником. Теперь я убедился, что ошибался. Мне в руки попали его письма обо мне. Видимо, любую свою мысль, каприз, фантазию рано или поздно он предавал бумаге. Мне бы его возненавидеть, но нет. В моем характере есть какой-то изъян: я совершенно безразличен к клевете — не оттого ли на меня вечно клеветали? Конечно же, это мое безразличие всех подхлестывало.

Подняв бокал, я со значеньем повторил тост, который произнес, когда федералисты праздновали день рождения Вашингтона:

— За союз всех честных людей!

Гамильтон нахмурился; не стал пить.

— Ваше присутствие на нашем обеде не прошло... даром.

— Я лишь сформулировал цели правительства.

— Другие расценили это как просьбу федералистов о помощи.

— Помощи? — Я и бровью не повел, словно никогда в жизни не видел газеты Гамильтона «Ивнинг пост» (у которой теперь такой прекрасный редактор) и не читал его последних нападок на Джефферсона, на меня, на всех республиканцев.

— Президента, наверно, встревожило ваше появление в стане врагов.

— Но я был там как гость, как нейтральный председатель сената.

— Нейтральный! — Гамильтон выпил вино. Налил второй бокал и быстро осушил. Я заметил, как он скверно выглядит. Обычно румяное лицо странно лоснилось, а маленькое тело будто вспухло, так что медные пуговицы на жилете грозили вот-вот отлететь; одна уже почти оторвалась и болталась как маятник на тонкой нитке. Для него тоже настали плохие времена — и в личной жизни и в политике.

Я сказал то, что положено было сказать:

— Меня очень огорчила смерть вашего сына Филипа.

Гамильтон провел рукой по лицу, словно хотел его изменить, сделать другим. Но каким? Оно не стало печальнее, чем прежде.

— Политические раздоры... — начал было он и осекся.

Филип Гамильтон бросил вызов одному из моих друзей в нью-йоркском театре. Последовала дуэль, и мой друг застрелил на дуэли молодого Гамильтона, а сестра его Анджелика сошла с ума. Девушка дружила с моей Теодосией — как тесен мир!

— Неужто вам никогда не надоедают политические раздоры? — не удержался я от вопроса.

— Но они мне давно надоели! — Ответ мгновенный и неискренний.— Я приобрел ферму милях в восьми от Баулинг-Грина. Для разочарованного политика нет ничего лучше, чем выращивать капусту. И я не променяю свою капусту на целое королевство. Я как Домициан[1].

— Диоклетиан[2]. — Боюсь, Гамильтон лишь просмотрел Гиббона[3], а я сдуру прочитал его от доски до доски.

— Какая ученость!.. Вы помните то лето в Филадельфии, когда разразилась желтая лихорадка и я чуть не умер?

— Очень хорошо помню. — Я будто увидел воочию ярко-красные губы доктора Хатчинсона, налитые кровью глаза, неверную походку, вспомнил, как его рвало у моей кареты.

— Незадолго до моей болезни мы с президентом обсуждали, как лучше вывести Джефферсона из кабинета...

— Вашингтон хотел, чтобы он ушел? — Я этого не знал.

— Еще бы. Но тайно. Наша стратегия заключалась в том, чтобы Вашингтон всегда казался стоящим над схваткой, делал вид, будто приемлет крайности двух своих министров. На самом же деле Вашингтон рьяно отстаивал интересы одной стороны.

Затем Гамильтон похвалил меня за участие в обсуждении законопроекта о судебной реформе. Республиканцы хотели отменить закон о национальном судебном кодексе, чтобы затем сместить судей-федералистов, которых Джон Адамс назначил в последний день своего правления. Хотя я считал абсурдным мнение федералистов, будто конгресс не может отменить прежнее решение, мне казалось, мягко говоря, безнравственным увольнять два десятка судей только потому, что в конгресс пришло новое враждебное большинство.

При голосовании законопроекта в сенате мнения разделились поровну: пятнадцать республиканцев против пятнадцати федералистов.

---

[1] Римский император (51—96 гг. н. э.), известный своей жестокостью.

[2] Римский император (245—313 гг. н. э.), прославившийся военными походами и умелым правлением.

[3] Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор знаменитой работы «История упадка и разрушения Римской империи».

В качестве вице-президента я решил эту «ничью» вроде бы в пользу республиканцев. Я хотел, чтобы законопроект поставили на голосование, так как мы с моим другом Джонатаном Дейтоном (сенатором от Нью-Джерси) считали, что этот вопрос надо передать на рассмотрение представительного комитета, который займется пересмотром всей правовой системы. Я добивался компромисса. Когда предложение Дейтона поставили на голосование в сенате, голоса снова разделились поровну, и на этот раз я принял решение, по мнению многих, в пользу федералистов. Я направил законопроект в комитет для дальнейшего рассмотрения.

— Не представляю себе, чтобы Джефферсон мог вас когда-нибудь простить.

У Гамильтона слегка заплетался язык. Обычно он не пил много, и все же иногда вино ударяло ему в голову быстрее, чем остальным. Верно, он был слабее, чем мы думали. Я часто убеждался, что тот, кто «выздоровел» после желтой лихорадки, отнюдь не здоров.

Я почувствовал облегчение, услышав позади знакомое постукивание деревянной ноги сенатора Морриса. Этот утонченный джентльмен был всегда очень любезен со мной, хотя ненавидел французскую революцию и ее американских сторонников. Будучи нашим посланником во Франции, он вступил в заговор по освобождению Людовика XVI. Когда эта авантюра провалилась, он утешился, скупив по сходной цене мебель из королевских дворцов. Он благоговейно показывал гостям кресло королевы, ночной горшок короля.

— Боже праведный! Вы вместе! В одной комнате! Я чувствую запах серы, пороха.— Он изобразил дворцовый поклон, подал руку Гамильтону.— Excellence! Mon général! [1]

— Вспоминаем былые времена.— Гамильтон вполне пришел в себя.

Моррис хитро поглядел на нас.

— Для вас все могло ведь быть и хуже, генерал. И, возможно, еще будет.

Гамильтон смешался. А я — нет. Я знал, о чем говорит Моррис.

— Не думаю,— сказал я,— что когда-либо смогу стать кандидатом в президенты от федералистов.— Я осторожничал, зная, что каждое мое слово будут перетолковывать по всей стране.

— Так вот что вы задумали, мистер Моррис? — Гамильтон уставился на сенатора, словно узрел в нем первые признаки чумы.

Моррис погрузился в кресло у огня, и мне показалось, что вместо его деревянной ноги я вижу горящее полено.

— Да, генерал, именно. У нас никого нет. Совсем никого. И я скажу вот что.— Он посмотрел на меня.— Если бы полковник Бэрр в сенате сразу проголосовал так, чтобы ситуация изменилась в нашу пользу, его бы единодушно выдвинули на пост президента все федералисты в конгрессе. Но и сейчас, из-за того, что голосовали дважды, у вас есть поддержка, сэр. Серьезная поддержка с нашей стороны.

Лицо Гамильтона стало... хотел сказать: маской. Но нет. На нем все было написано. Он понял, что я могу стать лидером его партии, и никак не мог очнуться от этого кошмара.

— Неужели полковник Бэрр столь быстро изменил своим республиканским принципам?

— Нет, я им не изменял.— Я решил прояснить дело.— Но, к сожалению, в каждом вопросе я вижу две стороны.— И я откланялся, понимая, что Гамильтон сейчас удвоит усилия, дабы убрать меня со сцены.

---

[1] Ваше превосходительство! Генерал! *(франц.)*

К счастью для Гамильтона, у него была поддержка Де Витта Клинтона и еще журналиста по имени Джеймс Читэм. Тот, по наущению Джефферсона, регулярно нападал на меня со страниц нью-йоркской «Ситизен», притом с республиканских позиций. Так же как Джефферсон использовал Кэллендера, чтобы низвергнуть Гамильтона, Гамильтон использовал теперь Читэма, чтобы уничтожить меня. Читэм утверждал, будто я пытался вырвать у Джефферсона президентство.

Вокруг меня сплотились друзья. Джон Суортвут дрался на дуэли с Де Виттом Клинтоном и был ранен. Под псевдонимом «Аристид» Уильям Ван Несс блестяще выступил в мою защиту. Я даже разрешил друзьям возбудить против Читэма дело о клевете. Весь штат Нью-Йорк пришел в волнение. Однако я не считал свое дело безнадежным. Я был почти уверен, что смогу стать губернатором на следующих выборах, несмотря на Джефферсона и Клинтона, с одной стороны, и на Гамильтона, с другой.

А пока я председательствовал в сенате и часто обедал с президентом, и он покорял меня и приводил в восторг своими беседами, не говоря уже об удивительном коварстве положительно шекспировского размаха.

XXVI

Леггет приехал навестить нас с Элен в наших комнатах напротив рынка. В вечернем освещении рваные обои выглядели почти новыми, а пыльная мебель (Элен чистит только себя) имела вполне приличный вид.

— Такое процветание, Чарли! — Леггет наклонился к руке Элен.— И такая романтическая история!

Она наградила его самым сумрачным взором.

Мы сидели в маленькой гостиной и смотрели в окно на реку — корабельные мачты на переднем плане и мыс Паулюса вдалеке.

Леггет перешел к делу. Он прочитал все, что я написал о связи Бэрра с Ван Бюреном.

— У нас материала больше, чем нужно.— Он ликовал.

В темноте я не мог разглядеть выражения его лица (из экономии мы никогда не зажигаем больше одной лампы). Мухи доели наш обед, несмотря на томные взмахи руки Элен.

Леггет записал что-то в темноте: навык театрального критика.

— Ты уверен, что у меня достаточно материала?

— Остальное надо додумать.

— Может, снабдить Ван Бюрена черной любовницей?

— Нет, грубо, пожалуй.— Леггет засмеялся.— Лучше дадим ему в любовницы индеанку.

И думать не хочу, что будет, когда полковник прочитает мои записки. Может, мне лучше исчезнуть? Бросить Элен. Уплыть в Европу. Бросить Элен? Ну, нет! Уплыть вместе в Европу? А что? Чем плохо?

XXVII

Полковник жалуется на жару. Странно.

В конторе все пришло в состояние застоя. Дело о разводе, возбужденное мадам, продолжает чинное продвижение по судебным инстанциям. Мистер Крафт затерялся в дебрях Пенсильвании. Мы одни. Город пуст.

Полковнику не сидится. Он то и дело открывает и закрывает окна. Перекладывает бумаги на столе. Вдруг идет к шкафу и вынимает пистолет. Неужели тот самый?

— Нет. Пистолеты для нашей дуэли были приготовлены Гамильтоном. Но это точная копия.

Я нахожу, что пистолет чересчур тяжел, однако держать его удобно.

— Я никогда не любил огнестрельного оружия.— Признание весьма неожиданное.— Во время Революции я пользовался саблей.— Он усаживается за стол, покрытый зеленым сукном. Перекладывает бумаги. Показывает газету с карикатурой на Джефферсона и на себя. Джефферсон держит нож и хочет всадить его в спину полковника. Изо рта у полковника выходит шар со словами: «Я полностью доверяю политике мистера Джефферсона». Бэрр смеется, читая эти слова вслух.— В общем-то меня вряд ли можно было назвать агнцем, обреченным на заклание. Скорее орлом в ловушке. Ну и западню же они мне приготовили.

Воспоминания Аарона Бэрра (12)

К концу 1803 года я понял, что раз в Нью-Йорке сидят Клинтоны, а в Вашингтоне Джефферсон, моя политическая карьера обречена.

Мэдисон, увы, избегал меня. Правда, Долли по-прежнему дружила с Теодосией и иногда предупреждала ее о штучках Джефферсона. Долли разрывалась между дружбой ко мне (не говоря уже о благодарности: из всех женщин, каких я знал, она единственная была способна на это чувство) и необходимостью задабривать лидера нашей партии: ведь предполагалось, что как только истечет второй срок правления Джефферсона, государственный секретарь мистер Мэдисон займет президентское кресло.

Присутствие мое в Вашингтоне, обусловленное конституцией, тяготило правительство. У одного только министра финансов Галлатена хватало мужества защищать меня перед Джефферсоном.

— Вы себе сильно вредите, сказаль я президенту.— Недруги частенько передразнивали Галлатена с его французским акцентом.— Но президент тверд. Он хочет ваш уход из политики.

— А он говорит — почему?

— Вы же его знаете. Он все время говорит почему, но никогда ничего не скажет.— Галлатен всегда относился к Джефферсону двойственно. Он одним из первых распознал в нем величайшего политика нашей эпохи. И понял, что в правительстве, не желающем иметь ни армию, ни флот, ни торговлю, ни налоги, недостатки Джефферсона почти незаметны. Успех первого срока правления Джефферсона — полностью заслуга Галлатена. Он действительно отменил налоги и обеспечил переизбрание Джефферсона и преемственность виргинской хунты. Единственным, что омрачало светлый горизонт виргинского владычества, был вице-президент Бэрр.

В январе 1804 года я попросил неофициальной встречи с Джефферсоном

Под моросящим дождем я проехал через ухабистый двор перед президентским домом. Бросил поводья наглому негритенку. С трудом прошел по красной глине, претендовавшей на звание «подъездной аллеи». Взобрался по «временным» деревянным ступеням парадного входа. Дернул звонок — он не работал. Повернул ручку.

Дверь перекосило. Я хорошенько толкнул ее и оказался в ледяном вестибюле.

Черный слуга в плохо сшитой ливрее встретил меня и повел в кабинет президента. «Дворец» был гол, холоден и гулок. Знаменитую Восточную комнату все еще не закончили; тем не менее Джефферсон недавно велел поместить там самый большой сыр, изготовленный в Соединенных Штатах. Зловонное чудо американской изобретательности служило достойным украшением величественной залы, пока, наконец, его не съели избиратели.

Президент устроил библиотеку-кабинет напротив парадной столовой. Здесь я и нашел его за длинным столом. Он был завален корреспонденцией, книгами, картами, садовыми инструментами; тут же сидел пересмешник, который, несмотря на все увещевания президента, в тот день не пожелал издать ни звука.

На Джефферсоне был плотный халат, красный засаленный жилет и видавшие виды шлепанцы; на манишке виднелись следы яйца, съеденного за завтраком.

— Моя судьба,— сказал он,— жить в недостроенных домах.

— Лучше строить, чем получать в наследство.

— Наверное. Только вот неудобно...— Он вздохнул. Затем предложил мне сесть за стол напротив. Перед ним лежала неразвернутая карта обеих Флорид. Поняв, что я ее увидел, Джефферсон сказал:— С нашей точки зрения, обе Флориды входят в недавно купленную Луизиану. И уж, во всяком случае, Западная Флорида до реки Пердидо — наша.— Джефферсон некоторое время говорил о своем знаменитом приобретении. Он купил Луизиану за пятнадцать миллионов долларов у Бонапарта, отчаянно нуждавшегося в наличных, и таким образом удвоил территорию Соединенных Штатов (а заодно беспечно нарушил конституцию).

Джефферсон развернул карту Луизианы. Он ликовал.

Я спросил его, когда Луизиана станет штатом. Джефферсон пожал плечами.

— Видите ли, народ там не такой, как у нас. Там только один из пятидесяти говорит по-английски. И они настоящие дети в вопросах самоуправления.— Он постучал пальцем по объемистому донесению.— Агент сообщает, что юристы Нового Орлеана не только против принципа суда присяжных, но против принципа неприкосновенности личности.— Он покачал головой.

— Они против союза с нами?

— Как они могут быть против? Как можно не желать свободы?— И Джефферсон пустился в пространные рассуждения о конституции, которую он писал для счастливых «детей», чью территорию только что разделил надвое: густонаселенную южную часть, которая будет называться Орлеаном, и пустынную часть — Луизиану. Мы обсудили кандидатуры губернаторов для этих двух территорий. В то время виргинец по имени Клэберн был губернатором Орлеана, но его назначение считалось временным. Клэберн был одним из тех членов палаты представителей, которые поддерживали Джефферсона, когда туда были переданы президентские выборы; кое-кто считал, что он поддержал бы меня, предложи я ему высокий пост. Недавно в губернаторы Луизианы стали прочить маркиза де Лафайета, но Джефферсон счел эту идею нецелесообразной.

Я предложил Эндрю Джексона, который пользовался поддержкой конгрессменов с Запада.

— Джексона? О боже! Никогда! Он слишком... честолюбив. Слишком напорист. При нем мы через месяц будем воевать с Испанией.

— С тех пор как вы приобрели Луизиану, многие жители Новой

Англии склоняются к идее двух государств. Одно — с центром на Атлантическом побережье. Другое — на берегах Миссисипи.

— В принципе я с ними вполне согласен,— спокойно сказал Джефферсон.— В конце концов оба государства все равно будут американские.

— Только одно будет рабовладельческое, а другое свободное.

Джефферсон переменил тему:

— Мне сказали, полковник, что вы стали дедушкой.— Мы поговорили о сыне Теодосии, Аароне Бэрре Олстоне, поговорили о дочерях и внуках президента. Поговорили о старости. Джефферсону в то время было около шестидесяти, и он сомневался, что доживет до своего второго срока (если, разумеется, народ снова окажет ему честь и т. д.). Я ему искренне сказал, что он нас всех похоронит. Конечно, я и виду не подал, что знаю о его намерении похоронить меня в ближайшее время.

Наконец я взял быка за рога.

— Мне известно, что у вас новые планы относительно вице-президента на следующий срок. . .

— Уверяю вас полковник, у меня никаких новых планов нет. — Одно из немногих удачных высказываний Монро: «Неискренность Джефферсона всегда искренна: он ее никогда не наигрывает».— Я, как вы знаете держусь в стороне от этих дел.— Джефферсон рассматривал лежавшую перед ним карту.— То есть не совсем. Признаюсь, я постарался ради вас на последних выборах. Вы убедили меня в том, что вашу кандидатуру должна поддержать Виргиния. И я нарушил обычное правило и постарался ради вас. В других же штатах я ничего не сделал даже ради себя.

Я никак не отреагировал на этот бред.

— Говорят, вы уже кое-что решили о будущем вице-президенте.

Джефферсон посмотрел на меня с неподдельным удивлением:

— Я лично ничего не предпринимал, полковник. Руководство республиканской партии соберется, когда положено, и само решит. . .

— ... И так как общественное мнение не позволит вам сделать вице-президентом соплеменника-виргинца, вы, говорят, замените меня другим ньюйоркцем — губернатором Клинтоном.

— Я не говорил об этом с губернатором Клинтоном. . .

— Мистер Джефферсон, я готов уйти красиво. Но будем откровенны. Три года назад я приехал сюда полный желания оказать вам личную и политическую поддержку. Но я с самого начала почувствовал вашу... неприязнь. Не знаю почему. Мне говорили, что вы считаете, будто я пытался отнять у вас президентство. Но я уверен, вы, конечно, понимаете, что это неправда: ведь пожелай я стать президентом, меня бы избрали уже в первом туре с помощью моего друга мистера Бейярда из Делавэра. Я же, напротив, заставил его отказаться от меня и поддержать вас, и вот вы сидите в вашем кресле, сэр. А я — в своем.

Я вдруг понял, что на меня смотрит старик. Над картой империи— сморщенное бледное лицо; рот — капризной щелкой; единственно, что осталось от юности — янтарный блеск глаз. Сейчас они глядели на меня с нескрываемой ненавистью.

— Полковник!— Слабый голос дрожал от наплыва чувств.— Я не обвиняю вас в причастности к заговору, целью которого было лишить меня того, что дал мне народ. Но иной раз я сомневался в вашей верности республиканцев. Ваше голосование в сенате вызвало у меня неприятные чувства, а ваш тост на обеде у федералистов. . . — Джефферсон выложил карты на стол; крапленые, он сам это понимал.

— Мое голосование в сенате определялось достоинствами известного законодательства. Мой тост «за союз всех честных людей» — лишь слабое эхо вашей собственной речи при вступлении в должность.

— Без сомнения, мы оба неверно поняли друг друга...

— Без сомнения. У меня до сих пор есть письмо, которое вы мне написали, когда сомневались в моем избрании и предлагали пост в вашем правительстве. Мне польстило ваше доверие.— Я снова взял быка за рога.— В течение всей моей карьеры я никогда никого не просил о личных одолжениях. Чтобы не расстроились наши ряды, чтобы разочарование не охватило наших друзей, я хотел бы уйти с поста вице-президента и занять другой пост, никак не связанный с выборами.

— Понимаю.— Пересмешник вдруг улетел на камин. Я поклялся не нарушать молчания первым; это мне удалось.— Естественно, полковник, когда я писал то письмо, я признавал ваше право на благодарность нашей партии. Вы обеспечили нам Нью-Йорк, а Нью-Йорк обеспечил нам всю страну. Но... увы, вакантных мест нет.

— А губернатором в Орлеане?

— Мистер Клэберн только что приступил к своим обязанностям.

— А губернатором в Луизиане?

— Это место обещано.

— А послом во Франции?

— Надо хорошенько подумать, полковник.— На губах его мелькнула тень улыбки.— Вы меня огорошили.

— Надеюсь, вас не огорошило мое желание избежать впечатления раскола между нами.

— Нет. Нет. Я очень благодарен.

— Прекрасно. Если же мне не будет позволено служить вам на назначенном вами посту, я через месяц вернусь в Нью-Йорк и выставлю свою кандидатуру на пост губернатора...

— От республиканцев? — Я тогда этого не знал, но Де Витт Клинтон уже опасался, как бы я не выставил своей кандидатуры, и вовсю наседал на дядю. А старику Клинтону не хотелось тягаться со мной на выборах Во-первых, Джефферсон уже обещал ему вице-президентство. Во-вторых, я бы его побил. Джефферсон стоял перед дилеммой. Он вывел из состязания единственного человека, который, по его мнению, мог победить меня в Нью-Йорке. Я узнал позже, что уже тогда Де Витт Клинтон умолял Джефферсона повлиять на дядю и заставить его выступить против меня.

— Да, от республиканцев. А от кого же еще? Естественно, если фракция Клинтона откажется меня поддержать, я предложу свою кандидатуру как независимый республиканец и буду искать поддержки федералистов.

Пересмешник издал пронзительный звук. Оба мы с Джефферсоном вздрогнули. Потом он засмеялся.

— Я уже говорил ему, что это не музыкально.

— Может, он глухой.

— О нет, он все слышит. Все слышит.

Джефферсон перевел разговор на другие темы, и, разумеется, зашла речь о разнузданности прессы. Нам обоим в тот сезон особенно досталось. Читэм в Нью-Йорке обвинял меня в самых фантастических преступлениях, а Джеймс Кэллендер в Виргинии пошел против своего бывшего работодателя и поведал миру, как Джефферсон платил ему за клевету на Вашингтона, Адамса и Гамильтона.

— Прошлым летом я свалял дурака и дал Кэллендеру из жалости пятьдесят долларов, и вот он пишет, что пятьдесят долларов — взятка за молчание! Я, видите ли, заплатил ему, чтобы он молчал, ибо он кое-что знает. Я не знаю, что он там знает, и никому это не известно.

Хорошо еще, что он утопился. Не то ума не приложу, что бы мне пришлось делать. Ведь у федерального правительства нет конституционной власти над прессой, и штаты поэтому могут разрабатывать собственные законы и...— Старая песня.

Расстались мы дружелюбно. Я вернулся к себе на Эф-стрит и известил своих многочисленных сторонников в Олбани, что стал кандидатом в губернаторы.

XXVIII

Сегодня утром, входя в контору, я столкнулся в дверях с Сэмом Суортвутом. Вид у него был озабоченный.

— А, Чарли! — Мне польстило, что он запомнил мое имя.— Вы должны навестить меня в порту.

— Непременно, сэр.— Я изобразил из себя этакого ретивого юнца.

— Я могу вам пригодиться.— И он заковылял прочь в струящемся от августовского зноя воздухе. На что пригодиться?

Полковник стоял у окна, держа шляпу за спиной. Он наблюдал за Суортвутом.

— Бедный Сэм,— сказал он печально.— Верен мне одному, что, по-моему, не свидетельствует о здравом смысле.

— Но ведь он инспектор Нью-Йоркского порта.

— Да, это я ему устроил.— Полковник метнул шляпу через всю комнату, она опустилась на лампу.— Джексон оказал мне эту любезность, когда стал президентом. Он оказал мне целый ряд любезностей — клянусь всевышним! К сожалению, я не могу заставить президента сделать что-нибудь лично для меня. Конечно, я ни в чем не нуждаюсь, но свое хочу получить.

Я видел кое-что из переписки полковника с военным департаментом. Как бывший офицер, полковник получает пенсию в 600 долларов в год. Он утверждает, однако, что ему причитается 100 000 долларов, ибо во время Революции он не получал жалованья да к тому же растратил кучу денег из собственного кармана: все состояние его семьи ушло на содержание солдат. Но правительство не горело желанием возместить эти расходы.

На крытом зеленым сукном столе все еще лежал дуэльный пистолет. Прежде чем начать диктовать, полковник по-военному взял пистолет, повертел и зашагал по комнате, наслаждаясь тропической жарой.

Воспоминания Аарона Бэрра (13)

Среди моих бесчисленных преступлений главным считается стремленье к расколу Союза. Джефферсон хотел убедить весь мир, что, уехав на Запад, я задался целью отколоть новые штаты — Кентукки, Теннесси и Огайо — от исконного хозяина — Виргинии. Чистый вздор, конечно, и Джефферсон сам это знал.

Вся ирония в том, что не я, а Джефферсон признавал за любым штатом право расторгнуть узы с другими штатами. Для него федеральное правительство всегда было «чужим», и, потребуй федеральное правительство от штата чего-либо, противоречащего воле большинства землевладельцев (например, уничтожения рабства), штат, по мнению Джефферсона, вправе объявить недействительными законы федерального правительства, ну, а если и это не возымеет действия,— отделиться.

Хоть я и не был сторонником незыблемости Союза, однако, уехав на Запад, я вовсе не помышлял об отделении тех или иных штатов. Правда, я имел прямое отношение к заговору 1804 года с целью разделить Соединенные Штаты на две части с границей по реке Гудзон.

Сенатор Пикеринг от штата Массачусетс возглавлял почтенную группу конгрессменов-заговорщиков, желавших вывести Новую Англию и Нью-Йорк из-под эгиды Виргинии. Покупка Луизианы была для них последней каплей. Сенатор Пикеринг справедливо предполагал, что Джефферсон и виргинская хунта раскроят этот огромный район на рабовладельческие штаты с республиканским большинством и Новая Англия попросту увянет, как увяла федералистская партия. Их возмущало и наплевательское отношение Джефферсона к конституции при покупке Луизианы.

Сенатор Пламер сказал мне:

— Если президент имеет право купить новый штат, значит он имеет право продать старый.

— Быть может,— заметил я,— канадцы любезно согласятся купить ваш собственный штат Нью-Гэмпшир.— Моя шутка не привела сенатора Пламера в восторг.

Отношения мои с этой группой были сердечными, но ни к чему не обязывающими. Однако Пикеринг на меня наседал:

— Все зависит от Нью-Йорка, полковник. Если Нью-Йорк отделится вместе с нами, у нас будет прекрасная страна. Без Нью-Йорка мы станем дырой вроде Ирландии.

— Без сомнения, Новая Англия ущемлена Виргинией. И без сомнения, Новой Англии, чтобы выжить, надо возобладать над Виргинией.— Этими разговорами и ограничилось мое участие в заговоре.

— Мы намереваемся поддержать вашу кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.

— Мне очень нужна поддержка.

— Если вас выберут, вы сможете бороться за отделение вашего штата вместе с нами.

— Сенатор, могу заверить вас, при моем правлении в штате Нью-Йорк федералисты в обиде не будут.— Дальше этого я не пошел.

Пикеринг поостыл, но обещал использовать все свое влияние, чтобы я стал губернатором.

В марте я не сомневался, что меня выберут. Но к началу апреля понял, что вредит мне не столько мой республиканский соперник, сколько отставной политикан, неудавшийся Диоклетиан, неповторимый Александр Гамильтон, птицей фениксом восставший из пепла, дабы спасти страну.

Не знаю, искренне ли хотел Гамильтон сохранить Союз или нет. Ясно одно: он пришел в ужас от того, что я оказался знаменосцем его собственной партии в штате Нью-Йорк.

И снова вокруг моей головы, словно летучие мыши на закате, стали витать клеветнические слухи. Публичные дома Нью-Йорка переполнены женщинами, которых я лишил невинности. Цезарь, Катилина... Кампания была поразительно злобная.

Но вот однажды Гамильтон приехал в «Ричмонд-хилл» на обед с Чарльзом Биддлом из Филадельфии, и никогда еще я не видел его таким любезным. Я заговорил о клеветнических статейках Читэма. Гамильтон сказал:

— Пусть решает пистолет. Вызовите его на дуэль.

— Не могу. Он не джентльмен.

— Конечно. Конечно.— Гамильтон быстро переменил тему.

Я знал, что он делает все от него зависящее, чтобы помешать моему избранию, но не думал, что он опустился до клеветы.

Не буду больше ничего говорить о выборах. Я их проиграл. Я получил перевес в сто голосов в городе Нью-Йорк, но на севере штата результаты оказались отнюдь не в мою пользу.

Передо мною открывалось несколько возможностей. Вернуться к адвокатской практике. Восстановить свое место в политике (и состояние!). Отправиться на Запад, где я пользовался большой популярностью. Меня легко могли бы избрать на пост сенатора от Кентукки или Теннесси или делегатом в конгресс от территории Индиана. Но заманчивей всего казался извечный план освобождения Мексики от Испании. Не было человека в Соединенных Штатах, который не хотел бы изгнания испанских донов из нашего полушария. Даже Гамильтон не видел коварства в этом плане, ибо сам вел секретные дела кое с кем в Латинской Америке и надеялся эти силы возглавить. Гамильтон мечтал о Мексиканской империи в союзе с Англией. Я мечтал о ней в союзе с Соединенными Штатами. Снова мы стали врагами, на сей раз смертельными.

К несчастью для Гамильтона (и для меня), я по сути дела стал кандидатом от федералистов на пост губернатора, а Гамильтон не мог смириться с такой несуразицей. На обеде в Олбани Гамильтон позволил себе кое-какие выпады в мой адрес, причем, боюсь, дело было вовсе не в том, чтобы показать меня в истинном свете.

Примерно в середине июня я сидел у себя в кабинете в «Ричмондхилле» с Уильямом Ван Нессом и его бывшим помощником Мартином Ван Бюреном. Я только что с трудом их помирил. Ван Несс упрекал Ван Бюрена за то, что тот поддерживал не мою кандидатуру на пост губернатора, а кандидатуру чистого республиканца. Я постарался объяснить, что Мэтти поступил так потому, что «он молод и хочет сделать политическую карьеру». В конце концов они помирились. Но когда Ван Бюрен сказал мне, что он поддерживал чистого республиканца из верности своему партнеру по адвокатской практике, я ответил, что личная преданность — плохой советчик в делах политических.

Мы просматривали газеты, только что полученные из северной части штата, и развлекались, читая фантастические измышления обо мне (в том числе ученый трактат с точным подсчетом погубленных женщин), когда Ван Несс показал мне издающуюся в Олбани газету «Реджистер» от 24 апреля 1804 года. В ней было опубликовано что-то вроде письма доктора Чарльза Купера, где говорилось, будто на приеме в Олбани «генерал Гамильтон и судья Кент заявили, что считают мистера Бэрра опасным человеком, которому нельзя доверять бразды правления».

— Меня это не удивляет,— сказал я.— К тому же, наверное, судья Кент голосовал за меня.

Но тут я увидел, почему Ван Несс так заинтересовался этой статейкой. «Я мог бы,— писал доктор Купер,— подробно воспроизвести и куда более презрительное мнение генерала Гамильтона о мистере Бэрре». Мы хотели найти это «более презрительное мнение», но не нашли.

— Видимо, обычная гамильтоновская хула.— Мэтт не взволновался. Я поначалу тоже.

Однако ночью я стал думать, что же это за «более презрительное мнение»? Гамильтон называл меня Цезарем, Катилиной, Бонапартом (а сам в случае чего не отказался бы от мексиканской короны). Какое же еще более презрительное мнение? Нервы мои сильно расшатались после недавних выборов. Я не спал всю ночь. Утром я написал Гамильтону письмо. Потом послал за Ван Нессом.

— Я думаю, это... требует объяснения.

— Согласен.— Ван Несс встревожился даже больше моего. Он

взялся передать письмо. Письмо было короткое. Я просил «незамедлительно и прямо признать или опровергнуть — высказывал ли он мнение, на которое ссылается доктор Купер». И приложил вырезку из газеты. Это было 19 июня.

Ван Несс доставил письмо Гамильтону, и тот сразу понял, что дело нешуточное.

— Я отвечу полковнику Бэрру сегодня же.

Однако через некоторое время Гамильтон заехал к Ван Нессу и попросил отсрочки на один день.

Письмо Гамильтона я получил 21 июня. Оно было длинное. Он витиевато излагал значение слова «презрительное». И добавлял, что не отвечает за то, как другие толкуют его мнения «о политическом противнике, высказанные за пятнадцать лет соперничества».

Я ответил ему без промедления, что «политическая вражда не освобождает джентльмена от необходимости соблюдать законы чести». И что обычно «презрительное мнение» есть мнение оскорбительное. Я требовал точного ответа.

На следующий день Гамильтон попросил своего друга передать второе письмо Ван Нессу. Гамильтон жаловался на мой резкий тон. Ничего точнее он мне ответить не может — вот и все. По существу, он мне вообще не ответил. Друг Гамильтона сказал Ван Нессу, что, как ему поручили передать, Гамильтон смутно помнит прием в Олбани, и если о полковнике Бэрре вообще говорили, то лишь в связи с политикой и предстоящими выборами губернатора. Никаких замечаний о характере полковника Бэрра никто, кажется, не высказывал.

Но я тогда же узнал, что́ говорил обо мне Гамильтон, и понял, что вдвоем нам тесно в этом мире.

Друг Гамильтона еще раз попытался его выгородить, но только ухудшил положение. Он сказал, что, ежели полковнику Бэрру угодно узнать другие высказывания Гамильтона о Бэрре, ему откровенно и честно будет сказано, имели они место или нет. Это было уже слишком. Я попросил Ван Несса назначить время и место для дуэли.

Друг сделал последнюю попытку спасти патрона: генерал Гамильтон-де не считает себя первоисточником неприятных слухов о полковнике Бэрре, кроме одного, давно опровергнутого, о том, что якобы я подсунул Элизу Боуэн в постель к Гамильтону, чтобы выведывать его тайны. О, конечно, она легла туда сама и не без его позволенья. И хоть она передала мне памфлет, который он написал против Джона Адамса, ему пришлось сознаться, что я ее об этом не просил.

Гамильтон стал жаловаться на мою «предвзятую враждебность». Ван Несс ответил за меня, что фразу о «предвзятой враждебности» можно лишь прибавить к прежним оскорблениям, а уклончивость и витиеватость Гамильтоновых писем отдают признанием вины.

Было решено, что мы сойдемся с ним за рекой в Нью-Джерси на Уихокских холмах. Натаниел Пендлтон был секундантом Гамильтона. Ван Несс — моим. Оружие — пистолеты. Гамильтон попросил отложить дуэль до окончания сессии окружного суда. Договорились встретиться через две недели, 11 июля 1804 года.

Две недели мы хранили нашу тайну от всех, кроме горстки посвященных. Я привел в порядок дела, написал письмо Теодосии, составил завещание. Особенно терзала меня мысль о долгах, которые останутся, если я буду убит. Гамильтон, верно, пребывал в таком же настроении. Только у него положение было еще хуже: он сидел по уши в долгах из-за «Грейнджа», претенциозного загородного поместья, которое он строил для себя в нескольких милях от «Ричмонд-хилла». У него росло семеро детей. К счастью, жена его была из Скайлеров, и посему приют для бедных сиротам не грозил.

Вскоре я понял, что напрасно дал Гамильтону двухнедельную отсрочку. Он тотчас подстроил мне дуэль на шпагах с неким Сэмюелом Брэдхерстом. Мне пришлось принять вызов этого джентльмена. Мы дрались неподалеку от Хобокена. Я был в невыгодном положении, так как руки у Брэдхерста на три дюйма длиннее моих. Гамильтон хотел, конечно, чтобы Брэдхерст исполосовал меня и я не смог выйти на дуэль 11 июля. К счастью, я сразу же пустил ему кровь. А Брэдхерст покинул поле чести, даже не поцарапав меня.

Вечером 4 июля я присутствовал на празднестве Цинциннатова общества [1] в «Таверне Фронсеса».

Гамильтон держался невозмутимо. Более того, я редко видел его таким обаятельным.

— Должен поздравить вас с удачной дуэлью,— пробормотал он, когда мы раскланялись в баре.

— Надеюсь, ваш друг мистер Брэдхерст скоро поправится.— И я отвернулся.

Несмотря на знаменитое высокомерие Гамильтона и его нетерпимость к тем, кто соображал менее быстро, он обладал даром очаровывать, когда ему хотелось. Подозревая, что, быть может, он последний раз на людях, он хотел, чтобы мир запомнил его таким: все еще красивым, несмотря на полноту, все еще способным пленять тонкой лестью людей более преклонного возраста и ослеплять блеском ума тех, кто помоложе.

Мы сидели за столом в длинной комнате — группа пожилых мужчин, не связанных ничем, кроме того, что мы были в одно время молоды и вместе сражались за Революцию,— и я тоже вдруг подумал, что, быть может, в последний раз выступаю на самой яркой сцене республики. Возможно, Гамильтон убьет меня. Еще вероятнее, что я его убью. Так или иначе через неделю все переменится.

Я отрешенно смотрел вокруг, сидя на почетном месте (несмотря на недавнее поражение на выборах, я все еще был вице-президентом Соединенных Штатов), и видел себя самого словно издали — карнавальным чучелом, а не живым человеком.

Потом писали, что в тот вечер я был мрачен. Очевидно, я не вполне владел собой. Но ведь близилась решающая встреча. Человек, который в течение «пятнадцати лет соперничества» изничтожал меня, был близок к завершению своего дела, и десятым чувством я знал, что он снова преуспеет, как бы наша дуэль ни окончилась.

Я всерьез расстроился, когда по просьбе присутствующих генерал Гамильтон встал и прекрасным тенором спел «Барабан»,—ни один ветеран Революции не может слушать эту песню без грусти, которую вызывают мысли о далекой юности и милых сердцу павших воинах.

Конечно, я понятия не имел, как коварно Гамильтон подготовил свой уход из этого мира и мою погибель.

XXIX

Сегодня полковник пребывал в странно возбужденном состоянии.

— Если тебе интересно, Чарли, давай съездим на те холмы, я разыграю для тебя дуэль века, на которой подлый Бэрр сразил благородного Гамильтона, да еще из-за куста чертополоха — видимо, унизительный намек на мой маленький рост. А ведь Гамильтон всего-то на дюйм меня выше, хотя сегодня он легендарный гигант, и его божест-

[1] Цинциннатово общество — основанное Вашингтоном общество офицеров—ветеранов Войны за независимость, вскоре после окончания войны по примеру Цинцинната (древнеримский диктатор, род. 519? — ум. 493? до н. э.) вернувшихся к мирным трудам.

венный монумент высится на Торговой бирже — в его храме. А мне — ни статуи, ни лавров, только чертополох!

Я пришел в восторг и одновременно смутился. Бэрр никогда не говорит о дуэли; все, кроме Леггета, слишком щепетильно относятся к этой теме и не затрагивают ее в его присутствии, хотя весь мир знает об этом событии в жизни Аарона Бэрра.

Мы дошли до Среднего причала в конце Дуэйн-стрит.

— Я велел молодому лодочнику быть наготове.

Глаза полковника горели при мысли о необычном путешествии — на сей раз в прошлое, а не в воздушные замки будущего, где он чувствует себя как дома.

— Жара стояла как сегодня — тридцать лет и один месяц тому назад. Но, помню, мне было холодно не по сезону. Десятого ночью я даже приказал разжечь огонь и спал одетый на софе в кабинете. Правда, спал крепко. Добавь эту деталь к моему героическому портрету.— Он метнул веселый взгляд в мою сторону.— На рассвете Джон Суортвут пришел меня будить. Потом пришли Ван Несс и Мэтт Дэвис. Мы вышли из «Ричмонд-хилла».

Высокий молодой лодочник ждал нас у пустынного причала. Солнце палило нещадно. Кроме нас, на пристани никого не было — на август все уехали из города.

Мы сошли в лодку, и молодой человек начал грести, ровно, медленно взмахивая веслами, к высокому зеленому берегу Нью-Джерси.

— Вот в такое утро...— промурлыкал он себе под нос. И продолжал: — Я привел дела в порядок. Набил шесть синих ящиков материалами для моей биографии на случай, если кому-то взбредет в голову ее писать. Теперь эти ящики на дне моря.— Он не опечалился, хотя это и должно было напомнить ему о любимой дочери; вел пальцем по воде; щурился на солнце.— Интересно, что думают обо мне рыбы?

Я попытался представить себе, каким он был тридцать лет назад: блестящие темные волосы, гладкое лицо, твердая рука — вице-президент выполняет долг чести. Но я не мог связать крошечного старичка с легендарной фигурой.

— А приходила вам в голову мысль, что он может вас убить?

Полковник покачал головой.

— Когда я проснулся на софе и увидел рассвет, я понял, что увижу закат, а Гамильтон — не увидит.— Вдруг лицо его омрачилось, и он отвернулся от яркого солнца; лицо погрузилось в тень.— Ведь Гамильтон заслужил смерть от моей руки.

И вот я задал вопрос, который мучил меня со вчерашнего дня, но Бэрр лишь покачал головой:

— Я не стану, ни за что не стану повторять то, что сказал обо мне Гамильтон.

Уихокские холмы выглядят, наверное, так же, как и тогда. Полковник легко спрыгнул на каменистый грунт. Пока я помогал матросу вытащить лодку на берег, полковник быстро поднялся по узкой тропинке к деревянному барьеру.

— Очень удобно,— сказал Бэрр, когда я к нему подошел.

Барьер — шести футов в ширину и примерно тридцати или сорока футов в длину, а под ним и над ним — отвесная скала. Густой кустарник с обоих концов заслоняет вид на реку.

Полковник показывает на шпили Нью-Йорка, проглядывающие сквозь листву:

— Вот что многие джентльмены видели в последний свой миг.

Я замечаю, что он говорит шепотом; он сам это замечает и смеется.

— Привычка. Приезжая сюда, дуэлянты всегда вели себя тихо, боялись разбудить старика, который жил в хижине неподалеку. Его называли Капитаном, и он ненавидел дуэли. Если он слышал голоса, он бежал к месту дуэли, становился между дуэлянтами и не хотел уходить. Часто к вящему облегчению участников.

Бэрр подходит к мраморному обелиску в центре барьера.

— Я его раньше не видел.— Монумент воздвигнут в память об Александре Гамильтоне. Он поцарапан и весь исписан именами влюбленных. Полковник молчит.

Потом медленно идет к большому кедру, раздвигая бурьян и подавая ногами камешки. Останавливается под деревом, снимает черный сюртук. Пристально смотрит на реку. Мне становится не по себе, не могу понять почему. Я уговариваю себя, что привидений не бывает.

Бэрр наконец заговорил обыденным голосом:

— Около семи часов прибывает Гамильтон со своим секундантом Пендлтоном и уважаемый доктор Хозак (Гамильтон всегда боялся за свое здоровье). Подчаливают вон там.— Бэрр показывает. Я смотрю, и мне кажется, что сейчас появится лодка и из нее выйдут мертвецы. Но внизу течет река — и только.

— У Пендлтона в руках зонтик. У Ван Несса тоже. Зонтики выглядят весьма странно летним утром, но они захватили их для отвода глаз. Ведь сейчас мы нарушим закон.

Бэрр оставляет свою вахту у кедра, идет к концу барьера.

— Вот является со своим секундантом генерал Гамильтон.

На мгновение перед моими глазами возникает ржавая шевелюра Гамильтона, отсвечивающая в лучах летнего солнца. Мне кажется, что я попал в чужой сон и не могу оттуда выбраться, запутался, все кружится у меня в голове — ужасно неприятно.

Бэрр раскланивается.

— Доброе утро, генерал. Мистер Пендлтон, доброе утро.— Бэрр поворачивается и идет ко мне.— Билли! — Клянусь, он думает, что я Ван Несс.— Вы с Пендлтоном тяните жребий — кому выбирать место и кому подавать сигнал к стрельбе.

Полковник жестом предлагает мне пройти к дальнему концу барьера.

— Ваш патрон выиграл и то и другое, мистер Пендлтон.— Пауза.— Вот т у т он хочет стоять? — Легкое удивление в голосе Бэрра.

Я вдруг понимаю, что стою там, где стоял Гамильтон. Солнце бьет мне в глаза; сквозь листву сверкает вода.

Бэрр занял позицию в десяти больших шагах от меня. Мне кажется, я сейчас упаду в обморок. У Бэрра лучшая позиция — лицом к холмам. Я знаю, что умру. Я хочу крикнуть, но не могу.

— Я готов.— Кажется, полковник держит в руке тяжелый пистолет.— Что? — Он смотрит на меня, опускает пистолет.— Вам нужны очки? Конечно, генерал, я подожду.

— Генерал Гамильтон удовлетворен? — спрашивает Бэрр.— Прекрасно, я тоже готов.

Я стою, застыв от страха, пока Бэрр целится и кричит:

— Цельсь!

И я убит.

Бэрр бросается ко мне, вытянув руки. Я чувствую, как у меня подгибаются колени; чувствую, как пуля разорвала мне живот; чувствую, что умираю. Бэрр вовремя прекращает игру. Становится самим собой. Я тоже.

— Гамильтон стрелял первым. Я выстрелил мгновение спустя. Пуля Гамильтона сломала ветку вот на этом дереве.— Бэрр показывает на высокий кедр.— Моя пуля пробила ему печень и позвоночник.

Он встал на носки. Вот так.— Бэрр вытянулся, как танцор.— Потом скорчился, согнулся. Пендлтон поддержал его. «Я убит»,— сказал Гамильтон. Я бросился к нему, но Ван Несс меня остановил. К нему шел доктор Хозак. Мы уехали.

Но... я бы остался, я бы подошел к вам, если бы не выражение вашего лица.— Снова невидящий взгляд Бэрра. Снова он видит во мне Гамильтона. И снова я умираю, пуля жжет.— Я увидел на лице у вас ужас, ужас от того, что вы со мной сделали. Вот почему я не мог подойти к вам и успокоить вас. Я мог сделать лишь то, что сделал. Прицелиться и убить, убить.

Он сел у края памятника. Протер глаза. Видение исчезло. Спокойным голосом он продолжал:

— Как всегда бывает со мной, общество поверило в другую версию. Вечером накануне нашей встречи Гамильтон написал письмо потомкам — в стиле предсмертной исповеди кающегося монаха. Он откажется от первого выстрела и, может быть, от второго тоже: он не одобряет дуэлей. Но первым-то выстрелил он! Что же до его неодобрительного отношения к дуэлянтам, то я знаю, что он по крайней мере трижды бросал разным людям вызов. Но Гамильтон понимал лучше других, что наш мир — по крайней мере, наш американский мир — обожает лицемеров.

Бэрр поднялся. Пошел к тропинке. Я тупо следовал за ним.

— Гамильтон прожил полтора дня. Он был верен себе до последнего. Сказал епископу Муру, что не питает ко мне зла. Что он сошелся со мной на дуэли с твердой решимостью меня не ранить. Какая низость!

Бэрр начал спускаться по тропинке. Я спотыкаясь шел за ним. У реки он остановился, и взгляд его скользнул вверх по течению — туда, где поднимался цветущий Статен-Айленд.

— Совсем забыл, как тут красиво, да я ведь почти и не смотрел тогда.

Мы сели в лодку.

— Ты знаешь, убив Гамильтона, я его возвеличил. Останься он в живых, и звезда бы его закатилась, сейчас его бы и не вспоминали. Как меня.— Он сказал это тускло, без выраженья.— А там поставили бы памятник мне и весь бы его исчеркали.

XXX

Я поймал Сэма Суортвута на слове и обратился к нему за помощью. Он принял меня в кафе Тонтина, где они заседают каждый день. С ним был Мордекай Ной — он стал недавно помощником Сэма в управлении нью-йоркского порта.

Ной благосклонно меня вспомнил. Долго говорил об индейцах, которые, по его мнению, являются заблудшим племенем израилевым.

— А то зачем бы я — сами посудите! — присоединился к Таммани? — произнеся эту чушь, он ушел.

— Ну, нравится вам копаться в старых сундуках? — Суортвут пьет испанское вино. Дикция его оставляет желать лучшего К несчастью для меня.

— Великий он человек. Полковник. И жизнь его великая прошла впустую. Послушали бы вы, как о нем говорит генерал Джексон: «Клянусь всевышним, ярчайшая личность в нашей политике!»

— Почему же тогда президент не платит полковнику деньги, которые ему задолжали еще с Революции?

— Он не смеет. Не смеет ничего сделать для полковника. Он ему так прямо и сказал, когда был проездом в городе в прошлом году.

— Они встречались? — Полковник ни разу даже не обмолвился о встрече с президентом.

— Сам видел.— Суортвут подмигнул. Заказал еще вина.— Видишь ли, Старая Коряга — как и я — вроде бы протеже полковника.

— Еще с Запада?

— Еще с Запада. Еще раньше. С тех пор, как Теннесси присоединился к Союзу — благодаря полковнику, который в то время был в сенате. Старая Коряга был первым конгрессменом от штата, и первый, кого он посетил, когда приехал в Филадельфию, был сенатор Бэрр.

Правда это? Не знаю. Но я все записываю.

В конце концов я спросил, нельзя ли встретиться с ним утром, и он сказал, что будет в восторге.

— Все сделаю для полковника.

Уходя, я спросил:

— А что же Гамильтон сказал такого «презрительного» про полковника Бэрра? Из-за чего они дрались на дуэли?

Суортвут долго смотрел на меня покрасневшими глазами.

— А ты не знаешь?

— Нет. Полковник не говорит.

— Он и не скажет. Мерзкая история, и Гамильтон рассказывал ее направо и налево.

— Что же говорил о полковнике Гамильтон?

— Да просто говорил, будто Аарон Бэрр жил с собственной дочерью Теодосией.

XXXI

Вчера во второй половине дня за нами с мистером Крафтом пришли от Джейн Макманус. «Я очень волнуюсь,— писала она.— У полковника случился удар, он не может двигаться».

Мы отправились на пароме в Джерси-сити. День был пасмурный и ветреный, не по сезону.

— Организм у него сильный,— заметил мистер Крафт.

— Но ему семьдесят восемь,— сказал я.

Я смотрел на чаек. Мистер Крафт смотрел на группу ирландских рабочих. Хотя не было еще и восьми утра, они передавали из рук в руки бутылки виски.

Джейн Макманус открыла дверь деревянного домика недалеко от пристани в Джерси-сити. Пухлая, по лицу размазаны слезы.

— О, джентльмены, я думала, он уже умер, правда, принесла ему чай, а он лежит на полу, глаза открыты, а сам не дышит. Послала за доктором, а его нигде не найти. Когда нужно, их никогда нет. Потом к вечеру полковник открывает глаза — уже на софе, мы перенесли его туда с нашей горничной,— а он вдруг открывает глаза и говорит: «Я умер?», а я говорю: «Нет, полковник, вы живы и находитесь у меня, в Джерси», а он: «Мои родные берега» или что-то такое, и все улыбается и потом говорит, что не может двинуться... не может двинуться.

Она снова заплакала, но мистер Крафт бросил на нее строгий взгляд, и она стихла. Я посмотрел на портрет — ну, конечно же, Джордж Вашингтон с матерью! Неужели полковник купил его, чтобы вспоминать разговор с Гамильтоном? Чтоб смотреть и освежать свою память?

Поплакав, Джейн Макманус проводила нас в гостиную, где на матрасе из конского волоса лежал полковник, до подбородка укрытый одеялом. Он, очевидно, замерз, несмотря на жар от франклиновой печи. На столе подле него стояло чучело птицы под грязным стеклянным колпаком. Не пересмешник ли? Я становлюсь подозрительным.

— Джентльмены.— Голос слабый.— Похоже, я парализован ниже пояса.

— Но в добром здравии, полковник,— забасил мистер Крафт.

Бэрра перекосило — от боли? Или от идиотизма мистера Крафта?

— Да, мистер Крафт, я в прекрасной форме, только вот двинуться не могу.

— Как это случилось?— Я впервые открыл рот. Полковник повеселел.

— Неугомонный биограф! Ну, Чарли, да никак. Я читал. У меня заболела голова. Не сильно. Вдруг все закружилось. Я встал — наверное, в последний раз...

— Полковник, не говорите так! — закричала Джейн Макманус.

— И очень мило рухнул. Как приятно, думал я, когда мне навстречу медленно поднимался ковер, принимая меня в свое персидское лоно. Гасну, как лампа, думал я. И не погас. Вот снова зажгли, только фитиль прикрутили.

— Что делать?— Мисс Макманус взывала к нам, будто полковника тут и не было.

— Я сообщу миссис Бэрр...— начал мистер Крафт.

— Ни за что.— Старческий голос был тверд.— Наоборот, найдите мне квартиру в Нью-Йорке. Около конторы. Я хочу еще поскрипеть. Только не говорите, что у меня был удар. Говорите просто, что старая рана приковала меня к креслу.

Последние несколько дней мы так всем и рассказываем. Но Леггет знает правду и сегодня вечером просил меня поторопиться и выведать все, что удастся, по поводу Ван Бюрена. Леггет поразительно хладнокровен. А сам ведь тоже умирает.

XXXII

Сегодня полковник первый день в Нью-Йорке. Жилья мы еще не нашли, и пока он остановился на Рид-стрит. Мистер Крафт нашел немку, фрау Витш, она за ним ухаживает; ей поставили койку в комнате рядом с комнатой полковника, и он очень строго на нее смотрит.

Полковник в философском настроении.

— Я с легким сердцем смотрю в лицо смерти. Думаю, предстану перед богом со спокойной душой. Но избавьте меня от его земных агентов! — Бэрра передергивает; он делает мне знак, чтоб я поудобней положил ему ноги на софе; он полулежит, подпертый подушками.

Воспоминания Аарона Бэрра (14)

После смерти Гамильтона я пробыл в «Ричмонд-хилле» десять дней. Признаюсь, я не ожидал отклика, который вызвала наша дуэль. Казалось, никто не дрался на дуэли за всю историю Соединенных Штатов, пока Аарон Бэрр не изобрел этой дьявольской игры, чтобы злодейски убить величайшего из всех американцев (после Джорджа Вашингтона, конечно). Буквально в одночасье высокомерный, презрительный Гамильтон превратился чуть ли не в Иисуса Христа, а я в

Иуду — нет, в Каиафу, злодейски отправившего божество к отцу небесному. Признаюсь, я по сей день испытываю глубокое отвращение к неслыханному лицемерию соотечественников. Девяносто процентов наших газет были республиканскими и добрых два десятилетия поносили Александра Гамильтона. С некоторым удивлением я прочел на их страницах о мученичестве святого Гамильтона, которое он принял от моей злодейской руки. Признаюсь, в те дни, сразу после смерти Гамильтона, мне расхотелось жить с таким народом.

Я получил ободряющие послания от джентльменов, которых не мог считать друзьями. Один — Джордж Клинтон — передал мне устное послание через Мэтта Дэвиса: «Вы абсолютно ни в чем не виноваты, ибо никто не заставлял ублюдка Гамильтона с вами драться».

Такова была неофициальная точка зрения всех джентльменов в стране. А как же иначе? От Де Витта Клинтона до Эндрю Джексона, от Генри Клея до Джона Рэндолфа чуть не все наши лидеры замешаны в подобных делах чести. Но ни один джентльмен не стал меня защищать публично. Гамильтон об этом позаботился, хитроумно написав ряд писем потомкам (им, верно, можно писать, что вздумается: ab mortius nihil veritas [1]). Общество так пылало гневом, что нью-йоркское жюри обвинило меня в убийстве — в штате Нью-Джерси!

Двадцать первого июля я уехал из «Ричмонд-хилла». Пока грузили сундуки, я прощался с «маленькой шайкой». Мы изо всех сил старались не вешать носа, хотя знали, что по соседству в Гринич-Вилледжже меня поджидает толпа с веревкой наготове.

Вдруг мы все вздрогнули от громкого воя. Черная женщина вышла из-за хижины у самой воды (где Марта Вашингтон держала лед). Это была старая Мэри, неотъемлемая принадлежность «Ричмонд-хилла».

— Вы не вернетесь, полковник! Никогда!

Старая Мэри плакала и целовала мне руку, как целовала руки у прежних хозяев — Вашингтона и Адамса. Она ошиблась. Я вернулся в «Ричмонд-хилл» в прошлом году. За пятьдесят центов сидел на галерке и смотрел посредственную трагедию. Старая Мэри в одном не совсем ошиблась. Я не вернулся ни в ее «Ричмонд-хилл», ни в свой. От него ничего не осталось — только стены.

Но ни о чем подобном я не думал, отправляясь около десяти вечера в сторону Стаген-Айленда. Помню лишь прекрасную летнюю ночь. Огромные звезды на черном небе. Тихое медленное журчанье Гудзона. Несмотря на опасность, я успокоился, словно дух, отлетевший от надоевшего тела; изображение отделилось от разбитого зеркала: Гамильтон умер, я — остался в живых.

На другой день я заехал к другу в Перт-Амбой, а затем двинулся в Филадельфию, где меня прекрасно приняли, несмотря на неистовство газет.

Я остановился в доме у Чарльза Биддла, и мы по-холостяцки (его семья уехала на лето в город) коротали время.

Вскоре к нам присоединился муж Энн, кузины Чарльза Биддла,— блистательный командующий армией Соединенных Штатов, бригадный генерал Джеймс Уилкинсон.

Однажды вечером мы с Уилкинсоном сидели в уютной библиотеке в доме Биддла (наш хозяин деликатно удалился) и под жужжание знаменитых филадельфийских мух, то и дело сжигающих себя в ярком пламени ламп, Джейми обрисовал мне положение на Западе.

---

[1] О мертвых никогда не говорят правду *(лат.)* — перефразированное латинское выражение «О мертвых говорят либо хорошо, либо ничего».

— Наши ненавидят испанцев. Хотят выжить их из Мобила, из обеих Флорид, из Мексики. Масса Том им тоже осточертел. Осточертели политики Восточного побережья. Осточертело кланяться донам. Им нужен только вождь. Бэрр, им нужны вы.

Джейми потягивал портвейн. Я не узнавал юного генерала прежних дней. Во-первых, он облачился в форму собственного изобретения и из наполеоновского маршала превратился в потрепанного иезуитского монаха. Во-вторых, коренастый юноша времен Революции стал полным, дряблым господином с отвислыми щеками и неморгающими свирепыми глазками свиньи, готовой вот-вот пожрать собственных поросят. Когда-то чистый голос охрип от алкоголя. Но жизнерадостность осталась. Джейми ловко льстил другим и умел похвалить себя. Для политического деятеля это божий дар. Он прекрасно им пользовался. Правда, ему ничего другого и не оставалось. После Революции его армейская карьера закончилась сумбурно и прискорбно (финансовые отчеты генерал-интенданта американской армии так и не сошлись). Уже гражданским лицом отправился он на Запад, чтобы заработать денег в богатом испанском порту Новом Орлеане.

Я считал, что «испанский заговор» — дело гиблое, с тех пор как благодаря покупке Луизианы к Западу присоединился Новый Орлеан. И хоть жители границы не любили своих восточных соотечественников, они жаждали войны с Испанией, а не отделения от Атлантического побережья.

— У меня такое впечатление,— осторожно сказал я,— что Западные штаты сейчас вполне довольны правительством. В конце концов у них ведь есть Новый Орлеан. Вся Миссисипи, за исключением Батон-Ружа, принадлежит теперь Америке.

— Но доны до сих пор в Мобиле. Мы до сих пор лишены Флорид. А они ведь наши, наши, по всей справедливости! — Уилкинсон вдруг заговорил, как Джефферсон.

— Что думает народ в Новом Орлеане?

— Жаждет крови, Бэрр, жаждет крови! Джефферсона ненавидят. Янки ненавидят. Вы и я — мы можем освободить город, нам хватит тысячи — нет, пятисот солдат.

Меня это позабавило.

— Зачем нам столько солдат, когда защитник Нового Орлеана, командующий американской армией — вы!

Уилкинсон засмеялся — ей-богу, так булькает бульон на франклиновской печке (прости мне, Чарли, такое прозаическое сравнение).

— Теперь вы понимаете, почему я вернулся в армию пять лет назад. Что ни говори, я сумел стать командующим. Вы, да я, да еще тысяча солдат — мы возьмем Мексику в три недели.— Круглые, невинные, косящие глаза застыли на мне, словно я единственный якорь спасенья в текучем мире.

— Но нужна поддержка с моря.— Сам я еще не решил ничего о своем будущем, но, как и Гамильтон, придавал Мексике большое значение, подробно изучил оборонительные сооружения вице-короля и прекрасно знал, что без поддержки хоть одной морской эскадры и захвата порта Вера-Крус попытка вторжения с суши обречена на провал.

— Все устроится! — Джейми рассчитывал подхлестнуть меня своим азартом. Его интересовала и точка зрения президента. Я сказал, что Джефферсон придет в восторг, если Мексику удастся отторгнуть от Испании.— Но вряд ли он обрадуется, если это сделаю я.

Мне бы поостеречься Джейми. Но я просто не принимал его всерьез. Да и не я один. Потому-то он и сумел обмануть Вашингтона,

Гамильтона, меня и еще множество влиятельных испанцев и американцев, как военных, так и гражданских.

На другое утро, мучаясь страшной головной болью, командующий отбыл, предложив мне встретиться с неким мистером Уильямсоном; им оказался полковник Чарльз Уильямсон, мой старый знакомый со времен Революции.

— Вы убедитесь в его благонадежности. И у него связи в Англии. К нему прислушивается премьер-министр Питт. Премьер-министр готов сделать все, что он скажет.

— А что он скажет?

Джейми взглянул на меня сквозь пар от черного французского кофе.

— У него есть план завоевания Мексики...

— У кого его нет?

— Но ему — нам — необходим вождь. Нам нужен Аарон Бэрр. Слово за вами... Вчера вечером вы говорили о поддержке с моря у Вера-Крус.— Сколько бы Джейми ни выпил, он не забывал слов собеседника, но, как подобает истинному конспиратору, помнил и каждое свое слово.— Так вот, Англия предоставит флот.

Я колебался. Джейми и слушать не хотел никаких возражений.

— Все дело в вас, Бэрр. Повидайтесь с Уильямсоном! Он ждет вас в «Гостинице Оллера». А пока прощайте, мой командир, мой повелитель! — Я боялся, что он вот-вот поцелует мне руку или поцелует в обе щеки на испанский манер. Но Джейми просто откозырял мне.

В тот же день я отправился в «Гостиницу Оллера». Мне не хотелось появляться на людях, ибо на меня глазели с напряженным интересом. К счастью, без открытой враждебности. Меня защищало не столько мое положение второго должностного лица в республике, сколько нелепая (и непреходящая) слава меткого стрелка. Никто не решался меня оскорбить.

Я чувствовал себя словно в невидимой броне, входя с солнечной улицы в прохладный полумрак гостиницы, где меня смущенно приветствовали друзья, и среди них полковник Уильямсон. Он отдал мне честь.

— Вы нужны нам, сэр, вы нужны нам.

Он отвел меня в темный угол гостиной на первом этаже и целый час показывал мне карты; шептал о войсках, кораблях, провианте. Наконец:

— Я сейчас еду в Англию. Премьер-министру нужен план. У меня он есть. Ему нужен генерал. Можно ли сказать, что нашел подходящего человека?

Я колебался.

— Вы знаете, как меня интересует Мексика. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что и президент тоже хотел бы видеть Мексику свободной...

— Мы об этом слышали! — Я произвел на Уильямсона должное впечатление.

— Но без войны между Испанией и Соединенными Штатами не обойтись.

— На границе неспокойно.

— Там всегда неспокойно. Нужна война.

— Войну можно начать. Генерал Уилкинсон...— Ему не пришлось ставить точки над «i». Мы оба понимали, что Уилкинсон в любой момент может устроить пограничный инцидент.

Я спросил:

— Чего можно ждать от Англии?

— Мы можем на нее рассчитывать. Питт за нас.

К нам подошли доброжелатели. Я поднялся, и мы пожали друг другу руки. Когда они ушли, Уильямсон сказал:

— Я в восторге, полковник.

— Мне все это просто интересно, не более.

— Конечно. Вы ждете гарантий. Прекрасно. В этой гостинице наверху вас ждет очень важная особа.— Уильямсон предложил мне подняться на второй этаж, дойти до угловой комнаты и дважды постучать в дверь. Так я и сделал.

— Войдите.— Отрывистый голос. Я открыл дверь и увидел посреди комнаты посла его британского величества в Соединенных Штатах Энтони Мерри. Он нервничал.

— Вице-президент, как любезно с вашей стороны.— Мерри склонил голову. Я ответил тем же. Мы соблюдали этикет, насколько это было возможно в гостиничном номере, где еще не застлана кровать после прежнего постояльца, а плевательница до краев полна табачной жвачкой. Сесть было не на что, и нам пришлось стоять.

Мы заговорили о нашей последней встрече в Вашингтоне в доме президента.

— Я рад, что нахожусь в Филадельфии. Мы с женой чудесно проводим здесь лето. Город как город. Не то что ваша столица.

Супруги Мерри поселились в Вашингтоне менее года назад, и жизнь их там сложилась неудачно, ибо Джефферсон умудрился оскорбить их на первом же президентском обеде. Демократичный Джефферсон решил в тот год отказаться от протокола. За стол садились не по рангу, а как попало. Оттесненные гостями, вознамерившимися сесть поближе к Солнцу демократии, супруги Мерри сочли, что Англии нанесено смертельное оскорбление, и миссис Мерри никогда больше не приезжала во дворец, к удовольствию Джефферсона, называвшего ее не иначе как «вздорной ведьмой». Лично я находил ее очаровательной — крупная, плотная, как бывают англичанки, остроумная; Джефферсон не выносил таких женщин,— и справился о здоровье миссис Мерри.

— Бедняжке очень нехорошо. Совсем слегла. Когда соберется конгресс, мне придется вернуться без нее.

— Нам будет не хватать ее в столице.

Мерри ухватился за эти слова:

— Значит, вы намереваетесь вернуться?

— Конечно, я должен осенью председательствовать в сенате.

— Понимаю.

Мерри был самым недипломатичным дипломатом. Он посмотрел на меня с таким удивлением, что мне пришлось объяснить:

— В Вашингтоне меня не обвиняют в убийстве, только в штате Нью-Йорк.

— Понимаю.— Ему явно стало не по себе.

— Обвинение против меня в Нью-Йорке, разумеется, незаконно, ибо роковая стычка произошла в Нью-Джерси.

— Понимаю.

— Меня, конечно, могли обвинить в убийстве в Нью-Джерси, но там пока никаких акций не предпринимается.— На самом деле как раз в это время против меня возбудили дело об убийстве в округе Берген, а штат Нью-Йорк, задним числом справившись с законом, заменил обвинение в убийстве обвинением в ином правонарушении, а именно: в вызове на дуэль.

Мерри осторожно заговорил о сенаторе Пикеринге. Нет ли от него вестей? Я тоже осторожно дал понять, что не надеюсь на успех плана федералистов отделить Новую Англию от Союза.

— Для успеха нужна поддержка большинства в Новой Англии, а ее у наших друзей нет. И еще для успеха необходим Нью-Йорк.

Мерри кивнул.

— Ваше поражение, вице-президент,— серьзный удар. Без Нью-Йорка...— Он умолк. Он мог и не продолжать. Все знали, что британский посланник поощрял федералистов и вообще всех, кто стремился расколоть Союз. Из-за этой-то политики, возможно, диктуемой личными причинами (по многим данным, английское правительство не разделяло неприязни Мерри к Джефферсону), его превосходительство и я стояли друг против друга подле неубранной постели в «Гостинице Оллера».

— Вы знакомы с планом полковника Уильямсона? — Мерри приложил к носу кружевной платок, пропитанный одеколоном, и втянул в себя воздух с таким удовольствием, словно нюхал табак.

— Думаю, его план отражает желание американцев расширить нашу империю к западу и к югу.

— Вице-президент, а вы желали бы осуществить такое завоевание?

— Освобождение, посланник! Освобождение многострадального народа от испанского владычества.

— Именно. Освобождение. Именно.

Я предпринял обходный маневр:

— В марте будущего года я слагаю полномочия вице-президента. У меня много планов, и все связаны с Западом. Конечно, мне по душе любой дельный план освобождения Мексики. Полагаю, мои друзья в Кентукки и Теннесси сплотятся вокруг меня. Они ненавидят донов. Они клянутся мне в преданности. Полагаю, я смогу собрать значительную армию и смогу ее финансировать.— Смелое заявление. Он знал о моих долгах, но я надеялся достать денег на такую экспедицию, ибо Мексика — Эльдорадо для каждого американца, она магнитом притягивает наших азартных игроков.

— Да, мне уже говорили. Вам стоит только захотеть.

— К сожалению, такая экспедиция потребует поддержки с моря, а тут уж не хватит моих средств и возможностей.

— Понимаю.

— Итак, если Англия поможет нам с моря, я обещаю вам Мексику, свободную от Испании и от Соединенных Штатов.— Он отнял платок от лица, которое сразу поглупело от напряженных математических подсчетов.— Мексику, неразрывно связанную с Англией.— Я объявил ставку.

— Я все доложу правительству его величества. Я знаю, премьер-министр заинтересован в проекте.

— Вы, без сомнения, тоже.

— Я? — Он непонимающе смотрел на меня.— О да, конечно. Я отражаю мнение правительства его величества.

— Нет, посланник. Я имею в виду, что и вам, быть может, хочется помочь — издалека, разумеется,— освобождению Мексики. Награда — если такие вещи вас занимают — будет немалая.— Нельзя пренебрегать человеческим корыстолюбием.

— Я могу помочь только очень уж издалека.— Мерри пробормотал что-то относительно долга перед монархом, но зерно, как говорится, упало на благодатную почву.

За стеной горланили уроженцы Запада. Мерри передернуло: он не отличался демократизмом. «Видеть не могу, как одевается ваш президент,— говаривал он с отвращением.— Стоптанные шлепанцы!»

— Вы очень популярны на Западе, полковник.— Мерри прочистил горло.

— Я всегда служил там народу.

Тут Мерри объявил свою ставку. Он произнес явно заготовленную фразу:

— Насколько я понял со слов полковника Уильямсона, вы хотели бы возглавить Западные штаты, если они расторгнут союз с Соединенными Штатами.

Я подивился смелости Мерри и самонадеянности Уильямсона. С ними, оказывается, надо держать ухо востро.

— Сэр,— сказал я,— я не просил полковника Уильямсона и никого другого говорить за меня.

— Прошу извинить меня, сэр. Я думал...

— Но это не секрет: я считаю, что Западные штаты еще образуют собственное государство вокруг Миссисипи.

— Вам этого хочется?

— Я отмечаю только, что согласно конституции они имеют на это право. Моя точка зрения совпадает с точкой зрения мистера Джефферсона.

Мерри чихнул в платок. Высморкался. Разволновался. Казалось бы, чем не превосходная тема для доклада министерству иностранных дел? Однако же он сказал:

— Но президент не хочет отделения.

— Он утверждает, что ему это безразлично. В его глазах все мы— американцы, восточные, или западные, или какие-нибудь еще.

— Понимаю. Понимаю.

Я вернулся к своему предложению. Я говорил без обиняков:

— Если ваше правительство поможет мне с моря освободить Мексику, действия на суше я беру на себя.

Он тотчас вскинулся:

— Разумеется, я буду советовать правительству его величества вас поддержать. Что же до Западных штатов...

— Ну, кто знает, кому они присягнут в верности, когда я уже буду в Мехико?

Я был осторожен, ни в коем случае не желая ввязываться в раскол Союза. Меня интересовали: во-первых, Мексика, во-вторых, Техас, в-третьих, обе Флориды. Я никогда не собирался делаться королем Кентукки. Тем не менее Джефферсон счел, что именно тогда я замыслил измену.

— Вы должны отобедать у нас до вашего отъезда.

— Но ведь миссис Мерри больна.

— Только в Вашингтоне, где она страдает от острого джеффферсонита. Филадельфия благотворно исцеляет ее недуг.

— С удовольствием у вас отобедаю.— Я говорил искренне. Мне нравилось пренебрежение миссис Мерри к нашей империи. Кстати, в связи с гордым заявлением Джефферсона, что с прибавлением территории Луизианы Соединенные Штаты стали второй державой на земле, она мне сказала: «Ваш президент сошел с ума! Африка намного больше, а народ ее намного черней даже виргинцев, зато в Лондоне гораздо больше белых, чем во всей «империи» мистера Джефферсона! Попомните мои слова: вы, несчастные, еще будете умолять, чтоб мы взяли вас обратно, но мы никогда уже этого не сделаем!»

Вскоре после нашей встречи в «Гостинице Оллера» полковник Уильямсон уехал в Англию, чтобы сообщить премьер-министру Питту, что я согласен возглавить поход в Мексику. Между тем Чарльз Биддл устроил обед в мою честь. Позвали и моего старого друга испанского посланника дона Карлоса Ирухо. Его любили, особенно благодаря жене, дочери Маккина — губернатора Пенсильвании.

— Нравится вашему превосходительству в Филадельфии? — И дон Карлос поднес спичку к сигаре, которою только что меня угостил.

Я блаженно затянулся. Сказал, что всегда рад повидать филадельфийских друзей, старых и новых.

— Я вот тут даже разговаривал с вашим коллегой мистером Мерри.— Я знал, что рано или поздно дон Карлос узнает о нашей встрече.— Мы обсуждали протокольную войну в президентском дворце.

— Ужасно! — Дон Карлос на самом деле расстроился или сделал вид, что огорчен.

Затем у нас состоялся приятный разговор, и я сказал ему, что считаю притязания мистера Джефферсона на Западную Флориду чрезмерными. Я заметил также, что побывать там этим летом было бы для меня небесполезно.

— Я дам вам паспорт, когда захотите.— Дон Карлос весьма любезно улыбнулся.— Кстати, губернатор Нью-Джерси недавно просил моего тестя, губернатора Пенсильвании, подвергнуть вас экстрадиции за убийство.

— Когда?

— Депеша пришла сегодня утром. Давайте-ка лучше я завтра же утром выдам вам паспорт.

— Вы очень любезны.

— Мой тесть — ваш почитатель, полковник. Как и все мы.— Вежливый поклон. Я понял, что надо как можно скорее бежать из Филадельфии.

(Окончание следует)

Критика

ФРИДРИХ ХИТЦЕР

ЛИТЕРАТУРА АГРЕССИИ

Обычно, если книжный магазин у нас, в ФРГ, помимо хорошо оформленной витрины, в состоянии организовать еще и специальную рекламу, он преуспевает. Если к тому же он имеет возможность рассылать большое количество рекламных печатных изданий по почте, можно сделать вывод о его крупном товарообороте. Мюнхенский книжный магазин «Иоганнес буххандлунг» в центре Старого города — именно такое предприятие.

В апреле 1976 года этот магазин распространил рекламный проспект, посвященный книгам, которые выпускают издательства «Бехтле», «Ланген — Мюллер» и «Хербиг» в качестве приложения к «Мюнхнер штадтанцайгер». Эта газета некогда была органом городского муниципалитета. И до сих пор, благодаря тому, что она сохранила старое название, большинство читателей воспринимает ее как орган официальный, хотя газета эта давно уже является собственностью частного лица и выходит два раза в неделю в качестве приложения к «Зюддойче цайтунг».

Владелец «Штадтанцайгер» — Эрих Хартштейн, один из публицистов правого направления, завоевавший доверие соответствующих кругов в первую очередь доносами и публичными клеветническими заявлениями по адресу левых социал-демократов.

Судя по справке издательства, упомянутый рекламный проспект распространялся по меньшей мере в семи западногерманских городах. Из общего его тиража только книжный магазин «Иоганнес буххандлунг» получил 100 тысяч экземпляров. Названия включенных в проспект книг уже сами по себе представляют типичный образец сенсационной, полной глубокомысленных претензий литературы, тема которой — фашизм и война.

6 августа 1976 года — спустя четыре месяца после рассылки проспекта — я побывал в том самом книжном магазине на Зендлингерштрассе, о котором речь шла выше. Его владелица — баронесса фон Грайфенштайн — женщина, судя по всему, весьма предприимчивая. Говорят, для успешного сбыта своего товара она умело пользуется не только рекламными проспектами, но и адресами пенсионеров — бывших офицеров, чиновников, служащих.

Многие из книг, рекламированных в весеннем проспекте, все еще были выставлены на самом видном месте — в одной из трех витрин, обращающих на себя, пожалуй, внимание каждого, кто проходит по этой стороне Зендлингерштрассе.

«Актуальные документы современной истории» — так по крайней мере гласит реклама — оказались весьма дорогими. Они стоят от 30 до 36 марок, и тем не менее тираж их поразительно велик. В витрине они стояли по соседству с литературой явно мирного характера, книгами для детей и юношества, принадлежащими таким авторам, как Джеймс Крюсс, Отфрид Пройслер, Астрид Линдгрен и Валентин Катаев.

На витрине было несколько книг о войне и фашизме иностранных авторов. Среди них я обнаружил книгу полковника Фредерика Уинтерботхамса «Немецкая шифровальная машина помогла союзникам победить — акция ультра». Книга обрашала на себя внимание, поскольку ей сопутствовала внушительная реклама — цитата из «Шпигеля»: «История подлежит ревизии». Вне сомнения, еще предстоит пересмотр тех буржуазных

© „Kürbiskern", № 1, 1977 г.

концепций истории второй мировой войны, которые распространяются и всячески поддерживаются правящими кругами Федеративной Республики. Перед нашими демократическими силами в этой области стоят трудные задачи, решение которых потребует времени. Но используемая как реклама цитата из «Шпигеля» означает нечто иное: даже умеренная буржуазная критика гитлеровского фашизма, его агрессивных войн, нападений на другие народы должна начисто исчезнуть из памяти сегодняшних граждан ФРГ.

В 50-е годы, когда был запущен двигатель «холодной войны», широкие массы населения страны были настроены достаточно отрицательно по отношению к недавнему прошлому. Миллионы людей на собственном опыте познали, что несет нападение на другие государства и народы. Правда, большинство из них до сих пор не воспринимает развязанную Германией войну именно как агрессию. А тем временем людям нового поколения, представляющим себе прошлое лишь теоретически, предлагается заново состряпанная история. Не умея проанализировать условия того периода, они не в состоянии объективно признать, что Германия является единственным виновником второй мировой войны. К тому же литература, уходящая от подлинного социального и экономического анализа событий истории, игнорирующая их взаимосвязь, всячески пропагандируется издательствами, средствами массовой информации, а также писателями и политиками, мировоззрение которых покоится на антикоммунизме и антисоветизме.

Я собираюсь охарактеризовать лишь некоторые издания из тех, что содержат «историческую правду» или «актуальные документы современной истории» и продаются, судя по всему, с неизменным успехом. Существуют еще и книги, так сказать, с техническим уклоном. Их авторы повествуют о различных родах войск, о боевых подразделениях, действовавших на всех фронтах, на суше, на воде и в воздухе. Подобные издания явно спекулируют на понятном интересе молодых людей к технике. Молодежь должна узнать из этих книг, что немецкая военная техника, бывшая в прошлом могучей и несокрушимой, осталась такой же и поныне. Война здесь изображается в более обтекаемой форме, она как бы препарируется в духе времени, представая почти безобидной. Ибо что касается причин войны и последовавшей, несмотря на «исключительную технику», военной катастрофы, милитаристско-технократические издания предпочитают хранить молчание по этому вопросу. Они дезориентируют читателей, сводя их технические интересы лишь к орудиям разрушения. А ведь для безработной молодежи, для тех, кто лишен возможности получить образование, настроения, внушаемые подобными книгами, могут при определенных обстоятельствах показаться последней соломинкой, за которую человек хватается в борьбе за существование.

На протяжении вот уже ряда лет большим успехом пользуются в ФРГ издания о Гитлере. Однако того, кто попытался бы найти здесь анализ исторических причин зарождения и крушения нацистского режима, постигнет чувство разочарования. Еще бы, реакция в изобилии снабжает массового читателя литературой, в которой полностью оправдывается фашистское прошлое.

Если на первых порах в милитаристской и реваншистской литературе, издававшейся в ФРГ, прежний полубог Адольф усилиями реакционных кругов превращался в сущего дьявола, единственного виновника того, что произошло,— все прочие лишь выполняли его приказы,— то семидесятые годы принесли с собой новый трюк: прежнего дьявола теперь пытаются превратить в трагического героя-одиночку, который не смог, к сожалению, уничтожить и вырвать с корнем «большевистский терроризм».

Подобное преображение смыкается довольно близко с тем вариантом, согласно которому «дело Гитлера» относится к области чистой психопатологии. Оба варианта изрядно приправлены ожившей националистической идеологией. Для фальсификации истории используются многочисленные окольные пути, протаскивается утверждение, будто Адольф Гитлер, несмотря ни на что, остается величайшим из великих — и как негодяй, и как психопат, и как фюрер.

Иоахим Фест, в настоящее время главный редактор крупной буржуазной газеты «Франкфуртер альгемайне цайтунг», один из наиболее восхваляемых биографов Гитлера, в предисловии к фотоальбому «Адольф Гитлер, образ диктатора» (издательство «Хербиг») сравнивает его с Руссо, Мирабо, Робеспьером, Наполеоном и другими. Невероятно! Таким образом немцы в лице Гитлера не просто получили диктатора, но обрели величайшего диктатора всех времен, ибо он воплощал в себе буквально все ипостаси. Нарисованный здесь искаженный портрет отлично выполнен, обману придан всеобъемлющий, тотальный характер. Наличие такой злостной демагогии можно предположить только у человека, для которого самым нежелательным в Гитлере должна была казаться его мнимая революционность.

В ФРГ до сих пор запрещено издавать, а также распространять книгу Гитлера «Моя борьба». Не столь уж существенно, служит ли этот запрет в качестве алиби нашему обществу или нет, ибо и без данной книги «дух Гитлера» реально существует и распространяется. Ведь и раньше «Мою борьбу» читали не так уж много немцев из числа тех, кто встал на сторону гитлеровского фашизма.

Как в таком случае поступает находчивый издатель? Он позволяет автору высказываться ровно настолько, насколько необходимо для того, чтобы создать впечатление аутентичного текста и в то же время

предотвратить возможный судебный процесс, который, если возникнут сомнения, никто уже не примет всерьез.

Издательством «Бехтле» выпущена книга под названием «Адольф Гитлер. Моя борьба. Планы завоевания мира. История. Извлечения. Комментарии Вернера Мазера». Вернер Мазер, сообщает издательство, является автором книги «Адольф Гитлер, легенды—мифы—действительность»—книги о Гитлере, которая наиболее часто переводится в западном мире. Как и другие буржуазные биографы Гитлера, Мазер приводит столь огромное количество цифр, примечаний и различных эпизодов, что перед лицом такой эрудиции читатель почтительно складывает руки, а под конец вслед за автором готов уверовать в то, что Гитлер был отчаянно смелым, одержимым и в некотором смысле достойным восхищения парнем, кое-что совершившим в этом мире. Ни в одной из подобных книг о Гитлере читатель не найдет и слова о том, что без поддержки крупной буржуазии Гитлер и его «движение» никогда не имели бы успеха. Более или менее отчетливо вкраплены в текст и лживые измышления, будто в приходе гитлеровского фашизма к власти были повинны в конечном итоге коммунисты.

Осенью 1976 года вниманию читателей были вновь предложены книги, в которых Гитлер представлен как объект «научного» исследования. Отдельные аспекты психологии фашистского диктатора рассматриваются здесь в полном отрыве от исторического процесса, что позволяет игнорировать любую взаимосвязь между фашизмом, империализмом и господством капитала. Так, Эрих Фромм в книге «Анатомия человеческой опустошенности» стремится доказать, что Гитлер в конечном счете являл собой пример «клинического случая некрофилии». Вальтер К. Лангер в своей книге «Психограмма Адольфа Гитлера. Анализ его поведения и личности» (написана в 1942 году для психологической войны, ведущейся США, издательство «Мольден») сводит всю проблему лишь к истории болезни невротика Гитлера. Гельм Штирлин («Адольф Гитлер. Перспективы семейных отношений», издательство «Зуркамп») предлагает свой вариант, согласно которому нарушение супружеской верности и кровосмешение, в коих была повинна мать Гитлера, должны были по-своему оказать влияние на определенные социальные и политические процессы в стране.

В мемуарной литературе место гитлеровских генералов и руководящих нацистских политиков, подобных Шпееру и Шираху, занимают теперь незначительные фигуры придворных из нацистской государственной верхушки. В качестве примера можно привести книгу Генриетты фон Ширах «Цена величия». Ее подзаголовок гласит: «История глазами современника. Литературное свидетельство женщины из гитлеровских сфер власти». Автор мемуаров, жена фюрера гитлерюгенда и дочь личного фотографа Гитлера Генриха Гофмана, естественно, представлена как «критик» нацизма. Ее свидетельства являются, мол, выражением «человеческой трагедии», говорят о «грандиозном» и «захватывающем» (Карл Цукмайер). Книгу расхваливают еще и потому, что она-де «могла бы избавить новое поколение от аналогичного чувства трагической вины» (Ганс Вайгель). Но подлинная цель, которую преследуют подобные утверждения,— скрыть, что перед нами всего лишь плохо написанное произведение, автор которого стремится оправдать прошлое и похвалить себя. Во всяком случае, если молодое поколение уверует в описываемую «человеческую трагедию», оно должно будет прийти к выводу, что в те времена все было не так уж плохо. К тому же Генриетта фон Ширах находилась, видите ли, в оппозиции к фюреру, ведь она — согласно информации, исходящей от Альберта Шпеера,— однажды в присутствии Гитлера критически отозвалась о депортации евреев в Голландии, вследствие чего отношение к ней изменилось: ее исключили из списка лиц, приглашаемых обычно к фюреру.

В предисловии Генриетты фон Ширах к мемуарам своего отца («Гитлер, каким я его видел. Записки личного фотографа», издательство «Хербиг») следующим образом характеризуются «оппозиционные» настроения, якобы имевшие место в высокопоставленных нацистских кругах: «Будучи личным другом Гитлера с ранних лет, он мог позволить себе высказывать все, что было у него на сердце. Когда уже во время войны он показал Гитлеру его последние фотографии, тот сказал: «Гофман, вы фотографируете уже не так хорошо, как прежде». На что Гофман, смеясь, ответил: «Боюсь, что и вы правите сейчас уже не так хорошо, как прежде».

Для «научного» обоснования того положения, будто период национал-социализма являлся своего рода высокой трагедией, достойной быть запечатленной в героическом эпосе, а не кровавым преступлением, продуманным и организованным во всех деталях, буржуазные издательства из года в год провозглашают самые последние и самые новейшие «истины». Наиболее выдающимся примером этого является «актуальный документ современной истории» Ганса Отто Майснера, единственного сына доктора Отто Майснера, статс-секретаря, а позднее государственного министра третьего рейха, озаглавленный: «30 января 1933. Захват власти Гитлером» (издательство «Бехтле»).

Поскольку события, связанные с концом Веймарской республики, имеют большое значение для сегодняшних процессов, происходящих в ФРГ, естественно, важную роль играет и то, как именно изображается так называемый захват власти. При этом часто сознательно опускается или извращается тот факт, что Гитлера по сути дела к власти протолкнули. Майснер всего лишь использует старый демагогический тезис о левом и правом радикализме. Читатели, к

ФРИДРИХ ХИТЦЕР
ЛИТЕРАТУРА АГРЕССИИ

примеру, узнают о том, что пропагандистская кампания Геббельса, направленная против Веймарской республики, «отличалась от аналогичной кампании коммунистов лишь большей точностью и умением». Автор не останавливается даже перед измышлением, будто захвата власти национал-социалистской партией желали в первую очередь коммунисты.

К категории книг, якобы критикующих фашизм, а в действительности восхваляющих его, относится вышедшая в 1975 году «История гитлерюгенда» (издательство «Шульц»). Как и во всех тенденциозных «исследованиях» подобного рода, здесь нагромождены горы всевозможных подробностей, в которых читатель буквально тонет и оказывается уже не в состоянии отличить правду от полуправды или от прямой лжи. В главе «Каковы же последствия?» автор Гансиоахим В. Кох, историк из Мюнхена, проживающий в Англии, выпускает, так сказать, кошку из мешка: совращение немецкой молодежи с истинного пути будто бы продолжалось после 1945 года в ГДР, а с 1968 года имеет место также и в ФРГ, где «на этот раз речь идет о борьбе против «монополистической прессы», воплощением которой является Аксель Шпрингер».

Как все оказывается просто, если под рукой всегда наготове демагогическая формула, которую можно пристегнуть ко всем явлениям современной истории. Раз Гитлер сошел со сцены, значит, условий для фашизма больше не существует, а следовательно, страх перед фашизмом должен уступить место страху перед коммунизмом!

Поэтому и не удивительно, что ныне антисоветизм столь широко предлагает свои услуги, начиная с материалов, претендующих на «серьезность» и «глубину», и кончая явно низкопробными изданиями, рассчитанными на массового читателя. Обратимся сначала к так называемому «серьезному» изданию.

«Тайная полиция: 1937—1945» — эта книга Вильгельма фон Шрамма, впервые увидевшая свет в 1974 году в мюнхенском издательстве «Ланген—Мюллер», преподносится как работа, «чрезвычайно обогатившая историю нашего времени, историю второй мировой войны». Автор — в прошлом работник генштаба, служащий вермахта — приходит, среди прочего, к сенсационному выводу, будто «битва за Берлин была проиграна в Швейцарии».

Когда на страницах книги читаешь, что «десятки тысяч людей разных национальностей в Советском Союзе встречали немцев как освободителей», невольно задаешь себе вопрос, как это вообще вторгшиеся в СССР войска фашистской Германии и ее союзников наталкивались на какое-то сопротивление? Если верить оценке Рейнгарда Гелена, летом 1942 года от 700 тысяч до одного миллиона граждан СССР добровольно сотрудничали с немцами, так что «в повестку дня встал лозунг — освобождение вместо завоевания».

Почему же, однако, подобное «освобождение» потерпело крах? И на это есть готовый ответ. Измена и глупости, совершенные Гитлером, помешали окончательной победе над большевизмом, и значит, теперь — после 1945 года — к ней нужно готовиться более тщательно.

Среди рассказчиков консервативного направления, часто оперирующих документальным материалом, книжный магазин «Иоганнес буххандлунг» выделяет некоего Вольфганга Пауля, написавшего уже изрядное количество книг о войне. Война изображается здесь в полном соответствии с представлениями широких буржуазных и мелкобуржуазных кругов. Речь идет ни больше ни меньше как о мировом духе, вобравшем в себя и горькую судьбу военного времени. В соответствии с этим, если верить рекламе, книга Пауля «Сентябрьские решения. Чудо на Марне» (издательство «Бехтле») обнажает глобальные взаимосвязи эпохи. Подобное, носящее эпохальный характер познание исторического процесса достигает у Пауля кульминации в изречениях типа: «История состоит из напряжения и расслабления». Можно подумать, что речь идет о процедурах в каком-нибудь массажном салоне, посещаемом обычно высокопоставленными господами из правящей элиты, для которых исторические судьбы народов несут в себе нечто дикое и необузданное. (О получаемых ими прибылях господа, как правило, не упоминают.)

Другая книга Вольфганга Пауля «Замороженная победа. Битва за Москву: 1941—1942» (издательство «Бехтле») действительно освещает одну из глав мировой истории — по этому поводу мы не будем спорить с приложенным к книге рекламным проспектом,— однако освещение это оказывается значительно ниже того уровня, к которому обязывает затронутая тема. Вольфганг Пауль предпочитает удобные исторические параллели: ничто не меняется на Западе — и Наполеон потерпел в России поражение.

К сожалению, так и остается неясным, почему же все-таки потерпела поражение гитлеровская Германия. Приводятся, правда, и свои соображения: Гитлер бросил против Советского Союза «устаревшие истребители», а против Англии — «истребители новейшей конструкции». План «Барбаросса» готовился с «ужасающим легкомыслием», однако никто не мог уже удержать немцев — согласно Вольфгангу Паулю — от того, чтобы «по приказу одного человека вторгнуться в Россию».

Среди бурного потока реваншистской литературы уже само по себе признание автора, что именно немцы вторглись в Советский Союз, можно было бы прямо-таки принять за свидетельство прогрессивного образа мыслей. Однако подобное впечатление быстро сходит на нет: оказывается, планы завоевателей перечеркнули недостаточная стратегическая подготовка и неудовлетворительное оснащение боевой техникой. Это была «замороженная победа». Победил «генерал мороз», хотя, казалось бы, всем давно известно, что погода одинакова и по ту и по другую сторону фронта. Вольфганг

Пауль умалчивает о такой весьма существенной стороне вопроса, как то, какую именно войну ведет армия и народ: справедливую, освободительную, защищающую свою страну или же захватническую, цель которой — поработить другие народы. Вольфганг Пауль скорее склонен рассматривать войну как нечто фатальное, как извечно повторяющуюся неизбежность: «Оказывается, люди вновь и вновь входят в одну и ту же реку, куда бы ни текли ее воды, вновь и вновь превращая мировую историю в страшный суд». И что же в итоге? Не напоминание, не предостережение, но внеисторический нигилизм, помогающий оправдать агрессивные войны. Подобной цели служит в наши дни и та военная литература, что стремится придать ореол благородства и рыцарственности солдатам бундесвера, выступающим в роли защитников правящих классов.

«Памяти фельдмаршала Роммеля и всех, кто пал в Африке в рыцарском бою и покоится в песках пустыни вдали от родины» — это посвящение книги Ганса-Герта фон Эзебека «Африканский корпус. Победа и поражение», выпускаемой уже пятым изданием (общий тираж — около 23 тысяч).

Отправной точкой размышлений Эзебека является тот печальный — с точки зрения автора — факт, что Германия никак не могла рассчитывать на Италию в смысле «облегчения» своего военного положения. (Вообще слабые боевые качества итальянских, румынских и венгерских солдат — тема широко распространенная в реваншистской литературе.)

Чтобы окружить рыцарские достоинства немецкого солдата ореолом трагедийности, читатели подробно вводятся в курс дела. Сообщается, например, что при «первом же ударе» врага «роскошный образ жизни» итальянцев дал трещину. «Боевой дух дивизий» рассеялся, «как туман в лучах знойного солнца пустыни». И тут возникает Роммель, этакий герой пустыни, которому удалось решить почти «неразрешимую задачу».

Затем на двухстах тридцати четырех страницах следуют карты, документальные и не совсем документальные отрывки, снабженные «еще не публиковавшимся иллюстративным материалом». Таково «первое изображение военных действий в Африке с точки зрения немца». Эта «точка зрения» восходит к фашистской стратегии и тактике в Северной Африке, и книга по существу не содержит ничего, кроме официальных военных донесений того времени. Война, которую вел немецкий фашизм, предстает здесь в стилизованном и извращенном виде; на этой войне, оказывается, проявлялись самые благородные человеческие качества, храбрость и мужество существовали в самом чистом и первозданном виде. Истинные рыцари меча как бы поучают современную молодежь: «Взгляните! Вот какими мы были! Берите с нас пример! Все остальное — антинемецкая пропаганда!»

Впрочем, не обошлось и без некоторых рецептов «боевого духа» НАТО, согласно которым на Восточном фронте, где «обитали варвары», война и не могла быть рыцарской. Зато, сражаясь против англичан и американцев, немецкий солдат мог проявить свои лучшие боевые качества.

Наряду с «героическим эпосом» такого рода немало встречается и сентиментальных, порой прямо-таки опереточных произведений о тех, кто помогал немецким фашистам «в борьбе против большевизма». В качестве примера можно привести книгу Вольфганга Шварца «Казаки».

Издательство «Бехтле», неутомимое в своих усилиях реабилитировать милитаристский и фашистский образ мыслей, сопровождает эту на редкость халтурную эпопею следующим текстом: «Литературными средствами эта книга передает одну из молчаливых трагедий века, с недавнего времени вновь приковавшую к себе внимание человечества».

Согласно тексту на суперобложке автор был приговорен в Советском Союзе к смертной казни за принадлежность к казацкому корпусу фон Паннвица. Кстати, автору, оказывается, в свое время была присуждена премия Шиллера и ряд других литературных наград. Вряд ли стоит приводить примеры, демонстрирующие убогий литературный язык, пустоту содержания и сентиментальный фашистский пафос книги. Она принадлежит к той категории массовой литературы ФРГ, которая культивирует этакую романтику в русско-казацком стиле, явно не свободную и от антисоветских настроений. Когда на страницах подобных книжек пляшут и поют казаки, кажется, что сердца западногерманских читателей должны отстукивать в такт..

И все же с уверенностью можно сказать, что «Казаки» Вольфганга Шварца, вместе с другими книгами, предлагаемыми за приличную цену книжным магазином «Иоганнес буххандлунг», как и многими другими книжными магазинами ФРГ, не в состоянии конкурировать с теми небольшими романами, солдатскими брошюрками массового потребления, которые вот уже на протяжении двух с половиной десятилетий выпускает издательство «Бауэр-Пабель» в Раштатте — крупный концерн, специализирующийся на милитаристской и профашистской массовой литературе.

Эти издания-брошюры, изготовленные методом поточного производства, продаются, как правило, в киосках и универмагах. Выпускаются они каждую неделю стотысячным тиражом. Их объем никогда не превышает 60—70 страниц.

В тот месяц, когда я посетил магазин «Иоганнес буххандлунг», я также приобрел три сброшюрованных сборника, каждый из которых содержал «пять произведений, основанных на фактическом материале». Так гласила обложка серии «Германский вермахт во второй мировой войне». Цена сборников, указанная издательством,— шесть марок. Я же купил их по оптовой

цене, выудив из большого штабеля, недалеко от кассы. Здесь они стоили 1 марку 20 пфеннигов.

Продавцы, работающие в данном отделении магазина, не имеют представления о том, что это за книги,— они всего лишь дешевый товар, который можно купить мимоходом. В какой-нибудь свободный вечер читатель раскроет дешевую брошюру, так легко умещающуюся в кармане, и обнаружит следующие названия книг, «основанных на фактическом материале».

Из брошюры под номером К-112:

Лео Вест. «На шестой батарее. Личные наблюдения участника зимней битвы 1942—1943 годов».

Грубер-Ионсен. «Отрезанные в битве за Донец. Бои между Миусом и Сталинградом».

Ганс Людвиг Даниц. «Семеро за линией вражеского фронта. Рискованная операция по взрыву важного железнодорожного моста в тылу русских войск».

Густав Кус. «Котел у Люблина. На путях отступления между Бугом и Вислой».

Иоганн В. Кромпасс «Все для фронта! Осужден военным трибуналом — отправлен на фронт — погиб при отступлении».

Из брошюры под номером К-114:

Петер Паус. «Еще раз выбрался оттуда. Рота солдат защищает дорогу на Гумбинен».

Рольф О. Беккер. «Мост у Перемышля. Мост, открывший путь целой армии».

Вилл Торла. «Танковая разведывательная группа уточняет обстановку. Немецкий авангард в боях юго-западнее Брянска летом 1941 года».

Вилл Торла. «Передовой отряд, окруженный севернее Луги, докладывает: «Приказ выполнен, мост взорван!»

Ганс Бремер. «Бои за высоту. 24 тонны взрывчатки снесли укрепления на важном оборонительном участке Восточного фронта».

Из брошюры под номером К-113:

Рольф О. Беккер. «Позиции удерживаются. О жертвенном труде врачей и санитаров не говорили информационные сообщения вермахта».

Иог Шульц. «Пулеметчики—огонь! Арьергардные бои на Кавказе».

Лео Вест. «Конец Курской операции. 19-я танковая дивизия на Восточном фронте».

Лео Вест. «Направление—родина. О тяжелых арьергардных боях между Вислой и Рудными горами».

Мартин Эссер. «Деревня у шоссе. Ефрейтор Казак и 11 отставших от своей части солдат пробиваются через линию фронта».

Образцы солдатских брошюр, их реваншистские тенденции достаточно известны. Литература эта живуча, и профашистские издательские планы «Бауэр-Пабеля» учитывают, что она будет иметь рынок сбыта, пока антисоветизм столь широко распространен в Западной Германии.

Все брошюры снабжены картами и фотоснимками. Приводятся технические детали, сведения о различных видах вооружения, дополненные к тому же подлинными или вымышленными письмами читателей.

Мысль, которая проходит красной нитью через все эти брошюрки,— немецкие солдаты дрались за правое дело. А тыловые крысы, предатели, занимавшие высокие посты и отдававшие бессмысленные воинские приказы, позволили отнять у них победу.

В тех же случаях, когда уже просто невозможно умолчать о поражении, которое потерпела гитлеровская армия, всплывает подходящее объяснение: во всех этих случаях Советская Армия и партизаны располагали «превосходством в численности войск, в военной технике и количестве боеприпасов», силы противника чаще всего «были свежими, не измотанными в боях и великолепно вооруженными».

Содержатся здесь и явно чуждые действительности утверждения, будто немцы обращались с советскими военнопленными хорошо и даже благородно, но по приходе Советской Армии их убивали свои же солдаты.

В изображении солдат Советской Армии прослеживаются клише, идущие еще от Двингера [1]. Авторы не жалеют здесь самых черных красок. Например, у Вилла Торла читаем: «Перед немцем стоял огромный верзила, широколицый, с узко посаженными глазами. ...Когда русский увидел находящегося перед ним безоружного немца, он оскалил зубы».

Тот, кто полагает, что литература такого рода, заполнившая западногерманский рынок, ставит себе целью лишь оправдание фашизма, тот заблуждается. Сегодняшняя торговля требует и выявляет новых героев, из числа тех, что до сих пор рекламировались более сдержанно.

С развернутыми знаменами впереди, конечно же, вновь выступает «Дойче националь-цайтунг». Ее «Служба книжной информации» предлагала в августе 1976 года следующие названия, сопровожденные соответствующим комментарием:

Диккерт и Гроссман. «Битва за Восточную Пруссию».

(Широкое, основанное на документальном материале, повествование о военных действиях последних месяцев второй мировой войны в Восточной Пруссии.)

Герберт Зволынски. «Белый мир—что же дальше».

(Правдивый рассказ о развитии событий в Анголе, Родезии, Западной и Юго-Западной Африке, а также анализ шансов белых утвердиться в Африке.)

Герберт Вальтер. «Оружие — СС».

(Документы и фотографии людей, которые находились во время войны на переднем крае.)

Барон фон Рихтхофен. «Виновники войны 1939—1941».

(Известный и уважаемый историк подчер-

[1] Двингер Эдвин Эрих (род. в 1898 г.) — западногерманский писатель, автор низкопробных шовинистических романов о второй мировой войне.

кивает решающую долю вины противников Германии за начало военных действий.)

Эрих Хельмдах. «Вторжение?»

(Многие историки не желают этого признавать. На основании пережитого, прибегая к различным источникам, автор доказывает: части Красной Армии уже были развернуты, им предстояло начать наступление в августе 1941 года.)

Эмиль Арец. «История одной лжи».

(В высшей степени заслуживающее интереса исследование, разоблачающее легенду об уничтожении в третьем рейхе 6 миллионов евреев.)

Хорст Гюнтер Тольмайн. «Выступление против ФРГ».

(Состояние войны между Востоком и Западом. Исследование, рассказывающее, как страны Варшавского договора готовят внезапное нападение. Секретный план под кодовым названием «Удар».)

Гюнтер Юст. «Полковник бомбардировочной авиации Ганс-Ульрих-Рудель».

(Изданный в виде книги альбом большого формата о прекрасном немецком солдате второй мировой войны.)

Эдуард Кузнецов. «Лагерный дневник».

(Автор, описывающий в дневнике, переправленном на Запад, лагеря принудительного труда в Советском Союзе, на собственном опыте испытал применяющиеся там жестокие методы унижения человеческого достоинства.)

Доминик Феннер. «Наемники без жалованья».

(Увлекательно написанная книга о германском добровольческом корпусе 1918—1923.)

Петер Штрасснер. «Европейские добровольцы».

(История 5-й танковой дивизии СС «Викинг», в которой служили добровольцы — представители европейских народов.)

Лудек Пахман. «Не дайте надежде умереть».

(Автор, активный участник «Пражской весны», опровергает мнимую готовность стран Восточного блока к разрядке и показывает, каким образом Запад может выжить.)

Гейнц Эссер. «Преисподняя в Ламсдорфе».

(Бывший врач лагеря смертников в Ламсдорфе публикует подтверждаемый документами рассказ об одном из многочисленных польских лагерей уничтожения в Верхней Силезии, 1945—1947 годы. Справедливость требует вспомнить и об этом.)

Названия, включенные в этот «книжный реестр», а также сопутствующие комментарии говорят сами за себя. Вряд ли стоит спрашивать себя, в какой мере все изложенное является проявлением прославленной западногерманской «свободы мнений»,— издание большинства из указанных книг представляет собой грубое нарушение конституции и всех международных норм, касающихся прав человека. Но тот, кто у нас об этом вспоминает, сразу же получает репутацию «экстремиста».

Естественно, проводятся и мероприятия, ставящие целью подчеркнуть безгрешность нашего общества. В номере «Зюддойче цайтунг» от 27 августа 1976 года помещена заметка о том, что два редактора приговорены к денежному штрафу на сумму 100 и 70 марок за публикацию объявления о выходе книги воспоминаний освободителя Муссолини Отто Скорцени «Мы сражались — мы были побеждены». Книга значится в «списке изданий, вредных для юношества», и потому не подлежит «публичной рекламе». «Судья Франц Шауэр, обосновывая приговор, подчеркнул, что данный процесс отнюдь не носит политического характера и вопрос о том, правильно или неправильно была рекомендована книга Скорцени, не подлежит обсуждению». Каждый может теперь убедиться: есть еще мужественные судьи в ФРГ!

Очевидно, случившееся придало и больше смелости издателям «Националь-цайтунг». В номере газеты, вышедшем в тот же день, когда в «Зюддойче цайтунг» появился «отчет о судебном процессе», упоминавшаяся уже «Служба книжной информации» газеты «Националь-цайтунг» открыла свои страницы следующим названием: «Отто Скорцени. Операцией руководил я».

По поводу состоявшегося процесса редакция «Националь-цайтунг» заявила: «Мы будем защищать наши законные права в любых инстанциях и о результатах сообщим читателям. Мы верим, что сейчас, когда нас преследуют, каждый свободомыслящий сохранит нам верность — так же, как и во время всех прежних процессов, которых было более 100 и в которых мы одержали верх».

Тот, кто думает, что лишь неисправимая «Националь-цайтунг» пропагандирует подобную литературу и подобные взгляды, ошибается.

Согласно рекламе, помещенной в «Бух актуэль», операция, проведенная Скорцени, принадлежит «к числу самых необычайных, фантастических операций второй мировой войны. Впоследствии она вызвала восхищение даже недавних противников и сегодня является частью стратегии, какую, к примеру, преподают в военном училище в Иерусалиме».

«Бух актуэль» нам не сообщает, где еще в наши дни изучается подобная стратегия, однако следует заметить, что пользуется она в нашей стране совсем недурной репутацией. Концепция этой стратегии ныне несколько перефразирована и звучит так: «Успех как результат внезапного нападения».

Впрочем, «Бух актуэль» является широко распространенным изданием, призванным помочь читателю ориентироваться в потоке печатной продукции. Среди объявленных новинок мы находим книгу Йозефа Мартина Бауэра «Операция «Эльбрус» — кавказские приключения, 1942». Выпущена книга уже знакомым нам издательством «Хербиг».

ФРИДРИХ ХИТЦЕР
ЛИТЕРАТУРА АГРЕССИИ

И, конечно, снова совершенно открыто рекламируются «Песни всех фронтов». Фирма «Современная история — антиквариат» рекламирует «долгоиграющую пластинку с песнями о пикирующих бомбардировщиках, песенкой об Англии, Франции, о гренадерах, танкистах, с песенками «Был на свете эдельвейс», «Вперед на восток», «Гремят в России фанфары», «Ало пламенеет солнце», «Песня танковой группы Клейста» и другими... Оригинальные записи периода 1939—1945 годов. Цена 24 марки».

Кто после этого удивится, встретив объявление о выходе книги Лины Гейдрих («Бух актуэль»), преподносящей читателям свою «исповедь»: «Моя жизнь с военным преступником». Издательство обещает читателям: «Перед вами исповедь женщины, которая еще и сегодня растерянно стоит перед прожитой жизнью. Это интимный и предельно драматический рассказ об одном из наиболее часто оговариваемых и ненавидимых виднейших деятелей гитлеровского рейха». Издательство В. Людвига («Ильмгау-ферлаг») в Пфаффенхофене близ Мюнхена не очень известно читателям, но оно явно может рассчитывать на успешное ведение дел.

В № 2 журнала «Кюрбискерн» за 1975 год была впервые опубликована работа Иоганнеса Р. Бехера, написанная им в период, когда он был вынужден покинуть свою родину и жил в Москве. В работе, озаглавленной «Политико-моральное уничтожение фашизма», писатель приходит к выводу, что реакционная массовая литература, выходившая после первой мировой войны и посвященная военной теме, по своему характеру была литературой отнюдь не послевоенной, а напротив, совокупно со всей буржуазной журналистикой и печатью «являлась литературой (предвоенной), занимавшейся безудержной героизацией войны».

Продавщица магазина «Иоганнес буххандлунг» замялась, когда я спросил, как расходятся выставленные в витрине книги о войне и фашизме. Несколько извиняющимся тоном она сказала:

— Знаете, книги продаются, можно сказать, очень хорошо.

— Покупатели сами выражают желание их приобрести?

— Нет, они сами об этом не просят, книги надо предлагать, о них надо рассказывать. По собственной инициативе их покупают только бывшие солдаты.

— Только бывшие солдаты?

— Честно говоря, преимущественно молодежь. К сожалению. Они видят эту литературу и покупают.

— Имеются ли у вас советские книги о войне?

— Нет.

— Слышали вы что-либо о Константине Симонове?

— Слышать слышала, но у нас в магазине еще никогда не было ни одной его книги.

В сентябре 1976 года некий журналист не постеснялся опубликовать в «Зюддойче цайтунг» — на видном месте — следующую рецензию на телевизионный фильм «Доктор В.— врач СС в Освенциме»:

«Тысячи людей были посланы им на смерть. Но он пытался также спасти всех, кого мог. Одни обязаны ему жизнью. Другие знают о его участии в опытах, проводимых над людьми. После войны он повесился...

В концлагере Освенцим В. производил отбор заключенных: одни должны были остаться в лагере, другие шли в газовые камеры. Когда приходил транспорт с людьми, то, как свидетельствует сестра из Красного Креста, слышались брань и удары, наносимые заключенным, объятым смертельным страхом. Заключенные поразному отзывались о враче В., один из них охарактеризовал его как «благородного германца». «Он явно был руководителем,— сказал другой,— но я видел, как другие немцы убивали людей, он же, безусловно, этого не делал».

Почему В. не оставлял работу в концентрационном лагере? Его отец рассказывает: «Он хотел уйти, но я сказал ему — пусть остается, нет другого места на земле, где можно так много добра принести людям, как Освенцим» («Зюддойче цайтунг» 11/12 сентября 1976 года).

Фильм вызовет у зрителей вопросы, пишет журналист. Он тоже не знает, по крайней мере так утверждается, с чего именно и когда начались преступления фашизма. (В «Зюддойче цайтунг» — и это вовсе не исключение — книги об антифашистском Сопротивлении почти не упоминаются).

Альфред Андерш в коротеньком стихотворении «Параграф 3/3» [1] ярко показал, куда в конечном счете ведет антикоммунистическая истерия, положенная в основу «запретов на профессии» в Федеративной Республике:

Все сильней ощущается запах.
это запах машины,
производящей газ.

Андерша осыпали градом насмешек, он вызвал гнев и ненависть, подвергся травле. Многие не поняли этого стихотворения.

Речь идет также о машине, порождающей войну и взаимное уничтожение народов. Возможно, по этой причине столь бурной оказалась реакция на предостережение, заключенное в маленьком стихотворении.

Те, кто планируют преступления, всегда хотят выглядеть самыми невинными на свете.

[1] Об этом стихотворении см. в «ИЛ» № 10 за 1976 год (раздел «Культура и современность»).

Перевод с немецкого И. ЗИЛЬБЕРМАНА

◆

ГИЛЬЕРМО ДИАС-ПЛАХА

СЛОВО О ХУАНЕ РАМОНЕ ХИМЕНЕСЕ

Дважды, с перерывом почти в двадцать лет, читатель знакомился на страницах «Иностранной литературы» с Хуаном Рамоном Хименесом [1]. И вот — новая встреча с поэтом. По нашей просьбе о нем пишет старейший испанский литературовед Гильермо Диас-Плаха, видный представитель испанской критической традиции.

Рассказывая нам о крупнейшем лирике Испании XX века, Диас-Плаха избирает особый угол зрения: он не раскрывает связей поэта с действительностью, от которой неотделимо — при всей замкнутости на внутреннем мире человека — творчество Хименеса, и лишь мельком упоминает о драматических событиях, пережитых его родиной за последние сорок лет, справедливо считая, что события эти — провозглашение Испанской республики, национально-революционная война испанского народа против фашизма, поражение республиканских сил, приход к власти франкистов — хорошо известны советским людям.

Открывший вместе с Антонио Мачадо новый «золотой век» испанской поэзии интимнейший лирик, стремившийся во всем отыскать «чистую поэтическую сущность», создавший собственного «бога» — абсолютное воплощение прекрасного,— Хуан Рамон Хименес, казалось, был далек от социально-политических конфликтов своего времени. Но в «минуты роковые» истории страны он выбрал свой путь — с народом и, верный гуманистическим идеалам, не пожелал иметь ничего общего с франкизмом.

Для Гильермо Диаса-Плахи важно было, однако, показать нам Х. Р. Хименеса как бы изнутри, определить его место в движении испанской поэтической мысли, особенности его эстетики, личное отношение его — неутомимого труженика слова — к искусству поэзии. Естественно, нельзя было обойтись без упоминания множества имен, поэтических школ и направлений, что порой делает эссе нелегким для восприятия. Но сложность эта по-своему отражает сложность и многогранность самой поэзии Хименеса и тех литературных процессов, с которыми она неразрывно спаяна. И еще одна особенность предлагаемого эссе: все написанное автором носит глубоко личный характер. Мы видим «его» Хименеса, запоминаем поэта таким, каким знал и принимал его Гильермо Диас-Плаха. Думается, это в полной мере оценит наш читатель.

Хуан Рамон Хименес — одна из крупнейших фигур испанской литературы XX века. Младший современник реформатора поэтического языка Рубена Дарио, философа Мигеля де Унамуно, почти ровесник Антонио Мачадо (Мачадо и Хименес — две вершины и два полюса современной испанской поэзии), он был учителем таких разных мастеров, как Федерико Гарсиа Лорка и Рафаэль Альберти. Своим наставником его считало целое поколение испанских поэтов, начинавших творческий путь вместе с Лоркой и Аль-

[1] Стихи Хименеса в переводах П. Грушко и А. Гелескула см. в «ИЛ», 1957, № 12 и 1975, № 8.

берти,— среди них Хорхе Гильен, Педро Салинас, Луис Сернуда, Висенте Алейксандре, Дамасо Алонсо, Херардо Диего. У него учился Блас де Отеро, виднейший представитель поколения 40—50-х годов. У него учатся молодые испанские поэты и сегодня.

Хименес прожил долгую жизнь. Родился он в 1881 году в небольшом андалусском городе Могере. Его молодость совпала с началом века, а зрелость — с первой мировой войной. Ему было 55 лет, когда разразилась национальная катастрофа[1],— и Хименес покинул Испанию. На родину он так и не возвратился. Проведя двадцать лет в изгнании, Хуан Рамон Хименес скончался в Пуэрто-Рико в 1958 году. Единственный нобелевский лауреат среди испанских поэтов, он умер в эмиграции, окруженный славой и учениками. Но могила его — в Могере, городе, где прошли детство и юность.

Там, в Могере, почти мальчиком он начал писать стихи и рисовать — Хуан Рамон долго не мог разобраться, в чем его истинное призвание. Туда он возвращался каждое лето — из Пуэрто де Санта Мария, где учился в колледже у иезуитов, из Севильи, где дважды в год с грехом пополам сдавал экзамены на юридическом факультете университета, из Франции, где провел две долгие зимы, лечась в одном из южных санаториев (тогда он выучил французский и открыл для себя Верлена). В Могер поэт вернулся после первого, ошеломившего его самого, успеха на литературном поприще, радостный и окрыленный. В Могер он вернулся и тогда, когда снова обострилась болезнь,— в состоянии крайне угнетенном. И стены родного дома, тенистый сад, долгие одинокие прогулки вернули ему здоровье и душевный покой. Там были созданы самые светлые сборники Хименеса — «Зеленые листья» (1906) и «Весенние баллады» (1907). И там же родилась книга, принесшая Хименесу всемирную славу,— элегия в прозе «Платеро и я» (опубликована в 1914-м).

В Мадриде Хуан Рамон живет так же замкнуто, как и в Могере. Лишь изредка он встречается с друзьями, очень немногочисленными, со студентами. В 1912 году на вечере в студенческом общежитии он познакомился с Зенобией Кампруби Аймар. Эта решительная и талантливая девушка, унаследовавшая от матери-каталонки эмоциональность, а от отца-англичанина — практический ум, через четыре года стала женой Хименеса. С тех пор и до конца жизни (она умерла в 1956 году, успев узнать о присуждении мужу Нобелевской премии) Зенобия была ему подругой и помощницей. Она вела дом, держала в порядке архив, составляла библиографические справки, необходимые Хименесу для преподавательской деятельности (в течение многих лет он читал курс испанской литературы в университетах США), улаживала конфликты с издательствами, журналами, типографиями (Хуан Рамон сам выбирал шрифты, указывал расположение заголовков и, борясь с опечатками, требовал как минимум четырех корректур). Зенобия, с детства владевшая английским, помогала ему в переводах и много переводила сама — Джона Миллингтона Синга[1], Рабиндраната Тагора. Многие книги Хименеса начинаются посвящением «Зенобии, моей душе...»

Жизнь Хименеса и в Испании и в эмиграции небогата событиями. Стихи, подготовка сборников к печати, правка, редактура, переводы, переиздание книг, чтение, лекции, семинары. Изредка — недолгие путешествия. И снова — стихи. Поражала его самоотдача, способность и привычка к изнурительному, ни на день не прерываемому труду. Это была не только потребность и не просто привычка — так Хименес понимал долг поэта перед поэзией. Безоговорочной самоотдачи требовала «ética estética»[2], по собственному выражению поэта. Этой двуединой формулой, где этика и эстетика взаимообусловлены, Хименес утверждал, что художественный поиск нравствен в той мере, в какой он художествен. Десятки и сотни вариантов, постоянная правка — не только документы «творчества в развитии» (так любил говорить Хименес о своей работе), не только свидетельства воли к совершенству, но и исполнение этико-эстетического долга, первой заповеди поэта. «Эстетическая этика» не позволяла Хименесу считать что-либо, касающееся поэзии, мелочью. Она в равной мере определяла и его творчество и жизнь. Поэтому, например, Хименес отвечал всем, присылавшим ему стихи, хотя не любил писать письма даже близким.

А стихов ему присылали великое множество. Хименес был категоричен в суждениях, но в его проницательности и справедливости не сомневались. С безошибочной интуицией он угадывал талант — иногда по нескольким строчкам. Многие обязаны ему ранним и легким началом литературной судьбы. Хименес следил за развитием открытого им таланта пристально и придирчиво. Он отличался требовательностью — в первую очередь к себе, потом к тем, кого считал учениками. Последнее приводило иногда к недоразумениям и даже обидам. Хотя не только в требовательности дело. Выстрадав свой путь к истине (или к тому, что он считал истиной) и свято веря в его правильность, Хименес подчас не принимал других путей — в этом причина его споров с П. Салинасом и Х. Гильеном. С другой стороны, и эта полемика, и важность ее для эволюции последних — лишние доказательства того, что влияние Хименеса было поистине огромным. От него освобождались долго и трудно, и удалось это лишь настоящим талантам.

Поэтический талант у Хименеса соединялся с исследовательским даром, с интересом к теоретическим и историко-литератур-

[1] Автор имеет в виду начало франкистского мятежа (1936). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[1] Синг Джон Миллингтон (1871—1909) — ирландский драматург.

[2] Каждый из элементов этой трудно переводимой формулы — «эстетическая этика», или «этическая эстетика»,— может восприниматься и как определение и как определяемое.

ным проблемам. Мне посчастливилось несколько раз беседовать с ним о литературе. Впервые — в 1932 году, когда, узнав, что я составляю антологию испанской поэзии для средних школ и собираюсь включить туда несколько его стихотворений, Хименес сам позвонил мне, чтобы сказать, какие именно стихи кажутся ему подходящими для этой цели. Я пришел к нему домой (поэт жил на окраине Мадрида), и в первую минуту меня поразила тишина его кабинета, заваленного книгами,— ставни и плотные шторы заглушали городской шум..

Много лет спустя, когда была опубликована моя работа «Стихотворение в прозе в испанской литературе», я получил от Хименеса письмо, где он излагал в высшей степени интересные соображения относительно специфики этого жанра. А еще через несколько лет, после выхода в свет моей книги «Модернизм и поколение 98 года», Хименес прислал мне второе письмо, по сути дела — целую статью, обстоятельно доказывая точку зрения, противоположную моей. На мой взгляд, поэт неправомерно расширял понятие «модернизм»[1], включая в него все направления, какие только существовали в испанской литературе начала века. Эта идея — о всеобъемлющем модернизме — стала главной в курсе его лекций, прочитанном в пуэрториканском университете Рио-Пьедрас-де-Сан-Хуан, она же легла в основу его книги о модернизме в испанской и латиноамериканских литературах...

Хименес начал печататься довольно рано — в девятнадцать лет, но его первая книга «Кувшинки» (опубликована в 1900-м) и последовавшие за ней выходили небольшими тиражами, и долгое время имя Хименеса было известно лишь узкому кругу любителей поэзии и поэтов. В 1922 году крупное издательство «Эспаса Кальпе» выпустило массовым тиражом его «Вторую антологию» — и к Хименесу пришла настоящая известность.

Полвека отделяют последнюю книгу Хименеса «Таящийся в глубинах» (опубликована в 1949-м) от первой. И эти полвека его творчество заполняет собой испанскую поэзию. Именно «заполняет» — и не только потому, что написал он очень много. Каждый его сборник становится событием в литературной жизни страны; эти полвека любое новое явление в поэзии сопоставляется с тем, что сделано и делается Хименесом. Сменялись имена, направления, поколения, школы, но творчество Хименеса оставалось актуальным, ибо его искания всегда были созвучны тому, что оказывалось главным в тот или иной момент общественной жизни Испании и развития ее литературы.

Эволюция Хименеса сложна, как сложен и литературный процесс в Испании XX века. Его первые книги совпадают по времени с появлением двух направлений, определивших облик испанской литературы начала века,— модернизма и «поколения 1898 года»[1]. Не вдаваясь в полемику о том, в чем общность этих явлений и существует ли таковая вообще, скажу, что бесспорным мне представляется следующее: если для модернизма характерно было познание и представление мира через субъективное ощущение, своеобразная эстетизация и абсолютизация субъективно-чувственного восприятия, то «поколение 1898 года» опиралось в основном на разум, взывало — пусть со всей страстностью — к разуму. Двух имен достаточно, чтобы проиллюстрировать все различие этих течений — Рубен Дарио и Мигель де Унамуно (что отмечал и Хименес).

Они оба в равной мере оказали воздействие на раннее творчество поэта Эти разнонаправленные влияния наложились на юношескую увлеченность Хименеса неоромантизмом, в частности, поэзией Густаво Адольфо Беккера[2] Позднее он испытал влияние французского поэта Франсиса Жамма Им отмечены многие книги Хименеса, начиная с «Пасторалей» (1903—1905) и кончая «Лабиринтом» (1910—1911). Через Жамма проникают в творчество Хименеса и отзвуки поэзии парнасцев.

В начале творческого пути Хименес во многом связан с модернизмом. Он начинает как ученик Рубена Дарио и Франсиско Вильяэспесы[3], начинает с прямого подражания. Ученичество было долгим, но тем ярче выступает на этом фоне индивидуальность Хименеса, четко обрисовавшаяся к 1910 году.

В 20-е годы литературные привязанности Хименеса меняются. Внешняя музыкальность стиха уже не привлекает его. Он обращается к строгой традиции старой испанской «ученой» поэзии, к весьма популярному в стране народному поэтическому жанру романсов, перечитывает классиков, одновременно интересуется вещами трудно совместимыми, на первый взгляд — новейшими поэтическими течениями, возникшими после первой мировой войны, и поэтикой классицизма В результате поэзия Хименеса — ее тон, темы, цель — претерпевает резкий перелом

Хименесу удалось избежать опасности, подстерегающей, пожалуй, каждого поэта: с годами он не превратился в самоподражателя, эпигона собственной поэзии Начиная с книги «Вечные мгновения» (1916—1917), поэзия Хименеса — непрерывный поиск поэтической сущности мира. Этой позиции он остался верен всю жизнь. В известном

[1] «Модернизм» — здесь: течение, сложившееся в испаноязычных литературах на рубеже XIX—XX веков. Крупнейшим представителем «модернизма» в латиноамериканской поэзии был Рубен Дарио.

[1] Условное название группы литераторов, объединенных общими идейными взглядами, поисками путей к возрождению Испании. К «поколению 1898 года» принадлежат М. де Унамуно, А Мачадо П Бароха Р. М. дель Валье Инклан

[2] Беккер Густаво Адольфо (1836—1870) — испанский поэт-лирик.

[3] Вильяэспеса Франсиско (1877—1936) — испанский поэт и драматург.

ГИЛЬЕРМО ДИАС-ПЛАХА
СЛОВО О ХУАНЕ РАМОНЕ ХИМЕНЕСЕ

смысле она напоминает позицию Поля Валери, чьей поэзией Хименес восхищался.

Это десятилетие его творческого пути было заполнено напряженной и плодотворной работой. Появляются все новые сборники: «Лето» (1915), «Духовные сонеты» (1914—1915), «Камень и небо» (1917—1918). Из ученика поэт превращается в учителя — становится ориентиром для молодых. Авторитет его в литературном мире уже в то время огромен. Он редактирует журналы «Индисе», «Си», «Сусесьон», «Унидад», «Лей». Печататься на их страницах считается большой честью — ее добиваются многие, но достается она далеко не всем. Постепенно вокруг этих журналов складывается новое поэтическое поколение. В кругу Х. Гильена, П. Салинаса, Л. Сернуды, В. Алейксандре, Д. Алонсо, Х. Диего, молодых в ту пору поэтов, и их учителя Хименеса рождается новая поэтика, почти не имеющая точек соприкосновения с модернизмом. В 1927 году[1] она станет главным фактором развития испанской литертуры, но пока — в начале 20-х — поэзия Хименеса еще в ином литературном окружении: оттеснив «поколение 1898 года» и модернизм, на авансцену выходят авангардистские течения. Это в первую очередь креасьонизм — сотворение независимой поэтической реальности. Созданный чилийцем Висенте Уидобро[2], он нашел в Испании вторую родину. Во-вторых, это ультраизм, провозгласивший главным принципом новизну ради новизны. И, наконец, так называемый неофольклоризм. Стоит отметить, что интерес к фольклору, к старинной испанской поэзии пробудился благодаря исследованиям замечательных филологов — Хесуса Баля и Дамасо Алонсо. Но неофольклоризм был не просто стилизацией под народную лирику — в фольклорную форму вкладывались сложно организованные образы, принципиально новые метафоры. Обращение к Гонгоре[3] расставило последние точки над i — возникла новая поэтика, в которой гармонично слились традиции ученой и народной поэзии.

В 1927 году молодые поэты, печатавшиеся в журналах Хименеса (впоследствии их стали называть «поколением 1927 года»), широко отметили юбилей Гонгоры — трехсотлетие со дня его смерти. Федерико Гарсиа Лорка выступил во время торжеств с лекцией о поэтическом образе у Гонгоры, Дамасо Алонсо посвятил его поэзии двухтомное исследование, Рафаэль Альберти прочел на вечере, посвященном его памяти, поэму в стиле Гонгоры «Годы», последовавшие за юбилеем, ознаменовались расцветом новой поэзии. Один за другим выходят главные сборники Х. Гильена, Х. Диего, П. Салинаса, Д. Алонсо. И тогда же появляются книги, в которых новая поэтика выразилась ярче всего,— «Цыганский романсеро» Ф. Гарсиа Лорки и «Моряк на суше» Р. Альберти.

Примерно с 1930 года в испанской поэзии начинается, я бы сказал, движение вглубь. Исчезают риторика и навязчивая звучность, все менее заметно языковое экспериментаторство. Поэзия становится негромкой — какой с самого начала была она у Антонио Мачадо — и более человечной. Своей путеводной звездой молодые поэты считают Мигеля де Унамуно — человека, философа, поэта. Последователем Унамуно был Луис Сернуда: по меткому замечанию проницательного критика Х. М. Вальверде, «он покидает свой изысканный, замкнутый мирок, чтобы наконец по-человечески обратиться к человеку». Другим последователем Унамуно, превзошедшим его, был Мигель Эрнандес — певец угнетенных: в его поэзии нарастает уже социальный протест. И, наконец, эхо пламенных речей Унамуно слышится в стихах Бласа де Отеро, когда он говорит о порабощении и свободе человека. Хименеса занимают те же проблемы, что волнуют Унамуно, но решает их он в ином ключе, стремясь уловить поэтическую сущность явлений и выразить ее в единственно возможных, самых точных словах:

Дай мне, разум, точное имя
каждой вещи!
И пусть мое слово
превратится в нее,
сотворенную заново мной[1].

Порыв к высшей точности и проникновению в глубь вещей роднит Хименеса с Валери. Начиная с «Вечных мгновений», поэзия Хименеса приобретает не свойственную ей ранее краткость и резкую афористичность. (Только в двух последних книгах он вернется к крупным поэтическим формам.) Возможно, что здесь сказалось увлечение фольклором, характерное для поэта еще в 10-е годы, и более позднее его знакомство с поэзией Эмили Дикинсон[2]—Хименес высоко ценил ее творчество и перевел несколько стихотворений Дикинсон.

Вершиной последнего периода творчества поэта явились книги «Состояние вечности» (1923—1936, опубликована в 1946-м) и «Таящийся в глубинах» — они поражают высокой точностью слова и смысловой насыщенностью. Автор их ставит перед собой труднейшую задачу — воплотить процесс слияния человеческого сознания с бесконечным потоком времени, растворения человека в мироздании и одновременно — преображения мира, времени и пространства человеком и через человека. Отсюда и название сборника — «Состояние вечности», состояние, в котором одновременно присутствуют все времена, совмещены разные пространства. Может быть, определеннее всего это ощущение «человека в вечности» передано в стихотворении «Осеннее»:

Я полнота природы
под вечер золотого созреванья,
высокий ветер в зелени сквозной.

[1] О «поколении 1927 года» и его роли в испанской литературе см. также интервью Р. Альберти «Я верую в поэзию живущую в памяти...» «ИЛ», 1977, № 2.

[2] Уидобро Висенте (1893—1948) — чилийский поэт.

[3] Стихи Гонгоры и статью о нем см. в «ИЛ», 1977 № 1.

[1] Переводы стихотворений Хименеса выполнены для данной статьи А. Гелескулом.

[2] Подборка ее стихотворений опубликована в «ИЛ», 1976, № 12.

Во мне, в укромном зернышке, томится
величие первооснов — земли,
огня, воды и ветра,— зреет вечность.

Я сею свет — и золотится тьма,
я разливаю мед — и веет богом,
звучу — и отзывается пространство,
сгущаю сок — и бездна душу пьет,
и одиночество вслепую тянет руки.

Я клад, который вызволен из недр,
и на груди творения покоюсь,
как белый слиток лилии. Я все.
То все, что возникает как избыток
небытия — чтобы служить залогом
всего, что только жаждет воплотиться.

Погружаясь в мироздание, Хименес ищет собственную человеческую сущность. Осознание этой слиянности, взаимопроникновения человека и мира—для поэта путь к богу, который был для него равнозначен абсолюту прекрасного: «Сейчас божественная сущность воплощена для меня в осознании, личном, точном и всеобъемлющем осознании прекрасного, которое скрыто внутри нас и в то же время выявлено во вне».

Хименеса не без оснований упрекали в том, что его бог весьма далек от христианских канонов. В самом деле, «бог» для Хименеса — заимствованный из языка философии синоним к слову «поэзия». В нем олицетворены не творец, не творение, но творчество — созидание, неотделимое от самопознания, совершенствования и в конечном счете самосозидания.

Вся жизнь Хуана Рамона Хименеса была непрерывной работой над словом. Он не любил просто переиздавать стихи. Составляя новую антологию, он многое переделывал. Часто стихи его менялись до неузнаваемости: существует, например, до десяти вариантов некоторых ранних стихотворений. Также он работал и над прозой (а в собрании сочинений Хименеса — более тысячи страниц прозы). Язык его книги «Испанцы трех миров» поразителен по богатству и чистоте звучания. Влияние испанского барокко, Гонгоры сказалось именно в этой книге — в прозе Хименеса, а не в стихах.

Почти тридцать лет отделяют нас от последней книги поэта. Но за это время стихи и проза Хименеса не стали вчерашним днем. Испанская литература и сегодня обращается к его творчеству. Его новаторство — в области содержания и формы — актуально и сейчас Без Хименеса невозможно представить панораму испанской поэзии XX века. Его творчество — одна из самых ярких и благородных страниц нашей литературы.

Перевод с испанского Н. МАЛИНОВСКОЙ

◆

Интервью

ВЛАДИМИР ЛУКАН: «ЗНАЧЕНИЕ ОКТЯБРЯ ОЩУЩАЕТСЯ ВО ВСЕХ СОБЫТИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ»

В гостях у «Иностранной литературы» побывал известный словацкий публицист и переводчик Владимир Лукан. Отвечая на вопросы редакции, В. Лукан рассказал о работе близкого по своему характеру к «Иностранной литературе» и весьма популярного у чехословацких читателей журнала «Ревю световей литературы», главным редактором которого он является

— Что характерно для нынешнего этапа издания зарубежной литературы в Словакии и какая роль в этом процессе принадлежит журналу «Ревю световей литературы»?

— Прежде чем отвечать на Ваш вопрос, мне хотелось бы в самых общих чертах рассказать об истории возникновения и развития художественного перевода в Словакии. В литературах многих стран наблюдается определенная равномерность, некий параллелизм в развитии национальной литературы и перевода иностранной литературы. В наших же условиях дело обстояло иначе. В Словакии XIX — начала XX вв. потенциальные создатели и, так сказать, потребители литературного перевода, то есть образованные люди, выходили из школы с хорошим знанием античных языков (латинского и греческого) и к тому же постоянно жили и действовали в многоязычной среде (официальными языками у нас на родине, входившей тогда в Австро-Венгрию, были немецкий и венгерский). Кроме того, сам словацкий язык очень близок к другим славянским языкам,— обстоятельство, которое всегда подчеркивали деятели национального возрождения. Все вместе взятое объясняет почему потребность в переводе была сравнительно невелика. Те, кто умел читать, читали в оригинале или в переводе на немецкий, венгерский, на какой-либо славянский язык.

С ростом самосознания словацкой нации, стремления к национальной независимости одной из самых насущных задач стало развитие прежде всего собственной, оригинальной литературы которая должна была служить подтверждением существования национального языка, его права на жизнь. Проще говоря, не так уж много имелось таких людей, кто мог бы переводить, да и им, впрочем, не для кого и не для чего было переводить, не говоря о том, что им было бы не на что переводить — отсутствовали средства на издание переводов: ведь национальное угнетение шагало рука об руку с угнетением экономическим.

Лишь с появлением словацких школ, повлекшим за собой распространение грамотности, т. е. умения читать и писать на родном языке, по-словацки,— уже после образования Чехословацкой республики (1918),— возрастает и субъективная потребность в переводной литературе, исчезает диспропорция между изданием литературы отечественной и переводной. На состояние переводческого дела оказали сильное влияние судьбы и ориентация буржуазной Чехословакии, и в первую очередь то, что культурным

центром страны стала Прага. Там в 20—30-е годы получало образование большинство словацкой интеллигенции. Устоявшиеся—и в какой-то степени консервативные—убеждения славянофильски настроенной ее части пришли в столкновение со взглядами более молодого поколения, находившегося под воздействием чешской — прозападной в известной мере — культурной среды. Под знаком этой борьбы протекал последующий этап истории словацкого перевода — практически до того времени, когда оба наши народа, и чешский и словацкий, вступили на путь строительства социализма.

Произошел решительный поворот во всей культурной жизни страны и, в частности, в издательской политике. Изменилось и отношение к переводу: возросла потребность в нем, усовершенствовалась его практика. Я бы сказал, теперь переводить было кому, для кого и на что. Началась новая стадия развития литературного перевода в Словакии.

— После экскурса в прошлое — давнее и недавнее — было бы интересно подробнее познакомиться с периодом, определившим современное состояние переводческого дела в вашей республике.

— Вопрос этот имеет объективную и субъективную сторону. Не вдаваясь в анализ объективных условий распространения переводной литературы в Словакии за последние десятилетия, хочу лишь обратить внимание на аспект субъективный — теперь мы располагаем кадрами хороших переводчиков.

Даже не приводя статистических данных, можно утверждать, что больше всего мы переводим с русского языка, причем не только в послевоенный период. Обращаясь к опыту инонациональных литератур, наша литература неизменно ориентировалась на литературы славянские и — прежде всего — русскую. Доказательства тому мы находим и в теоретических работах, посвященных этой проблематике (назовем хотя бы публикацию Антона Поповича «Русская литература в Словакии в 1863—1875 гг.»). Эта традиция особенно укрепилась после освобождения Чехословакии Советской Армией. Возникла и новая тенденция: советская литература стала восприниматься во всем ее многообразии — как яркое созвездие разных национальных литератур.

Я уже упоминал, что в предмюнхенской Чехословакии большая часть нашей интеллигенции получала образование в Праге, впитывая влияние западной, в первую очередь французской культуры. Это обстоятельство способствовало появлению в Словакии интереса к французской литературе. Стремление глубже познать судьбы, язык и искусство северных соседей обусловило то, что вопросы перевода с польского языка оказались у нас довольно глубоко разработанными. Можно было бы продолжать перечисление причин, в силу которых в старой Словакии интерес к отдельным литературам был не совсем равномерным. Одни литературы и языковые регионы заняли как бы доминирующее положение, другие, напротив, оставались в тени (отчасти и из-за недостатка переводчиков-профессионалов, знающих данный язык и литературу), вне поля зрения издательств. Так до недавнего времени было, например, с испаноязычными литературами. В кризисные же 60-е годы в определенных кругах культивировались односторонняя ориентация на западную литературу и невнимание к литературам социалистических стран.

Иначе говоря, развитие переводческого дела в последние годы — сложный процесс, в нем нашла отражение борьба разных нередко противоречивых взглядов и их кристаллизация. Сегодня этот процесс ярче всего характеризуют три особенности: во-первых, пристальное изучение советской литературы во всем ее богатстве (в том числе и жанровом), во всем многообразии ее национальных литератур; во-вторых, растущее внимание к литературам братских стран, так же, как и мы, строящих социалистическое общество; в-третьих повышенный интерес к литературам регионов, переживающих переломный момент истории, стран, где обостряется социальная борьба или назревает социальная революция.

— Какова роль «Ревю световей литературы» в этом процессе?

— Лучше я скажу о том какой она должна быть. Так будет и скромнее, и ближе к существу вопроса. Журнал наш, словацкий собрат «Иностранной литературы», призван выносить первое суждение о качестве новых произведений, появляющихся за рубежом, давать картину всего, что есть прогрессивного в литературах мира сегодня, находить и открывать для читателя лучшие произведения современных писателей разных стран. Это значит что от нашего внимания не должно ускользнуть ни одно новое примечательное явление, имя или книга, по своему идейному и художественному уровню выходящие за рамки какой-либо одной литературы. Мы обязаны опережать издательства, а в определенном смысле и помогать им — но прежде всего оказывать помощь читателю, способствовать его всестороннему развитию, воспитывать его вкус, направлять интересы. Пользуясь военной терминологией, я бы определил роль нашего журнала так: это разведчик, прокладывающий путь для издательств. Разумеется, не всегда удается сделать это наилучшим образом. Впрочем, судить — читателю.

— «Ревю световей литературы», как Вы сказали, стремится дать представление о том, что происходит сегодня в мировой литературе. Что входит, на Ваш взгляд, в понятие «мировая литература»?

— Толкований этого понятия, бесспорно, много. Проще всего считать мировую лите-

ратуру совокупностью, суммой того, что появляется в национальных литературах. Мы же под мировой литературой понимаем лучшее, что имеется в литературах отдельных стран, причем отобранное с учетом непреходящих ценностей. Самый компетентный судья в вопросе о том, что есть непреходящая ценность, а что — преходящая, конечно же, время. А это как раз то, чем мы в редакции не располагаем, ибо задача журнала — как можно оперативнее знакомить читателя с литературой наших дней. Поэтому нам приходится иногда идти на риск; наш выбор может оказаться субъективным, и не исключено, что, обратившись — десятилетия спустя — к некоторым публикациям «Ревю», историк литературы — да и мы сами — оценим их иначе.

— Какими критериями руководствуется Ваш журнал при отборе произведений для печатания на своих страницах?

— Отбирая произведения мировой литературы, мы учитываем, что перенесение ценностей одной культуры в другую — дело отнюдь не простое. Ведь каждый перевод становится достоянием той страны, на чей язык произведение переведено, включается в уже сложившийся культурный контекст, который вовсе не обязательно соответствует культурному контексту и среде, где данное произведение родилось. Вот почему решая, переводить то или иное произведение или нет, мы всегда задаемся вопросом, чем обогатит оно словацкого читателя, несет ли оно в себе идейные и художественные ценности, которые ему нужны.

Думаю, вас интересует, какие национальные литературы больше всего занимали нас в последнее время. Известно, что в жизни каждой литературы бывают счастливые периоды, «урожайные» на произведения и авторов, но бывают и периоды скудные; нередко случается, что какая-нибудь литература вдруг начинает блистать целым созвездием примечательных имен и книг. Бывает, что и мы «открываем» для себя целые «литературные регионы»—и это всегда радостно. Именно так произошло несколько лет назад с украинской советской литературой: в сотрудничестве с коллегами из Киева мы опубликовали довольно значительное количество произведений. Аналогично обстояло дело с белорусской литературой.

Сейчас предметом нашего особого внимания становится литература народов Кавказа и Прибалтики. Правда, в Словакии все еще нет хороших переводчиков, знающих их языки, перевод же «из вторых рук» мы уже считаем делом прошлым — так что в этой области предстоит преодолеть немалые трудности.

Вот уже несколько лет подряд редакция постоянно обращается к литературам стран Латинской Америки, для нас (и не только для нас) они тоже явились подлинным открытием: там работает целый ряд сильных писателей, сумевших создать впечатляющие свидетельства о положении неимущих слоев этого континента, свидетельства, одновременно представляющие собой художественно убедительную картину. Литература Кубы, первого социалистического государства на американском континенте, разумеется, всегда в центре внимания журнала.

— Что удалось Вам опубликовать из советской литературы? Какие произведения вызвали наибольший отклик у читателя?

— Даже простой перечень всех советских авторов, которых мы печатали на страницах «Ревю световей литературы» за последние, скажем, два года, занял бы много времени и места, поэтому я ограничусь лишь несколькими примерами: Чингиз Айтматов («Восхождение на Фудзияму»), Владимир Богомолов («В августе сорок четвертого»), Расул Гамзатов, Михаил Пришвин, Андрей Макаенок, Савва Дангулов, Фазиль Искандер, Валентин Распутин («Живи и помни»), Сергей Залыгин («Южноамериканский вариант»), Юрий Бондарев («Берег»). Судя по отзывам читателей, с наибольшим интересом были встречены отрывки из написанного Владимиром Богомоловым, Валентином Распутиным, Сергеем Залыгиным и Юрием Бондаревым. Упомяну в этом ряду и статью Георгия Маркова.

— И в заключение — какими публикациями «Ревю световей литературы» предполагает отметить 60-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции?

— Мы убеждены, что это событие не должно быть в жизни и работе редакции отмечено одноразовым актом — ведь значение Октября, определившего ход истории нового времени, постоянно ощущалось и ощущается во всех событиях современности, во всей нашей жизни. Номер журнала, который выйдет к октябрьской годовщине, будет посвящен не только советской литературе. Мы решили как бы перекинуть мост от Октября к нашим дням — показать, каким образом это великое событие отражено в литературах разных народов, в творчестве разных авторов. Юбилейный номер познакомит читателя со стихами поэтов многих стран и народов, воздающих честь великому зодчему Октября— Владимиру Ильичу Ленину; в номере читатель найдет рассказы советских авторов и произведения писателей пробуждающегося африканского континента, рядом с известными европейскими писателями — кубинских, мексиканских и других авторов. Мы верим, что октябрьский выпуск журнала станет нашим вкладом в празднование события, мировое значение которого трудно переоценить.

Перевод со словацкого Л. И. ВАСИЛЬЕВОЙ

Интервью

МАРИО БЕНЕДЕТТИ: «ПОЛИТИКА, ВОРВАВШАЯСЯ В ПОЭЗИЮ...»

Подобно очень многим уругвайским патриотам и демократам, Марио Бенедетти вынужден был покинуть родину после военного переворота 1973 года. Писатель, широко известный в Латинской Америке и за ее пределами как автор своеобразных поэтических прозведений (назовем его «Стихи за конторкой», 1956, «Стихи день за днем», 1961), создатель большой и малой прозы (его роман «Спасибо за огонек» опубликован в № 8—9 нашего журнала за 1969 год), литературоведческих работ, живет теперь в эмиграции. Марио Бенедетти больше не издают в Уругвае. Недавние его книги — рассказы «С тоской по родине и без нее», поэтический сборник «Дом и кирпич» — вышли на Кубе, в Венесуэле, в Мексике... Они рассказывают о трагедии маленькой, истерзанной и истекающей кровью страны, ее народа, ее культуры, о писательской судьбе автора. Этим же темам посвящены и интервью М. Бенедетти, которые мы помещаем с сокращениями. С собеседниками Марио Бенедетти читатель не раз встречался на страницах «Иностранной литературы»: это писатель Эктор Мухика, президент Национальной коллегии журналистов Венесуэлы, и кубинский поэт, литературный критик и публицист Роберто Фернандес Ретамар, главный редактор журнала «Каса де лас Американас». Тексты их бесед с Бенедетти были напечатаны в венесуэльской газете «Насиональ» и кубинском ежемесячнике «Кайман барбудо».

Э. Мухика. Расскажи, пожалуйста, о положении уругвайской культуры и уругвайской интеллигенции сегодня.

М. Бенедетти. Политические события последних пяти лет в Уругвае прямо или косвенно затронули все стороны нашей действительности. Литература, как и культурная жизнь вообще, всегда так или иначе отражает ситуацию, сложившуюся в стране. В ближайшие годы, я уверен, тема изгнания обязательно войдет в творчество уругвайских писателей — как тема скорби и боли, которую художники слова ощущают с не меньшей силой, чем остальные уругвайцы.

До 1973 года уругвайская литература занимала среди своих латиноамериканских сестер одно из видных мест. Произведения таких писателей, как Хуан Карлос Онетти, Франсиско Эспинола, Хуан Кунья Мариo Арреги, Карлос Мартинес Морено Идеа Вилариньо, Хосе Педро Диас, Хуан Карлос Сомма, Хорхе Мусто, Эдуардо Галеано, и многих других складываются в яркую динамичную картину современной уругвайской литературы, литературы, поднимающей серьезные идейно-эстетические проб-

лемы и отличающейся высоким художественным уровнем.

Нынешний режим в Уругвае беспощадно преследует деятелей культуры (достаточно вспомнить запрет еженедельника «Марча», закрытие театра «Гальпон»). Но поднимая руку на них, власти тем самым обрушиваются и на народные массы, чьим достоянием эта культура является.

Едва ли не треть населения Уругвая, страны, где проживает чуть более двух с половиной миллионов человек, выслана или вынуждена покинуть пределы родины — страшная цифра. Уругвайские писатели также оказались жертвами этого «исхода». Удел изгнанника тяжел: неприкаянность, неуверенность в завтрашнем дне — естественно, что эмиграция отнюдь не создает благоприятных условий для литературного труда. Когда-нибудь исследователи займутся вопросом о том, как полицейские режимы «влияли» на судьбы целых поколений латиноамериканских писателей, подвергая их репрессиям...

Думаю, что, если собрать воедино все созданное нашими литераторами в самой стране и за ее пределами, получится поистине тягостная картина существования нашего многострадального маленького народа. И все же я убежден что он выстоит в этот мрачный период истории и сохранит свою национальную гордость, достоинство, свободолюбие. То свободолюбие, которое, по словам Артигаса, выше страха и оскорблений.

Э. Мухика. Не кажется ли тебе, что приход к власти фашистских режимов в ряде стран Южной Америки заставил переместиться центр латиноамериканской литературной жизни с юга на север — в страны Карибского бассейна?

М. Бенедетти. Следует уточнить: положение в странах Карибского бассейна не одинаково, тем не менее в настоящий момент условия для творчества писателя здесь лучше чем в Южной Америке. Среди реальных трудностей, с которыми приходится сталкиваться южноамериканским художникам слова, необходимо отметить две: вынужденную эмиграцию и разобщенность. Однако есть непреложная истина: культуре можно нанести тяжелый урон, но ее нельзя уничтожить Стоит жесткому диктаторскому режиму слегка оступиться как вечно живые ростки ее вопреки смерти и страданиям царящим вокруг, снова пробьются к свету.

Э. Мухика. Какова, по твоему мнению роль интеллигенции в освободительной борьбе народов Латинской Америки?

М. Бенедетти. Здесь уместно напомнить слова Грамши: «Мыслить способны все люди но не все они выполняют в обществе функцию мысляших существ». Одной из важнейших задач революционной интеллигенции является, на мой взгляд, следующая: преодолеть кастовую обособленность пойти вместе с народом, помочь каждому человеку стать действительно мыслящим существом, интеллигентом. Ведь мыслить — не привилегия и не высший дар, а долг и право каждого.

Интеллигент — тоже труженик и борец. Я полагаю, что роль его зависит от конкретной обстановки, от политических процессов, в которых он принимает участие и которые тем самым творит. Я бы добавил к этому, что настоящая революция немыслима без культуры...

Кубинская революция, потрясшая наш континент подобно землетрясению, разрушила немало «башен из слоновой кости»,— к счастью, они не обладают сейсмостойкостью... Большинство латиноамериканской интеллигенции работает не просто «для народа», а в самой гуще масс, вместе с ними. И это прекрасно знают империалисты. Современный художник и писатель могут и должны оказывать помощь освободительной борьбе в самых различных формах, начиная с чисто просветительской деятельности и кончая выполнением ответственной политической работы.

Искусство само по себе не в состоянии покончить с тиранией или изменить политический строй в стране, однако опыт исторического развития показывает, что искусству присуща особая сила воздействия, ибо оно умеет облекать в яркие художественные образы насущные чаяния людей. В этом последнем и состоит главная задача прогрессивной творческой интеллигенции.

Э. Мухика. Над чем ты работаешь сейчас?

М. Бенедетти. Недавно я написал две новых книги: сборник рассказов «С тоской по родине и без нее» и цикл стихов под общим заглавием «Дом и кирпич». В них идет речь об Уругвае наших дней. Я говорю о родине не только как о частице нашего многострадального континента, но и как о «стране, рассеянной по свету», я пишу о трагедии четвертованного Уругвая. В книге стихов, как того требует поэтический жанр, нашли отражение личные, подчас субъективные переживания. Но разве судьбы народа не складываются из личных судеб каждого из нас?

Сначала я собирался дать сборнику название «Стихи об изгнании», но потом решил, что его идейный замысел лучше всего передают слова Бертольта Брехта: «Я похож на человека, который везде носил с собой кирпич, чтобы все видели, из чего построен его дом». В рассказах я пытался изобразить политическое потрясение сквозь призму внутреннего мира людей, хотел показать, что крупные политические события захватывают все сферы человеческих отношений — внутри семьи, между поколениями и даже сугубо интимную сторону жизни. Что касается планов на будущее, то я пишу новую книгу — эссе об искусстве литературной критики.

Р. Фернандес Ретамар. Хочу начать наш разговор с одной истории, если и выду-

манной, то весьма удачно. Однажды некая дама спросила испанского философа Мигеля де Унамуно, верно ли, что он к тому же пишет и стихи. На это писатель ответил: «Сударыня, «к тому же» я пишу все остальное». Ты трудишься в очень разных литературных жанрах, и думаю, в подобной ситуации сказал бы то же самое.

М. Бенедетти. Я действительно работал во многих жанрах, но к некоторым (драматургия и фельетон) теперь уже не возвращаюсь. Продолжая писать рассказы, романы и очерки, я тем не менее считаю себя прежде всего поэтом. Моей первой книгой (не имевшей, правда, успеха) был стихотворный сборник. Стихи я пишу всегда: в мирное и военное время, в дни удач и в дни поражений, и когда радуюсь вместе с друзьями, и когда я в плену у гнетущего одиночества. Стоило выйти в свет моим рассказам, и уругвайская критика пришла к убеждению, что «мой» жанр — рассказ. Друзья старались убедить меня целиком посвятить себя прозе. Мне это льстило как прозаику, однако мое самолюбие поэта было уязвлено. Скорее всего критики были правы, указывая на слабость моих первых стихов, но они ошибались, советуя совсем от них отказаться. Никогда не забуду слов прекрасного поэта Хуана Куньи [1], вселившего в меня веру в собственные силы. «Твой «Незабываемый канун»,— сказал он мне однажды,— слабая книга, но иногда хороший поэт угадывается и в плохой книге». С тех пор я поставил себе целью жизни выпустить хорошую книгу стихов. Время шло, я писал рассказы, а в 1953 году даже сумел опубликовать роман «Кто из нас» — и все-таки мои первые семь книг (изданные за счет автора!) безнадежно застряли на полках книжных магазинов.

В 1956 году я напечатал «Стихи за конторкой». К моему удивлению — и к удивлению моих друзей-критиков,— тираж сборника разошелся в несколько дней. А надо сказать, что в то время с трудом распродавались даже хорошие прозаические произведения уругвайских авторов. Именно эта книга помогла мне установить наконец контакт с широким читателем... Я никогда не изменял поэзии, даже после неудачи с первыми стихами. Стихи я пишу и по сей день. Именно поэзия дает мне наибольший простор для самовыражения.

На капиталистическом рынке книга выступает как товар, причем спрос на прозу здесь всегда обеспечен либо самим издателем, рекламой либо критикой, литературными премиями. Поэзия же — на положении бедной родственницы. Вот почему шесть изданий стихотворного сборника «Реестр» — моего любимого детища — значат для меня гораздо больше, чем 25 изданий романа «Передышка».

Р. Фернандес Ретамар. К какой «ветви», или, если хочешь, «семейству» новых поэтов Латинской Америки ты относишь себя?

М. Бенедетти. Я веду свою родословную от Сесара Вальехо [1]. Правда, кое-кто, начав с Вальехо, предал потом свою поэтическую «семью», перебежавшись в лагерь Пиночета... В поэзии я ценю такие качества, как гражданственность, доступность широким читательским массам, коммуникабельность, политическая злободневность. Думается, отношение к ним и объединяет нас в поэтическую «семью»...

Р. Фернандес Ретамар. Но есть у поэтов и далекие «предки» — ведь каждый из нас испытывает влияние той или иной поэтической школы, имеющей сравнительно давнюю историю. Не мог бы ты назвать своих «предков» по поэтическому творчеству?

М. Бенедетти. Назову тебе трех главных: Антонио Мачадо, Сесар Вальехо, Хосе Марти — в той последовательности, в какой испытал их влияние. Конечно, и другие художники слова не оставили меня равнодушным: Р.-М. Рильке, Т. С. Элиот, Раймон Кено...

Среди латиноамериканцев мне особенно близки Рубен Дарио (мой любимый поэт, создатель неприкосновенных стихов), Дельмира Агустини [2], родоначальница нашей интимно-лирической поэзии, Гильен, Неруда, и, конечно же чилиец Висенте Уидобро, и аргентинец Рауль Гонсалес Туньон. Сегодня мои ближайшие поэтические «родственники»—Идеа Виларинью, Элисео Диего, Эрнесто Карденаль и — очень прошу, не вычеркивай этого имени — Роберто Фернандес Ретамар. Если говорить о поэтах, пришедших в литературу совсем недавно, то это уругваец Иберо Гутьеррес (павший жертвой фашизма), а также Антонио Сиснерос и Сильвио Родригес. Последний, кстати говоря еще и прекрасный певец.

Р. Фернандес Ретамар. А теперь — о твоих недавних стихах (не называю их последними, потому что уверен: за ними появятся новые). Они наводят на мысль, что в своей «поэтической семье» ты числишь и Данте. Мне всегда было не очень понятно, почему прилагательное «Дантов» сделалось синонимом слова «адский». Ведь Данте писал не только об аде, в его «Божественной комедии» мы читаем и о рае и о чистилище... В твоих стихах последних лет я ощутил большую человеческую боль скорбь изгнанника вынужденного покинуть родную землю. Я невольно вспомнил великого флорентийца — он был и великим изгнанником. Многому можно поучиться у этого блестящего поэта изысканно утонченного и одновременно сугубо народного, решившегося писать не на латыни а по-итальянски, выступавшего в защиту итальянского языка, создававшего и политические стихи,

[1] Кунья Хуан (род. в 1910 г.) — крупнейший лирический поэт Уругвая. *(Здесь и далее — прим. ред.)*

[1] Вальехо Сесар (1892—1938) — перуанский поэт-коммунист.

[2] Агустини Дельмира (1886—1914) — уругвайская поэтесса.

и прекрасную любовную лирику. Любопытно, что некоторые критики усмотрели связь между «Божественной комедией» Данте и «Всеобщей песнью» Неруды. А как ты относишься к гениальному итальянцу? Просто как к величайшему поэту прошлого или как к «родственнику»?

М. Бенедетти. Думаю, что Данте — предтеча всех поэтов-бунтарей, являвшихся в наш мир. Помню, как в отроческие годы я прочитал «Комедию» в переводе на испанский язык и... не понял ее. Возможно, тому виной был напыщенный, бутафорский стиль перевода. Позже мне посчастливилось получить «Комедию» в оригинале — и я по достоинству оценил завораживающую красоту этого страшного «Ада».

Спустя много лет, живя в изгнании и описывая собственный маленький ад, я испытал глубокое чувство солидарности с пламенным поэтом-борцом XV века. Пожалуй, в стихах любого поэта есть свой «ад», «рай» и «чистилище», полет мечты и горечь разочарования...

Р. Фернандес Ретамар. Среди твоих самых популярных вещей есть одна довольно необычная: роман в стихах «День рождения Хуана Анхеля». Однако ты не включил его в полное собрание стихов (вышедшее под названием «Реестр»), потому что считаешь его «не строго поэтическим произведением а скорее романом в стихах». Тогда скажи, пожалуйста, что же такое, по-твоему, «строго поэтическое произведение»?

М. Бенедетти. Строго говоря, поэзия — наименее строгий и наиболее гибкий из литературных жанров. Мне представляется, что «День рождения Хуана Анхеля» не принадлежит к собственно поэтическим произведениям как раз потому, что имеет «строгую структуру» что особенно сближает его с прозой. А впрочем, роман сейчас стал куда более свободным. современный романист создает новые формы, изобретает новые литературные приемы. Но изобретая их. он не должен от них отступать. Так, Джойс. например, изобретает хаос, но потом упорядочивает его и невольно впадает в риторику Я имею в виду его «Улисса»... И все же что-то не позволяет мне утверждать, что поэзия и проза совершенно идентичны. Думаю, что поэзия — это и отражение духовного мира, эмоциональный всплеск. гамма чувств, откровение слова бег времени это волшебные видения что завещали нам романтики и подхватили лирические поэты всех времен. А «День рождения Хуана Анхеля» — повествование кусок жизни. но не описание духовного мира человека Поэтому я считаю его романом в стихах, не причисляя к «строго поэтическому жанру».

Р. Фернандес Ретамар. На мой взгляд ближе всего к прозе — в особенности к романам — твои «Стихи других». В них встречаешься с необычными персонажами. Ты как бы переселил в этот сборник наиболее интересных и запоминающихся героев своей прозы, но на сей раз они сами выступают как «авторы» стихов. Расскажи, пожалуйста, об этой творческой находке.

М. Бенедетти. В «Стихах других» я следовал методу, который вызвал большой интерес. Между тем я не сделал никакого открытия, а всего-навсего продолжил то, что было начато Антонио Мачадо, Фернандо Пессоа [1]. Они тоже писали «стихи других»... Работа над книгой захватила меня: ведь пришлось «придумывать» самого себя, иными словами — «объективировать субъективное». Это позволило по-новому выразить себя в поэтическом слове. Само собой разумеется, я использую собственный опыт, собственный мир чувств...

Отталкиваясь от заглавия книги Алехо Карпентьера [2], я, пожалуй, назвал бы этот метод «методом превратностей». Именно он позволяет мне создавать стихи от лица Мартина Сантоме, или Лауры Авельянеды (персонажи «Передышки»), или Рамона Будиньо (герой романа «Спасибо за огонек»). Мысль превратить их в авторов стихотворений родилась у меня во время работы над кинокартиной по мотивам «Передышки»... Вернемся, однако, к «Стихам других», вернее, к их вводной части, озаглавленной «Тринадцать мужчин смотрят». Большинство персонажей здесь придумано мной, однако прототипом одного из них («Узник, смотрящий на сына») послужил наш товарищ — его пытали, он до сих пор томится в заключении. Прототипом другого («Изгнанник, смотрящий на родину») являюсь я сам. Герой последней части («Мой эпилог») — тоже я... Эта книга писалась, когда одиночество стало для меня чем-то материально осязаемым. И вот, чтобы возместить горечь многих утрат, я «населил» свое одиночество близкими мне людьми...

Р. Фернандес Ретамар. Появление твоих стихов в пятидесятых годах совпало с выходом произведений, авторы которых стремились завоевать для поэзии новые сферы, куда ранее доступ ей был закрыт. Задача эта всегда стояла и стоит перед поэтами, перед художниками вообще. К сожалению, этот естественный процесс порой приобретал форму «антипоэзии». Что ты думаешь о ней?

М. Бенедетти. Изобретя термин «антипоэзия», ее чилийский пропагандист [3] вов-

---

[1] Пессоа Фернандо (1888—1935) — крупнейший португальский поэт XX века. М Бенедетти имеет в виду то обстоятельство, что Ф. Пессоа писал стихи не только от собственного имени, но и от имени грех вымышленных им поэтов (Альберто Каэйру, Рикардо Рейша и Алваро де Кампуша), наделив каждого из них подробной биографией особой философией и своеобразным поэтическим стилем.

[2] Роман А. Карпентьера «Превратности метода» публикуется в «ИЛ», 1977, № 9, 10.

[3] Имеется в виду чилийский поэт Никанор Парра. Подробнее о нем см. статью Хосе Мигеля Вараса «Культура в борьбе за право существовать», «ИЛ», 1977, № 7.

се не считал себя антипоэтом; введя новую терминологию, он, вероятно, хотел противопоставить себя (о чем и писал в 1963 году в одной из своих работ) Поэту по имени Пабло Неруда.

Помнится, в 1968 году ты прочел лекцию «Антипоэзия и разговорная поэзия в Латинской Америке», где остановился на некоторых аспектах этой проблемы. Полагаю, что термин «разговорная» поэзия, или «коллоквиальная» поэзия, несомненно является более точным и правильным. Ведь антипоэзией можно назвать лишь античеловечную поэзию, где монолог поэта становится механической подделкой под человеческую речь. Возвращаясь к разговорной, или коллоквиальной, поэзии, нужно сказать, что, обогатившись новым словарем, новыми поэтическими аксессуарами, она тем не менее превратилась, к сожалению, в запретную зону для многих больших поэтов, хотя, случалось, вдруг выливалась в такие потрясающей силы вещи, как «Послание супруге Леопольдо Лугонеса» Рубена Дарио или «Человечьи стихи» Сесара Вальехо. Тогда поэтический язык делался более ясным и понятным, а поэт становился как бы свидетелем эпохи, исследователем действительности. Именно это имел в виду Элисео Диего: «Я пишу все это с грустью, будто читаю подлинный документ». Если же говорить о связи между моими стихами и антипоэзией, то ее не существует.

Р. Фернандес Ретамар. Твои первые стихи блещут остроумием, юмором, легкой иронией. Однако мне кажется, что теперь твой юмор постепенно исчезает. Или, может быть, он меняется?

М. Бенедетти. Мы, уругвайцы, переживаем такое время, когда для шутки и иронии почти не остается места. Столько людей безвинно томятся в тюрьмах, подвергаются истязаниям... Казнено и убито столько близких, соотечественников... Главными действующими лицами моей поэзии стали боль и гнев, юмор в ней редкий гость...

Р. Фернандес Ретамар. Твоей поэзии присущ, пожалуй, определенный прозаизм, хотя по своей сути она глубоко лирична.

М. Бенедетти. Могу с уверенностью сказать, что я решительный противник поэзии холодных, застывших форм, какими бы совершенными и чистыми они ни были. Меня не тронут стихи, если я не услышу в них музыки человеческой души. Поэтому мне так близка поэзия Мачадо — в ней есть место и засохшему дереву, и «прелести зазеленевшей ветки».

Р. Фернандес Ретамар. Знакомясь с твоим творчеством, читатель неизменно обнаруживает в нем четко выраженную гражданскую позицию поэта. От юмористических стихов об отупляющем труде за канцелярской конторкой — этой теме посвящен и ряд рассказов и очерков — ты перешел к «Стихам день за днем» и, наконец, целиком посвятил себя революционной борьбе. Ворвавшись в твою поэзию, политика пропитала ее. Ты постоянно рассказываешь об этом в стихах, в ярких поэтических образах.

М. Бенедетти. Политика, ворвавшаяся в мою поэзию, сначала вошла в мою жизнь. Она толкала меня к жанру «свидетельства». С другой стороны, я как-то всегда был подвержен влиянию «ближнего» своего. Когда он был безликим, серым клерком, разочарованным существом, я создал «Стихи за конторкой». Когда кубинская революция разбудила его и меня, в моей поэзии зазвучал призывный набат. Так появились «Стихи день за днем» и «Близкие — ближние»... Когда в 1971—1973 годах мой «ближний» вместе со мной включился в напряженную политическую борьбу, я написал «Необычные письма». Но вот для нас обоих наступили дни изгнания, и родились «Стихи других» и совсем недавно — «Дом и кирпич». В последние годы я стал писать и тексты для песен. Так я присоединил свой голос к голосу «ближнего», к голосу товарищей по борьбе.

Перевод с испанского Е. РОДЗЕВИЧ

◆

Заметки на полях

МНИМОЕ ПРОТИВОБОРСТВО

Солидный консервативный американский журнал «Харперс» в одном из номеров этого года опубликовал статью Тома Бетелла «Миф о противоборствующей прессе». Автор ее, долгие годы работавший в газете «Вашингтон пост», которая прославилась, в частности, тем, что публиковала секретные материалы Пентагона, рассказывает о взаимоотношениях между средствами массовой информации США и официальными кругами страны. Сейчас, когда советские люди обсуждают проект новой Конституции СССР, американская пропаганда особенно усердно сокрушается по поводу «отсутствия в нашей стране свободы печати», постоянно подчеркивая «независимость» органов массовой информации США от политики правительства. В этом свете статья буржуазного журналиста представляется весьма любопытной. Бетелл пишет:

«Недавние президентские выборы показали усиливающееся слияние средств массовой информации с правительством... Средства массовой информации стали частью правительственного аппарата, и единственное, что остается сделать,— это конституционно оформить этот факт».

По мнению Бетелла, средства массовой информации взяли на себя роль «провоцировать те или иные кризисные ситуации». Наглядным примером он считает так называемое Уотергейтское дело. Читатель вспомнит, что накануне президентских выборов 1972 года в США в штаб-квартире демократической партии были установлены подслушивающие устройства, которые, как утверждает печать, помогли кандидату от республиканской партии Никсону одержать победу на выборах. Пресса подняла шум. В результате запутанного расследования, длившегося почти два года, президент Никсон вынужден был подать в отставку. Мировое общественное мнение долгое время было под впечатлением того, как пресса помогла конгрессу США в сенсационных разоблачениях многих высокопоставленных чиновников. А вот что думает Том Бетелл:

«...Средства массовой информации и правительство опираются друг на друга, ибо иначе они не выжили бы и не могли бы процветать. Их партнерство порождает странные иллюзии. Волей-неволей начинаешь подозревать, что дела обстоят не совсем так, как это кажется, когда наблюдаешь за фантасмагорией, происходящей на голубом экране, слушаешь монотонный голос диктора... пытающегося возбудить интерес и внимание к оракулам средств массовой информации. Взять, например Уотергейт... Нам твердят, что Уотергейт был «кризисом»... Нам напоминают о кризисе Вьетнама и кризисе Уотергейта, которые привели к разочарованию в политических деятелях к потере веры в правительство и даже хуже. А я считаю, что Уотергейт вовсе не был кризисом... Мои друзья ходили на работу с пор-

тативными телевизорами, чтобы ничего не упустить из этого представления. То была мелодрама, но никак не кризис. Удивительно бескровная мелодрама. Не было жертв Уотергейта, не считая нескольких человек в Белом доме и странных типов вроде Дж. Гордона Лидди, который все еще в тюрьме. Но большинство участников мелодрамы публикуют бестселлеры, заключают «сделки» с издательствами теле- и кинокомпаниями То есть с органами массовой информации...»

Известный английский телепродюсер Дэвид Фрост недавно заключил с Никсоном, основным действующим лицом Уотергейтской мелодрамы, договор по которому последний получает 600 тысяч долларов за серию из четырех интервью плюс долю от проката этой телепрограммы. Когда Бетелл писал свою статью он не мог знать о новых интервью Никсона. Но это лишь подтверждает его мысль о взаимоотношениях между органами массовой информации и «истеблишментом».

Общая концепция, которая прослеживалась в комментариях самых разных газет по поводу Уотергейта, пишет Бетелл, заключалась в том, что «система сработала», то есть американская демократия в конечном счете несокрушима. Есть «плохие парни» в правительстве, но есть и «хорошие», которые и защитили конституцию. Однако за личностями исчезла из виду суть дела — подлинные проблемы никсоновской администрации, слишком серьезные, чтобы сбращать на них внимание массового читателя. Пресса, отводя энергию широкого недовольства американцев в безопасные каналы, в то же время умело поддерживала иллюзию своей критичности и независимости а правительство, выдвинув нескольких «козлов отпущения», фактически уходило от ответственности перед народом за свои промахи и за кризис, к которому привели его действия. Поскольку ответчики «плохие парни», зарабатывали миллионы, дело кончилось к обоюдному удовольствию, просто непревзойденной по масштабам сенсационной шумихой.

«Почему средства массовой информации все чаще берут на себя роль провокатора того или иного «кризиса»?.. Общепринятый ответ на этот вопрос таков: дело органов массовой коммуникации — присматривать за правительством, следить за его честностью, быть начеку, защищать права граждан на информацию играть роль часового на бастионах свободы и демократии. Когда я читаю такое мне всегда вспоминается фокусник в цирке, умело отвлекающий внимание зрителей чтобы тайна его фокуса осталась непонятой».

Опытный журналист делает вывод, что разоблачительные материалы в сегодняшней Америке, когда недовольство простого народа положением дел в стране все время усиливается, стали просто несбходимы. Но наивно полагать, будто они публикуются против воли правящих кругов США. Насборот, эти круги всегда знают, каким образом такие материалы «просачиваются». В основе их лежит секретная информация, которая без ведома правительства не может стать предметом всеобшего достояния.

Скандальные публикации газет часто преследуют цель откупиться такими жертвами от гнева массового читателя требующего от правительства конкретных шагов по решению наболевших проблем Америки Именно в этом свете Бетелл излагает историю с документами Пентагона, еще раз показавшую умение средств массовой информации мистифицировать читателя насчет истинной природы тех или иных тягостных явлений американской жизни, на словах подрывать престиж правительственной администрации объективно же способствовать укреплению официальной правительственной линии. В статье приводятся многочисленные конкретные факты не противоборства между правительством и прессой, а союза между ними, направленного на обезвреживание тех тенденций которые действительно борются против официального курса.

«...Существует некая тайная связь между правительством и средствами массовой информации, благодаря которой оппозиционное мнение, нелояльное свидетельство, доселе «секретные» документы попадают в распоряжение средств массовой информации... Эти взаимоотношения напоминают танец, в котором партнеры крепко держатся друг за друга и лишь время от времени размыкают руки и грозят друг другу, чтобы сбить с толку зрителя».

Автор статьи ставил перед собой конкретную задачу — развенчать иллюзию о независимости прессы. Он находит, что такое положение дел, при котором «информация — теперь только область в бюрократической структуре», а журналист, похваляющийся своей независимостью,— не более чем чиновник на хорошем жалованье у правительства, «при сегодняшнем уровне развития техники практически неизбежно». По мнению Бетелла, здесь есть и свои хорошие стороны. В его статье встречаются и выпады по адресу «несвободной» прессы социалистических стран, и попытки оправдать положение в американской печати, представив ее наиболее свободной при всех ее изъянах. Можно подумать, что автор сам пугается объективного смысла нарисованной им картины. Но картина эта, хотел он того или нет, впечатляет.

Бетелл цитирует Александра Гамильтона, одного из творцов конституции США:

> «Что есть свобода печати? Кто может определить, что это такое, без того чтобы не оставить максимум возможностей для ухода от ответа на этот вопрос? Я считаю, что пытаться делать это непрактично, а отсюда вывод: какими бы высокими ни были содержащиеся в конституции декларации о неприкосновенности печати, последняя полностью зависит от общественного мнения».

Того самого общественного мнения, добавляет Том Бетелл,

> «которое должно вызвать скрытые улыбки удовлетворения на лицах тех, кто владеет средствами формирования общественного мнения или контролирует их».

И здесь нельзя не вспомнить слова В. И. Ленина из его письма Г. Мясникову: «Свобода печати во всем мире, где есть капиталисты, есть свобода покупать газеты, покупать писателей, подкупать и покупать и фабриковать «общественное мнение» в пользу буржуазии»[1].

М. Б.

НАРОД И ЛИТЕРАТУРА

«Какую литературу называть народной?» — такова тема дискуссии, которая продолжалась в течение последних трех месяцев 1976 года на страницах ведущего органа прогрессивных сил Индии газеты «Джан юг», выходящей в Дели на языке хинди. В обсуждении приняли участие писатели, литературные критики, общественные и профсоюзные деятели, рабочие служащие, домохозяйки. На вопрос газеты они отвечали по-разному но, различаясь в частностях, большинство определений тяготеет к тому, которое дано в открывшей дискуссию статье ныне покойного популярного поэта Муктибодха:

> «Народная литература — это такая литература, которая утверждает жизненные ценности и жизненные идеалы народа, ведет его по пути свободы в широком смысле слова — от политической свободы до освобождения от пут невежества».

Поскольку само понятие «народная литература» предполагает связь и соотношение двух составляющих его компонентов: «народ» и «литература», то, естественно, в ходе дискуссии были рассмотрены как оба эти элемента, так и связь, которая устанавливается между ними.

Что же такое «народ», для которого участники дискуссии пишут, которым клянутся на который ссылаются как на верховного судью? По их мнению, это отнюдь не вообще население страны, а лишь его трудящаяся часть, составляющая большинство общества, которое добывает себе средства к существованию трудом — физическим или умственным. Понятно, что ближе всего человеку труда устное народное творчество (былина, сказка, притча), однако вряд ли было бы правильно — и эта мысль прозвучала во многих выступлениях — сводить понятие «народная литература» лишь к фольклору, который при всем своем богатстве и многообразии может считаться лишь составной ее частью, если учесть, что в современном мире по мере роста грамотности,

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44. стр. 79.

урбанизации и интернационализации общественной жизни роль письменной литературы стремительно возрастает. Участники дискуссии подчеркивают, что, являясь понятием очень широким, «народная литература» охватывает огромные пласты литературы — от фольклора до произведений классики и что неотъемлемой составной ее частью поэтому являются и народные песни, и творения Калидасы, Тулсидаса и других корифеев индийской литературы.

«Конечно, мы не согласны с мировоззрением Калидасы или Тулсидаса,— пишет критик Джугмандир Таял,— однако в их творениях мы находим такое проникновенное изображение человеческих чувств и жизни простого человека, которое является неотъемлемым свойством народной литературы».

Степень народности произведения в определенной мере зависит от его роли в жизни народа, от его участия в борьбе за идеалы добра и справедливости.

«Насколько глубоко литература отражает жизнь народа, поднимает народ на борьбу и помогает ему в борьбе, с какой силой наносит удар по капитализму и феодализму, освобождает народ от религиозных предрассудков, невежества и косности — вот пробный камень подлинно народной литературы»,— заметил в своем выступлении профсоюзный деятель Сатьяпрасад Чамоли.

«Кабир [1] потому считается народным поэтом, что он полностью прочувствовал, осознал и отразил противоречия своей эпохи,— иллюстрируя это положение, пишет читатель Сурeш Шарма.— Именно поэтому народными являются и Премчанд[2], и Нирала[3], и Муктибодх: они создали произведения, которые помогали борьбе народа и сами были участниками этой борьбы».

По его мнению, «народная литература» — это:

«литература, создаваемая для народа; литература, читаемая народом; литература, создаваемая самим народом».

Однако в условиях классово-антагонистического общества отнюдь не всегда великие художественные произведения доходят до народа. Те, для кого они написаны, чью жизнь отражают, живут в угнетении, нищете и невежестве. Не представляет исключения и современная Индия — страна, получившая в наследство от колониализма к тому же массовую неграмотность.

Но не только социальные условия и массовая неграмотность являются барьерами между произведением и читателем. Существует и барьер лингвистический. Язык хинди, например, является родным языком лишь для части населения Северной Индии. Кроме района Дели-Мератха хинди служит средством общения только горожанам, основная же масса населения, живущая в деревне, говорит на региональных языках (авадхи, брадже, бходжпури и т. п.), генетически родственных хинди, но вовсе не сводимых к сумме его диалектов. Для этих масс хинди, который в данном районе является языком школы, органов управления, основных средств массовой информации, остается практически недоступен в любой его форме, будь то разговорная или тем более литературная. Поэтому вполне оправданным и закономерным является призыв, прозвучавший в статье писателя Бхишама Сахни,— шире использовать народные (региональные) языки в качестве средств литературного выражения.

«...Использовать язык народа — вовсе не значит идти на компромисс со своим дарованием, тем более опускаться до уровня неграмотных масс»,—

пишет Бхишам Сахни, ссылаясь при этом в качестве образца на средневековых поэтов, создававших свои бессмертные творения на народных языках (авадхи, брадже, майтхили и т. д.).

Однако не только этот барьер стоит между литературой и народными массами. Литература, создаваемая на хинди, отделена языковым барьером даже от тех, кто на нем говорит,— и не только из-за огромных «ножниц», которые существуют здесь меж-

---

[1] Кабир — средневековый поэт, живший в XV в.
[2] Премчанд (1880—1936) — писатель, классик литературы хинди, основоположник метода критического реализма в ней.
[3] Нирала (1896—1961) — известный поэт хинди, выдающийся представитель революционного романтизма.

ду языками разговорным и книжным, но и вследствие того, что для литературного творчества здесь используются две графики: арабская и деванагари. Из-за этого, а также из-за ориентированности на различные источники лексики на базе единого языка сложились две литературные формы (нередко их квалифицируют как отдельные литературные языки) — урду и хинди. Поэтому можно понять делийского читателя Мадан Мохан Дхасия, который в своем письме в редакцию пишет:

> «Народной я могу назвать только такую литературу, которая создается на понятном массам разговорном языке и которую современный рабочий, крестьянин или другой представитель трудового общества может читать и понимать, не испытывая трудностей».

С мнением простого рабочего перекликается высказывание Бхишама Сахни:

> «Одна из причин популярности и влияния Премчанда заключалась в том, что литературный язык он сблизил с простым языком народа».

Конечно, связь между понятиями «народ» и «литература» предполагает доступность последней не только в социальном и идейно-эстетическом аспекте, но и в лингвистическом: простота, ясность и выразительность его языка — таковы требования, которые предъявляет к художнику понятие народности.

Требование доступности, однако, вовсе не означает, что все произведения, не понятные народу, автоматически исключаются из разряда народной литературы. Более того, в современных условиях обострения кризиса капитализма доступность, рассматриваемая как самодовлеющая величина, как известно, породила так называемую «массовую литературу». За годы независимого существования «массовая литература» в Индии получила широчайшее распространение. Ныне полки книжных магазинов ломятся от всевозможных поделок — своих и зарубежных.

Как же противостоять этому мутному потоку?

Основное, по мнению участников дискуссии, средство борьбы — приобщение народа к подлинным художественным ценностям, тем более что в стране существует благодатная почва созданная многовековой традицией устного народного творчества, которое поддерживало в массах высокие эстетические критерии. Об этом великолепно сказал Бхишам Сахни:

> «Пусть народ наш неграмотен — неотесанным его назвать нельзя. У нас богатейший фольклор, и на протяжении столетий простые люди наслаждались стихами «Рамаяны», «Махабхараты», поэтов-бхактов. И хотя образы и символы современной поэзии непонятны ему — впрочем, они не всегда понятны даже образованным людям,— в нем высоко развито чувство прекрасного. Песня и стих — в самой плоти и крови его».

Но как достичь этой цели — приобщить трудящиеся массы к художественной литературе? Ответ на этот вопрос дает в своем письме рабочий Лалан Сингх:

> «Возможен ли культурный рост трудящихся, даже если они получат самую лучшую демократическую и социалистическую литературу? Нет, невозможен! Для этого прежде всего необходимы коренные социально-экономические преобразования, и эти преобразования совершат сами трудящиеся...»

Таким образом, проблема эта — не столько литературная и культурно-просветительская, сколько социальная. Лишь коренные социальные преобразования открывают доступ к сокровищам народной литературы. Поэтому слова известного критика Шивкумара Мишры можно рассматривать как вывод, к которому приходит большинство участников дискуссии в газете «Джан юг»:

> «Лишь в бесклассовом обществе, где нет эксплуатации,— лишь при социализме... материально и культурно процветающий народ будет в состоянии полностью оценить и воспринять свое культурное наследие, в соответствии со своими культурными запросами создавать новую литературу и получать от нее эстетическое наслаждение».

В. ЧЕРНЫШЕВ

◆

Публицистика

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ В СОФИИ

Любомир Левчев

БОЛГАРИЯ

ПО ВЕЛЕНИЮ СОВЕСТИ

Я написал свое выступление, опасаясь, что волнение помешает мне сказать именно то, что я хочу вам сказать от всего сердца. Для меня эта встреча — долгожданна и счастлива. Я рос сиротой, и, может быть, поэтому еще с раннего детства мое представление о счастье всегда было связано с возможностью общаться с близкими людьми, со старыми товарищами. Именно таких близких людей вижу я здесь, несмотря на то, что с некоторыми из вас лично я познакомился только сейчас и наша дружба начинается только теперь.

Наша Софийская писательская встреча, которая в некотором отношении поистине уникальна, состоялась благодаря талантливым усилиям и чувству ответственности, проявленным многими творцами различных стран и народов. Наша встреча состоялась не без трудностей. И мы должны поблагодарить всех наших собратьев по перу за то, что, преодолевая расстояния и предрассудки, жертвуя своим личным спокойствием, а иногда проявляя поистине гражданскую и творческую смелость, они прибыли сюда показать, что совесть писателей всего мира едина и непримирима, когда речь идет о мире — том мире, без которого человеческая цивилизация уже не может существовать.

Такое внушительное по своей широте и представительности собрание писателей не только вызывает интерес мировой общественности, но и обязывает задуматься: каким будет наш реальный вклад в дело мира? Могут ли писатели действительно повлиять на ход политики стран, вооружающихся сегодня чудовищными средствами уничтожения?

Некоторые наши собратья сомневаются в возможности писателя воздействовать на политику, более того — они опасаются, что будут использованы ею.

Что касается меня, то я в этом комплексе писательского, человеческого бессилия вижу один из самых опасных предрассудков, доставшихся в наследие от периода так называемой «холодной войны». В тот период реакционные силы — те, для которых война означает прибыль,— сделали все возможное, чтобы прервать духовные связи между нациями, изолировать и противопоставить народу представителей их интеллигенции, превратить писателей в беспомощных одиночек.

Несомненно, писательский труд — глубоко индивидуален. С чистым листом бумаги каждый из нас остается наедине, вооруженный лишь своим талантом и

Продолжение. Тексты выступлений четырех участников Международной встречи писателей в Софии печатаются с незначительными сокращениями.

своей совестью. Но будем ли мы в этот миг наивысшего подъема «наедине» или «одиноки» — далеко не одно и то же, в этом и есть суть проблемы, определяющая судьбу каждого писателя.

Заключенные в тюремные камеры, брошенные в концентрационные лагеря писатели-антифашисты не были одинокими. Изгнанник Рафаэль Альберти не был одинок на улице Гарибальди в Риме. Страшно, когда сегодня в своем роскошном кабинете писатель может себя чувствовать замурованным за стенами гораздо более опасной тюрьмы, называемой отчуждение. И тогда ему не остается ничего другого, как предаться «оргии отчаяния».

Когда я оказываюсь один на один с чистым листом бумаги, я не чувствую себя одиноким. Рядом со мной так много замечательных писателей, и, разрешите мне это сказать, я в этот момент вижу в вас моих боевых товарищей. И моя ответственность перед вами превращается в ответственность перед всеми.

Я не могу быть одиноким, думая о том, что моя греческая мать Рита Буми-Папа проклянет меня, если узнает, что я отвернулся от людей.

Когда мне необходима творческая дерзость, я отправляюсь в станицу Вешенскую к нашему старшему брату Михаилу Шолохову и долго беседую с ним на берегу Тихого Дона.

Я не могу чувствовать себя одиноким, когда представляю, как по рощам Оссайнинга (так похожим на подмосковные перелески) бродит Джон Чивер, словно арестант, сбежавший из камеры, обреченный на тщетные поиски свободы и красоты.

Я не одинок, потому что знаю: мой друг — чудесный поэт Андрей Вознесенский — создает сейчас свой новый витраж из неповторимых слов, через который нас заливает спокойный и благородный свет России.

Даже когда далеко за полночь я пью горьковатый кофе, даже тогда я не одинок, потому что представляю себе, как мой дорогой друг Пьетро Буттита пьет свой гневный полночный кофе в «Сант-Эустакио».

А когда мне холодно, я могу согреться у канадского камина Мириам Уодингтон, где она опять собрала молодых поэтов, чтобы почитать им свои последние стихи.

И радость всегда возвращается ко мне при мысли, что Эрве Базен «оседлал» свой маленький трактор и вспахивает ниву человеческих душ, чтобы посеять семена надежды. Невозможно перечислить имена всех писателей, особенно моих болгарских собратьев по перу, чье невидимое, но постоянное присутствие обогащает меня и придает мне силы в часы веселья и грусти.

Я счастлив, что снова могу обнять Элли Пэониду, Альфредо Варелу, Николаса Гильена или Джона Коломбо... Хочу вас заверить, что в час испытаний я, как и все болгарские писатели, буду всегда вместе с вами.

Но что бы произошло, если бы я почувствовал, что эти драгоценные встречи невозможны, что наши видимые и невидимые контакты оборваны? Тогда я был бы бесконечно беден — ограблен.

Дорогие друзья!

Я верю, что духовное общение писателей — это выражение духовного общения народов. И если эта связь прервется или нарушится, миру между народами будет грозить опасность. Поэтому я приветствую реальный вклад, который наша писательская встреча вносит в дело мира во всем мире даже одним лишь фактом своего созыва.

Эпоха, которую мы называем нашей, предоставила нам фантастические средства массовой коммуникации. Но вряд ли их создатели предполагали, что эти открытия превратятся в обоюдоострый нож, что они могут служить как для связи между людьми, так и для их разъединения — как для массовой информации, так и для массовой дезинформации. Сегодня мы чувствуем и сознаем острее, чем когда-либо, что никакие технические средства не могут заменить живого контакта между людьми. Я вижу смысл нашей живой встречи и в нашем противостоянии отчуждению и дегуманизации.

Эпоха, которую мы называем нашей, восстановила одну античную традицию — олимпийские форумы. Некогда люди бросали мечи и щиты, чтобы встретиться в мирном состязании, показать духовное и физическое совершенство человека, утвердить доверие к человеку — веру в непреходящие моральные и эстетические ценности бытия. Странно и, может быть, симптоматично, что современные олимпиады, возродив спортивный облик античной идеи, недостаточно настойчиво утверждают ее духовную суть — суть идеи торжества гармонии в бытии человеческой личности, стремления привести к гармонии отношения между людьми.

Трудно представить, конечно, что спортивные олимпиады могли предотвратить войну, и все же... Гармония человеческого духа невозможна без мира, и, наверное, имя ей — МИР.

Как писатель я думаю, что дух Хельсинки — это именно такое стремление утвердить живые контакты между народами, общение и гармонию между людьми, гармонию в каждой человеческой личности. Потому что без уверенности в завтрашнем дне, без уверенности в мирных днях и мирном труде человек теряет историческую перспективу.

Я далек от намерения рисовать идиллические и наивные картины всеобщего примирения и единодушия. Без споров человеческая мысль угасает, без столкновений не рождается новая художествен-

ная идея и новое слово. Но даже и в споре человек не должен быть одинок.

Разрешите мне в заключение выразить надежду и уверенность, что дух Софийской встречи, что мир — идея, которая собрала нас здесь и которая объединяет всех честных людей,— восторжествует.

Встреча в Хельсинки стала символом утверждения политики мира. Существуют Пагоушские встречи ученых, посвятивших свои усилия делу мира. А почему бы не существовать Софийским встречам писателей, посвященным самой гуманной и жизненно важной проблеме человечества — борьбе за мир во всем мире? Неважно, как они будут называться. Хорошо бы проводить их в разных городах и во все большем числе стран. Важно, чтобы семена, которые мы посеем сегодня, дали плоды, полезные для всех.

Перевод с болгарского Л. ХЛЫНОВОЙ

Богомил Райнов

БОЛГАРИЯ

НАРИСОВАТЬ МИР

Сколько-то лет тому назад великий романист Уильям Фолкнер был приглашен на обед к американскому президенту. Ко всеобщему недоумению, Фолкнер ответил лаконичным отказом. А журналистам пояснил:

«Если нужно проехать шестьсот километров для того, чтобы поесть, я предпочитаю сделать это дома».

Разумеется, в данном случае дело было не в еде, не в километрах. Писатель достаточно прозрачно намекал, что, в сущности, им с президентом нечего сказать друг другу.

И сам факт, что многие из наших гостей проехали гораздо более шестисот километров, чтобы занять место в этом зале, свидетельствует об общей уверенности, что нам е с т ь что сказать друг другу. Мне даже кажется, нам так много надо сказать, что предоставленной четверти часа никому из нас не хватит, тем более недостаточно будет запрограммированных для заседаний трех дней.

И все же, чтобы соблюсти регламент, я постараюсь ограничить свое выступление одним вопросом. Вопросом, естественно, о человеке, потому что это наша общая тема. Мы говорим: наша забота — человек, его нужно уберечь от войны. Но не рассматриваем ли мы иногда эти объекты—человек и война—как две постоянные величины, одну из которых следует защищать, чтобы ее не поглотила другая? И всегда ли мы отдаем себе отчет, что эти две величины не так уж постоянны? И что война, даже и не разразившись, уже давно начала разрушать что-то в человеке? И хотя внешне она притаилась, на самом деле медленно и неуловимо разлагает его своей радиацией? Потому что не только ядерное оружие обладает атомной радиацией, но и его призрак имеет свою радиацию. Это радиация гнетущего беспокойства, леденящего страха, пессимизма.

Я прожил немало лет на Западе и наблюдал поведение людей во время многих таких кризисов, которые с какой-то адской периодичностью следовали друг за другом в минувшие десятилетия. Богатые при этом предусматривали для себя переезд в какую-либо из более надежных стран, например, в Швейцарию. Простые люди не могли что-либо предпринять, но поскольку инстинкт все же требовал что-то предпринять, они запасались оливковым маслом и сахаром. Позднее перестали даже делать запасы. Видимо, примирились с мыслью, что если то, чего они опасаются, случится на самом деле, то не понадобится ни масло, ни сахар.

Кризисы были самым концентрированным выражением Большого страха. Во время пауз Большой страх уступал место обычной неуверенности и беспокойству, к чему все давно привыкли. Но привыкнуть к чему-либо еще не значит, что оно уже не приносит вреда, просто перестаешь ощущать этот вред. Я убежден, что многие неврозы современности, большинство случаев неврастении, депрессии, актов насилия и настроений нигилизма, в какой-то мере проникших в среду молодежи, отчасти порождены зловещей радиацией атомного призрака. Я убежден, что бациллы отчуждения, безысходности отчаяния, коллизии между личностью и обществом, между техническим прогрессом и духовной культурой, между человеком и машиной, между отцами и детьми, хотя и не порождены и не запрограммированы Призраком, все же каким-то образом обострены его излучением, тем гнетущим и враждебным человеку климатом, название которому «холодная война».

Все эти патологические изменения человеческой души предоставляют богатый материал для писательского исследования и, разумеется, заслуживают того, чтобы быть исследованными. Но я не ве-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ В СОФИИ

рю, чтобы кто-либо из нас удовлетворенно потирал руки перед таким изобилием. Конечно, литература всех времен черпала вдохновение преимущественно из столкновений и страданий. Но совсем не от любви к страданию, а в силу вечного стремления к его преодолению. Проницательно исследовать болезнь и поставить точный диагноз — уже само по себе поистине большое мастерство.

Но дело в том, что эта виртуозность не мешает больному оставаться больным.

Люди, приверженные инерции машинального оптимизма, говорят нам, что «холодная война» — это все же не горячая война. Нам еще говорят, что раз наш мир три десятилетия балансировал на краю пропасти и не рухнул в нее, то что удивительного в том, если эта эквилибристика успешно продлится еще три десятилетия? Подобные утешения напоминают мне одну старую и, вероятно, известную всем историю. Я имею в виду историю о том субъекте, который по рассеянности поскользнулся на крыше и упал с сотого этажа какого-то небоскреба. Естественно, он стал падать. Падал, падал и, когда до земли оставалось еще несколько этажей, сказал себе, не без известного удовлетворения:

— До сих пор все шло хорошо.

Но давайте даже допустим, что от контакта с тротуаром нас отделяет еще много этажей, десятки этажей. Так что же из этого?

Не так давно я смотрел репортаж по американскому телевидению. Интервьюировали молодую женщину, супругу военного. Одного из тех военных, кто обеспечивает круглосуточное дежурство в подземельях, где хранятся смонтированные водородные бомбы, в любую минуту готовые к своему зловещему полету. Молодую даму спросили, думает ли она о войне. «Только когда случается кризис»,— ответила она. Последовал второй вопрос: «А как вы живете?» И второй ответ: «День за днем». «День за днем?» — удивился журналист. «Да, день за днем. Именно день за днем»,— подтвердила женщина.

В сущности, миллионы людей во всем мире сейчас так и живут — день за днем, часто даже не сознавая этого. Но так — день за днем — разве это жизнь? Неужели можно по-настоящему жить и творить, когда, как известно, в самой сущности творчества заложено сознание не только «сегодня», но и «завтра»? Мир, который живет «день за днем», может существовать, но не создавать духовные ценности, потому что это мир без мысли о будущем, потому что это мир без будущего.

Укрепить в людях веру в будущее — это, надо признаться, не только в нашей власти, но и наша власть в этом отношении не так уж мала. Ведь наша профессия заключается в том, чтобы творить красоту. А, как сказано, красота спасет мир. Разумеется, красота может представлять собой нечто довольно условное, и уровни ее восприятия могут быть самыми разными. Палач Гейдрих, как известно, тоже ощущал красоту на каком-то уровне, раз любил играть Моцарта.

Мне кажется, что сегодня красота не может заключаться в примирении, звучать словно колыбельная, помогающая нам проспать катастрофу. Мне кажется, что сегодня, как и всегда, она прежде всего — во властном протесте человека против всего античеловеческого, в решимости действовать, в воле, направленной к тому, чтобы отстоять жизнь.

Некогда Эрве Базен воспользовался для заглавия своего романа евангельской фразой. Той фразой, которой Христос поднял парализованного с постели: «Встань и иди!»

Я думаю, что наше творчество, обращенное ко всем этим тысячам людей, страдающим от неврозов, тонущим в противоречиях, потерявшим веру в человеческие силы, смирившимся с тем, что они могут не ходить, а только ползать «день за днем»,— наш писательский долг в отношении всех этих колеблющихся и мечущихся душ, открывающих наши книги со слабой надеждой найти ответ на свой вопрос, наш долг внушить им со всей силой своей любви:

«Встань — и иди!»

Скептики говорят нам, что мы не обладаем властью евангельского чудотворца, потому что он был один, а нас много, наши усилия разрозненны, а сами мы разбросаны на далекие расстояния, разделены барьерами политических, национальных и идейных различий.

Вывод этот фальшив, но сама констатация верна не только в отношении расстояний, но и различий. Усилия наши во многом действительно долгое время были разрозненны. И нужно нечто поистине фатальное и грозное, чтобы мы объединились. Это нечто фатальное и грозное, увы, налицо.

Поверие о всеобщей мировой катастрофе, собственно, не ново. Мы можем его найти еще в Апокалипсисе. Неоднократно, особенно к концу каждого века, перед человечеством возникало кошмарное видение конца света. Последний по времени кошмар, как известно, связан с пресловутой кометой Галлея. Предсказывали, что она врежется в нашу планету и взорвет ее, но встреча не состоялась.

Сегодня, к сожалению, мы сами производим кометы. Они находятся на складах в количестве более чем достаточном, чтобы все мы взлетели на воздух, и настало время спросить себя: «Неужели только смерть может нас соединить? И так ли уж слаба в этом смысле жизнь?»

Месяц назад я побывал в Швейцарии и, роясь в книжных лавках, наткнулся на необычную книгу. Антология с рисунками и стихами, созданными детьми, арабскими и еврейскими детьми. Отцы их,

вероятно, враждовали или жили в неприязни, но дети объединились и создали книгу о мире. Потому что тема этого сборника — «Мой мир».

Совсем детские рисунки и совсем детские стихи. Я прочитаю вам одно из них, поскольку оно очень короткое. Называется оно «Коробка с красками».

У меня была коробка с красками,
прелестными, блестящими и красивыми.
У меня была коробка с красками —
красками холодными и красками
теплыми.

Не было красной
для крови раненых.
Не было черной
для траура сирот.

Не было белой
для лиц мертвых.

Не было желтой
для раскаленных песков.

Была оранжевая
для радости жизни.
Была зеленая
для листьев и почек.
Была синяя
для ясного неба.
Была розовая
для мечты и покоя.

И я сел
и нарисовал
мир.

(Тали Сорек, 13 лет)

Между прочим, хотелось бы задать вопрос: не могли бы и мы, взрослые люди и писатели нашего времени, сделать по крайней мере то, что сделали дети,— объединиться и создать из своих книг общую антологию мира?

Перевод с болгарского Л. ХЛЫНОВОЙ

Йозеф Редин

ФРГ

СО СТРАСТЬЮ И РАЗУМОМ

Дорогие хозяева, дорогие коллеги, подобно всем вам, я не выбирал для себя время, когда мне родиться. Не выбирал я и народ, в котором был рожден. И вот я принадлежу к тому народу, который дважды в этом столетии насылал на землю ужасы войны, на всю землю, в том числе и на эту страну, Болгарию, которая сегодня оказывает мне редкостное, исключительное гостеприимство.

Когда Гитлер пришел к власти, мне было четыре года, когда он покончил самоубийством, мне было шестнадцать. Стало быть, на меня нельзя возложить ответственность за то, что так укрепилась и распространилась власть этого зачинщика войны. Но уже ребенком я мог наблюдать, как подготавливает войну бесчеловечный режим. Причины для войны можно отыскать на страницах истории: обогащение ценой насилия, экспансия власти, колониальные притязания.

Но как удается такому режиму на глазах у своего народа полностью отречься от мира и доказать, что война — единственно возможный способ существования? Я наблюдал, как это делают — путем унижения всех других.

Первый говорит: другие не такие, как мы.

Второй говорит: другие хуже, чем мы.

Третий говорит: другие — низшая раса.

Четвертый говорит: другие — животные.

Пятый говорит: другие — вредные животные.

Шестой говорит: вредных можно уничтожать.

Седьмой говорит: вредных должно уничтожать.

Восьмой составляет план уничтожения.

А девятый тогда приступает к уничтожению, становится палачом в «ночь длинных ножей», комендантом концлагеря.

Утверждения о том, будто современная война является делом лишь кадровых военных — ложь, ложь чистейшей воды. Разоблачая эту ложь, я не могу ограничиться лишь эмоциональным восклицанием. Мы, писатели, те, кого нередко упрекают в уходе от действительности, в эскейпизме, должны призвать на помощь и рассудок, и страсть, чтобы разоблачать ложь, ведущую к войне.

Вот как я разоблачаю ложь о том, что война поддается локализации:

В войне Германии против Франции 1870—1871 годов из ста убитых было 98 солдат и двое гражданских.

В войне 1914—1918 годов из ста убитых было 52 солдата и 48 гражданских.

В войне 1939—1945 годов из ста убитых было 24 солдата и 76 гражданских.

А во вьетнамской войне из ста убитых было два солдата и 98 гражданских.

Другими словами, будущие войны — и «традиционные», как их красиво величают, и войны с применением атомного оружия — коснутся всего человечества, а может быть, и приведут его к гибели.

И я не уверен, что писатель, который перед лицом этих прискорбных фактов не отдаст все свои силы делу сохранения

и упрочения мира, заслуживает звания писателя.

Таковы мои мысли по поводу нашей общей темы, мысли представителя того поколения, которое своими глазами видело, как творят войну.

Для трех своих сыновей — им сейчас от 9 до 11 лет — я написал этот простой текст. Для своих сыновей и для всех детей нашей планеты. А если какой-то текст понимают дети, почему бы ему не прозвучать и для взрослых?

МИР

Не надо ссор
И споров тоже!
По-английски это звучит
Проще простого —
peace,
А по-французски
paix,
А по-русски
МИР,
А на иврите
shalom,
А по-немецки
Frieden.
Или:
Поди-ка сюда,
Давай вместе играть,
Вместе разговаривать,
Вместе петь,
Вместе есть,
Вместе пить
И вместе жить,
Чтобы нам жить.

Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

Филлип Боноски

США

МИР — ЭТО ВОЗДУХ

Хотя сейчас в мире никто — или почти никто — не призывает открыто к войне, тем не менее главная забота всего человечества, из-за которой мы собрались здесь, состоит сегодня в том, чтобы предотвратить эту войну, к которой никто не призывает.

Таков парадокс, лежащий в основе всех наших современных проблем. Не будет преувеличением сказать, что никогда еще за всю историю нашей планеты столько людей — миллионы миллионов их — не желали мира столь страстно, не жаждали его всеми клеточками своего существа. Однако действительность остается действительностью: наша эпоха — это эпоха массовой тревоги.

Несколько лет назад тогдашний министр обороны Роберт Макнамара, говоря о гонке вооружений, заметил, что создание все более мощных и разрушительных видов оружия стало как бы самоцелью, обрело инерцию — «инерцию безумия», по его выражению,— которую как будто уже нельзя погасить одним лишь актом человеческой воли.

Я хочу рассмотреть здесь именно этот факт, это заблуждение, будто гонка вооружений сотворила своего рода чудовище Франкенштейна, которое не может свернуть с пути разрушений и хаоса до тех пор, пока — а когда именно, не знает никто — его извращенный мозг не удастся вернуть в небытие.

Главное заблуждение великого множества людей — и в том числе, безусловно, и американцев — заключается в том, что, по их мнению, вопрос о войне и мире больше не зависит от человеческих решений, он во власти чуть ли не стихийных сил, перед которыми человек беспомощен. Этому убеждению сопутствует еще одно — не менее фатально и тесно с ним связанное — убеждение, что социализм и капитализм органически несовместимы на одной планете, что они идут к неминуемому столкновению и война не на жизнь, а на смерть между ними неизбежна — и чем скорее, тем лучше, добавляют некоторые.

Вряд ли надо доказывать, что любая теория неизбежности и неотвратимости ведет к безнадежности, беспомощности и пассивности. Если никакие усилия не могут принести пользы, так зачем же их и делать?

Если вопрос о войне или мире в принципе решен и остается только разработать стратегию — значит, политическая борьба за то, чтобы помешать войне, предотвратить ее, уничтожить самую ее возможность вплоть до отдаленного будущего, становится тщетной и бесплодной.

А если борьба против неизбежности войны бесплодна, так какая польза от разрядки напряженности? Не является ли она в действительности уступкой, которую более сильная сторона делает слабой из соображений текущей политики, а затем может взять назад или безнаказанно нарушить самый ее принцип, использовать ее как рычаг при переговорах или вовсе от нее отказаться?

Мне кажется, сейчас нет ничего опаснее, чем принятие той или иной версии неизбежности — то есть человеческой и политической беспомощности не только перед колоссальностью этой проблемы, но и перед ее особой природой, из-за которой она недоступна даже пониманию простых людей, так что заниматься ею будто бы могут только «специалисты».

Если война всегда была делом настолько важным, что его нельзя было отдавать на усмотрение одних лишь генералов, то и мир слишком важен, что-

бы оставлять его в руках специалистов, так сказать, техников. Вопрос мира, безопасности не может быть разрешен специалистами, и поиски «решающего оружия» — это поиски синей птицы, которую ведет военщина. Рост вооружения усугубляет неуверенность в будущем. И только.

Дело борьбы за мир необходимо вырвать из рук тех, кто в него не верит,— пусть ее ведут те миллионы людей во всем мире, неспециалисты ни в делах войны, ни в теориях обреченности, на стороне которых только одно: желание жить. Их следует убедить, что это желание жить делает их куда более квалифицированными судьями в вопросах войны и мира, чем любой генерал, любой политик, любой военно-промышленный комплекс, где бы он ни находился.

Существуют специфические, можно сказать, национальные заблуждения, способствующие пассивности и безразличию, помогающие запугивать людей и сбивать их с толку. Одним из основных и крайне опасным среди них является убеждение, будто мы — мы, американцы, имею я в виду — не можем делить планету с «нашими противниками» (под этим выражением обычно подразумеваются русские) и «неизбежно» должны вступить с ними в смертельную схватку, так как они представляют образ жизни, враждебный нашему, и лишь тогда мы вновь обретем спокойствие. Это давняя концепция. Собственно говоря, большинству современных американцев она преподносилась еще в колыбели — эдакий подарок из заботливых, но неизвестных рук, перевязанный красно-бело-синей ленточкой. Миллионы американцев росли в твердой уверенности, что modus vivendi между двумя мирами не только невозможен, но и весьма нежелателен. К этому выводу они пришли не сами, не через прямое изучение вопроса. Как я уже сказал, вывод этот ждал их у колыбелей, когда они только появились на свет, и нередко, развязав ленточку и развернув подарок, они обнаруживали, что это — их смертный приговор. Мне достаточно произнести такие слова, как Корея и Вьетнам.

Лейтенант Колли заявил, когда его судили за приказ расстрелять стариков, женщин и детей во вьетнамской деревне Майлэй: «Вы говорили мне, что красные — это враги. Вы не сказали мне, что я воюю с философской теорией».

Для него «врагом» был каждый ребенок, каждое дерево и даже самый воздух, если бы его пометили словом «красный». Он просто выполнял инструкции «убивать коммунистов во имя Христово», заложенные в него с детства. Это был подарок, оставленный возле его колыбели.

Мне кажется, американцам пора повнимательней разглядеть этот «подарок ко дню рождения», гласящий: «Россия — наш враг», и вернуть его дарителю, не в знак симпатии к России — этого никто от них не требует,— но в первую очередь ради самих себя. Никто не просит американцев возлюбить Россию или принять ее образ жизни, но если вы любите себя, любите Америку, истинно ее любите, как любили ее Уолт Уитмен, Марк Твен, Теодор Драйзер и наш Поль Робсон, как любят ее Уильям Сароян, Джон Чивер, Гор Видал, Элтон Фэкс, здесь присутствующие, вы не сможете возненавидеть других только потому, что у них иная система, при которой никто не голодает, не остается без помощи, заболев, не прозябает в невежестве и, я уверен, никто не лежит по ночам без сна, мучимый тревогой, что какой-нибудь сумасшедший доктор Стрэнджлав — их аналогия Пентагону — держит палец над кнопкой в жажде взорвать планету.

Совершенно ясно, почему западный мир и, в частности, США воздвигают определенные рогатки, чтобы воспрепятствовать опубликованию романов писателей социалистических стран. Они опираются тут на тот же принцип, с помощью которого удалось превратить американских индейцев и негров буквально в карикатуры. Можно со спокойной совестью расправиться с «черномазым» или «отправить грязного индейца к его Творцу». Совесть Колли была спокойна, когда он убивал красных, хотя он не мог не заметить, что убивает детишек, которые в силу своего возраста ничего не слыхали не только о политике, но и о философских теориях.

Писатели перечеркивают карикатуры и взамен их предлагают читателям живых людей, с которыми — если это хорошие писатели — читатель может идентифицировать себя, которых он способен полюбить и взять себе за образец. Одно дело — со спокойной совестью принимать уничтожение карикатурных чудовищ, и совсем другое — смириться с уничтожением людей, созданных Толстым, Чеховым, Горьким, Шолоховым или сидящими рядом с нами в этом зале Евтушенко, Вознесенским, Айтматовым, Симоновым, Слуцкисом и другими.

С другой стороны, чтобы выступать на равных в этой важнейшей дискуссии, мы должны просить наших друзей из социалистических стран вникнуть дополнительно еще в некоторые аспекты формулы о «правах человека», как бы ни была скомпрометирована сегодня эта формула циничным и лицемерным употреблением.

Независимо от того, располагает ли он этими правами или нет, и от того, насколько вообще исторически реально осуществление в должной мере «прав человека» в наши чрезвычайно опасные времена, каждый человек хочет чувствовать, что эти права действительно существуют и оберегаются для него на основе, жизненно для него необходимой, а потому ни одно государство не может и не смеет покушаться на них.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ В СОФИИ

Я прекрасно сознаю, что понятие «права человека» истолковывается поразному, но следует сказать, что социалистическому миру надо еще нагляднее показать миру в целом и, разумеется, Западу (хотя я полностью отдаю себе отчет во всех связанных с этим трудностях и препятствиях), насколько пустыми оказываются «права человека» для тех, у кого нет работы, чьи возможности ограничены отсутствием образования, чья самая жизнь зависит от произвола сил, над которыми у них нет никакой власти. Где «права человека» тех пятидесяти пяти тысяч американцев, которые погибли во Вьетнаме, не говоря уж о правах десятков тысяч вьетнамцев?

И, наконец, самое важное: абсолютно необходимо напоминать человечеству, что именно сегодня, именно в этот исторический период тысячи миллионов людей достигли доселе беспрецедентного уровня сознательности и представляют собой силу куда более великую, могучую и эффективную, когда она организована, чем все бомбы, взятые вместе. Человечество — уже не покорная глина, которой чуждые ему силы придают выгодную им форму. Оно больше не обречено идти на битвы, чтобы в итоге терпеть поражения. Теперь оно само — действенная сила. В значительной части мира оно взяло власть в свои руки и достигло того исторического уровня, когда уже само может творить собственную историю,— сознательно, целенаправленно, во имя осуществления заветнейших своих чаяний.

Всеобщая война вовсе не неотвратима. Однако великие трагедии еще не исключены. И наш долг, как писателей, как глашатаев и созидателей общественного мнения, призывает нас к борьбе с заблуждениями, еще владеющими огромным числом людей,— и не ради иллюзорных поисков «преимущества» одной стороны над другой, но ради обретения мира и безопасности для всего человечества по обе стороны всех возведенных людьми барьеров на нашей планете. Мир — это не уступка одной стороны другой, не уловка, не самообман, не передышка перед тем, как вновь заговорят пушки, и не кладбищенский покой. Мир сегодня — это воздух, абсолютно необходимый человечеству, без которого оно не способно существовать. Дышите им! Дышите им глубже и не допустите, чтобы он когда-нибудь кончился!

Перевод с английского И ГУРОВОЙ

◆

Публицистика

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Я ВИДЕЛ БУДУЩЕЕ

Зарубежные писатели
о Советском Союзе:
путевые очерки, дневники,
воспоминания, статьи.
1917—1977

КЛАРА СЁЛЛЁШИ

Венгрия

Из книги
«Радуга остается с нами»

■

КЛАРА СЁЛЛЁШИ (1913—1970) — венгерская писательница, переводчица. Четверть века своей плодотворной деятельности посвятила русской и советской литературе. В ее переводах увидели свет многие произведения Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, Достоевского, Короленко, Чехова, Паустовского и др. Ее творческие заслуги были отмечены советской правительственной наградой — орденом «Знак почета».

Оглядываясь назад

За мою жизнь мне довелось побывать в Советском Союзе четыре раза: в шестьдесят втором, шестьдесят шестом, шестьдесят восьмом и шестьдесят девятом. Однако этим поездкам предшествовала долгая предыстория.

Все началось с Достоевского в переводах на венгерский и немецкий. Многотомное, в красных переплетах собрание сочинений Достоевского, выпущенное издательством «Пипер», было неотъемлемой принадлежностью библиотеки в каждом маломальски почтенном буржуазном семействе; в нашей семье дело все же обстояло лучше, поскольку книги эти не просто служили украшением библиотеки а их читали. Я признательна выдающимся переводчикам прежних времен — Имре Гёрёгу и Золтану Трочани,— благодаря им я имела возможность ознакомиться с некоторыми романами Достоевского на своем родном языке. В моих девичьих мечтах, когда я думала, что́

Продолжение Начало см. в №№ 5—8.

именно бы мне хотелось знать помимо школьной программы — в качестве хобби, если пользоваться этим нынче вошедшим в моду английским словом, хотя наш родной «конек» тут оказался бы вполне уместным,— наряду с переплетным делом уживалось стремление изучить русский язык.

Перед войной (в 1937 году) я побывала в Париже как раз в ту пору, когда там гастролировал Московский Художественный театр. Позабыв обо всех других соблазнах, отстояли мы с приятельницей длинную очередь за билетами и решили пойти на «Анну Каренину» в сценической обработке Николая Волкова, исходя из совершенно верной логической предпосылки, что коль скоро нам известно, о чем в пьесе речь, то мы, и не зная языка, сможем следить за развитием действия.

И по сей день в памяти моей жива эта постановка Станиславского и великолепная игра Аллы Тарасовой, а также других актеров. Спектакль захватил нас, мы слушали затаив дыхание, хотя, по правде говоря, ни слова не понимали: но тем не менее, конечно же, поняли все — в этом, я полагаю, и состоит секрет подлинно художественного воплощения.

В антрактах спектакля не менее захватывающим развлечением было наблюдать за театральной публикой: помятые жизнью, по большей части старческие лица — многочисленная русская эмиграция в Париже! — и сплошь у всех лихорадочно блестящие глаза, а то и слезы, и какое-то экстатическое, пронизывающее до последней нервной клетки напряжение: тоска по родине затопила фойе, переходы, лестницы театра.

Возможно, даже вполне вероятно, что в другие часы и дни эти же люди в бессильной злобе своей затевали козни против советской власти, питая бесславные иллюзии возвращения на родину; но тогда, в тот вечер, все было забыто, там каждому дано было почувствовать себя русским и припасть к животворному источнику родного языка как эликсиру блаженства...

На следующее утро мы с приятельницей отправились в русскую книжную лавку, накупили учебников, словарей и кое-что из художественной литературы.

С этого началась моя тяга к русскому, да с тех пор так и не отпускает. Я приналегла на русскую грамматику, зубрила ее несколько месяцев, а затем открыла — что бы вы думали? — не сказки Льва Толстого и не какой-либо из кристально ясных, удивительных рассказов Чехова, я принялась за чтение... «Братьев Карамазовых»!

Страница в день была моей тяжкой нормой, но зато когда я наконец пробилась, прорвалась через весь текст романа, я могла, умела читать по-русски!

Моим следующим открытием был Лев Толстой: я поняла, что хотя я начала учить русский из-за Достоевского, но, вне всякого сомнения, именно Толстой — тот писатель, ради которого я должна выучить русский язык как следует, потому что из двух титанов он — более русский... и более непереводимый.

В сорок первом я познакомилась с Золтаном Трочани, и тот, со всем пристрастием проэкзаменовав меня по русскому, в награду поручил мне перевод одного романа. Роман был слабый, что греха таить — он так и не вышел на венгерском языке,— и все же я с жадностью накинулась на новый текст, как на запретный плод. Мы так мало читали тогда, так мало знали о советской литературе! Помню, сколь желанным сокровищем была для меня «Поэзия XX века» — большущий толстый фолиант, который я заполучила от Дюлы Ийеша — в пользование на долгий срок — и проштудировала от корки до корки. Ну так вот, во вверенном мне романе речь шла о нелегкой жизни рыбаков Северного моря; книга вводила в новый, дотоле неведомый мне мир, ее было интересно читать, интересно открывать новое. Я работала с подъемом, подготовила необходимый пробный перевод, аккуратно перепечатала и понесла в издательство «Данте»...

Тот день я помню точно, эту дату забыть нельзя: двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года...

По издательству из комнаты в комнату сновали люди, возбужденные и взволнованные; из сводок радио всем было известно, что произошло на рассвете того дня: полчища Гитлера перешли границу и напали на Советский Союз. Знала об этом и я, но все же — в силу привычки держать данное слово — в назначенный день понесла свой перевод. Остановилась посреди комнаты с рукописью в руках и смущенно пробормотала:

— Наверное, сейчас это не нужно...

Издатель даже не счел нужным ответить, только махнул рукой и в отчаянии схватился за голову. (Вскоре после этого ужасы гитлеровского террора довели его до самоубийства.)

Семнадцатого января тысяча девятьсот сорок пятого года было завершено освобождение пештской части столицы. Советские солдаты поочередно прочесывали дом за домом, искали немцев и нилашистов. Мы не прятали никого, в доме была только наша семья, состав которой бомбежки сократили наполовину. Никогда не забыть мне того молодого капитана, первого советского человека, с которым я хоть и запинаясь, но заговорила на живом русском языке. Я рассказала ему, что отца моего и младшую сестренку накрыло бомбой, а бабушка, не пережив их смерти, покончила с собой. Капитан посмотрел на мою мать, сгорбленную, в черном платке — она от горя сразу вдруг постарела и стала худа как щепка,— погладил ее по плечу:

— Не убивайтесь, мамаша. Пойдут внуки, опять будет семья, будут еще и радости у вас в жизни...

Он говорил так ласково, что мать не выдержала и расплакалась. До этого, правда, молодой офицер подробно выспросил у меня, зачем и с какой целью я учила русский... Ведь ему ни на миг не положено было забывать о бдительности в этой вчера еще враждебной стране! Видимо, я выдержала и этот — второй в своей жизни — экзамен по русскому языку, потому что капитан удовлетворенно заметил:

— Тогда все в порядке. Мы таких людей уважаем. (А много ли я успела сделать к тому времени для русской литературы? Ничего, почти что ничего...)

В последующие годы мне пришлось в стремительном темпе наверстывать упущенное: знакомиться с советской литературой.

Я читала, училась, радовалась или досадовала и главное — переводила, переводила, переводила... Со временем мне удалось хоть немного приблизиться к России.

Вот так и протянулись первые нити моих связей с Советским Союзом — очень давно и из дальнего далека. За десятилетия до первой моей поездки в страну.

Перевод с венгерского Т. ВОРОНКИНОЙ

ГЮНТЕР ВАЙЗЕНБОРН

ФРГ

Из книги
«Расколотый горизонт.
Записки постороннего»,
1964 г.

ГЮНТЕР ВАЙЗЕНБОРН (1902—1969) — немецкий писатель (ФРГ) — романист и драматург. Участник подпольного антифашистского движения. В 1942 г. был арестован гитлеровскими властями, в 1945 г. освобожден Советской Армией.
Автор пьес «Подводная лодка С-4» (1928), «Подпольщики» (1945), «Вавилон» (1946), романа «Третий взгляд» (1956), драматической поэмы «Гёттингенская кантата» (1958).
На русский язык переведены его романы «Построено на песке» (1960), «Мститель» («Иностранная литература» № 1, 1963), пьеса «Семья из Невады» (1960), книга воспоминаний «Мемориал» (1973).

В Москве нас приняли сердечно и разместили в гостинице «Националь». После войны мы были первыми немецкими гостями — десять человек из Восточной и Западной Германии. На приеме в Доме литераторов выступали советские писатели: дружелюбно и несколько остраненно — Симонов, потом — Илья Эренбург, потом — вызывающий симпатию Константин Федин. За столом познакомился и с Леонидом Леоновым, пьесы которого ценю. Катаева, Вишневского и Горбатова я уже знал, так как они участвовали в Берлинском съезде писателей и передали нам приглашение посетить Советский Союз.

На первом приеме от имени немецких гостей выступила Анна Зегерс. Она поблагодарила за приглашение и сказала, что, несмотря на все танки и пушки, десять миллионов немцев не смогли войти в Москву, а нас всего десять человек, и все же приняты мы были с распростертыми объятиями как дорогие гости; мы видели с самолета бесконечные разрушения и решили рассказать об этом у себя дома и тем самым внести наш вклад в возмещение ущерба, нанесенного войной.

Дни, проведенные в Москве, были пробой наших физических сил. Но город стоил того. Я открыл для себя обворожительную средневековую боярскую столицу и коронованный теми же куполами современный город-гигант, настоящую метрополию, значительно менее азиатскую, чем я воображал, напоминающую скорее американский город. Никаких следов «nitschewo» — «ничего»,— похожего на безразличие, беспочвенный оптимизм, на унылую успокоенность данным, напротив — повсюду энтузиазм, точное знание целей. Я был настроен на не ведающую шуток грозную угрюмость, на идеологический холод, на недоверие — в лучшем случае — и с первых же шагов встретился с необъятной русской сердечностью, общительностью и с полнокровным, осознанным оптимизмом в итоге.

Наши западные музеи — это вереница залов, через которые от картины к картине бредут редкие посетители. Здешние же музеи — своего рода художнические мастерские, шумные, заполненные толпами людей, которые задают вопросы, кивают головами; судя по жестам, обсуждают игру светотени на картинах, выражают невиданные мною доселе восторги. Что это за люди? Рабочие в комбинезонах монтажников,

крестьяне в валенках и фуфайках, девочки-машинистки — молодежь в основном, чья неистовость в приобретении знаний и чья основательность повергли меня в изумление. Незабываемы те юные лица в Третьяковской галерее, лица, обращенные ввысь, озаренные мерцанием светильников, выражающие удивление, сплавленное со страстью, глаза, в которых, казалось, распахивались одна за другой невидимые двери.

А как выглядели здешние люди, отдельные люди, люди на улицах?

С первых же дней я много бродил по городу, бродил в одиночестве, хотя и не знаю русского. Но чтобы видеть, языка не надо. Смотришь людям в глаза, отдельным людям, и познаешь, как смеются они и бранятся, говорят, работают и сердятся. Вот шагает длиннобородый крестьянин, будто сошедший со страниц толстовских романов, вот — молодой человек в велюровой шляпе, фигура ну прямо с лондонской Пикадилли, там — гладко выбритый служащий в неказистой синей форменной фуражке, навстречу — работница, закутанная в платок, в валенках и фуфайке, рядом белогривый ученый в резиновых калошах, нарядная молодая узбечка, казах в форме горного инженера, словом, здесь встречаются люди с целого континента. Перед некоторыми магазинами стоят в очереди женщины. К месту сказать: самую длинную очередь в Москве я видел перед Мавзолеем Ленина, от которого вереница людей растянулась почти на километр: новое поколение побивает здесь мировой рекорд всех когда-либо существовавших и существующих очередей.

На «немецком вечере», на котором в зале Дома литераторов нас представили московской публике и прочитали отрывки из наших произведений, удивительно часто раздавались аплодисменты. Мы ожидали любой другой реакции, но только не такой — ведь мы были первыми немцами, которые после войны публично выступали в Советском Союзе. Когда вечер окончился, один из слушателей, улыбаясь, передал мне мой портрет, искусно сплетенный из гибкой проволоки.

Мы посетили Мавзолей, заводы и музеи. Видели в Кремле короны Ивана Грозного и Петра Великого, а в покоях последней царицы я наткнулся на образчик пышного сецессиона — фортепьяно, облицованное голубыми ракушками.

Во время наших экскурсий мы познали, что Москва — это огромная строительная площадка, крупнейшая из всех виденных мною. Здесь вот вознесется колоссальный отель, здесь — университет, здесь — промышленный комбинат. И отсюда осуществляется руководство всей гигантской стройкой, имя которой — Советский Союз...

■

Мы были приняты в Московском университете на отделении германистики филологического факультета. Официальная часть — обращения, микрофоны и юпитеры — быстро закончилась, и нас спросили, хотим ли мы поговорить со студентами, так сказать, в отдельности. Это и было нашим тайным желанием. Мы разделились. Разошлись по разным аудиториям. Вокруг сновали сотни студентов, задавали вопросы, читали тексты, протягивали книги для автографов. Это был день, который взволновал нас всех. Вскоре попал в осаду и я. На меня обрушился град вопросов, и все без исключения — по-немецки.

Мне хотелось познать облик советских студентов, тех молодых интеллигентов, которые родились и воспитывались при социализме. Хотел найти общий знаменатель, ощутить вкус типа. Еще до приезда в западной прессе я читал о том, что здесь подрастает безрадостное, несвободное поколение, холодное и ожесточенное. Если не в лицах студентов, то где еще мог я проверить, правда ли это? И вот они передо мной — московские студенты, изучающие немецкую литературу,— сотни юношей и девушек. Жужжание вопросов, понимающие кивки на ответы, удивленные покачивания головами. Возбужденно дыша, они быстро находили аргументы, делали пометки — настоящая буря, если хотите, символ человеческой жажды знаний. Я все больше удивлялся.

Они спрашивали о последней инсценировке Барлаха. Спрашивали, где в Западной Германии был поставлен «Кавказский меловой круг» Брехта, что я думаю о журнале «Акценты», кто сменил Вернера Мильха на месте ординарного профессора в Марбурге Спрашивали об Элизабет Лангессер, Эрихе Кестнере, Акселе Эггебрехте, о Брехте...

Таких вопросов, такого знания нашего мира, наших проблем я отнюдь не ожидал. На расстоянии двух тысяч километров от Берлина эти юноши и девушки говорили на четком немецком языке, и их открытость общительность производили сильное впечатление. Я досконально их расспрашивал, я проверял — может быть, их знания «организованы» и, впопыхах набранные, не имеют основы? Но когда после двухчасовой дискуссии я покинул стены университета, то был уже совершенно убежден: инсценировкой это не было — я столкнулся с подлинно широким кругозором, глубокой заинтересованностью и ошеломляющими знаниями. Они смеялись, спрашивали, кивали и — учились.

Теперь в Москве проходят обучение новые поколения, они посещают семинары, обсуждают по-своему наши проблемы и взирают на нашу немецкую литературу с интересом отнюдь не меньшим, чем в какой-нибудь Сорбонне.

Мы смотрим сказку в московском детском театре. Перед сценой полукругом возвышается деревянный амфитеатр, тесно заполненный мальчиками и девочками, чьи лица светятся в огнях сцены напряженным ожиданием.

Рядом со мной сидит маленькая девочка, тут же и мама, которая пытается объясниться со мною по-немецки. Девочка остолбенела от удивления: этот дядя — не-е-мец? В антракте она берет меня в полон и показывает мне свою игрушку — круглую застекленную коробочку, в которой перекатываются пять крошечных шариков. Эти шарики следует растрясти по пяти отверстиям. Операцией она владеет и страшно тем горда. Огненно-рыжие волосы щекочут мой нос: шумно дыша, она раскачивает коробочку.

Потом она протягивает ее мне. Вот уж черт попутал! — все мои старания идут прахом: никак не получается, последний шарик всякий раз не слушается. И посмеется же надо мной эта девочка — до чего, подумает, этот дядя глупый: такое простое дело и не может. Смущен невероятно. Пожимаю плечами и беспомощно возвращаю игрушку. Неловкий момент.

Девочка берет игрушку и взирает на меня с явным состраданием. Укоризненно покачивает головой. Скользнув взглядом по игрушке, она вновь протягивает ее мне и начинает бойко сыпать русскими словами. О, маленькая энтузиастка! — берет мою левую руку, вкладывает в нее игрушку, то же делает и с правой и так вот по-матерински, держа мои обе руки, качает их, вместе с ними — игрушку. Ничего не вижу, кроме высоко зачесанного потока ее волос под моим лицом...

— Понимаете? — старается научить своей игре иностранца этот маленький, тоненький, бойкоглазый ребенок с теплыми, нежными и робкими ручонками, и в это занятие она погружена совершенно. До сего момента мы не виделись никогда.

Одна минута, одна-единственная драгоценная минута, соединившая двух очень-очень далеко живущих друг от друга людей.

■

Московские вечера. Будто электричеством заряжались наши нервы в ожидании той вечерней минуты, когда перед нами поднимется занавес.

Я видел спектакли в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, в Риме, Лондоне и Лиссабоне, видел в Берлине «Синий кол» Барлаха и «Соперников» Пискатора. Блеск, реальность, страсть, красота тех спектаклей, однако, без зависти сходят с трона моих воспоминаний, уступая место театру Станиславского.

Старый дом в традиционном стиле, жесткие кресла, простой занавес. «Мертвые души» Гоголя. Постановка многолетней давности, когда Станиславский был еще жив. Зрительный зал набит до отказа. Никаких формалистических экспериментов, никаких сценических всплесков, огорошивания, никакого наигрывания драматического эффекта — бесшовный, неразъемный спектакль. свежий, как в день премьеры. Простой, почти тихий.

Сценические конфликты и контакты вводятся в наше сознание режиссурой. Как часто навязывают нашим актерам желаемые эффекты, заставляя их работать до потери сознания, в буквальном смысле надсаживая легкие, взвинчивая себя до состояния одержимости. Дисгармонию лелеют у нас, с ней носятся, как с любимым ребенком, и всякий вымученный экстаз увенчивается бумажными розами, и это — увы! — для того, чтобы тут же абсурдными эффектами умертвить его в диалогах и подать зрителям в холодном, непереваренном виде. Так, например, претерпевают метаморфозу сартровские «Мухи», у нас, по крайней мере, они бешено багровеют, обрамляются дворцовыми аксессуарами лилового цвета, а само действие происходит — в тон же, конечно,— на золотом фоне, отягощенном драгоценностями.

Рейнхардт и Антуан, как следует из их писем, хотели учиться у Станиславского. Один русский писатель нашел волшебную формулу для московского режиссера, назвал его «сыном гармонии». И в самом деле: юмор, боль, меланхолия и сатира сплетены здесь в гармоничный поток лучей, льющихся со сцены в зрительный зал, соединяя воедино сознание и чувства зрителей. Бесконечность нюансов, тонких эффектов, тщательно подобранных друг к другу. Едва поднятые ладони разоблачают лицемера. Давящая роскошь? — ну, конечно, это губернатор с непременно «золотым» сердцем. Вышивающий гладью служащий сопит — он добродушен. Картина праздника сменяется немой сценой служанок, моющих посуду. Этот изнеженный тихоня Чичиков, проходящий через все сцены, который просит постоя у старухи помещицы, который потом попадает в затруднительное положение, показывает себя расчетливым и хитрым человеком. Актеры играют не напоказ, не насилуют эффект, как некоторые в иных местах.

Этот спектакль, низвергающий в зрительный зал шутки, остроумие, разоблачающий, вызывающий смех, делает нас счастливыми. И за каждой картиной инсценировки чудится нам лик покойного создателя спектакля, невидимые глазу движения его, озорная и серьезная мысль, разыгрывающая перед нами комедию людской жадности, лживости и тщеславия. Его увеличительное стекло обладает огромной разрешающей силой, его орлиный глаз подмечает все детали быта, у него божественная фантазия.

Но улыбка, друзья, улыбка никогда не сходит с его уст — уст великого сына гармонии, Станиславского.

■

Мы покидаем дворец, в огромном зале которого борются за мировое первенство шахматисты. Перед дверями на улице скопище людей. Они что-то говорят нам, чего-то от нас требуют. Но чего? Узнаю: нас ни за что не пропустят, пока не расскажем, какой ход сделал только что Ботвинник и рокировался ли Керес. Смотрю в возбужденные юные, вспотевшие лица тех, кто не достал билетов и затаив дыхание ждет теперь от нас новейших известий.

В распахнутых пальто, шапках стоят здесь сотни людей — слесари, булочники, и женщины тоже. Вокруг грохочет улица. Но здесь движение замирает. И в абсолютной тишине, прерванной только досадливым возгласом, призвавшим, видимо, к порядку громко насвистывавшего стекольщика, мой русский переводчик рассказывает о последних ходах на обеих шахматных досках, которые помещены на сцене и за которыми меряются силами не только несколько зарубежных и русских шахматистов — нет, за этими досками, кажется нам, сидит, спорит, горячится, восторгается, бранится и хвалит за находчивость целый народ. Люди перестают дышать, когда Смыслов делает ход или Эйве предлагает ничью. Шахматы, абстрактный, нематериальный спорт, в этом народе у себя дома. Колоссальное напряжение масс, с которым мы знакомы только по стадионам, дарится здесь и шахматам, состязанию ума. Ликовали миллионы, когда турнир выиграл русский.

■

В кущах старого парка раскинулись дворцы. Некогда здесь жили цари. Раньше все это называлось Царским Селом, сегодня называется Пушкин. На воротах Екатерининского дворца, построенного в стиле благородного барокко и теперь полуразрушенного,— полустертая надпись мелом: «Befehlstelle Stab. 132»[1].

Отсюда недалеко до Ленинграда. Бледно-голубое апрельское небо призрачно освещает громоздящиеся повсюду разрушения. Здесь пролегал фронт. Далеко простирается обнаженная равнина, и в бесчисленных воронках поблескивает вода. Небольшие возвышения из красного кирпича говорят о том, что здесь были дома. Здесь, под дождем и снегом, многие месяцы лежали гитлеровские солдаты, пытаясь овладеть Ленинградом. На дверях царского павильона другая надпись мелом: 10.12: «Дитя каникул». 16.12: «Еврей Зюсс». 18.12: «На деревне у Софи».

Это названия фильмов, которые показывали здесь на фронте гитлеровским солдатам. Канувшие в лету жалкие киноублюдки. «Еврей Зюсс» — жуткий кошмар, заслуживающий проклятия документ жадного до крови скудоумия.

Но больше никто не смотрит здесь кино. По меловой надписи медленно скатываются дождевые капли, и поле битвы пустынно. Зияет опрокинутая к небу ржавая немецкая каска. Бронзовый памятник Пушкину прострелен в области сердца. От горизонта к горизонту видны одни разрушения. Вражьи полчища поглощены землей. Тонкий серебристый воздух струится над прахом сгинувших дивизий.

Перевод с немецкого АЛЕКСАНДРА НАУМЕНКО

МАРТИН НАГ

Норвегия

■

МАРТИН НАГ (род. в 1927 г.)— норвежский поэт, критик, литературовед. Перу М. Нага принадлежит несколько книг и статей о советской литературе и очерков о мастерах советского театра.

Залп «Авроры» и мысли о моей стране

Как раз в тот день, когда Герман Титов завершил свой исторический подвиг, я писал для студенческого журнала «Коммунист» статью о новейших течениях в молодой норвежской литературе. Я включил в статью и раздел о... Германе Титове.

Меня могут спросить: разве космические полеты имеют какое-то отношение к

[1] Командный пункт 132-го штаба *(нем.)*.

норвежской литературе? Да, имеют! Великие успехи Страны Советов оказывают огромное влияние на современность и, уж конечно, на литературу.

В последнее время многие норвежские писатели все смелее поднимают насущные проблемы дня, не уходя, как прежде, от жгучих социальных конфликтов, выражают беспокойство, которое является беспокойством многих. Это теперь уже не только жест, поза, кокетливое сотрясение воздуха или демонстрация «мировой скорби». Их тревога становится все более сознательным протестом, направленным против несправедливости, социального застоя, против капитализма.

Конечно, это течение в новой норвежской литературе имеет свою национальную основу, берущую начало еще в ибсеновском «золотом веке». Но подобное гражданское мужество, искренность и доверие к будущему были бы немыслимы, если сбросить со счетов огромные успехи, достигнутые за последние десятилетия странами социалистического лагеря. Советский Союз — это бастион надежды, веры и социальной справедливости, и волны любого его достижения идут по земле, как круги по воде. Каждый успех Страны Советов становится стимулом прогресса, смелой мысли для всего человечества.

Молодой и талантливый норвежский писатель 29-летний Аксель Енсен, наиболее выдающийся из «рассерженных молодых людей» в норвежской литературе, опубликовал новый роман «Иоахим». Роман этот яркий обвинительный акт против так называемого «общества благоденствия», которое в действительности есть общество нищее духом, одурманивающее, бесчеловечное.

Альтернатива? Аксель Енсен пока еще не видит выхода. Но он чувствует перспективу будущего в полетах Гагарина и Титова, которые означают, что есть надежда и для «рассерженных молодых людей» в Норвегии и в других капиталистических странах, надежда для нового, «потерянного» поколения. Аксель Енсен говорит в своем романе: «Со страшной быстротой все теперь движется, скажу я вам. Уже недолго осталось, наверное, ждать, когда люди на Луну попадут.

Да, в удивительное время мы живем!» Да, в удивительное время мы живем, и в этом немалая заслуга Советского Союза. Советские люди — пионеры будущего, они показывают путь всему человечеству и на земле, и в космосе. Прогрессивные люди всего мира рады и благодарны им за это. Они знают, что советский человек понимает, какая ответственность лежит на его плечах.

Сегодня все больше среди нас мыслящих и ищущих литераторов, некоторые, однако, отчаянно хватаются за прошлое, хватаются все более отчаянно по мере приближения неумолимого будущего. В тот день, когда первый в мире космонавт Гагарин вернулся на землю, известный норвежский поэт Клэс Гиль выступал в Студенческом обществе с литературным докладом. И в качестве примера якобы угрожающей деперсонализации человека в мире техники он начал иронизировать по поводу того, что первое, о чем подумал Гагарин по возвращении на землю, была благодарность Коммунистической партии за помощь, за заботу.

Я не мог молчать. Он как поэт, сказал я, должен быть первым, а не последним среди тех, кто понял, что полет Гагарина поэтичен, романтичен,—разве он не осуществил мечту Икара? Гагарин не был роботом, наоборот, он более живой, более человечный, чем самые «поэтичные», «космически» настроенные западные поэты! И его благодарность Коммунистической партии была как раз выражением высшей формы человечности, понимания ответственности, чувства коллективизма. Я сказал, что и сам Гиль, если только он верен собственным стихам, их идеям, должен быть последователен в своем обращении к глубоким и настоящим чувствам, должен благодарить Гагарина...

Литературу капиталистических стран раздирают внутренние противоречия. Это нечто закономерное, предсказанное Лениным. Но внутренние противоречия должны быть и будут разрешены. Для всех передовых литераторов Норвегии источником вдохновения является Советский Союз, его замечательная литература, рожденная Октябрем.

Вот некоторые из мыслей, возникающих у меня, норвежца, в связи с 44-й годовщиной Великой Октябрьской революции. Лишь некоторые... Ведь Советский Союз играет ныне ведущую роль в мире — его славные дела, его победы захватывают все мысли, все помыслы.

XXII съезд КПСС, программа построения коммунистического общества воплощают заветные мечты человечества. Эти великие идеалы становятся чем-то личным для всех нас.

Новые веяния захватывают и молодежь на Западе. Она стоит на пороге будущего, вопрошающая, любопытная. Она не хочет довольствоваться отжившими антикоммунистическими представлениями, которые пытаются привить ей пресса, радио и бульварная литература. Она хочет думать сама, чувствовать сама, жить сама. Она обращает взоры к Советскому Союзу, к социализму, к марксизму-ленинизму. Она хочет иметь такие же возможности, как и ее советские братья и сестры. Она хочет... Нет, эта молодежь все чаще и чаще т р е б у е т! Она борется против атомных бомб на норвежской земле, против гонки вооружений, против войны.

Будущее покажет, что молодежь права, и гарантия этого будущего — Советский Союз. Поэтому и мы тоже воспринимаем национальный праздник Советского Союза — 7 Ноября — как свой праздник.

КЭНДЗАБУРО ОЭ

Япония

Из книги
«Хождение по канату»,
1965 г.

КЭНДЗАБУРО ОЭ (род. в 1935 г.) — крупный японский писатель. Его многочисленные рассказы и повести пользуются широкой известностью. За повесть «Содержание скотины» (1958) был удостоен премии Акутагава. В 1966 г. вышло шеститомное собрание его сочинений.
Советским читателям Кэндзабуро Оэ знаком по переведенным на русский язык романам «Футбол 1860» («Иностранная литература» № 1—2, 1972) и «Опоздавшая молодежь» («Прогресс», 1973).

Помню, как, сидя перед телевизором, я слушал сообщение о том, что советский военный — Юрий Гагарин — полетел в Космос, и ощутил восхищение и сильный страх. Чувство восхищения было у меня таким же, как и у всех в тот день. Страх же имел отношение к моему личному миру ощущений.

Одним из самых жутких ночных кошмаров моего детства был сон, в котором меня запускали на маленьком воздушном шаре в бесконечное космическое пространство, и я должен был там находиться в течение многих лет, причем оставаться в космосе мне повелевал мой долг перед человечеством. И все в этом сне так походило на реальность нынешних космических ракет, что я долго не решался даже писать об этом. Весть о Гагарине вновь заставила меня пережить — на этот раз при ярком свете дня — памятный с детства сон, от которого мне со временем удалось освободиться. И я вновь испытал давно забытый страх.

Тот страх я преодолел, проанализировав его и поняв, что он выражает собою смерть, ибо страх человека, изгнанного из мира людей в бесконечный мрак, безусловно является страхом смерти. И поскольку возвращение к жизни человека умершего ведет к разрушению существующего в мире порядка вещей, его вынужденное пребывание вдали от всех, в изгнании, является актом, связанным с ответственностью перед человечеством.

Меня чрезвычайно интересовало, как удалось Гагарину преодолеть страх, пока он в одиночестве летал в Космосе. И я даже фантазировал, что таким образом можно будет впервые в истории человечества подойти к пониманию того, как человек преодолевает страх, находясь в мире смерти.

Позднее, просмотрев кинофильм «Когда земля была голубая», я не обнаружил в нем ни единого намека на драматический поединок человека со страхом. Я почувствовал некоторое разочарование, однако оно было, вне всяких сомнений, связано исключительно с миром ощущений моих личных.

Страх смерти, как и страх, испытываемый в бесконечном пространстве, представляется мне страхом перед ужасающим одиночеством. Однако ни Гагарин, ни Титов в этом фильме не показались мне людьми, страдающими от одиночества. И не потому, что они пытались как-то скрыть это чувство. У меня сложилось впечатление, что в их душе оно просто не возникло. И это, в свою очередь, тоже произвело на меня глубокое впечатление.

Прошлой осенью, во время путешествия из Парижа в Москву, наиболее существенная и в то же время простая перемена, которую я ощутил, была, думается мне, опять-таки связана с чувством страха. Впечатление от Франции — все больше людей уходит в одиночные камеры отчуждения. Впечатление от Советского Союза — чувство коллективизма, когда все общество существует как единый организм, а каждая его клетка остается личностью.

Сказать так — значит изобразить все чересчур ясно и просто, ибо и в Москве, и в Ленинграде я встречал людей, выпадающих из этого общего впечатления, и мне показалось, что не исключено существование еще одного вида одиночества, нового отчуждения и в социалистическом государстве.

Однако при встрече с лучшими представителями Московского университета я увидел в целом классический облик советского человека, о котором говорил выше. Мне показалось, что эти люди не ощущают одиночества. У меня создалось впечатление, что они осознают и считают себя в действительности бесчисленными мельчайшими корешками одного дерева, имя которому — Страна Советов. И если даже один из таких корешков погибнет, само дерево не умрет. Причем раз само дерево является справедливым деревом, то и корешки его тоже справедливы. Подобная уверенность давала им, по-видимому, свет и опору.

Когда я глядел на улыбавшихся мне с экрана Гагарина и Титова, мне показалось, будто я вновь встретился с лучшими представителями Московского университета. Пока мы, находясь в одном из уголков бесконечного и страдающего от одиночества западного мира, думаем о судьбе одинокой личности в социалистическом государстве, в Советском Союзе рождается и живет человек новой судьбы, социалистический чело-

век, абсолютно не испытывающий чувства одиночества. Я сравнивал японских юношей, сидящих в темном зале кинотеатра, с взирающими на них с экрана космонавтами и думал, что это совершенно разные люди.

Перевод с японского Б. РАСКИНА

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

Франция

Из книги
«Тысяча и один день»,
1967 г.

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР (род. в 1905 г.) — французский писатель, публицист. Во время войны с фашизмом был участником Сопротивления. Советские читатели знают В. Познера по переведенным на русский язык книгам: «Кто убил Баррела?», «До свидания, Париж», «Место казни», «Испания — первая любовь» («Иностранная литература», 1967, № 6). В. Познер — автор многих киносценариев, переводчик и популяризатор советской литературы.

На этот раз я вижу его не во сне. Я действительно в Ленинграде. Тротуары, крыши, деревья покрыты инеем. На обоих концах Аничкова моста — вставшие на дыбы кони. Небо белое, чуть-чуть подцвеченное голубым, и шпиль Адмиралтейства, словно огненный меч, рассекает его пополам. Солнце маленькое и тусклое, на него можно смотреть без темных очков. Я иду по Невскому проспекту, не отрывая глаз от шпиля, у которого неусыпно несут вахту два пушкинских стиха, перехожу площадь перед Зимним дворцом, выхожу к реке, закованной в гранитные стены, которые одна-единственная пушкинская строка превратила в неколебимые, перехожу мосты, останавливаюсь у корабля — участника войны и революции, у крейсера «Аврора», бросившего якорь у причала и у истории, затем снова пускаюсь в путь, нахожу улицу, дом, звоню в дверь и оказываюсь за моей первой школьной партой.

Хозяйка дома не узнает меня: когда мы виделись в последний раз, мне было лет десять. Тогда, совсем молоденькая, русоволосая, она стала моей первой учительницей русского языка.

Как только я называю себя, она спрашивает о моем брате, рассказывает о моих школьных товарищах. Уже нет в живых ни директора нашей гимназии, ни его жены, ни нашего математика, ни нашей «классной», которая преподавала чистописание. Войну Вера Павловна провела в Ленинграде, она не могла бросить свою парализованную, не способную передвигаться мать.

В Ленинграде был голод, в день на человека полагался маленький кусок хлеба; если его не съедали сразу, то через несколько часов он высыхал и становился в два раза меньше, настолько много в нем было воды.

Я внимательно слушаю ее и оглядываю комнату, где под книгами не видно старой мебели. Мой взгляд невольно привлекают незнакомые названия на корешках томов. Открываю одну из книг, наугад.

На Камчатке живет 10—12 тысяч эвенков. До революции их определяли так: «Одно из тунгусских племен, кочующих на самом крайнем северо-востоке Якутской АССР, в Сибири. Их можно встретить на всем пространстве между реками Индигиркой и Колымой». Я открываю другую книгу и узнаю, что ненцы занимают одно из первых мест среди народов Крайнего Севера: их более 25 тысяч. Я открываю словарь и попадаю на слова, которых не было в их языке еще 50 лет назад: теперь по-ненецки ученик — тоходанна, учитель — тохолькода, врач — савумдангод.

Я беру «Учебник русского языка для начальных нанайских школ», который составила сама Вера Павловна, и с побережья Ледовитого океана переношусь к нанайцам на берега Амура, настолько богатого рыбой, что нанайцы не только ею питаются, но изготовляют из нее одежду и обувь, а в их языке существует 50 разных названий для рыб, живущих в этой реке. Я читаю и чувствую себя школьником: «...соболь живет в тайге, он хорошо лазает по деревьям. Медведь крупный зверь. Он очень сильный».

Я изучаю старые нанайские слова: аборанни означает — идти с санями на лыжах целиной (по снегу без дороги), хандаини — соболевать (уходить охотиться на соболя сроком месяцев на шесть). Есть и новые слова: библиотека, газета, пролетариат, интернационал.

Я оставляю маленьких нанайцев Веры Павловны и на минуту задерживаюсь у эвенков: аптека — это место, где готовят порошки, еще минуту — у манси, которые нашли свои названия для новых вещей: карандаш они назвали деревом, которое пишет, чернила — черной водой, паровоз — огненными санками.

Я пролистываю еще несколько книг и вижу, что все они с дарственными надписями и что их авторы называют себя учениками Веры Павловны. Я спрашиваю, действительно ли они учились у нее, как и я.

Вместо ответа она говорит:

— До революции большинство народностей не имели ни алфавита, ни письмен-

ности. Их надо было создать и научить людей читать и писать. Этим и занялся ленинградский Институт народов Севера...

Я снова повторяю свой вопрос.

— Это выпускники нашего института,— говорит она.— Я там работала. Я преподавала им. Теперь это излишне: те, кто приезжает в Ленинград сегодня, окончили школы и могут продолжать учебу без дополнительной подготовки. А на первых порах у нас были необычные занятия: младшие классы, а в них — взрослые ученики и в большинстве мужчины, реже женщины. Отвечая на вопрос, женщины закрывали лицо рукой.— И Вера Павловна подносит свою руку к лицу, повторяя этот жест.— Невозможно было понять, кто это — взрослые или дети. Они были так доверчивы и так по-детски любопытны. К нам приезжали из самых дальних уголков страны, со всего великого Севера, а ведь там живет 28 народностей.

Первые приехали в 1925 году. 19 человек, почти все неграмотные, не знающие русского; среди них — председатель Революционного Комитета одного из Командорских островов в Беринговом море. На следующий год их было 74. Они жили в Детском Селе, во дворце императрицы Екатерины II. По вечерам собирались вокруг костров в парке, кое-кто был одет уже по-городскому, остальные — в своих старых шубах и меховых сапогах.

Многие из них теперь стали врачами, адвокатами, учеными. В этом году в августе мы праздновали 40-летие нашего института. На юбилей приехало более 40 наших старых учеников: все они теперь культурные, образованные люди. Мы чувствовали себя дома, в своей семье, вместе вспоминали о прошлом. Приезжая в Ленинград, мои ученики никогда не забывают навестить меня.

...Вера Павловна протягивает мне две маленькие книжки. Одна — в стихах, другая — в прозе, одна — по-нанайски, другая — по-хантыйски, это томики Пушкина.

— То, что было сделано для народов Севера — действительно грандиозно,— говорит Вера Павловна и протягивает мне еще одну книжку: она на эвенкийском языке, это сборник стихов эвенкийского поэта, потомка «дикого тунгуса», который, как предсказывал Пушкин, когда-нибудь назовет его на своем языке.

Я вспоминаю, что хотел задать еще один вопрос:

— А самоеды? Они еще существуют?

— Да,— отвечает она.— Теперь они называются своим именем. Это ненцы. На их языке ненец означает — человек.

Я целую ей руку, беру стопку подаренных мне книг, вижу переводы Пушкина на нанайский, на хантыйский и задумываюсь над тем, к какому же народу мне поехать.

— Обязательно повидайте Василия Ледкова,— говорит моя учительница.— Это ненецкий поэт, он переводил стихи Пушкина.

Двенадцать часов дня, солнце зашло, темно, снежная белая ночь. Мы за Северным полярным кругом в Нарьян-Маре — административном центре ненецкого национального округа, в городе, который на два-три года моложе Василия Ледкова: несколько улиц, деревянные дома, одетые инеем деревья и неподвижно висящие букеты дыма над трубами.

— Как мне не хотелось уезжать! — вспоминает Ледков.— Я боялся: ничего в жизни не видел, кроме чумов и оленьих упряжек. А ехать должен был один.

Смотрю в окно. Проезжает мотоцикл, к сиденью прикреплены лыжи, широкие и короткие — такими пользуются в лесной чаще. Для тундры, где ветер выравнивает и сносит снег, вполне достаточно узких и длинных, можно и вообще обойтись без лыж. Лесными лыжами пользуются охотники; их надевает, например, отец Ледкова, когда отправляется в лес проверить капканы, да и сам Ледков, если едет вместе с отцом.

— Я долго не мог решиться. Отец был против, а мне было тяжело расставаться с ним. Меня посадили в совсем маленький самолет, первый самолет в моей жизни: два пассажира и пилот еле-еле в нем уместились. Я взглянул в окно и увидел землю, она была похожа на школьную карту, но та карта была мертвой, я изучал ее, как следует не понимая, зачем она нужна, а теперь я видел синие реки, зеленые леса. Самолет доставил меня в Нарьян-Мар, и тут я всерьез испугался: какой огромный город!

Он был не такой, как сейчас, примерно в половину меньше, но это был мой первый город. Я боялся выйти из дома, боялся, что не найду дороги, потеряюсь. А в тундре мне никогда не было страшно, даже вдали от чума, в незнакомых местах.

В Нарьян-Маре я увидел электрический свет, тоже впервые, он был очень яркий. По физике я проходил электричество, но опять же представить себе его не мог. Я не понимал, почему дома такие огромные и почему улицы такие прямые. Я увидел машины, мои первые машины. В школе я узнал, что существует двигатель внутреннего сгорания, я даже видел модель машины, но настоящую машину не видел никогда. Мне все было знакомо по картинкам, но меня потрясли размеры: машина оказалась намного больше, чем я думал, а свет — намного ярче. В школе на крошечном экране нам показывали фильмы — немые и озвученные; и все же это было совсем другое.

Перед окнами гостиницы пробегают олени, запряженные в сани. За ними бегут дети, лают две собаки — они тоже часто бегают в упряжке. Проезжает машина с включенными фарами. Ледков провожает ее взглядом, улыбается.

— На следующий день мне купили билет и я улетел в Архангельск вместе с одним человеком, который отправлялся туда же по делам. Самолет был большой — 24 места. Мы быстро взлетели, солнце скрылось, вокруг — одни облака, а мы продолжаем подниматься, мне очень хотелось узнать, из чего сделаны облака: мягкие они или твердые,— потом я увидел капли дождя и тумана, облака из хлопка, а мы поднялись еще выше; и вдруг сразу — солнце, небо. Меня совершенно потрясло то, что за облаками оказался горизонт. Я смотрел на облака под нами, и мне казалось, что это тундра: действительно, очень похоже.

Он вспоминает, что́ увидел тогда: тундру, в которой он никогда не был, но которая напоминала его родную тундру, а через три с половиной часа — огни в ночи и повсюду внизу звезды, звезды, звезды, будто Млечный Путь на земле. Никогда еще он не видел столько света. Это был Архангельск.

— Я держался за руку своего попутчика — так я боялся потеряться — и во все глаза смотрел вокруг. Я почувствовал себя совсем маленьким. Мне казалось, что сейчас меня раздавят. Под ногами был камень — я не понимал, что это. Вдоль тротуара росли деревья — я никогда не видел таких деревьев, огромных, с листьями. У нас растут только карликовые, попадаются и довольно высокие, но все очень тоненькие. Мы вошли в ресторан, я был там впервые и не знал, чем там занимаются. Мой попутчик спросил меня: «Что тебе взять?» Я не нашел ни одного знакомого названия, он выбрал за меня и спросил, правильно ли. Я не знал, что отвечать. Нам принесли суп, это было вкусно. Потом котлеты — я их съел. Потом капусту, которую я есть не стал, она мне не понравилась, ее я тоже увидел впервые. Пиво показалось мне ужасным.

Стемнело. Мой попутчик спросил меня: «У тебя здесь есть знакомые?» Я ответил: «Нет. У меня ни в одном городе нет ни одного знакомого человека». Он сказал: «Тогда пойдем к моему брату».

Я провел там ночь. В доме было очень жарко. Я почти не спал, настолько для меня все было необычно. Потом мы опять вышли из дома и пошли по главной улице: огромные окна, огромные двери, огромные здания, похожие на прибрежные морские скалы. А толпа! Я и не представлял себе, что можно собрать вместе столько людей. Вдруг раскат грома. Это трамвай. Я понятия не имел, что это такое, я не понимал, почему он катится, что его толкает.

Мы подходим к какому-то дому, люди разговаривают обо мне: «Как отправить его? На самолете? На поезде?» Опять загадка — я никогда не видел поезда. Меня ведут на вокзал. Август, ужасная жара, не меньше 25 градусов. Вдруг на улице я встречаю мою учительницу русского языка из Варандея. Она узнает меня, обнимает. Ей поручают проводить меня. Она приводит меня на вокзал и говорит: «Стой здесь и жди меня».

Я остаюсь один, со своим узлом, умираю от жажды, но не знаю, где найти воду. Вокруг меня люди покупают мороженое; что это: мороженое мясо или мороженая рыба? Какой-то парень меня спрашивает: «Ты едешь в институт, в Ленинград? Тут есть одна девушка, которая тоже едет туда. Помоги ей, у нее много багажа».

Это была русская девушка. Я очень обрадовался. Мне было шестнадцать лет, ей — восемнадцать. Она тоже была довольна, что поедет не одна. Подъезжает поезд: чудовище с трубой, а над ней — грива из дыма. Девушка меня спрашивает: «Ты никогда не ездил на поезде? Не отходи от меня». Мы входим в вагон. Много скамеек. Мы садимся рядом.

За окном мелькают поля и леса, я слышу стук колес, свист ветра, песню, которую поет кто-то рядом. В школе я учился рисовать яблоки, но вот видеть их мне не приходилось. На какой-то станции я покупаю два килограмма очень красных яблок, но они такие кислые, что я выбрасываю их в окно. Оказывается, это были помидоры. Мы приезжаем в Ленинград в шесть часов утра. Об этом сообщает голос, разносящийся по всему поезду: «Товарищи, наш поезд прибывает в город-герой Ленинград». Мы выходим.

Боже мой,— вдруг восклицает Ледков, представив себя шестнадцатилетним мальчишкой.— Я цепляюсь за свою попутчицу. Такой толпы, как на вокзале, я еще не видел: тут больше народу, чем в Нарьян-Маре, чем в Архангельске, больше, чем оленей в тундре. Тут просто так не пройдешь, тебя затолкают. А потом тротуары, такси, множество такси, автобусы. Я ничего не вижу, ничего не понимаю. Она спрашивает меня: «Ну что, Вася, поедем на троллейбусе или на такси?» Что такое троллейбус? Я не знаю такого слова. Тогда я спрашиваю: «Это далеко?» — «Нет».— «Тогда пойдем пешком».

Мы идем по Невскому проспекту. Дома еще больше, чем те, что я видел раньше. А народу! Мы молча продвигаемся вперед. Я несу свой узел на плече, сумку в руке, она несет чемодан. Я спрашиваю: «Еще далеко?» — «Почти пришли».— «Ты хочешь пить?» — «Да».

Она платит несколько копеек и покупает два стакана газированной воды. Я думаю про себя: «Это вино, оно здесь дешевое». Она пьет залпом, а я осторожно, медленно — боюсь, а вдруг опьянею.

Мы входим в институт. Я остаюсь в ее комнате, а она с подругой уходит купить мне белье, костюм и ботинки.

«Теперь иди в ванную»,— говорит она, возвратившись.

Я выпарываю деньги, которые отец зашил мне в одежду.

«Когда вымоешься, надень все новое».

Я моюсь, одеваюсь, она учит меня завязывать галстук, сама завязывает его на мне, а я смотрю. Затем говорит: «Идем обедать, а потом ты пойдешь в парикмахерскую». Я все делаю, как она велит.

Мне дают комнату в общежитии. В ней еще трое. Все — ненцы. Мы говорим на одном языке. Я никак не могу научиться один находить дорогу. Они нарочно прячутся от меня, чтобы подглядеть, что я буду делать. В тундре ориентируешься на глаз. А здесь я узнаю только вход в мой дом, дорогу в столовую и обратно. И больше ничего. Гулять меня водят другие. Наконец, я не выдерживаю: «Что нужно делать, чтобы научиться ориентироваться?» Один из моих товарищей объясняет: «Ты доходишь до угла и читаешь название улицы, а у каждого дома есть свой номер».

Ледков прерывает свой рассказ:

— Сейчас такое уже немыслимо. Моей истории исполнилось двадцать лет. Она никогда не повторится.

Это не восход солнца, оно взойдет очень не скоро, просто становится чуть-чуть светлее,— долгая полярная ночь. Взлетая, вертолет поднимает снежную бурю; под нами, до самых границ горизонта, окрашенного блеклым красным цветом, расстилается тундра. За вертолетом гонится тень по белой равнине. Березы, карликовые ивы, редкие ели рисуют по земле все более и более частый рисунок: должно быть, мы уже недалеко от пасущихся в лесу оленьих стад.

— В Варандее я был круглым отличником,— говорит Ледков, бросив взгляд вниз. В Ленинграде учился неважно. Особенно трудно мне давались точные науки: химия, математика,— да и с другими предметами, даже с литературой, было ненамного лучше — мне мешало то, что я еще плохо говорил по-русски. Если точными науками мы должны были заниматься в лаборатории, то архитектуру и литературу можно было изучать, просто гуляя по Ленинграду, здесь ими дышит каждый уголок. Все с той же девушкой, которая очень мне помогала, я много раз был в театре, в опере; меня поражали декорации, размеры зала, но трудно было следить за представлением, я многого не понимал, сидел как оглушенный.

Он поворачивает голову, наклоняется, высматривает что-то внизу.

— Я много читал,— говорит он.— В это время начали выпускать для школ русские книги по-ненецки. Мне было уже восемнадцать. Я перевел на ненецкий стихи Пушкина, Маяковского, Лермонтова. Мои соседи по комнате тоже переводили: мы помогали друг другу. Вскоре были напечатаны мои стихи.

— Баши переводы?

Он поворачивается ко мне:

— Нет, мои собственные.

— А когда вы начали писать сами?

— До восемнадцати лет мне не приходило это в голову.

— Значит, благодаря Пушкину, Лермонтову, Маяковскому?

— В детстве мне нравились песни шаманов... И сказки, они были для нас как хлеб. И ненецкие загадки, они развивают ум ребенка. Но я никогда не думал, что буду писать сам.

Спрашиваю:

— О чем ваши поэмы?

— Обо всем,— отвечает он.— О любви. О природе.

— О вашей природе?

— Да, о тундре. Она всегда у меня перед глазами.

Я смотрю вниз. Вертолет почти неподвижен. Под нами сотни оленей, они то кружат на месте, будто затянутые в водоворот, то разбегаются в разные стороны. Вдалеке три чума и люди, которые смотрят на нас, закинув головы...

В небе зажглась блестящая дорожка, дрогнула и пропала. Она снова вспыхивает, теперь совсем золотая, неожиданно поднимается вверх, останавливается, подрагивая, гаснет, и вот уже их две, они пересекаются, дрожат, снова раздваиваются и, наконец, исчезают. На их месте появляются две новые — пепельная и бледно-розовая; они вращаются, как стрелки испорченных часов, которые вырвались на свободу и больше не подчиняются магнитному полю. Северное сияние погасло.

Сорок километров по снежной пустыне вдоль огромной ледяной реки, которую ненцы называют морем Ив, и вдруг — улицы, дома, яркий электрический свет. Десять лет назад Красное не существовало, оно было известно только как рыболовное место на берегу Печоры. Его начали строить в 1958 году. И вот сейчас посреди тундры, в полдень, который легко спутать с полночью, при свете фонарей, горящих днем и ночью, мы видим тридцать шесть новых домов, детский сад, начальную школу, больницу, булочную, столовую, клуб на сто пятьдесят мест, почту, гидроэлектростанцию и строящуюся среднюю школу. Вокруг Красного расположился оленеводческий колхоз, носящий название «Харп», что по-ненецки означает «Северное Сияние».

Мы в сельсовете, на стене — портрет Ленина, кроме нас здесь еще два старика. Они одеты в малицы, что-то вроде широкого плаща из оленьего меха, который оставляет открытым только лицо; чтобы пожать нам руки, им приходится почти раздеться,

потому что рукав переходит в варежку. Один из них, у которого на шубу надет хлопчатобумажный халат, а на поясе огромный нож в деревянных ножнах, откидывает свой капюшон: у него короткие волосы с челкой. Его сосед оставил свою голову в укрытии, из-под капюшона видна только белая борода деда-мороза.

Они сидят напротив меня. У меня мелькает мысль: наверное, ненецкие старики еще не привыкли долго сидеть на стуле, я спрашиваю:

— Вам больше нравится в тундре?

— Мы там родились,— говорит старший.— Когда топили в чуме, он был полон дыма. Зимой дымоходом служило маленькое отверстие в крыше. Дым не вытягивало, приходилось садиться, потом ложиться — дышать становилось все труднее. Света не было, только горящий огонь.

Он смотрит на стоящее у стены красное знамя. На нем вышит золотом портрет Ленина и надписи «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и «Победителю социалистического соревнования».

— Я живу здесь первый год,— говорит он.

— А я уже пятый,— говорит дед-мороз.

— Здесь лучше,— говорит первый.— Я получаю пенсию, бесплатно хожу в кино, смотрю все фильмы подряд. В старые времена ничего подобного не было. Может быть, кино и было где-то в другом месте, но только не у нас. Вы откуда?

— Из Франции, из Парижа.

— А у вас было раньше кино?

— Да.

— А в тундре нет. Вначале многие, особенно женщины, боялись. А теперь все ходят его смотреть. Никто не боится. Это интересно.

— Жизнь стала лучше?

— Лучше,— говорит он.— Легче. Радио. Тепло.

Он протягивает руку в варежке из оленьей шкуры к электрической лампочке.

— Свет.

Девушке восемнадцать лет. Она, как и старики, с которыми мы только что разговаривали,— ненка, колхозница. Девушка сидит у самого входа, за маленьким письменным столом.

— По вечерам сюда приходят читать газеты и играть,— объясняет она.

— Играть?

— Ну да, в шахматы и шашки.

Я рассматриваю зал библиотеки колхоза «Северное Сияние», уставленный книжными полками, столами, скамейками, и интересуюсь:

— У вас много читателей?

— В каждой семье, по крайней мере, один.— Она задумывается.— За день приходит человек тридцать, даже сорок.— Опять делает небольшую паузу.— Мы посылаем книги в бригады.

— В какие бригады?

— В бригады оленеводов и бригаду рыболовов.— Она замолкает на минуту, потом добавляет: — И в бригаду охотников.

Я спрашиваю:

— И они любят читать?

— Здесь читают все, только в тундре осталось несколько неграмотных стариков.

Я прогуливаюсь вдоль полок и вижу Эсхила, Софокла и Еврипида, Гарсию Лорку, Бальзака, Мартен дю Гара, Флобера, Фолкнера и Вольтера. Я спрашиваю:

— А на что тут самый большой спрос?

— На книги о политике. О технике. Ну конечно, о спорте,— говорит она. И добавляет, как само собой разумеющееся: — И на романы.

— Припомните, пожалуйста, каких писателей предпочитают в «Северном Сиянии».

— Пушкина,— говорит она, не колеблясь.— И Толстого.— Две маленькие морщинки появляются между ее раскосыми глазами.— Лермонтова.— Она нахмуривает брови.— И Горького.— Она оглядывает полки.— И Тургенева.

Я отхожу в сторону, и вот передо мной «Песнь о Роланде», «Огонь» Барбюса, «Трехгрошовая опера» Брехта.

— Ваш отец умел читать?

— Нет.

— А ваша мать?

— Нет.

— А ваши сестры и братья?

— Они все умеют читать.

— Где бы вам хотелось жить?

— Здесь, в колхозе.

— А работать?

— Здесь, в библиотеке. И учиться дальше. Это моя мечта.

На обратном пути мы пересекаем море Ив. Фары отражаются в снегу.

В школе-интернате с десятью классами обучения тринадцатилетние ученики, съехавшиеся в Нарьян-Мар со всей тундры на санях или на самолете, смотрят в учеб-

ники, открытые на главе о средних веках. Толстой и Горький, Пушкин и Маяковский следят со стены за сыновьями и дочерьми кочевников, которые читают про крестоносцев.

В соседнем классе идет урок английского языка. Школьники по очереди читают перевод знаменитых слов Ю. Гагарина. Мы спрашиваем их:

— Вы хотите стать космонавтами?

Все смеются.

— А кто хочет научиться водить машину?

Таких не очень много.

— А ездить на мотоцикле?

Таких гораздо больше. Одна девочка хочет стать врачом, другая, очень хорошенькая, еще не приняла окончательного решения. Девочки прячут глаза и скрываются за своей единственной защитой — рукой, точно так, как мне описывала Вера Павловна.

Еще совсем недавно их привозили сюда в оленьих шкурах, надетых на голое тело. Они были перепачканы сажей, не умели ни умываться, ни спать на кровати — поначалу все время падали с нее. В интернате есть физический кружок, химический, математический, рисования, балетный и многие другие; и уже стало привычным, что по окончании десяти классов около тридцати выпускников продолжают учебу и становятся инженерами, врачами, преподавателями.

В Доме культуры пионеры, которые ставят здесь спектакль — их не меньше полусотни,— засыпают нас вопросами:

— Вы видели сегодня вечером северное сияние?

— Да.

— Вам понравилось?

— Очень.

Я интересуюсь в свою очередь:

— Оно сегодня было красивое?

— Да, красивое,— говорит одна девочка.

— Ничего,— говорит другая.

— Бывает лучше,— заявляет один мальчик.

— Гораздо лучше,— кричат остальные.

Я пытаюсь уточнить:

— Оно всегда бывает одного и того же цвета?

— Нет!

— Разных цветов?

— Да! Да!

— По очереди?

— Сразу!

Они кричат хором.

— Красного! Синего! Зеленого! Желтого! Золотого! Золотого!

Стюардесса встречает нас пожеланиями доброго утра. «Наш самолет летит по маршруту Архангельск — Ленинград. Время в полете — час двадцать минут»... Самолет отрывается от земли. Красное солнце в синем небе. Внизу облака, похожие на тундру, иногда сквозь них проступают ледяные поля, сменяющиеся черными полосами леса. Я начинаю упрекать себя в том, что не побывал у эвенков и эвенов, у ороков и орочей, ительменов, юкагиров, алеутов, эскимосов.

Перевод с французского М. АРХАНГЕЛЬСКОЙ

(Окончание следует)

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ

НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

Фрагменты книги

Перевод с польского С. ЛАРИНА

Карлотта явилась с автоматом на ремне, и хотя мундир десантника был ей явно великоват, в ее облике ощущалось изящество. Мы все тотчас принялись за ней ухаживать. Собственно говоря, именно присутствие Карлотты заставило остальную группу плюнуть на домики под Лиссабоном и поехать на фронт. Личность Карлотты, хотя девушке едва исполнилось двадцать лет, сделалась легендарной. Два месяца назад, во время восстания в Уамбо, она возглавляла небольшой отряд МПЛА, который окружила одна из частей УНИТА, насчитывавшая до тысячи солдат. Ей удалось вывести своих людей из окружения. Девушки вообще великолепные солдаты, часто гораздо лучшие, нежели парни, которые на фронте иногда ведут себя с повышенной нервозностью, теряют чувство ответственности.

Наша девушка была мулаткой, в ней таилось неотразимое очарование и, как нам тогда казалось, исключительная красота, хотя позже, когда я отпечатал ее фотографии, единственные фотографии Карлотты, сохранившиеся в память о ней, я убедился, что она отнюдь не красавица. То есть никто не высказал этого вслух, чтоб не разрушить наш миф, наше воспоминание о Карлотте из того октябрьского полдня в Бенгеле. Я просто-напросто разыскал в Лиссабоне Альберту, Карвалью, Фернандеша и Барбозу, чтобы показать им снимки Карлотты, сделанные по пути на фронт. Они разглядывали их молча, и, думается, в этот момент мы все предпочли промолчать, чтобы не говорить ничего о ее красоте. Да и какое это имело теперь значение? Карлотты уже не было, ее не существует. А в тот раз она получила приказ явиться в штаб фронта, натянула обмундирование, привела в порядок свою прическу «афро», забросила на плечо автомат и явилась. У штаба стояли команданте Монти, четверо португальцев и поляк. Она сразу же показалась нам красавицей. Почему? Потому что мы соответственно настроились, потому что нам это требовалось и мы жаждали этого. Наше собственное воображение творит всегда красоту наших женщин, вот и в тот раз мы сотворили миф о красоте Карлотты. Иначе этого никак и не объяснить.

Машины двинулись, мы поехали по шоссе в Баломбу — сто шестьдесят километров на восток. Собственно говоря, всем нам суждено было погибнуть на дороге, изобилующей поворотами, на которых водители гнали, как сумасшедшие; в самом деле, просто чудо, что мы живыми добрались до места. Карлотта сидела в нашей машине рядом с шофе-

Окончание. Начало см. в № 8.

Ангола. Октябрь 1975 года. Специальный корреспондент ПАП (Польского агентства печати) Рышард Капусцинский на передовых позициях армии МПЛА в 25 километрах севернее Луанды (район насосной станции Кефангондо).

Фото специального корреспондента «Правды» Олега Игнатьева.

ром, привыкшая к подобной езде, она слегка подшучивала над нами. Воздушной волной ее волосы отбрасывало назад, в нашу сторону, и Барбоза сказал, что будет придерживать голову Карлотты руками, чтоб ее не оторвало ветром. Карлотта смеялась, а мы ревновали. На одной из остановок Фернандеш предложил Карлотте пересесть назад, к нам на колени, но она отвергла эту идею, и мы громко подтрунивали над тем, что он потерпел поражение Фернандеш, естественно, мечтал, чтоб Карлотта села к нему на колени, а это все опошлило бы: она никому конкретно не принадлежала, мы создали ее все разом, то была наша Карлотта.

Она родилась в Розадаше, неподалеку от границы с Намибией. Год назад прошла обучение в лесах под Кабиндой. После войны мечтала сделаться медицинской сестрой Вот и все, что мы о ней знаем, об этой девушке, которая едет сейчас с нами, держа автомат на коленях, и, поскольку мы исчерпали наши шутки и на минуту воцарилась тишина, Карлотта сделалась серьезной и задумчивой. Мы знаем, что Карлотта не будет принадлежать ни Альберту, ни Фернандешу, но еще не знаем, что ей не суждено принадлежать никому.

Приходится снова тормозить, так как мост поврежден, и водители обсуждают, как проехать. В нашем распоряжении всего несколько мгновений, и я спешу сфотографировать Карлотту. Прошу ее улыбнуться. Она стоит, опершись на поручни моста. Вокруг поля, возможно луга, точно не помню. Через минуту мы следуем дальше. Проезжаем мимо сожженных деревушек, пустых местечек, брошенных табачных и ананасовых плантаций, дальше потянулись сплошные кусты тамариска, зеленые холмы и лес. Потом дорога сделалась еще хуже, мы подъезжали к фронту по шоссе, за которое шли бои, на асфальте валялись растерзанные тела солдат...

Баломбу — это небольшое местечко посреди леса, которое переходит из рук в руки. Ни одна из сторон не может в нем закрепиться по-настоящему именно потому, что вокруг лес, точно так же как в Отвоцке или Вильге, лес позволяет противнику незаметно подобраться ближе и внезапно атаковать. Сегодня утром Баломбу было захвачено отрядом МПЛА в составе ста человек. В окрестных лесах еще слышны выстрелы, потому что неприятель отступил, но недалеко. В Баломбу, которое стерто с лица земли, нет ни одного мирного жителя, только эта сотня молодых солдат. Тут имеется и вода, поэтому девушки из отряда пришли к нам только что искупавшиеся, с влажными волосами, накрученными на бумажные папильотки. Карлотта отчитывает их: они не должны заниматься туалетом, обязаны все время быть начеку. Они жалуются, что им пришлось идти в первой цепи наступающих, так как парни не очень-то рвались вперед. Парни, постукивая себя пальцем по голове, дают понять, что это враки. Все это шестнадцати-, восемнадцатилетняя молодежь, наши гимназисты, наши повстанцы. Часть людей из отряда гоняет по главной улице на трофейном тракторе. Каждый дела-

ет круг и уступает штурвал следующему. Некоторые, отказавшись от борьбы за право прокатиться на тракторе, носятся на брошенных велосипедах. В Баломбу холодно. это гористая местность, чувствуются легкие порывы ветра и шум леса.

Телевизионщики ведут съемки, я хожу вслед за ними и фотографирую. Карлотта, которая сохраняет рассудительность, не поддаваясь эйфории победы, охватившей отряд, знает — в любую минуту может начаться контрнаступление или замаскированный снайпер продырявит голову кому-нибудь из нас. Поэтому она всюду следует за нами с автоматом на боевом взводе. Она бдительна и немногословна. Карвалью, кинооператор, запечатляет идущую Карлотту на фоне сожженных построек, потом на фоне импозантных, пышных адений. Все это появится на телеэкранах Португалии, страны, которой сама Карлотта никогда не увидит. В другой стране — Польше — напечатают ее фотографию. Мы еще расхаживаем по Баломбу и разговариваем. Барбоза спрашивает ее, скоро ли она выходит замуж. Ах, этого она не знает: ведь сейчас война. Солнце садится за деревья, близятся сумерки, и нам пора уезжать. Возвращаемся к машинам, которые ждут на главной улице. Мы удовлетворены: побывали на передовой, у нас есть отснятые фильмы и пленки, мы уцелели. Рассаживаемся по машинам в прежнем порядке: Карлотта впереди, мы сзади. Водитель запускает мотор и включает скорость. И тогда (все мы помним, что это произошло именно в тот момент) Карлотта выскакивает из машины и заявляет, что останется здесь. Карлотта, просит Альберту, поезжай с нами, приглашаем тебя на ужин, а завтра полетишь вместе с нами в Лиссабон! Карлотта улыбается, машет нам на прощание рукой и дает водителю знак, чтобы тот ехал.

Нам грустно уезжать без нее.

Мы удаляемся из Баломбу, по пути сумерки все сгущаются, и мы погружаемся в темноту. Поздно вечером возвращаемся в Бенгелу, находим единственный действующий бар, мечтаем что-нибудь съесть. Альберту, который здесь знает всех, добывает столик на свежем воздухе. Позиция отличная, прохладно, а над головами море звезд. Мы усаживаемся, голодные и усталые, о чем-то говорим. Нас долго не обслуживают. Альберту подает голос, но шум такой, что никто его не слышит. Вдруг на углу вспыхивают огни, из-за поворота выкатывает машина и резко тормозит возле бара. Из машины вылезает измученный, грязный солдат с измазанной землей физиономией. Говорит, что тотчас после нашего отъезда Баломбу атаковали и местечко пришлось оставить, в той же фразе он успевает сообщить о гибели Карлотты во время атаки.

Мы поднялись из-за стола и молча двинулись по вымершей улице. Каждый шел отдельно, предоставленный самому себе, говорить было не о чем. Первым следует ссутулившийся Альберту, за ним Карвалью, а по другой стороне — Фернандеш, далее Барбоза, я замыкаю шествие. Лучше, чтобы все молчали, чтобы молча добраться до гостиницы и скрыться с глаз друг друга. Мы умчались из Баломбу на бешеной скорости, ни один не слышал перестрелки за нашей спиной. Итак, это не было бегство. Но если б мы услышали стрельбу, велели б мы повернуть обратно, чтобы быть рядом с Карлоттой? Мы звали ее поехать с нами в Бенгелу ужинать, потому что нам этого хотелось. Но способны ли были мы рисковать жизнью, чтоб защитить ее, как она рисковала собой, охраняя нас в Баломбу? А может, она просто погибла, прикрывая наш отъезд, в одиночку, потому что парни носились на тракторе, а девчата занимались туалетом, когда неожиданно, словно из-под земли появился неприятель?

Мы все виноваты в ее гибели, так как согласились, чтобы Карлотта осталась, а ведь можно было принудить ее вернуться. Но кто мог предвидеть подобный исход? Больше всего виноваты Альберту и я: ведь это мы рвались на передовую, и тогда Монти дал нам охрану — то есть откомандировал эту девушку. Но способны ли мы теперь что-нибудь изменить, передвинуть назад, повернуть день вспять?

Нет Карлотты!

Кто мог подумать, что мы видим ее в последний час? И что все было в наших руках? Почему Альберту не остановил водителя, не вышел из машины и не сказал ей: поедешь с нами, иначе мы останемся здесь, и тогда ты за нас в ответе? Почему ничего подобного не сделал ни один из нас? И разве вина, разложенная на каждого из пятерых, от этого станет меньше и ее легче снести?..

Но Карлотта знала эту войну лучше нас, она знала, что близятся сумерки, подходящая пора для наступления, и что лучше, если она на месте обеспечит прикрытие нашему отъезду. Таков должен был быть повод ее внезапного решения, заставивший ее остаться. Мы догадываемся об этом теперь, когда уже слишком поздно. Но мы уже ни о чем не можем спросить Карлотту, ибо ее нет на свете.

Мы стучим в запертые двери гостиницы, нам открывает хозяин, массивный черный старик, обрадованный, он порывается обнять нас, так как мы вернулись целыми и невредимыми, забрасывает вопросами Потом приглядывается повнимательнее, замолкает и удаляется. Каждый из нас берет ключ, поднимается к себе на этаж и пропадает в своем номере.

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

Эта крохотная, исчезающая в небе точка — самолет, которым улетают Алберту и его группа. Гул моторов проносится верхом, над аэродромом, над городом, потом все слабее и слабее, но все еще слышен, слышен долгое время после того, как маленькая, едва различимая точка растаяла и перестала быть видимой. Теперь это похоже на то, словно бы из космоса долетают отзвуки невидимых, отдаленных звездных бурь. Но и они постепенно замолкают. Небо недвижимо, оно наполняется тишиной и утренним сиянием. Через несколько часов на другом краю галактики обозначится маленькая точка, которая начнет увеличиваться в размерах, пока не приобретет прихотливые очертания самолета, что будет означать: Алберту и его группа приземляются в Европе.

Я тоже улетаю из Бенгелы, только в противоположном направлении, на юг, туда, где африканский континент получает свое завершение и через тысячу и даже более километров, за Намибией и Калахари, погружается в пучину двух океанов. Когда утром мы прибыли на аэродром, там, кроме самолета Алберту, стоял еще двухмоторный «френдшип», пилоты которого, двое заросших, измотанных португальцев, с красными от недосыпания глазами, сказали, что тотчас же улетают в Лубангу за последней партией беженцев. Лубангу, которое прежде называлось Са-де-Бандейра, расположено тремястами пятьюдесятью километрами южнее Бенгелы, и там размещается штаб Южного фронта. Пропуска у меня туда не было, потому что на Южный фронт, самый слабый и изолированный из всех фронтов, хуже всего организованный и оснащенный, никого не пускали. Но я решил, что, может, я как-нибудь выйду из положения. Так я подумал, хотя, точнее говоря, я вообще ничего не думал, потому что, если бы я задумался над этим всерьез, возможно, мне бы расхотелось туда ехать. Но, с другой стороны, если бы я еще лучше подумал, я, пожалуй, все равно поехал бы, так как считаю, что не могу писать о людях, с которыми, хотя бы отчасти, не пережил всего того, что выпало на их долю. Во всяком случае, я стал упрашивать летчиков прихватить меня. Они выглядели настолько вымотанными беспрерывными полетами и сделались так ко всему равнодушными, что ничего не ответили мне, и это, вероятно, служило выражением их согласия. На мне были джинсы, рубашка, в кармане пропуск до Бенгелы и немного денег, а в руках фотоаппарат. Остальные вещи остались в гостинице, но не было ни времени, ни машины съездить в город. Поэтому не долго думая я забрался в самолет, забившись в угол, чтобы своим присутствием не мозолить пилотам глаза: а то еще передумают и заставят меня остаться. Через четверть часа мы стартовали из Бенгелы, летя сперва над пустыней, потом над зелеными холмами, над пологим, восхитительным пейзажем и, наконец, над большим, переливающимся всеми цветами радуги садом, каким является Лубангу.

На аэродроме в Лубангу я увидел на узлах и чемоданах массу перепуганных и апатичных португальцев и еще более перепуганных их жен со спящими на руках детьми. Вся эта толпа (не успели еще заглохнуть моторы) ринулась к машине. Я остановил суетившегося на бетонной полосе мулата и спросил его, не подбросит ли он меня в штаб фронта. Он пообещал — после того, как проводит самолет, но сразу поинтересовался, как я собираюсь отсюда выбраться, ведь эта машина, прилетевшая сюда, последняя, и хотя кажется, что город в руках МПЛА, он окружен, а все дороги уже перекрыты или будут перекрыты неприятелем завтра! Ничего, кроме неопределенного «как бог даст», я ему не ответил.

С этой минуты все происходило как в непостижимом, непонятном сне, в котором неизвестные лица и незримые силы вовлекают нас в очередные безвыходные положения и мы ежеминутно пробуждаемся в поту, все более разбитые и безвольные. В штабе фронта (квартал на холме, отведенный под резиденции) меня приветствовал молодой белый англолец, политический комиссар. Звали его Нелсон. Он принял меня с такой радостью, словно я долгожданный гость, но тотчас же послал на верную гибель. У Нелсона оказалась беспокойная, стремительная натура, безумные идеи и лихорадочный, порывистый образ действий. Стоило мне обмолвиться, что я хочу поехать на фронт, он тотчас выписал пропуск и, не дав опомниться, вытолкал во двор, где водитель уже запускал мотор большого старого грузовика марки «мерседес». Я едва успел упросить Нелсона дать мне кружку воды, так как буквально изнемогал от жажды. Грузовик был доверху забит винтовками, ящиками с боеприпасами, бочками с бензином и мешками с мукой. На самом верху восседали шестеро солдат. Нелсон впихнул меня в кабину рядом с водителем, едва одетым, удивительно худым негром. Минуту спустя на сиденье оказался еще и командир этого отряда — Диогенеш. Мы сразу же тронулись в путь.

Миновали город — все населенные пункты в Анголе напоминали тогда призрачные обветшалые макеты городов, возведенных под Голливудом, уже покинутых съемочными группами,— зелень неожиданно кончилась, исчезли цветы, и мы въехали в знойные, раскаленные тропики, на землю, заросшую, насколько хватал глаз, густым, колючим, безлистным, серым бушем. В этом буше было прорублено низкое и серое ущелье, а по дну ущелья пролегало асфальтированное шоссе. Именно по нему мы и ехали на грузовике. «Мерседес» оказался настолько стар и перегружен, что, несмотря на все усилия водителя, он «выжи-

мал» не более шестидесяти километров в час.

Я чувствовал себя глупо, не зная, куда мы направляемся, но признаться в этом было неловко. Диогенеш мог бы подумать, как это так — не знает? Чего же ради он здесь? Едет, не зная куда? А я действительно не знал. Чисто случайно я попал в Бенгеле на самолет и оказался в Лубангу. Первый встречный мулат доставил меня в штаб фронта. Посторонний человек, о котором я знал только, что его зовут Нелсон, усадил меня в грузовик. Грузовик тотчас тронулся в путь и теперь мчит меня между двумя сплошными стенами буша к неведомой цели. Все произошло внезапно и как-то настолько непререкаемо, что я не успел поразмыслить или воспротивиться.

Так мы и ехали: слева этот худой, нервный, вцепившийся в баранку водитель, посредине я, Диогенеш с правой стороны, настороженный, с автоматом, изготовленным к бою, в окне кабины. Солнце стояло в зените, и кабина наша разогрелась как мартен, пахло нефтью и потом. В какой-то момент Диогенеш, неотрывно всматривавшийся в стену буша со своей стороны, спросил:

— Камарада известно, куда мы едем?

Я признался, что нет.

— И я не знаю,— ответил Диогенеш, не глядя на меня и продолжая всматриваться в стену буша,— известно ли камарада, что значит ехать дорогой, по которой мы едем?

Я снова ответил, что не знаю.

Диогенеш с минуту помолчал, потому что мы въезжали на гору и мотор оглушительно выл.

Потом он сказал:

— Камарада, это дорога в Южную Африку. В четырехстах пятидесяти километрах отсюда — граница. В сорока километрах от границы местечко Перейра-ди-Эса. Там находится наш отряд, туда мы и направляемся. В наших руках города, в наших руках — Лубангу и Перейра-ди-Эса. Но весь район в руках неприятеля. В этом буше, через который мы едем, скрывается враг, и в его руках дорога. К отряду, который в Перейра-ди-Эса, в течение месяца не добрался ни один наш конвой. Все машины гибли из-за засад на шоссе. А теперь мы пытаемся туда добраться. Перед нами четыреста километров пути, и на каждом километре мы можем напороться на засаду. Камарада понимает?

Я почувствовал, что не способен выдавить ни единого слова, поэтому только кивнул в ответ: понятно, мол, какой дорогой мы едем. Потом я пришел в себя настолько, что спросил, почему нас так мало. Если бы конвой составляла рота или хотя бы взвод, наши шансы благополучно добраться до места возросли бы. Диогенеш объяснил, что на этом фронте острая нехватка людей. Пополнения доставляют из Луанды, из Бенгелы. Земли здесь почти не заселены. Тут обитает немного кочевников, но это дикий народ, они ходят голые и понятия не имеют, что их страна зовется Анголой. Все свои войны они проиграли в далеком прошлом. С тех пор они знают, что выиграть уже ничего не возможно и единственное спасение — скрываться в буше. Движением головы Диогенеш указал на стену буша, за которой скрывались эти голые, проигравшие свою судьбу люди. Тогда я поинтересовался, почему мы едем на таком драндулете. Ведь португальцы бросили уйму великолепных машин. Диогенеш ответил, что машины, брошенные португальцами,— это их собственность. Нет средств, чтобы приобрести у них автомобили, кроме того, не с кем вести переговоры на эту тему: владельцы машин — в Европе. Не кажется ли ему, спросил я, что на быстроходной машине легче уйти от погони, ее труднее уничтожить, передвигаясь же на такой развалине, мы едем на верную смерть. Да, Диогенеш согласен с этим но какой же выход? Воцаряется тишина, ее нарушает только шум мотора и шелест покрышек по размякшему асфальту.

Время идет, но впечатление по-прежнему такое, что мы стоим на месте. Неизменно та же самая блестящая, ровненькая стежка асфальта, проложенная по рыжей, сыпучей земле. По обеим сторонам — неотступно те же самые выцветшие, будто спекшиеся стены буша. То же самое раскаленное добела, ослепительное небо. Та же пустота покинутого мира, который ни малейшим движением, ни единым звуком не подает никаких признаков жизни. На этом застывшем, мертвом и бедном ландшафте движется и покачивается только наша машина, словно жестяной грузовичок в глубине ярмарочного тира...

Мы затормозили у края шоссе, по этой же стороне, прямо перед нами — остатки взорванного автомобиля. Следы конвоя, который не доехал до цели. Разбросанные ящики, бочки, мешки, покрышки. В одном месте выжженная земля, опаленные кости. Тех, кого схватили, должны были прикончить, а потом сжечь, а может, даже связали и сожгли живьем. Неизвестно, кто уцелел, да и уцелел ли? Диогенеш утверждает, что, если кто-то и укрылся в буше, уйти далеко не мог: погиб от жажды, так как вокруг ни капли воды. Выжить можно только в том случае, если ехать по дороге, хотя на дороге можно и погибнуть. Держаться шоссе необходимо, но, разумеется, здесь легко угодить в засаду. Да но другого выхода нет, ибо абсолютно идеального решения вообще не существует в природе. Таково мнение Диогенеша, который утверждает, что те, что ехали в сожженном грузовике, допустили просчет: вероятно, они отправились в путь утром, в сумерки или

РЫШАРД КАПУСТИНСКИЙ
НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

ночью. Тогда холодно и противник в состоянии добраться до шоссе и устроить засаду. Зато в полдень начинается убийственный зной и обе воюющие стороны охватывает непреодолимая сонливость и апатия. Они укрываются в тени и погружаются в дрему. Военный запал угасает, остывает чувство враждебности. Этим необходимо пользоваться, и ехать в полдень — самое безопасное время суток! Я вспомнил, что то же говорил и Монти. Фронт засыпал, когда солнце стояло в зените.

До самого заката, предельно напряженные и настороженные, мы продолжали свой путь, обогнув по дороге еще два обугленных грузовика. Диогенеш торопил водителя, запрещая ему останавливаться. В пять часов дня мы увидали на дороге группу вооруженных людей. Они стояли, целясь в нас из автоматов. Диогенеш поставил на боевой взвод свой «калашников», те, в кузове, заняли боевые позиции, взяв на мушку группу на шоссе. Шофер сбавил скорость, расстояние между нами сокращалось. Никто не стрелял. Потом, когда мы подъехали настолько близко, что можно было различить фигуры и лица людей, один из стоящих на дороге поднял винтовку вверх, грянул выстрел. Тогда Диогенеш выхватил пистолет и тоже выстрелил в воздух. «Мерседес» остановился, те подбежали к машине.

— Отряд команданте Фаррушку,— отрапортовал один из них.

— Конвой команданте Диогенеша,— ответил Диогенеш.

Мы были в Перейра-ди-Эса. Они стали просить сигарет. Я полез в карман, и только в этот момент когда все во мне как бы расслабилось, распалось на отдельные, независимые и уравновешенные частицы, я заметил, что мои брюки и рубашка взмокли от пота и что сам я тоже весь мокрый, а на дне кармана только щепотка сырых, пахнущих никотином табачных волокон.

Сломанный указатель при въезде в местечко побуждает к отдыху, побуждает протереть утомленные глаза «В Перейра-ди-Эса (предлагает дорожный указатель) остановись в корчме «Под черным лебедем» Кондиционер. Отличная кухня. Сад. Бар. Доступные цены». И неуклюжий рисунок изображающий птицу, плывущую по озеру, которое на этой географической широте может только присниться.

Все это приманка для тех, кто колесит по белу свету, посещает далекие континенты и неведомые страны. Всех, кто путешествует по бесплодной и однообразной трассе Виндхук — Луанда, 2230 км., здесь ждет великолепный отдых Могу ли и я дать утомленному путнику несколько советов? Не останавливайся в этом местечке сейчас, сегодня. Не располагайся на ночлег. Времена изменились, обещанные удобства отсутствуют. Правда, вода есть, но нет света. Кромешная тьма. Даже луны не видно. Только звезды на небе, но какие-то тусклые, едва-едва и без пользы мерцающие. Спал я плохо: дома вокруг совершенно разбиты, разграблены, приткнуться негде. С кухней тоже неважно. На бетонном полу корчмы, в луже засохшей крови, забитая и протухшая коза. Кто голоден, вырезает штыком кусок мяса и поджаривает на костре. Как живут эти люди, как они не умирают от отравления трупным ядом? Нельзя рассчитывать и на обещанный кондиционер. Жарко, и, несмотря на ночь, жара так и не поднялась с земли, тяжелая и липкая, она давит замершее, неприметное местечко.

В свете керосиновой лампы, единственного источника освещения, вырисовываются потные лица, блестящие, как бы намазанные маслом Бородатая широкая физиономия команданте Фаррушку. Бледный, в юношеских прыщах лик его заместителя Карлуша — героя боев под Лузу. Преждевременно поблекшее, неухоженное лицо ангела-хранителя отряда, женщины по имени Эсперанса. Мы сидим в корчме на ящиках, на стульях, а командир — в кресле. За окном на площади снуют солдаты, растворенные во мраке, черные, словно движущийся сгусток тьмы.

— Почему они не отправляются на свои посты? — спрашивает Фаррушку, но тотчас умолкает и не отдает приказа. Остальные молчат, видно, такого рода вопрос не требует ответа или ответ известен. Вероятно, сам факт — займут или не займут они свои позиции, ничего не поправит, не спасет положения.

Отряд этот обречен на гибель, для него нет спасения.

— Приведите того, что приехал с юга,— приказывает Фаррушку людям, которые стоят в дверях или, вернее, там, где когда-то была дверь на деревянную веранду и на площадь.— Пусть камарада послушает, что рассказывает этот человек,— говорит мне Фаррушку, ибо им, оказывается, этот рассказ уже известен, они слышали его днем.

Появляется крайне истощенный, перепуганный португалец. У него глубоко запавшие глаза, он небрит, грязен, это живое воплощение бессилия и одиночества. Его имя — Умберту душ Ангуш ди Фрейташ Кентал. Он отсюда, здесь родился, думаю, лет за пятьдесят до этого. Неделю назад он с семьей бежал в Намибию. Жену и детей он оставил в лагере для португальцев в Виндхуке, а сам вернулся. Он хотел вернуться, так как в Перейра-ди-Эса осталась его мать. Матери восемьдесят один год, и она держит пекарню столько лет, сколько лет ее сыну, который стоит перед нами. Она сказала сыну, что не уедет, что будет продолжать печь хлеб, который всегда необходим. «Ведь вы сами знаете,— говорит, обращаясь к нам, Умберту,— что в Пе-

рейра-ди-Эса у вас свежий хлеб». Да, это известно всему отряду, который ест хлеб, выпеченный этой женщиной, вдобавок бесплатно, потому что их добровольческая освободительная армия не располагает средствами. Когда он отправился с семьей в Намибию, иссякли запасы муки, и мать, которая глуха и не понимает, что идет война, и из-за своего возраста ничего не соображает, кроме того, что, пока существует мир, людям необходим хлеб, велела сыну вернуться и привезти муки. Она осталась одна, поэтому он и вернулся и вез для нее муку, которую у него на границе конфисковали, но он знает, что сегодня прибыл грузовик из Лубангу и доставил муку, а это значит — его мать снова испечет хлеб и у нас будет еда, бесплатная еда, так как его матери деньги не нужны.

— Мы все любим эту женщину,— говорит Фаррушку,— хотя она и недолюбливает нас, но она любит жизнь, хлеб, и этого достаточно. Наши люди приносили необходимую ей воду, кололи дрова. И она будет жить, покуда мы живы, а может, переживет и нас. Но я хочу, чтобы ты рассказал этим приехавшим из Лубангу людям то, что слышал в Виндхуке, и то, что говорили тебе по пути, в том местечке, которое... как оно называется?

— Оно называется Тсумеб,— сказал сын булочницы,— и находится, вероятно, в двухстах пятидесяти километрах отсюда. Португальцы, бежавшие туда, утверждают, что на Анголу скоро начнет наступление южноафриканская армия и что она разгромит МПЛА. О том же поговаривают и в Виндхуке. Утверждают, что эта армия перейдет в наступление сегодня или завтра. У них танки и авиация, они займут Луанду.

— Откуда это тебе известно? — спросил Фаррушку.

— Все португальцы так говорят,— ответил Умберту,— хотя это и военная тайна. В Виндхуке в наши лагеря явились южноафриканские офицеры, расспрашивали — кто проходил службу раньше; тех, кто выражал желание, они брали с собой в эту армию, которая готовится вступить в Анголу. А в Тсумебе на заправочной станции один белый сказал мне, что городок забит танками, которые завтра-послезавтра двинутся на Анголу, чтобы покончить с коммунистами.

Фаррушку сказал сыну булочницы, что он может возвращаться домой. Умберту производил впечатление честного человека. Но казался довольно ограниченным и как будто был неграмотным. Мы остались в комнате одни, по-прежнему донимала жара и духота, хотя перевалило за полночь. На полу вдоль стен спали какие-то люди, другие неизвестно зачем, ни слова не говоря, входили и выходили.

— Проверь, заняли ли они свои посты,— приказал Фаррушку Карлушу.— Пошли нескольких человек по шоссе в сторону границы, пусть пройдут отрезок пути и поглядят, что происходит.

— Разве это поможет,— отозвалась Эсперанса. — Зачем провоцировать тех? У нас нет сил, чтобы защищаться.

Отряд команданте Фаррушку насчитывает сто двадцать человек. На Южном фронте это единственный отряд между Лубангу и границей (450 км) и между Атлантическим океаном и Замбией (1200 км). Единственный отряд на территории, равной одной трети Польши. Вокруг на десятки и сотни километров голько бесплодный буш — без воды, без всяких ориентиров, беспощадная алчность колючих, сплетенных в сплошную стену ветвей, враждебный мир, не поддающийся ни укрощению, ни преодолению. И лишь дорога в Лубангу — единственное шоссе через этот буш, словно коридор с преградами, по которому отступление тоже немыслимо, так как для пешего движения путь слишком длинен, а для переброски всего отряда нет транспорта. Возможно, уже в этот момент (было около двух часов ночи) противник оседлал шоссе по обе стороны местечка, и вот под нависшим плечом капкана мы ждем, покуда кто-то отпустит пружину и в воздухе раздастся оглушительный лязг.

Вернулся Диогенеш с одним солдатом, потом Карлуш. Командир спросил, отправились ли те, Карлуш заверил его, что да. Уселся на ящик с боеприпасами и расстегнул ремень, к которому был приторочен целый арсенал пистолетов, обойм и гранат. В те времена, когда Ангола являлась колонией, Карлуш и Фаррушку сражались в десантных частях португальской армии. Оба были сыновьями крестьян с юга Португалии. Окончив службу, оба остались в Анголе и работали автомеханиками. Позже Нелсон рассказывал мне, что произошло.

— Когда летом этого года ФНЛА и УНИТА выступили против МПЛА, бои шли и в Лубангу. Но в рядах противника сражалось больше белых, и на нашей территории, на юге, судьбы этого восстания долго не могли определиться. Однажды является в штаб коренастый бородатый мужчина и говорит: я покажу вам, как это делается, покажу, как надо сражаться. Это был Фаррушку. Он организовал отряд, занял Лубангу, а потом захватил Перейра-ди-Эса и там остался. Им не хватало оружия. Кроме винтовок они располагали только двумя восьмидесятидвухмиллиметровыми минометами. Огонь из них вели Фаррушку и Карлуш. Стреляли без лафета, прямо с рук, у обоих руки в волдырях и ранах, ладони обожжены раскаленными стволами...

— Фаррушку,— тронул я его за плечо, так как он уже задремал, — мне хотелось бы сегодня вернуться в Лубангу, а потом пробиваться в Луанду. Я ду-

маю, что сведения этого португальца крайне важны, а у него вид человека, заслуживающего доверия.

— Конечно важны, — соглашается Фаррушку,— те начинают вторжение.

— Отсюда до Луанды,— сказал я,— полторы тысячи километров. Не знаю, когда я туда доберусь, так как авиарейсы отменены. В Луанде у меня связь с моей страной, и думаю, слова португальца будут сенсацией для всего мира. Сделай что-нибудь, мне необходимо сегодня же вернуться в Лубангу.

— Надо дождаться рассвета,— говорит Фаррушку,— ехать ночью по этому шоссе невозможно: свет фар виден издалека, и легко угодить в засаду. Дождемся рассвета: возможно, они перейдут в наступление. От границы до Перейра-ди-Эса ни одного нашего солдата. Они могут прорваться еще от плотины в Руакану и перекрыть нам дорогу к Лубангу. Отсюда иначе никак не выбраться, кроме как этим путем, который, может, уже отрезан этой ночью, так как в Руакану дислоцировались их части, а оттуда три часа езды до нашего шоссе.

Ночь кончилась, над землей вставала алая заря. Обозначились дома и деревья, на краю местечка выстлала стена буша. Вернулись разведчики, доложив, что на шоссе они никого не обнаружили. Напряжение несколько ослабло. Фаррушку пошел проверять посты. Я отправился вместе с ним. В конце песчаных улочек, обрывавшихся у края рощи, лежали солдаты, высматривая, нет ли какого-нибудь движения между деревьями. Буш оглашался великолепным птичьим пеньем, к небесам возносилась многоголосая тропическая осанна. Потом взошло солнце, выкатило сноп лучей, словно рефлектор, все неожиданно смолкло, и воцарилась тишина.

Мы вернулись в корчму. Женщина готовила кофе, пахло словно в кемпинге на Мазурах в утренние часы. Только сейчас я заметил на стене штабную карту. Гвоздь, вбитый посредине,— это отряд в Перейра-ди-Эса. Вокруг никаких гвоздей. Только выше еще один — в Лубангу и еще — в Мосамедеш и в Маталу. Чем выше, тем все больше гвоздей. Косая черная линия, чуть надломленная посредине,— наша дорога...

Теперь дай бог проскочить живым по черной линии вверх, до Лубангу. Мы выехали в десять при высоком солнце, с надеждой, что сумасшедший жар вынудит противника убраться из засады и повергнет его в состояние безвольного, сонного оцепенения. По раскаленной площади слонялось несколько вялых, сонных солдат, оглушенных зноем. Остальные укрывались в тени, прислонясь к стенам домов, к стволам деревьев, неподвижные, словно погруженные в спячку...

Мы ехали на джипе «тойота», который вел шестнадцатилетний солдат Антониу. По шоссе разливался ослепительный блеск, целое озеро пульсирующего света, которое двигалось впереди нас. В какой-то момент из глубины этого озера как видение возник автомобиль. Он приближался к нам. Никогда не известно, кто едет тебе навстречу, и Фаррушку, который сидел справа от меня, поставил свой К-2 на боевой взвод, отцепил от пояса гранату. Машины остановились. Из пикапа, словно цыганский фургон набитого постельным бельем, вылез неряшливый, заросший щетиной португалец, который со всей семьей направлялся в Южную Африку. Он стоял на шоссе поникший, с отрешенным видом, словно перед судьей, который через минуту приговорит его к пожизненному заключению. Он сообщил нам, что дорога пустынна и что его никто не задерживал. Однако это еще ничего не значило: обычно те, кто устраивал засады, беженцев не трогали.

Мы ехали в открытом джипе, и движение ветра приносило некоторое облегчение. В ушах свистело.

— В этом году,— кричал мне Фаррушку, перекрывая шум ветра,— у меня родился сын.— Сын в Лубангу, и он хочет его видеть.

— Большой? — спросил я как можно громче, так, чтобы он меня услышал.

— Большой, — рассмеялся отец,— большущий мужик.

Мы проскочили Рокадеш, а потом пустой мост на Кунене.

— Мой отец,— кричит командир, перекрывая ветер,— не имел земли, и нас у него было восемь человек, и все без обуви. Не знаю, известно ли тебе, что у нас горы и холода.— Я повертел головой, давая понять, что не знаю. Джип скользил по шоссе на фоне такого однообразного пейзажа, что казалось, мы не движемся.— Когда я воевал как десантник,— долетал до меня его голос сквозь ветер,— я подумал, что сражаюсь за неправое дело. И поэтому,— добавил он минуту спустя, давясь от кашля, потому что от ветра пересохло горло, — когда началась эта война, я перешел на другую сторону.

Мы приближались к самому зловещему месту — к Умбе. Сюда подходила дорога от Руакану, откуда могли появиться южноафриканские отряды. Фаррушку приказал затормозить и направился по краю буша к перекрестку оценить положение. Он не заметил ничего подозрительного, никого не встретил.

— Достаточно,— сказал он,— установить здесь один бронетранспортер, чтобы парализовать все шоссе. Нам с ним не справиться: нет бронебойного оружия.

В Европе,— продолжал он,— меня учили, что фронт — это окопы и блиндажи, которые образуют четкую и определенную линию. Фронт по берегу реки, вдоль дороги или от деревни до деревни. Это можно прочертить по карте карандашом, можно показать пальцем на местности. А здесь фронт повсюду и нигде. Эта земля слишком велика, а людей ма-

ло, чтобы мог существовать протяженный фронт. Это дикий, неорганизованный мир, с ним трудно сосуществовать. Нехватка воды, потому что здесь обилие пустынь, невозможно долго продержаться там, где нет источников, а они удалены друг от друга. Тут, где мы стоим, есть вода, а следующий источник — через сто километров. Каждый отряд держится за свою воду, иначе ему крышка. Если между двумя источниками стокилометровое пространство, это ничейное пространство, там ничего нет. Поэтому у нас не может быть фронта, вытянутого в линию, есть только отдельные опорные пункты, и вдобавок они подвижны. Существуют сотни фронтов, потому что сотни отрядов. Каждый отряд — это фронт, потенциальный фронт. Если наш отряд столкнется с отрядом противника, два потенциальных фронта превратятся в реальный фронт, завяжется схватка. В настоящий момент мы — потенциальный фронт из трех человек, передвигающийся на север. Если мы угодим в засаду, то превратимся в реальный фронт.

Мы продолжали мчаться в полуденном зное, захлестываемые порывами раскаленного ветра. Буш сдвигался назад, исчезая за нашей спиной. Мы миновали Кагаме и Шибембу, у шоссе виднелись сожженные дома.

— Если доберешься до Луанды,— кричал Фаррушку, преодолевая движение ветра,— скажи, чтобы прислали людей и оружие. Скажи, что, если придут из Намибии, нам не удержать эту землю.

Мы долго ехали молча. Потом я вновь услышал его голос.

— Я думаю, меня убьют,— выкрикивал он,— думаю, что они высмотрят, как белый командир разъезжает по этому шоссе, и кокнут меня, очень трудно,— продолжал выкрикивать он,— вырваться из засады, потому что всегда обнаруживаешь ее слишком поздно, выскакиваешь прямо к ним на мушку, но знаешь,— доносился до меня его голос,— я не боюсь, ты слышишь, не чувствую страха.

...Я услышал грохот, треск, стук в дверь, голос: «Едем, едем, едем»,— и это был голос беспокойного духа, комиссара Нелсона. Я вскочил, вокруг кромешная тьма, к счастью, я спал одетым и поэтому мог тотчас же кинуться за ним, мы скатились вниз по лестнице, я почувствовал боль в голове. Начал приходить в себя только в машине. Это оказался новый «пежо-504», серого цвета. Вел машину сам Нелсон. Рядом сидел командант Бота, из штаба фронта, пьяный Он держал между коленями бутылку виски. На заднем сиденье располагались друг Нелсона, его помощник Мануэл и я... Я взглянул на часы: было около двух. Лубангу находится высоко над уровнем моря, и ночи здесь леденящие, скандинавские. Я трясся от холода и недосыпания.

— Куда мы едем? — спросил я Мануэла.

— В Бенгелу.

Я обрадовался и приготовился снова вздремнуть, когда Мануэл сообщил, что впереди идет бой. Сон как рукой сняло.

— Атакует «эскадрон Шипенды»,— сказал Мануэл,— а перед нами только наш отряд под командованием команданте Антониу, но сам Антониу в Бенгеле, он отправился туда за оружием.

— Тогда зачем же мы едем этой дорогой, если там сражение? — спросил я.

— Потому что иначе в Бенгелу из Лубангу не добраться,— ответил Мануэл.

— Ах да, правильно —согласился я.

Бота хлебнул из бутылки и передал ее нам, назад, поэтому мы тоже отхлебнули по глотку. Стало легче. Мы ехали, может быть, с полчаса на огромной скорости через холмистую местность, по обеим сторонам дороги тянулся зеленый лес, мы уже приближались к перекрестку в Какули, когда слева, а потом справа, прямо рядом с шоссе, послышались стрельба, протяжное гудение станковых пулеметов и разрывы снарядов. Нелсон выключил фары, а так как ночь была абсолютно непроницаемой, ему, сбавив скорость, пришлось ехать дальше вслепую, нащупывая покрышками мягкую обочину шоссе.

— Медленнее,— отозвался Бота, начинавший трезветь.

— А может, лучше быстрее? — неуверенно произнес Мануэл.— И эта езда продолжается целую вечность...

Светает, и постепенно перестрелка замолкает, остается у нас за спиной. Небо делается похожим на луг, потом на море, потом на занесенную снегом равнину.

— Остановись,— командует Бота, и Нелсон тормозит «пежо» на повороте, который прикрыт от обстрела.

Пешком отправляемся взглянуть, что происходит в Киленгише. Серый, холодный рассвет, роса, солнца нет и в помине. Мы стараемся передвигаться незаметно: неизвестно, кто скрывается в этих долинах, за углом ближайшего дома и за уличным поворотом. Мы долго осматриваемся, пока не убеждаемся, что городок вымер, что в нем никаких следов жизни. Я не знаю, что произошло здесь до нашего появления. Во всяком случае, нам не удалось обнаружить не только людей. Мы не видели и других живых созданий: ни собак ни кошек, ни коз, ни кур. Незаметно было и птиц на деревьях. Пожалуй, мыши и те исчезли.

Нелсон расправил плечи и произнес:

— Еще один день впереди (потому что дальше дорога была свободна),— и стал делать гимнастику, а мы все последовали его примеру. Бота неуверенно, раскачиваясь из стороны в сторону, а мы,

---

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

следуя команде: руки на бедра, приподняться на носки, сделать приседание, начали — раз, два; спину распрямить, голову выше, еще раз присесть, присесть как можно ниже, еще ниже, а теперь движения плечами — вперед и назад, энергичнее, энергичнее назад — вдох и выдох, руки вытянуты горизонтально (книзу не опускать!), начинаем наклоны туловища вперед и в стороны по счету «три» — и раз, и два, и три а теперь делаем «лягушонка», а еще «ласточку»,— и в этот момент взошло солнце.

ДЕПЕШИ

В Луанде я был в субботу утром, еще затемно. Из Бенгелы мы отбыли ночью на «ситроене», направлявшемся в столицу за бензином, так как на Южном фронте из-за отсутствия горючего замерло всякое движение. По дороге мы миновали заспанных, мало что соображавших парней на контрольно-пропускных пунктах, которые кутались в плащ-палатки, в одеяла, в попоны и мешки, так как отвратительно моросило. Как обычно, они начинали спорить, пропустить ли нас, просили закурить или поесть, а мы ничем не могли их угостить, поэтому, махнув рукой, они отправлялись досыпать. Ночью можно было въехать в Луанду и занять ее без единого выстрела. В африканских кварталах женщины разводили перед домами огонь и собирались готовить маниоку. Процесс превращения маниоки в твердое, ломкое, белое тесто отнимает у африканской женщины половину жизни. Вторая половина ее уходит на беременность и детей. Кое-где возле колодцев уже вытянулись очереди за водой. В других местах — за хлебом. Люди в этих очередях дремали, прислонясь к стене, или спали прямо на земле, прикрывшись покрывалом. Кругом виднелись плакаты: «Родина зовет!» — большой черный палец нацелен прямо прохожему в глаза, которые в эту пору дня воспалены от недосыпания. В европейском районе не ощущалось и следа жизни Пыль и паутина покрывали дома и улицы.

В гостинице я вернулся в свой сорок седьмой номер, согнал с постели стаю тараканов и завалился спать. Мне никогда в жизни ничего не снится, но на этот раз я неожиданно очутился в роще под Варшавой, из-за кустов ко мне стала приближаться группа хулиганов с ножами, они двигались так, словно играли в прятки. Я открыл глаза, надо мной стояла дона Картажина, худой мрачный Оскар (новый владелец гостиницы) и сторож Фернанду, с болтавшимся на шее пластмассовым медальоном с портретом Агостиньо Нето. Радуясь моему возвращению, они пытались выяснить, жив ли я, так настойчиво и с таким недоверием, что в конце концов я перестал понимать, наяву ли все происходит, или это продолжение сна, где дона Картажина, Оскар и Фернанду свирепствуют с ножами в роще под Варшавой. Не знаю, что было потом (кажется, я снова заснул), потому что, когда я сорвался с постели, комната опустела. Я пошел по коридору — тоже никого. Все номера открыты настежь и пусты. В воздухе застоявшаяся сырость — вентиляторы не работают; я начал откручивать краны. Краны неожиданно принялись хрипеть, а потом умолкли: воды нет! Я сбежал вниз, где за конторкой, упершись локтями в груду ненужных бумаг, дремал Феликс, его испитая физиономия покоилась на руке, неподвижная, ничего не выражающая.

— Феликс,— потряс я его,— дай воды.

Он открыл глаза и уставился на меня.

— Уже три дня нет воды,— сказал он.— Добирают из последних колодцев. Если воды не будет по-прежнему, город капитулирует.

Я оставил его и отправился на кухню, но когда распахнул дверь, мне в нос ударил такой страшный «аромат», что ноги у меня приросли к полу, я не мог сделать ни шагу. Этот смрад шел от горы немытых тарелок и кастрюль, но в первую очередь от протухшей свиньи, которую четвертовал тесаком повар-негр.

— Камарада,— произнес я, опершись о стол, чтоб не упасть,— дай воды.

Он отложил тесак и из железной бочки зачерпнул кружку воды. Я почувствовал во всем теле облегчение и свежесть, я возвращался к жизни.

— Дай еще!

— Пусть камарада пьет столько,— разрешил он,— чтоб ему стало хорошо.

Я уединился в номере и начал звонить. Телефоны работали. «Тотальность» — понятие чисто теоретическое. В жизни его идеальное воплощение отсутствует. Даже в самой монолитной стене можно найти какую-нибудь щель (или я надеюсь на это, и моя надежда уже что-то значит).

Даже когда нам кажется, что все вокруг окончательно вышло из строя, что-то функционирует и позволяет как-то существовать. И даже если б нас окружал океан зла — и в нем обнаружатся зеленеющие, полные жизни островки. Они виднеются на горизонте. Самое безвыходное положение, в каком мы можем оказаться, слагается из первостепенных факторов, а в их числе будут такие, за которые можно ухватиться, как за ветви прибрежного куста, чтобы спастись от водоворота, затягивающего на дно. Эта щель, этот островок, эта ветвь удерживают нас на поверхности жизни.

И теперь в нашем запертом городе, когда уже вышло из строя многое и казалось, что все кругом окончательно застопорилось, телефон продолжал работать. С юга, от границы Намибии, я привез известие, что сегодня-завтра в Анголу

вторгнутся бронетанковые части. Я хотел передать то, что сказал сын булочницы, и то, что говорил Фаррушку. А именно: интервенты начинают наступление, и Южный фронт не выдержит их удара. Я стал названивать, но ни один абонент не отвечал. Я звонил снова и снова. Продолжительные гудки, никто и нигде не снимает трубку. Я взглянул на календарь, так как уже утратил ощущение времени, а вернее, время утратило для меня всякое деление, всякую измеримость, разлетелось, расползлось, как гнилой тропический туман...

Я определил по календарю, что сегодня 18 октября 1975 года. И, как я уже упоминал, суббота. Это объясняло молчание телефонов. Потому что в субботу и воскресенье вся жизнь замирала. Эти два дня управлялись собственными нерушимыми законами. Замолкали орудия, и война прекращалась. Люди откладывали оружие и погружались в сон. Часовые покидали свои посты, наблюдатели прятали бинокли. Пустели дороги и улицы. Закрывались штабы и учреждения. Безлюдели рынки. Радиостанции прекращали свои передачи. Движение приостанавливалось. Непостижимым, но всеобъемлющим образом эта страна, вместе со своей войной и уничтожением, со своими конфликтами и контрастами, умолкала, замирала, как заколдованная, пораженная заклятьем. Самый титанический взрыв, самое невероятное небесное явление и любой человеческий призыв не способны были вывести ее из субботне-воскресного летаргического сна. Прежде всего я никогда не мог установить, куда пропадали люди. Самые ближайшие мои друзья исчезали, как камень, брошенный в воду. Их не оказывалось ни дома, ни на улице. Но и за город они не могли уехать. Клубы, рестораны, кафе тоже не работали. Словом, не знаю. Объяснить все это я не в состоянии.

А там, в резиденции штаба в Претории, а позже в Виндхуке и наконец (уже самые мельчайшие детали) в ставке фронта в Цсумебе, все было подробно и тщательно обдумано. На стенах карты, Африка в миниатюре, тем не менее достаточно большая — от потолка до самого пола,— от входных дверей через весь кабинет командующего тянутся незаселенные пространства, обозначенные желтоватым цветом. Штабные за длинными столами, военные высоких рангов, опытные стратеги.

Операция носит шифрованное название «Апельсин».

Цель операции — занять Луанду к 10 ноября 1975 года (в этот день в 18.00 последние португальские отряды по договоренности, достигнутой в Алворе, покинут территорию Анголы). На следующий день провозгласить независимость Анголы, власть в которой возьмет в свои руки коалиционное правительство ФНЛА — УНИТА.

Совместные действия: наступление в южном направлении Цсумеб — Перейради-Эса — Лубангу — Бенгела — Нову-Редонду — Луанда. Одновременно наступление с севера по шоссе Макеладу-Зомбу — Кармона — Кашиту — Луанда. Параллельно с этим наступление на восток, по шоссе Новый Лиссабон — Кибала — Дондо — Луанда.

Силы: южное направление — моторизованные отряды Южно-Африканской Республики (поддержка — отряды португальских наемников, отряды ФНЛА — УНИТА, «эскадрон Шипенды»). Северное направление — отряды ФНЛА (поддержка — отряды армии Республики Заир, отряды португальских наемников). Восточное направление — как и южное.

Час Ноль.

Начинается дискуссия на англо-африкаанс-португальском языках. Сталкиваются две точки зрения. Одни считают необходимым начать военные действия раньше, так как противник может оказать сопротивление, на его подавление требуется время, и это может отсрочить занятие Луанды. Кроме того, по мере продвижения в глубь Анголы, удлинятся коммуникации, осложнится снабжение армии боеприпасами, горючим, продовольствием, на это потребуется дополнительное время. Они предлагают установить час Ноль на понедельник, 20 октября. По мнению другой стороны, вся операция займет не более двух недель. На севере наши силы уже в окрестностях Луанды. По имеющимся сведениям, неприятель на юге не сможет оказать сопротивление. Будем передвигаться на быстроходных бронетранспортерах типа «пантера». Достаточно подсчитать время их продвижения из Цсумеба до Луанды, учитывая время, израсходованное на еду и сон солдат. Сторонникам этой концепции кажется достаточным установить час Ноль на 27 октября. В конечном итоге утверждается первый, более обоснованный вариант. Если даже вся операция займет три недели, это будет блицкриг, который удивит мир.

Час Ноль — 19 октября, воскресенье.

По воскресеньям, как я уже упоминал, страна погружена в состояние небытия и не проявляет ни малейших признаков жизни. Однако именно в этот день, ведомый каким-то неясным предчувствием, команданте Фаррушку с утра разыскивает своего водителя Антониу. В конце концов Антониу появляется сам, заспанный и ничего не соображающий от усталости, но Фаррушку велит ему садиться за баранку, и в том же самом красном джипе «тойота», на котором я возвращался из

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

Перейра-ди-Эсы, они едут по шоссе через буш. Некоторое время спустя в лучах солнца они видят нечто смахивающее на видение, что, однако, быстро материализуется, приобретая очертания вытянувшейся колонны бронетранспортеров, над которой парит почти неподвижный пузатый вертолет. Еще минута, и раздается лихорадочное стрекотание пулеметов. Фаррушку тяжело ранен — пуля пробила ему легкое. Антониу получил ранение в ногу, но сохраняет самообладание, разворачивается и мчит в обратном направлении.

Колонна продвигается вперед к Перейра-ди-Эсе. Водители укрыты в бронетранспортерах, но им, видимо, жарко и душно, поэтому то в одной, то в другой машине (вопреки приказам) откидываются крышки люков и видны молодые, загорелые лица.

А в Луанде? Что можно делать в воскресенье в нашем опустевшем городе, которому (как оказывается) уже вынесен приговор? Можно проспать до полудня. Можно отвернуть кран и проверить, не пошла ли — вдруг? — вода. Можно постоять перед зеркалом, размышляя над тем, как много уже седых волос в бороде. Можно погрузиться в думы над тарелкой с куском отвратительной рыбы и горсткой холодного риса. Можно, обливаясь потом от слабости, отправиться на прогулку в горы Руа-ди-Луис-ди-Камоеш по дороге на аэродром или же спуститься вниз, к заливу. Но и это еще не все! Можно пойти в кино! Да, поскольку еще функционирует кинотеатр, правда один-единственный, зато панорамный, на открытом воздухе, и вдобавок вход туда бесплатный. Кино — в южной части города, ближе к линии фронта. Хозяин удрал в Лиссабон, но остался киномеханик, и осталась лента известного порнофильма «Эмманюэль». Эту картину киномеханик (заядлый эротоман) крутит без перерыва целый день, задарма, и, поскольку вход свободный, валят толпы детей, солдат, вырвавшихся с фронта. Здесь всегда все места заняты, теснота, шум и рев невообразимые. Для усиления эффекта механик останавливает ленту в наиболее пикантных местах. Обнаженная героиня — стоп. Героиня отдается у реки — стоп. Она отдается старику — стоп. Ею овладевает боксер — стоп. Если совокупление совершается в забавной позе — в зале смех, аплодисменты. Если героиней овладевают в чересчур изощренной позиции, публика молча анализирует. Столько веселья и шума вокруг, что едва слышны далекие, тяжелые отголоски артиллерийского огня недалекого фронта. И, разумеется, не может быть и речи (но это уже не из-за «Эмманюэль», а только по причине большой отдаленности), чтобы уловить рев моторов движущейся по шоссе колонны бронетранспортеров.

«Заря едва займется рано, как вся земля поет: осанна!..»

Дурной знак — дона Картажина напевает молитвы. С самого утра весь город сотрясается и вызванивает стеклами, так как артиллерия начала обстрел столицы: бум, бум, бах, лубуду, мам, мам,— весь горизонт заполнился грохотом войны. Холден Роберто заявил, что сегодня вступит в Луанду. Он призывает население сохранять спокойствие. Вчера его самолет разбросал листовки. На них фотография Холдена с надписью:

БОГ ПРАВИТ НА НЕБЕ,
ХОЛДЕН — НА ЗЕМЛЕ.

Они, вероятно, наступают большими силами, так как с рассвета артиллерийская стрельба не ослабевает, хотя время уже к полудню. В городе паника, нервная суета, крики. До передовой четверть часа на машине. Возможно, они вступят в город. Дона Картажина хочет укрыть меня в своей квартире. Она живет неподалеку отсюда, третья поперечная улица и направо. Я должен отправиться сейчас, она покажет мне дорогу, чтоб я знал, как туда добраться. Я буду выдавать себя за ее сына, который опекает больную старушку мать. «А почему ты так странно говоришь по-португальски?» — спросят меня. «Потому что я родился на Тиморе, но удрал из дому и всю жизнь провел в Бирме. Служил в бирманском флоте и лучше всего говорю на их языке».— «Предъявить документы!» — «Документы на корабле, но вы сами видите: все корабли снялись с якоря».

Дона Картажина заклинает меня сжечь бумаги и собрать чемодан, но я отказываюсь, убеждая ее, что еще есть время, сегодня они не войдут в город.

Я спускаюсь вниз, встречаю бегающего Оскара, спрашиваю его, что происходит. Он не знает, что происходит, но продолжает суетиться. По улице проносится грузовик с солдатами, за ним — второй. Пробегают трусцой какие-то женщины с узлами. Наконец, появляется патруль, ищет врагов. «Каких врагов?» — спрашивает Феликс, бледный как стена. У меня по спине поползли мурашки: ведь я как раз сижу у телекса, пытаясь связаться с Варшавой, а они решат, что я связываюсь с Холденом Роберто...

Но Варшава неожиданно отключилась, и я облегченно вздохнул, когда один из патрульных подошел ко мне поинтересоваться, что я пишу; я уже ничего не писал, и он сказал:

— Мы должны быть бдительными, обязаны проявлять бдительность, камарада, враг у ворот Луанды.

— Да, камарада,— говорю я, и Феликс тоже подхватывает:

— Да, конечно, это абсолютно необходимо.— И задержанный в двух шагах от нас Оскар тоже поддакивает, лишь бы они поскорее опустили стволы своих автоматов, а еще лучше — ушли бы вовсе.

Наконец, они удаляются, а я по опустевшим улицам отправляюсь в «Диарию ди Луанда» к Кейрошу, который всегда хорошо информирован. Эту газету делали три человека. Она печаталась на шестнадцати полосах, половину всех материалов ежедневно писал сам Кейрош. При этом он считал, что сотрудников недостаточно, так как такую газету можно делать только впятером. Он показал мне заголовки статей, отправленных в набор: «Все на фронт!», «Настал час испытаний!», «Ни пяди врагу!». Кейрош сказал, что положение серьезное, что в наступление перешли все силы ФНЛА, три батальона Заира и еще наемники и что на подступы к Луанде МПЛА стягивает подкрепления из провинций, но не хватает транспорта, и боеприпасы на исходе.

Я вернулся в гостиницу и стал ждать Варшаву. У конторки толпились люди, побаивавшиеся в эту ночь оставаться дома: они предпочитали отсиживаться здесь в ожидании дальнейших событий. Канонада все приближалась, снова грузовики, затемненные улицы.

Неожиданно вспыхнула лампочка телекса, аппарат начал передавать:

добрый вечер не можем с вами связаться все время каждую минуту предпринимали попытки но тщетно неизвестно почему автомат неизменно выстукивал знак занято

здесь война и страшный хаос вчера снарядом повредило линию но сегодня связь восстановлена

на месте ли руководитель смены

да слушаю моравский

привет збых слушай начался штурм луанды с минуты на минуту возможно прервется связь продолжается крайне массированная артиллерийская подготовка передам материал какой есть но имейте в виду наша связь может скоро прерваться а теперь передам информацию ок

да давай но нельзя ли позаботиться о твоей безопасности может сумеем вытащить тебя оттуда каким-нибудь самолетом

нет уже поздно завтра возможно все решится пока трудно предугадать как будут развиваться события силы мпла крайне незначительны положение тяжелое но сперва материал потом поболтаем у меня на душе кошки скребут ок

ок ок давай

Я отстучал: мом, мом, что значит — минуточку, ибо как раз в этот момент по радио прозвучало объявление о всеобщей мобилизации. Я прослушал сообщение и сразу передал:

в последний час луанда пап 23. 10 в связи с серьезным положением в анголе генштаб народной армии мпла в четверг вечером объявил всеобщую мобилизацию всех мужчин в возрасте от 18 до 45 лет в коммюнике штаба подчеркивается что ангола в настоящий момент явилась жертвой вооруженной агрессии осуществляемой в широких масштабах за сегодняшний день враг захватил ряд важных городов и его наступление продолжается сейчас бои ведутся на подступах к луанде положение крайне тяжелое и коммюнике призывает всех патриотов с оружием в руках встать на защиту родины...

Я поднялся от аппарата, мокрый как мышь, но удовлетворенный тем, что успел передать сообщение, поступившее в самый последний момент прямо по радио. После полуночи я дозвонился до Кейроша. Наступление удалось остановить ценою больших жертв. Положение осложняется тем, что боеприпасы на исходе.

Ночью я выхожу на балкон, направляю антенну транзистора в сторону залива и слушаю голоса далеких радиостанций. Да, где-то там обычная жизнь, достаточно приложить ухо к приемнику и слушать. На одном полушарии храпят, ворочаются с боку на бок, на другом уже встают, кипятят молоко, бреются и пудрятся. А потом все повторяется в обратном порядке. Человек просыпается, не помышляя о том, что, возможно, начался последний день его жизни. Это, разумеется, великолепное ощущение, но оно оказалось настолько привычным, что там никто не ценит его, даже не замечает. Ежесекундно в эфире работают сотни, если не тысячи радиостанций, в него выплескивается целое море слов. Любопытно послушать, насколько мир погряз во взаимных распрях и пропагандистской шумихе, как он убеждает, грозит, клеймит и дезинформирует, как каждый из оппонентов, отстаивая свою правоту, не желает прислушаться к доводам противной стороны. Весь мир в настоящий момент занят Анголой: Париж, Лондон, Каир и Токио рассуждают на эту тему. Мир взирает на грандиозную картину борьбы и смерти, которую, впрочем, ему трудно представить, так как образ войны невоспроизводим ни пером, ни в устном пересказе, ни с помощью телекамеры. Война — реальность только для тех, кто сам оказывается в ее стихии, в кровоточащем, страшном и грязном чреве ее. Для сторонних же наблюдателей — это страница книги, экранное изображение, не больше.

Я кручу регулятор транзистора, звук которого становится все тише, так как садятся батарейки, а новые достать невозможно, и слушаю далекие радиостанции. Звучат самые разные голоса, выдвигаются самые различные предложения. Как решить проблему Анголы? Созвать международную конференцию? Направить войска ООН, пусть они войдут в Анголу и уймут враждующие стороны? Послать войска? Но кто оплатит расходы, ведь у нас инфляция. Пусть отправляются одни черные солдаты, а расходы оплатят арабы. Арабы и так не знают,

---

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

куда деньги девать! А лучше всего призвать ангольцев покончить дело миром. Пусть заключат перемирие и упадут в объятия друг друга. Надо пригрозить им: не пойдут на мировую — не получат больше ни копейки!..

Грандиозные планы, глобальная стратегия.

Им и невдомек, что здесь, по существу, все держится чуть ли не на двух людях.

Один из них — Руиш, симпатичный, подвижной португалец, пилот старой двухмоторной машины «ДС-3», единственного самолета, каким в Луанде располагает МПЛА. Год его выпуска — 1943-й, два мотора изрыгают клубы дыма, крылья — латаные-перелатанные, колеса ободраны, на фюзеляже пробоины. Только Руиш (и то с трудом) умеет захлопнуть дверцу. На этом самолете он курсирует день и ночь, собственно говоря, он в воздухе круглые сутки. Руиш летит в Браззавиль за боеприпасами, потом в осажденные города у границы Анголы, чтобы доставить ящики с патронами и мешки с мукой, а в Луанду — захватить тяжелораненых. Если Руиш не подоспеет вовремя, города капитулируют, раненые погибнут. В каком-то смысле судьба этой войны в его руках. Над Анголой Руиш летает по памяти: службы аэродрома не функционируют, не знаю даже, работает ли рация в его кабине. Часто сам Руиш не знал, в чьих руках аэродром, где предстоит приземлиться. Еще вчера там были свои, но, может, сегодня его уже захватил неприятель? Поэтому сперва Руиш просто проносится над аэродромом. Подчас он узнает знакомые фигуры и тогда снижается, спокойно идя на посадку. Но если самолет подвергают обстрелу, Руиш возвращается в Луанду с дурной вестью. В этой стране, где связь нарушена, Руиш лучше других знает положение на фронтах, кому какой город принадлежит. Он стартует на рассвете, ежедневно совершает несколько рейсов, возвращается далеко за полночь. Его самолет ждут голодные солдаты в Лузу, гибнущий гарнизон Нову-Редонду, отрезанные от мира защитники Кибалы. Теперь его ждет Луанда, которой без боеприпасов не удержаться. Вернее всего разыскать его утром на пустом аэродроме, когда он проверяет двигатели. Авария одного из моторов может погубить самолет и изменить ход войны...

Второй человек, от которого ныне тоже многое зависит,— Алберту Рибейру, низкий, коренастый тридцатилетний инженер. Северный фронт проходит под Луандой, вдоль реки Бенгу. На берегу ее — насосная станция, подающая воду в Луанду. Когда станция бездействует, город сидит без воды. Противнику это известно, и он неустанно бомбит насосную установку. При удачном попадании станция на какой-то срок выбывает из строя. Без воды Луанда способна выдержать максимум пять дней. Больше люди в тропиках не выносят жажды, кроме того, отсутствие воды вызывает эпидемии. Алберту единственный, кто способен возродить насосы. Только благодаря его усилиям город, получая время от времени воду, может жить и отражать натиск врага. Если бы по дороге к насосной станции Алберту погиб в автомобильной катастрофе или его на месте задело осколком, Луанде через несколько дней пришлось бы капитулировать...

Тем временем духота усилилась. Неожиданно в окрестностях Луанды умолкли орудия, не поступало сообщений и с других фронтов. Казалось, время остановилось и ничего не совершается. Паруса нашего корабля опали, вокруг — мертвая зыбь. Ожидание шторма.

Я почувствовал, что дышать буквально нечем. Это был особый вид духоты, который не измерить в миллибарах. Такую духоту ощущаешь больше психически, нежели физически. Сжимался какой-то невидимый обруч, усиливая чувство тревоги и страха. Я подумал, что, возможно, это только мое ощущение, результат моей подавленности. Я стал присматриваться к окружающим. Все выглядели как люди, страдающие от удушья. Отупевшие лица без выражения, со стертыми чертами, лишенные живости и обаяния. Ощущение духоты сделалось настолько явным, что достаточно заговорить на любую тему, как сразу же слышались жалобы на невыносимую духоту. Ни о чем другом люди просто не могли говорить. Впрочем, их признания носили довольно туманный характер, так как такое состояние души трудно четко определить. В таких случаях обычно только жалуются на гнетущую атмосферу, на то, что должны произойти какие-то события. А так как идет война, твой собеседник утверждает, что рекой будет литься кровь. Это урок, усвоенный им из истории, которая учит: любой крутой перелом не обходится без кровопролития. Потом наступает пауза, каждый из собеседников задумывается над тем, не его ли кровь прольется на этот раз? Раздражение и тревога — неизбежные спутники духоты. Человек не в силах разобраться в ситуации, но, стремясь объяснить ее самому себе, он принимает на веру самые фантастические слухи. В страхе он способен совершить иррациональные поступки, в нем легко пробуждаются стадные инстинкты.

Невозможно дышать, когда назревшее событие, решающий перелом никак не могут произойти своевременно. Неразличимый еще и невыкристаллизовавшийся факт, который обязательно совершится в будущем, уже прорастает, набирает сил, начинает оказывать свое действие на неподвижный уклад, который, однако, не хочет поддаваться. Ощущение духоты все возрастает. Воздуха не хватает, чувство бессилия в душе обостряется. Время от времени взираем мы на то, как сгущаются тучи на небесах, ожидая, когда оттуда от-

зовется глас и возвестит неумолимый приговор судьбы...

В два часа ночи кто-то стал ломиться в дверь, я вынырнул из глубокого сна, и мурашки забегали у меня по спине: ФНЛА!

Еле передвигая свинцово-отяжелевшие ноги, я потащился открывать дверь. В комнату ворвались три немыслимо грязных типа. Набросились на меня, я на них, и мы, вскрикивая, принялись сжимать друг друга в объятиях. Это были Нелсон, Мануэл и Бабтишту. Они свалили оружие на пол, намереваясь умыться после дороги. Потом Нелсон повалился на кровать и через секунду захрапел, а те двое принялись открывать последнюю банку консервов, припасенную мною на черный день.

— Как дела на Южном фронте?

— Южного фронта нет,— ответил Мануэл,— враги уже под Бенгелой. Вторая колонна наступает на Луанду.

— Их наступление остановить невозможно?

— Крайне трудно. У врагов большая огневая мощь. Много броневиков, артиллерии, они хорошо воюют, полны решимости. Мы же вынуждены сражаться голыми руками. Наши люди не в состоянии сражаться с регулярной армией. Мы отступаем: явное неравенство сил...

— Когда они подойдут к Луанде?

— Возможно, через несколько дней.

Пессимистическая часть моей натуры нашептывала мне, что надвигается гибель, что скоро конец. Достаточно врагам захватить электростанцию в Камбаме (в двухстах километрах от Луанды, откуда ток подается к насосной установке), как судьба города повиснет на волоске. Без воды и света окруженной врагами столице, в которой начнется голод, через несколько дней придется капитулировать.

Понедельник, 3 ноября

Вечером разговаривал с Кейрошем. По его мнению, противнику трудно будет овладеть Луандой: все население поднялось на борьбу, и врагам придется устроить грандиозную резню, а мир встретит это с негодованием. Потом, однако, он сам усомнился в своих прогнозах на будущее. Ведь мир так далеко отсюда!

Руиш отправился забросить самолетом в Порту-Амбоин группу саперов с ящиками динамита. У них приказ: взорвать все мосты на реке Куву, которая пересекает дорогу между Бенгелой и Луандой. Успеют ли саперы выполнить приказ?

В полночь отозвалась Варшава.

в течение последних суток,— передавал я,— **ситуация в анголе приобрела драматический оборот войска юар поддержаные отрядами португальских наемников фнла и унита заняли бенгелу второй после луанды город анголы войска эти в составе двух бронетанковых колонн продвигаться к столице где уже организуется оборона по еще не подтвержденным данным поступившим в последнюю минуту одна из этих колонн заняла нову-редонду и находится в пятистах километрах к югу от луанды если эти войска не будут остановлены на рубеже реки куву они за ближайшие два дня смогут выйти на подступы луанды ожидается что тогда с севера и юга наступление начнется одновременно согласно с операцией апельсин предусматривающей захват столицы до 10 ноября что равнялось бы политической и военной ликвидации мпла по крайней мере на ближайший период конец**

дорогие выходите на связь через семь часов теперь все решают часы ок

да конечно

спокойной ночи

Вторник, 4 ноября

... Радио призывает население к обороне города. В этот решающий час никто не должен оставаться в стороне.

Весь день непрерывно совещается руководство МПЛА.

Как будто помощь ждет в Браззавиле и в Кабинде, но не может достичь Луанды, так как аэродром и порт до следующего понедельника (10 ноября) в руках португальских войск. До понедельника Ангола формально — часть владений Португалии, ее заморская провинция, и тем самым часть территории НАТО. Итак, необходимо удержаться до следующей недели. А если будет поздно? Если португальские отряды внезапно нанесут удар в самой Луанде, атакуя ангольцев?.. Разносится слух, будто арестован президент Агостиньо Нето. Начинается паника. Разобраться в том, как обстоят дела на самом деле, невозможно. С Южного фронта никаких известий. Где противник? Удалось ли его остановить? Или он продолжает наступление? Далеко ли он или уже в предместьях столицы? Люди обезумели. Я врываюсь к себе в номер и вижу, что дона Картажина сама уложила мой чемодан. А где же вырезки из газет, которые я собирал на протяжении трех месяцев, мое величайшее богатство? Она бросила их в унитаз и спустила воду (к несчастью, в этот день Рибейру починил насосную станцию и пошла вода).

Распространяется весть, что МПЛА до наступления срока провозгласит (сегодня или завтра) независимость Анголы, рассчитывая на то, что новую республику тотчас же признают дружественные страны, которые будут рассматривать аэродром и порт в Луанде как суверенную территорию молодого государства. Речь идет о доступе в Луанду. Сейчас самое главное — открыть город, который окру-

---

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

жен со всех сторон, и проникнуть в него невозможно ни с моря, ни с воздуха.

А если помощь вовремя не подоспеет? Штурм Луанды. Несмотря на героическую оборону жителей города, превосходящие силы противника и т. д. Кто войдет первым? Те, с юга, или ФНЛА? Эти, из ФНЛА,— беспощадная армия головорезов. Они практикуют каннибализм...

Оказаться в руках пьяных каннибалов — мрачная перспектива. Их потные лица, мутный взгляд, то, как они орут, как тычут под нос оружием, довольные, что вызвали у своей жертвы паническую дрожь,— лучше не думать об этом.

Вечером команданте Жужу зачитывает по радио свою ежедневную сводку о положении на фронтах. Она звучит очень оптимистически. Это раздражает. Действительность вырисовывается в менее радужных тонах: полстраны в руках противника, а из того, что говорит Жужу, получается, будто МПЛА одерживает победу за победой...

Ночью звонил Кейрош и сообщил, что завтра португальские войска покинут гражданскую часть аэродрома и эвакуируются из района порта. Если это действительно так, подобное известие — подлинная сенсация. Блеснула искра надежды. Боже, какое облегчение! От радости я прыгал до потолка.

Четыре последующих дня прошли в сплошной неразберихе. Каждую минуту кто-нибудь врывался в гостиницу с криком «Едут, едут!» — и, запыхавшись, сообщал, что бронетранспортеры южноафриканцев уже в пределах города, по рассказам одних они были выкрашены золотистой краской, по уверениям других — зеленой. Приводились различные цифры: будто видели десяток таких машин, потом пятьдесят и даже больше. Установить истину было невозможно: действительно ли противник в нескольких километрах отсюда или все это только слухи? Оскар повесил в холле карту Анголы. Возле карты толпились спорившие друг с другом люди. Каждый стремился указать пальцем, где, по его мнению, проходит линия фронта, кто какой город занял, кто контролирует то или иное шоссе. Нельзя было встретить хотя бы двух человек, одинаково оценивавших положение. Через несколько дней сотни скользивших по карте пальцев стерли с нее города, дороги, реки. Страна напоминала сегмент серой, голой планеты, без тени жизни на ней.

В понедельник отбыл португальский гарнизон. Утром последние взводы поднялись по трапу на борт корабля. Среди отъезжавших было несколько офицеров, моих знакомых, и я пошел с ними попрощаться. Местные жители мечтали, чтобы гарнизон поскорее убрался. После многолетней колониальной войны между обеими сторонами не могло быть ни взаимопонимания, ни дружбы. Но я смотрел на это иначе. Я видел, что за последний период ангольцы в чем-то могли быть благодарны многим, хотя и не всем, офицерам местного гарнизона. Офицеры эти умели сохранять лояльность. Я сам перед ними в неоплатном долгу. Они относились ко мне с симпатией, много мне помогали...

В этот день по городу разъезжал автокран и снимал с постаментов памятники португальским завоевателям. Губернаторы и генералы, путешественники и первооткрыватели были свезены к Цитадели и установлены в двойную бронзово-гранитную шеренгу. На площадях и в скверах сделалось еще более пусто. В полдень прибыл самолет, доставивший зарубежные делегации. Таких самолетов прибыло совсем немного. По миру циркулировали слухи, что в этот день воздушные эскадры Заира разбомбят аэродром в Луанде и вернуться назад никому не удастся. Предусмотрительное большинство предпочло следить за развитием событий в столице Анголы, находясь у себя дома. Возможно, в этом и был свой резон: позже стало известно, что решение об уничтожении аэродрома отменили в последний момент.

Вечером на одной из площадей города собралось несколько тысяч человек. Хотели избежать большого стечения народа на случай налета вражеской авиации.

Наступило 11 ноября 1975 года. На площади царила тишина... С трибуны Агостиньо Нето обнародовал текст о провозглашении Народной Республики Анголы. Голос у него прерывался. Когда он кончил, в невидимой толпе зазвучали аплодисменты, люди выкрикивали приветствия. Выступлений больше не было. Через минуту на трибуне погасили огни, все расходились в спешке, исчезали во мраке. На Северном фронте орудия молчали. Но внезапно солдаты, которые пребывали в городе, салютуя, открыли дикую пальбу, ночь ожила.

В «Тиволи» Оскар извлек из сейфа припрятанные на этот случай бутылки шампанского и виски. Мы были самыми давними обитателями гостиницы, группой ветеранов. Алкоголь, вместо того чтобы вызвать у нас чувство умиротворения и радости, усугубил нашу усталость и утомленность. Оскар, который давно находился на грани изнеможения, теперь, захмелев, с отчаянием бросил: «Если так выглядит независимость, я готов пустить себе пулю в лоб». Минуту спустя он кое-как сообразил, что сказано это не очень к месту, и расхохотался, а потом умолк и в конце концов заснул, уронив голову на стол, посреди пустых рюмок.

Назавтра во Дворце правительства состоялся прием в честь зарубежных делегаций. В этот день я передал в Варшаву депешу:

луанда пап 11.11 торжества по случаю провозглашения независимости анго-

лы протекают в луанде спокойно праздничное настроение подпортили артиллеристы фнла которые вновь вывели из строя насосную станцию в кинфангондо и луанда два дня без воды

зарубежные радиостанции сообщили что фнла и унита намерены создать собственное правительство со столицей в гамбо что будет чисто формальным актом поскольку фактическая резиденция их киншаса поэтому ангола временно разделена на два государства с границами невероятно запутанными и вдобавок меняющимися почти ежедневно в зависимости от того какая из сторон поведет наступление и какая часть территории будет захвачена у противника теперь многое зависит от того сколько государств и как скоро признают либо правительство мпла либо фнла-унита началась таким образом и дипломатическая война за анголу

в понедельник 10 ноября противник развернул очередное наступление на двух фронтах с полуночи предпринимались попытки захвата луанды в которых участвовали бронетранспортеры и артиллерия а также отряды войск заира и португальских наемников на юге войска юар которые продвигаются на бронетранспортерах образующих подвижные ударные колонны устремляются к порту-амбоин и далее на луанду в этом районе войска мпла создают линию обороны чтобы удержать порту-амбоин любой ценой фин

можете ли прислать немного денег и сигарет заранее благодарен бай-бай

Руиш потянул на себя переключатель скорости — самолет резко пошел к земле. Мы миновали Порту-Амбоин — маленький рыбачий поселок, потом прошли над широкой и темной рекой Кувву, еще несколько минут машина летела по прямой, пока не накренилась на борт, и мы начали поворачивать. Руиш подал мне знак, чтобы я взглянул в иллюминатор. Внизу тянулось шоссе, которое подступало к реке и как бы сбегало в воду, ибо мост был взорван. Теперь мы летели возле дороги с вырисовывавшейся на ней застывшей колонной бронетранспортеров, я насчитал двадцать одну машину, дальше шли грузовики с прицепами, на которых были орудия, а в самом конце — пять джипов. По обеим сторонам шоссе сновали люди. Мы возвратились на противоположный берег реки, миновав тянувшиеся внизу зигзаги траншей и какие-то отряды, шагавшие по дороге, самолет еще больше снизился и приземлился на стартовой полосе аэродрома Порту-Амбоин.

Руиш доставил боеприпасы и тотчас возвращался в Луанду, а я остался. До линии фронта на берегу реки было менее двадцати километров. Меня вез на машине военный с очень темной кожей. Я спросил его по-португальски, не из Луанды ли он. «Нет,— ответил он по-испански,— из Гаваны». К этому времени по внешнему виду уже было трудно отличить, кто откуда, так как кубинцы обмундировали многие отряды МПЛА в привезенную с собой форму. Это возымело и психологическое действие: отряды ФНЛА и УНИТА как огня боялись кубинцев. Они удирали при виде наступающей части в кубинских мундирах, хотя там могло и не быть ни одного кубинца. Внешнее различие стиралось тем более, что и отряды МПЛА, и кубинские подразделения были многонациональными по составу, поэтому цвет кожи также ни о чем не говорил. Позже это способствовало рождению легенды о стотысячной кубинской армии, сражавшейся в Анголе. В действительности численность оборонявших республику войск не превышала тридцати тысяч солдат, из которых около двух третей составляли ангольцы.

Мы добрались до места, где возвышались огромные склады хлопка. Здесь помещался штаб фронта. Ходили по колено в хлопке, как в снегу. Мундиры и головы солдат покрывал белый пух. Спать здесь было тепло и удобно. Линия фронта тянулась вдоль реки. Отрядам ЮАР не удалось ее форсировать: все мосты оказались взорванными. Захватчики не учли этого и ждали транспорта с понтонами. Обе стороны вели беспорядочный огонь. И те и другие чувствовали, что для наступления сил у них недостаточно. Завтра ожидался пароход с двумя ротами кубинцев и ротой из Гвинеи-Бисау. На подходе были еще два батальона МПЛА...

В тот же самый день я возвращался на самолете Руиша. В кабине лежали несколько раненых ангольских и кубинских солдат. Ночью разгорелось сражение в ста километрах к востоку от Порту-Амбоин. Подразделения южноафриканской армии пытались переправиться. Раненые не подавали голоса, двое были без сознания. В углу неподвижно застыли какие-то африканские женщины. Самолет шел в тучах, сильно болтало, ниже к земле лил дождь. Мы приземлились в Луанде в струях воды. На боковой полосе стояли два тяжелых «Антонова». Из них выгружали технику.

Вечером, в Варшаву:

сегодня возвратился с южного фронта линия которого проходит по берегу реки куву подробные описания позже сейчас спешу передать самое важное война в анголе изменила характер до недавнего времени это в основном были партизанские действия местного значения которые велись с применением ручного и легкого оружия интервенция войск юар изменила положение ныне это все более война регулярных частей с использова-

---

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

нием тяжелого оружия молодая республика по-прежнему в сложной ситуации но есть шансы что она сумеет отстоять свою независимость военное командование анголы наращивает силы, готовясь перейти в наступление

еще несколько слов для зарубежной редакции

михал это рысек у меня давно кончились деньги и я едва жив уже более нли менее ясно как будут развиваться события в ближайшее время другими словами здешние властн одержат победу но для этого потребуется еще какое-то время а я уже на пределе поэтому прошу согласня на мое возвращение в польшу тут как-то самолет должен направиться в лиссабон возможно меня захватят ок

да согласны если ты уже сыт по горло можешь возвращаться

прекрасно начинаю готовиться к отъезду

ок сворачнвай паруса мирек будет ждать тебя в лиссабоне

Сборы и прощания.

Команданте Жужу подарил мне книгу Дэвидсона об Анголе.

А дона Картажина? Дона Картажина плачет. Вместе с ней мы пережили самые тяжкие минуты, и теперь, глядя на нее, я тоже чувствую, как у меня увлажнились глаза. Дона Картажина, говорю я, я еще вернусь. Но не знаю, сбудется ли то, что я сказал.

Затем я отправляюсь проститься с президентом Нето. Президент живет за городом, в вилле, построенной на обрыве, над маленьким, заросшим пальмами заливом. Это место называется Бельяш. Я бывал там неоднократно, когда хотел получить интервью. Нето охотно соглашался побеседовать, но не хотел давать интервью. Наконец, он дал согласие. Это произошло в сентябре или в октябре, в самые трудные дни. Думаю, что ему не хотелось давать интервью, поскольку тогда действительно трудно было сказать что-нибудь оптимистическое. Мы говорили о поэзии, я прихватил с собой последнюю книгу стихов А. Нето, недавно вышедшую в Лиссабоне. «Sagrada Esperança» — «Священная надежда».

...И снова
Нашими станут земли,
Багровые от кофе,
Белые от хлопка,
Зеленые от маиса,
Так будет!

(Перевод Л. Дымовой)

Эти строки я помнил наизусть. Нето жаловался, что у него давно нет времени для творчества, и указывал головой на карту, на воткнутые в нее флажки — зеленые и желтые, обозначавшие позиции ФНЛА и УНИТА. В виллу входили по лестнице, потом тянулась веранда, затем — столовая, за которой находилась угловая комната — кабинет хозяина: стол, полки с книгами от пола до потолка, два кресла. Часто во всем доме он оказывался один, и, когда в соседней комнате звонил телефон, Нето прерывал беседу и выходил, чтобы снять трубку. Низкого роста, он уже чуть сутулится, жесты медленные, размеренные. Он седеет, в очках, похож на человека малоэнергичного, а может, просто усталого. Для его фигуры самый лучший фон — стена с книгами в тихом кабинете, нежели трибуна на площади (хотя говорит он великолепно). Я никогда не видел его в мундире, не помню также, чтобы он выезжал на фронт. Ему за пятьдесят, и половину жизни он провел за пределами страны — изучал медицину, потом — эмиграция, тюрьмы. Он из предместья Луанды, отец его был сельским учителем и протестантским пастором. Во время этих ранних бесед с Нето наступали трудные минуты. Мне было известно, что положение тяжелое. У него мне хотелось узнать о подробностях, вместе с тем я чувствовал, что мне не следует задавать вопросы, которые могут как-то его задеть. Поэтому наступала пауза, а потом я прощался и уходил.

Вечером я чищу заплесневелый костюм и повязываю галстук: я возвращаюсь в Европу. Последний раз включается Варшава:

слушай просим на несколько дней задержаться в Лиссабоне там ощущается какая-то напряженность словно назревает переворот а иконович[1] должен лететь в мадрнд — умер франко и в португалии никого нет сделай материал а потом возвращайся домой ок.

ок да понял а теперь еще два слова дорогие поскольку связываемся последний раз и я улетаю из луанды хочу от всего сердца поблагодарить всех вас за уднвительную пунктуальность добросовестность и прежде всего за внимание эти достоинства по заслугам оценивались не только мной но всеми коллегами-журналистами находившимися здесь которые мне страшно завндовали наблюдая за столь четкой работой телекса пап в варшаве лучшего газетного агентства на свете они сходнлись к телексу в момент вашего вызова сверять свон часы еще раз горячо горячо благодарю за все и до встречн дома

спасибо

итак завтра из лиссабона

да ждем сигнала

а теперь спокойной ночи

спокойной ночи

[1] Корреспондент Польского агентства печати в Португалии.

◆

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЭПИГРАММА

■

Перевод с итальянского ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА

ЛУИДЖИ АЛАМАННИ

1495—1556

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА КАТОНА[1]

Катон воскликнул, свой кинжал целуя:
«Нет, ни за что не сдамся я врагу!
Не цезарева гнева я бегу —
Его прощения бегу я».

■ ■ ■

«Была ли в Риме матушка твоя?» —
В душе свое лукавство затая,
Спросил великий Август у солдата,
Увидя в нем свой вылитый портрет.
Солдат ответил: «Матушка-то нет,
Но там служил мой батюшка когда-то».

ДЖИРОЛАМО ФРИДЖИМЕЛИКА

1653—1732

■ ■ ■

«Я буду праведным отныне»,—
Припал к распятию старик.
С каких же пор он чтит святыни?
С тех, как увидел смерти лик.

[1] Марк Порций Катон Младший (95—46 гг. до н. э.) — древнеримский политический деятель. Когда победой при Тапсе Юлий Цезарь нанес республиканцам решающее поражение, сторонник республиканского строя Катон покончил с собой.

САВЕРИО БЕТТИНЕЛЛИ

1718—1808

■ ■ ■

Спросил однажды папа пилигрима:
«Ты все ли осмотрел под небом Рима?»
«О да! — ответил пилигрим,—
Все. Только жаль, не видывал конклава[1]».
Святейший усмехнулся: «Право,
Мы в глубине души тебя хотим
Как можно дольше не знакомить с ним».

КАРЛО РОНКАЛЛИ-ПАРОЛИНО

1732—1811

■ ■ ■

Склонясь однажды над водою,
Нарцисс, к великому несчастью,
Прельстился собственной красою
И от тоски окончил дни.
А ты, что целыми часами,
С тупым лицом и волчьей пастью,
Мой друг, торчишь пред зеркалами,
От страха ног не протяни.

[1] Конклав — совет кардиналов, который собирается для избрания нового папы.

ПАОЛО ДЖОВЬО

1483—1552

ЭПИТАФИЯ ПОЭТУ-САТИРИКУ ПЬЕТРО АРЕТИНО

Лежит Аретино под этим холмом.
Он всех поносил, но не трогал Христа:
Прошу, мол, прощенья, я с ним незнаком.

ПЬЕТРО АРЕТИНО

1492—1556

ЭПИТАФИЯ ИСТОРИКУ И ПОЭТУ ПАОЛО ДЖОВЬО

Покоится Джовьо под этой плитой.
Он всех поносил, но не трогал осла:
Прошу, мол, прощенья, он родственник мой.

ЛУИДЖИ ЧЕРРЕТТИ

1738—1808

НА КРИТИКА, НЕОЖИДАННО ПОХВАЛИВШЕГО МОИ СТИХИ

С чего бы, право, восхваленья эти?
Зоила просто кто-то разыграл
И обо мне сказал: «В гробу Черретти».

Анонимные эпиграммы XVIII — начала XIX века

■ ■ ■

— Что делает дон Помогули?
— Не делает он ничего!
— Что делает отпрыск его?
— А он подражает папуле.

НА ФЕРДИНАНДА БУРБОНСКОГО,

который взошел на неаполитанский трон под именем Фердинанда IV (1759), после взятия Неаполя французами (1806) бежал в Сицилию и уже называл себя Фердинандом III, а на Венском конгрессе был объявлен королем Обеих Сицилий Фердинандом I.

Четвертым звался ты, и Третьим,
И Первым зваться стал засим.
Спускаясь по ступеням этим,
Бурбон, ты будешь нулевым!

НА СМЕРТЬ ПАПЫ ЛЬВА XII,

последовавшую в 1829 году после хирургического вмешательства

«Плохой хирург,— шумит молва,—
Повинен в смерти папы Льва».
Но в Риме утверждают смело,
Что он-то знает свое дело.

ТОММАЗО ГАРГАЛЛО

1760—1843

■ ■ ■

Сюжета здесь не надо никакого.
Пусть этот сумасброд и архиплут
Нам только скажет, как его зовут,
И эпиграмма на него готова.

ФИЛИППО ПАНАНТИ

1766—1837

■ ■ ■

«Мир идеален»,— учит богослов.
«Отец,— спросил горбун,— а я каков?»
И отвечал философ: «Все нормально:
Для горбуна ты создан идеально».

ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ

1798—1837

ЭПИТАФИЯ

Здесь навсегда почил старик Антон.
Всю жизнь свою плутал по свету он,
И если бы не это обиталище,
Он и теперь бы где-нибудь плутал еще.

ДЖУЗЕППЕ ДЖУСТИ

1809—1850

■ ■ ■

«Человека создал бог не так, как тварей,—
По подобью своему»,— сказал викарий [1].
«Человек же,— отвечал шутник ему,—
Бога создал по подобью своему»!

ДЖОВАННИ ПРАТИ

1814—1884

НА ЮБИЛЕЙ ПОЭТА ПЕТРАРКИ

Потомки глупой болтовней
В гробу Петрарку пробудили.
Он их послушал час-другой —
И вновь уснул в своей могиле.

[1] Викарий — помощник католического священника.

ЛУЧАНО ФОЛЬГОРЕ

1888—1966

НО ЛЖИ

О ложь! Что пред тобою длинноногие!
Коротконожка ты, но без труда
Обгонишь всех, особенно когда
Ты выйдешь на дорожку демагогии.

КОРРАДО ПАВОЛИНИ

Род. в 1898 г.

■ ■ ■

Поэт сидит над корректурой
И мнит: подобен богу он.
Ан, глядь, к нему редактор хмурый
Уже взбирается на трон!

МАРЧЕЛЛО МАРКЕЗИ

Род. в 1912 г.

■ ■ ■

В наш век блестящий
Живут все дольше,
А мрут все чаще.

БЕРЕНИЧЕ

ОБРАЩЕНИЕ К ИТАЛЬЯНСКОЙ ЦЕНЗУРЕ

О цензура, о разумница!
Твоего я жду ответа:
Если рифмы поцелуются,
Целомудренно ли это?

ГОЛАМХОСЕЙН САЭДИ

Я, Плешивый и Кейкавус

РАССКАЗ

■

Перевод с персидского ДЖЕХАНГИРА ДОРРИ

1

— Посмотри вниз, — сказал Кейкавус, толкнув меня в бок.

Под нами был порт. Он тянулся с берега к самой воде. Порт исчез, показалась взлетно-посадочная полоса. Самолет выпустил шасси и приземлился. Мы отстегнули ремни.

— Сукин сын, замучил нас! — проворчал Плешивый [1], сидящий в кресле перед нами.

— Теперь уже все! Прибыли! — утешил его Кейкавус.

— И это называется самолет! — не унимался Плешивый. — Трещит, того гляди — развалится. Мечта самоубийцы... Да еще дерут втридорога!

— На этот раз извините, уважаемый ага [2]! В следующий раз закажем реактивный,— ответил Кейкавус, собиравший свои вещи.

Мы взяли портфели, киноаппарат и направились к выходу. Из открытых дверей самолета дышало жаром. Кроме нас троих, никто не выходил. Мы сгрудились у трапа, никто не решался спуститься первым.

— Здесь вполне можно околеть! — бодро сказал Плешивый.

— Так, может быть, вернемся? — ехидно осведомился Кейкавус.

Внизу под трапом стояли трое: толстяк в белой рубашке и два чумазых грузчика.

— Прошу! — пригласил Плешивый.

— Этот пройдоха в таких случаях всегда учтиво уступает первую очередь другим,— заметил Кейкавус.

Я, Кейкавус за мной и последним Плешивый спустились по трапу. Пекло немилосердно. Мы стояли в тени самолета, не решаясь выйти на солнце.

— Господин инженер, пожалуйте туда! — обратился толстяк к Плешивому, показав рукой на противоположный край поля с оградой из колючей проволоки. Мы с Кейкавусом засмеялись.

— Мы хотим забрать свой багаж,— солидно ответил Плешивый.

— Вы можете идти, его вам доставят,— пояснил толстяк.

К самолету подъехала тележка, грузчики сложили на нее мешки с почтой и наши вещи.

— Пошли! — сказал я.

Мы двинулись.

За колючей проволокой стояла будка аэровокзала, в которой на скамейках сидели какие-то люди. Было очень сухо и душно.

— В жару тяжело работать. Меня

[1] Плешивый — традиционный образ иранского фольклора, аналогичный русскому Иванушке-дурачку.

[2] Ага — господин.

АНТИРУБРИКА

лично в такую погоду всегда в сон клонит,— сообщил Плешивый.— Такая уж специфика моего организма.

— Слушай, парень! — обозлился Кейкавус.— Если начнешь паясничать, да будешь лодыря гонять, я тебе покажу, почем фунт лиха, не обрадуешься!

— А что вы со мной сделаете? — заинтересовался Плешивый, закуривая сигарету.

— В порошок сотрем! — отрезал я.

— Неужели? — удивился Плешивый.— А вы разве на такое способны?

От самолета к нам везли тележку. Мы остановились у колючей проволоки и стали ждать. Подошел толстяк, проверил наши билеты, выдал вещи. Мы вышли на площадь.

Из будки выскочил худощавый мужчина с огромной, не по росту головой, в черном галстуке, пронзительно оглядел нас и так же быстро исчез.

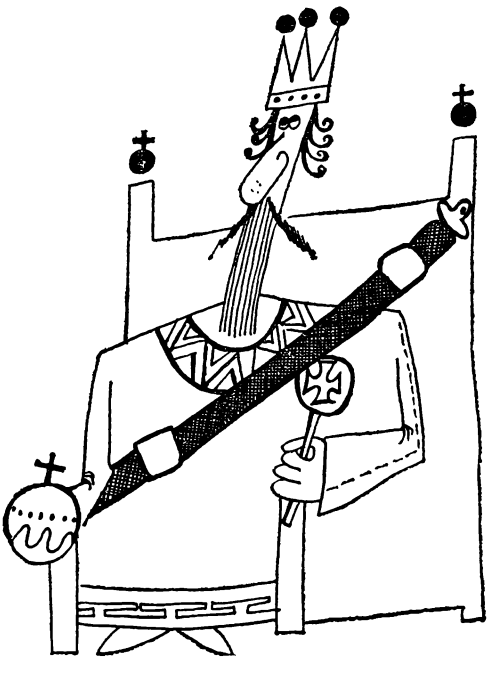
— Заметили этого типа? — спросил Кейкавус.— Кто это может быть, по-вашему?

— Почем я знаю? Брат моей тетушки! — отмахнулся Плешивый.— Нашего дворника двоюродный кузен.

2

Мы обошли весь порт в поисках уголка, где бы можно было спокойно отдохнуть. Гостиницы в этом городе не оказалось.

ДЕЧКО НИКОЛОВ.
Болгария.
Без слов.



Плешивый скулил не переставая:

— Куда мы приехали? Доверились этому безумцу, все, что у нас было, отдали за эти пленки. Он затащил нас в эту дыру, теперь не знает, что дальше делать.

— Я с самого начала говорил, куда вас везу,— сказал Кейкавус.— Забыли о нашем уговоре: молчать, не ныть и выполнять любое мое распоряжение?

Наконец, неподалеку от моря мы нашли чайную под навесом. Сидящие на скамейке люди подвинулись и освободили нам лучшее место — в тени. Мы сложили вещи и уселись. Плешивый простонал:

— И пить хочу, и есть, и от усталости умираю. Взгляните на меня и запомните меня таким.

— Все образуется,— сказал Кейкавус,— имей терпение.

Он вытащил из сумки несколько банок консервов и заказал хлеб с луком.

— Когда начнем? — спросил Плешивый.

— Сразу же после обеда,— ответил Кейкавус.

— То есть мы не сможем даже вздремнуть? — воскликнул Плешивый.

— Для сна существует ночь,— назидательно сказал Кейкавус.

— Я еще в себя не пришел,— заныл Плешивый.— До сих пор в ушах гул стоит от этой тарахтелки! Воздушной керосинки!

— Мне кажется, пора обсудить, как мы будем действовать,— сказал я.— Надо сначала обойти порт, составить сценарий, а уж тогда и приступать к делу.

— Нет, — возразил Кейкавус. — Я собираюсь снимать все подряд — все, что покажется интересным. А потом из этого сделаем нечто стоящее.

— Из того, что ты предлагаешь, выйдет что угодно, только не «нечто стоящее»,— улыбнулся я.

— Если ты собираешься действовать без всякого плана,— сказал Плешивый,— то в чем же задержка? Прямо сейчас и начинай, а завтра смотаем удочки!

— Не говори глупостей! — рассердился Кейкавус.— Я требую от каждого кадра одного: чтобы все вместе они что-то показывали, но сейчас я еще не могу сказать, что именно!

Тем временем нам принесли хлеб с луком, несколько вилок, большие алюминиевые кружки с водой. Кейкавус расставил все это на столе и открыл консервы.

— У меня все еще кружится голова,— пожаловался Плешивый.— Бедная моя головушка...

— Поешь рыбы, все пройдет! — утешил я.

— Если бы к вечеру найти пристанище да выпить водочки, вот было бы здорово! — сказал Плешивый.

— Пока дело не сделано, никаких гулянок! — серьезно сказал Кейкавус.

— Так и скажи, что привез нас сюда, чтобы мучить,— сказал Плешивый.— Садист!

3

Солнце клонилось к закату, когда мы вышли из чайной. Хозяин пообещал подыскать нам пристанище и присмотреть пока за нашими вещами, так что мы отправились налегке. Для начала завернули на базар. Несколько стариков продавали одеколон и заграничное мыло, разложив свой товар на земле. Все они были похожи друг на друга.

Кейкавус вынул аппарат и держал его наготове.

Миновав несколько проулков, мы оказались в тупике, круто спускающемся к морю. С другого конца его замыкали развалины — домик, от которого осталась одна только стена. Сквозь квадратную решетку старинной двери навстречу нам пробивались лучи солца. Совсем близко слышался шум прибоя.

Вдруг в тупичке появился головастик, которого мы видели на аэродроме. Заметив нас, он остановился и всплеснул руками. Кейкавус опустил камеру.

— Что вам здесь нужно? — спросил головастик, приблизившись к нам.

— Ничего! — ответил Плешивый.— Занимались делом.

— Каким конкретно?

— Дурака валяли! — ответил Плешивый.

— А я всюду искал вас! — сказал головастик.

— На кой черт мы тебе понадобились? — спросил Плешивый.

— Господин полковник хочет вас видеть.

— Господин полковник? Какой еще господин полковник?

— А разве вы его не знаете? — изумился головастик.— Он желает познакомиться с вами.

— А если мы не желаем?

— Вы обязаны!

— Что? — угрожающе переспросил Плешивый.

— Не глупи! — прикрикнул Кейкавус.— Хорошо, ага. Мы согласны! Куда нам следует явиться?

Он подал знак мне и Плешивому. Мы собрали вещички. Плешивый схватил коробки, я взвалил на плечо треногу, и мы двинулись вслед за Кейкавусом и головастиком.

4

Нас затолкнули в тесную каморку и заперли. Единственное маленькое окошко было наглухо заколочено. Дверь выходила во внутренний двор, довольно большой и зеленый. В комнате рядом с нашей каморкой дежурили двое полицейских. Они играли в карты.

— Что они собираются с нами делать? Через полчаса мы тут задохнемся,— заметил Кейкавус.

— Зато нам теперь ясно, ради чего ты нас привез сюда! — поддел его Плешивый.— Ну что ж, ты своего добился.

— Они не имеют права так с нами поступать! Мы же ничего плохого не совершили! — сказал я.

— Мне непонятно,— сказал Плешивый,— с кем мы имеем дело. И вообще мне здесь душно.

Он шагнул к двери и постучал. На стук открыл головастик. Дежурные полицейские отложили карты и тоже подошли.

— Уважаемый ага,— сказал Плешивый,— соблаговолите объяснить нам, где мы находимся.

— Это вас не касается! — рявкнул головастик.

— У кого же, в таком случае, я мог бы навести справки? — спросил Плешивый.

Головастик захлопнул дверь.

— Не запирай! — закричал Плешивый.— Мы здесь задыхаемся!

— Приказ! — отрезал головастик.

— Чей приказ?

— Господина полковника!

5

Комната, где помещался господин полковник, была просторная, с несколькими окнами, с большим вентилятором под потолком. Полковник сидел за столом. Перед ним лежала вся наша киноаппаратура. Он пребывал в глубоком раздумье и не ответил на наш поклон. По знаку головастика мы опустились на скамью. Несколько минут прошло в молчании. Наконец полковник кашлянул и воззрился на нас. Посмотрел на меня, потом на Плешивого, потом на Кейкавуса. Лицо у него было квадратное.

— Итак, господа,— заговорил он,— кто вы такие?

— Что вы имеете в виду? — спросил я.— Я — это я. Плешивый — это Плешивый, а Кейкавус — это Кейкавус. Только так, а не наоборот.

— Превосходно, с тобой все ясно,— сказал полковник.— А ты что скажешь, ага? — обратился он к Плешивому.— Ты будешь отвечать?

— С удовольствием!

— Кто вы такие? — спросил полковник.

— Ей-богу, мы свои,— заверил его Плешивый.— Разве вы не видите, какие мы милые? И мы не собираемся заниматься никакой подрывной деятельностью.

— Для чего же тогда вы сюда прибыли? — удивился полковник.

АНТИРУБРИКА

— Так просто, погулять,— ответил Плешивый.— А что, разве это запрещено?

— Тогда как вы объясните вот это?— Полковник показал на аппаратуру, лежащую на столе.

— Это орудия нашего труда,— ответил Плешивый.

— Хорошо! Так что вы с этим собираетесь делать? — спросил полковник.

— Хотим сделать фильм,— ответил Плешивый.

— А где же у вас артисты?

— Наш фильм будет без артистов.

— Разве бывают фильмы без артистов? — глубокомысленно заметил полковник.

— Конечно, господин полковник! — вмешался Кейкавус.— Такие съемки называются документальными.

— Какими, какими?

— Документальными! — подтвердил Кейкавус.

— То есть это фильмы, основанные на документах?

— Да, почти так.

— Значит, вы приехали сюда собирать документы?

— Какие документы? — изумился Кейкавус.

— Ты же сам сказал! Разве нет?

— Я сказал «документальные съемки».

— Ну, хорошо. А для кого вам нужны эти съемки?

— Для себя,— ответил Плешивый.

— А кому вы намерены показывать?

— Кому захочется, тот и посмотрит!

— Извините нас, господин полковник,— снова вмешался Кейкавус,— кажется, вы не в курсе дела. Мы собираемся отснять фильм для участия в конкурсе. Если это запрещено, то мы не будем снимать. К чему столько разговоров?

Полковник позвонил, и ему принесли чай. Покачивая головой, он медленно пил его глоток за глотком, и было неясно, поверил он нам или нет.

6

На следующее утро в большом полицейском лимузине нас повезли в губернаторство. Подъехали к чистенькому зданию с аккуратно покрашенной решетчатой металлической оградой. Это был огромный дом с многочисленными маленькими окошками и разнообразными айванами [1] — по виду старинный особняк, который неоднократно перестраивался. Поднялись по лестнице наверх. С узкого айвана был виден весь порт и море. Наши сопровождающие постучались в какую-то дверь и велели нам зайти. Губернатор — высокий, элегантный мужчина — обменялся с полковником рукопожатием.

— Разрешите им сесть? — обратился полковник к губернатору. Губернатор кивнул. Мы сели. Губернатор внимательно разглядывал нас. Он старательно хмурился и выглядел поэтому комично.

— Итак, пусть господа объяснят нам, с какой целью они прибыли в этот порт,— предложил губернатор.

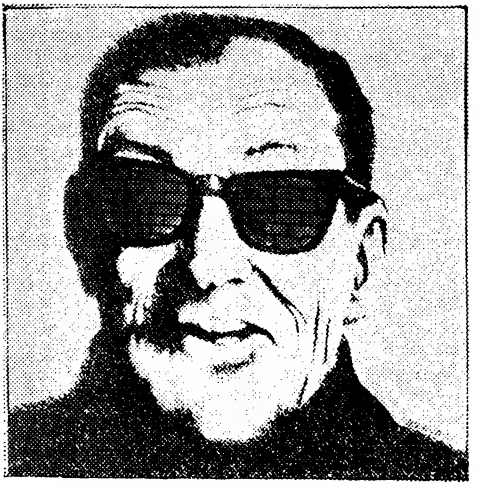
— Мы уже все объяснили господину полковнику,— ответил Кейкавус.— Мы приехали, чтобы снять фильм. О местных достопримечательностях.

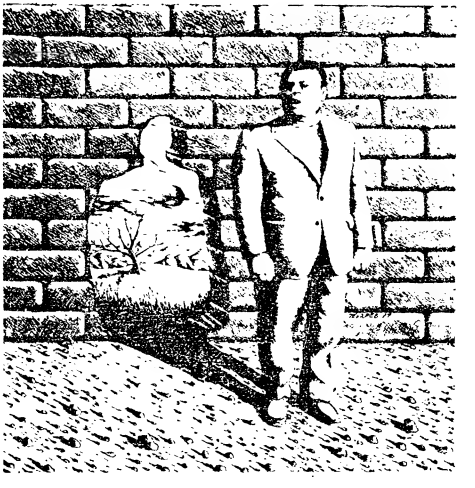
— В этих краях нет ничего достопримечательного, что стоило бы снимать,— сказал губернатор.

— Достопримечательностью может

[1] Айван — балкон, терраса.

НИКОЛАЙ ПЕКАРЕВ. Болгария. Без слов.





стать и сама обыденность,— ответил Кейкавус.

— Для кого вы снимаете? — спросил губернатор.

— Для себя! — ответил Кейкавус.

— Так-таки и для себя?

— Да нет же! — встрял в разговор Плешивый.— Что значит для себя? Просто нашему приятелю что-то взбрело в голову, вот он и притащил нас сюда.

— А что взбрело в голову вашему приятелю?

— Через несколько месяцев состоится конкурс короткометражных фильмов,— сказал Кейкавус.— Вот мы и решили попробовать свои силы, потому и приехали.

— А! — воскликнул вдруг губернатор. — Ведь об этом писали в газетах?

— Да! — ответили в один голос Кейкавус и Плешивый.

— Теперь я понимаю, в чем дело! — сказал губернатор.

Полковник расстроился и глядел на нас косо. Губернатор позвонил и приказал вошедшему на звонок слуге подать чай.

Дверь открылась, вошел слуга с чайным подносом и склонился перед губернатором. Тот указал на полковника. Полковник поблагодарил и взял чашку. Затем слуга подошел к нам. Губернатор взял чай последним и сказал:

— У меня есть одно очень интересное для вас предложение. Через два дня в порту на площади организуется народная манифестация. Весь город будет в ней участвовать. Вот и сделайте об этом фильм. Увековечьте нас...

— Что вы, ага! — сказал Кейкавус.— Мы последние деньги потратили, чтобы купить несколько рулонов пленки. Как же мы можем...

— О расходах не беспокойтесь! — перебил его губернатор.— Это я беру на себя! И помните, что больше всех в этом заинтересованы вы. С вас снимут все подозрения, вы будете совершенно свободны...

И тут вылез Плешивый:

— Мы согласны, ваше превосходительство! Мы вас... изу...вековечим, мы согласны!

Губернатор повернулся к полковнику. Полковник кивнул.

— Прекрасно! — воскликнул губернатор.— Где вы разместились?

— Ночь мы провели в обществе господина полковника,— пояснил Плешивый,— но наши вещи находятся в чайной на площади.

Губернатор позвонил. Вошел слуга.

— Распорядись, чтобы внизу поставили три кровати, а сам сходи в чайную на площади, возьми вещи этих господ и принеси сюда. Предупреди на кухне, что у нас гости.

Кейкавус раздраженно вскочил с места, подошел к окну и раздвинул шторы. Вдали виднелось море, залитое золотыми лучами солнца.

7

Нас поместили в огромной гостиной. Одна ее стена сплошь состояла из окон. В комнате стоял большой стол, обитый сукном, и три кровати с белоснежным бельем. Несмотря на полуденную жару, в гостиной было очень прохладно. Доносившийся снаружи шум ветра напоминал рев зверя, попавшего в капкан.

Войдя в комнату, Кейкавус сжал кулаки и через плечо кинул Плешивому:

— С этой минуты я с тобой больше не разговариваю!

— Идите к черту! — плюхнувшись на стул, ответил Плешивый. — Если бы я не согласился, что бы вы делали? Разве вы не видели, как посматривал на нас полковник?

— Ты должен был подождать и послушать, что скажет Кейкавус, а уж потом...— растолковывал я.

— А что, разве у меня нет собственного мнения? — спросил Плешивый.

— Но ведь ты от лица всех нас принял это предложение! — обозлился я.

— Ну что ж,— заключил Плешивый,— если не хотите, можете не работать над фильмом!

— Что касается меня, то это исключено! — сказал я.— А ты, Кейкавус?

— Только этого мне не хватало! — проворчал Кейкавус, бухнувшись на белоснежную постель.

— Ну и не надо, сам справлюсь,— сказал Плешивый.— Хоть и не я завез вас в чужой город и втравил в неприятную историю.

Открылась дверь, и в комнату, обливаясь потом, вошел слуга с нашими вещами. Он сложил их в угол, отошел к дверям и остановился, вопросительно глядя на нас.

— Ну? — раздраженно бросил Кейкавус, давая слуге понять, что он может идти.

— Обед готов! Подавать? — спросил слуга.

— Подавай! — распорядился Плешивый.

Слуга повернулся, чтобы уйти, но Плешивый окликнул его:

— Подожди!

Он взял карандаш и бумагу, присел к столу и начал писать. Кейкавус, исподлобья наблюдавший за ним, знаком попросил меня поглядеть, что там такое. Я тихонько подкрался к Плешивому. Он писал: «Уважаемый господин губернатор, после обеда приготовьтесь к репетиции перед объективом».

8

С самого утра началось... Несколько «виллисов» с громкоговорителями объезжали порт и созывали народ на митинг. Мы с Кейкавусом из гостиной слышали эту трескотню. Плешивый во

АНТИРУБРИКА

дворе возился с губернатором, заставляя его позировать перед аппаратом. Это был уже третий день их совместной «работы». Голос Плешивого, перекрывавший даже уличный шум, не умолкал ни на мгновение:

— Голову выше! Руку расслабили!.. Так!.. Выше голову!.. Хорошо!.. Живот... Живот немного вперед!.. Прекрасно!.. Глаза откройте шире!.. Отлично!... Улыбайтесь! Шире... Еще шире!.. Так хорошо!.. Хорошо!.. Молодец. Пожалуйста, каждый раз, как я встаю на колени, принимайте ту же позу, ясно? Поехали!

— Что он делает? — спросил я у Кейкавуса.— Разве для документального фильма нужно репетировать?

— Оставь его! Даже слышать о нем не хочу! — ответил Кейкавус.

— Смешно глядеть на все это,— сказал я.

— Пошли к морю? — предложил Кейкавус.

— Пошли!

Кейкавус стал одеваться. Дожидаясь его, я вышел на айван. На соседнем айване за столом стоял губернатор. Размахивая руками, он тренировался в выступлении перед невидимыми зрителями. Внизу бегал Плешивый. Он то вставал на колени, то вскакивал, наклонялся вправо, влево, выпячивал живот, откидывал голову и, все время держа перед собой камеру, повторял:

— Хорошо! Прекрасно! Молодцом!.. Итак, кульминация! Громче! Увереннее! Больше чувства! Прибавьте темперамента! Вы растроганы... Вы сейчас зарыдаете. Вы потрясены. Вот так! Хорошо!.. Еще раз! Еще! Согните руку в кулак!.. Поднимите! Выше!.. Крепче!.. Молодец! Браво!

Во дворе стояла жена губернатора с двумя детьми, и каждый раз, когда губернатор принимал ту или иную позу, дети заливались радостным смехом.

9

С портовой площади до нас долетал монотонный рев. Толпа гудела как разбушевавшееся море. Включился громкоговоритель: «Проверка... Проверка... Раз... Два... Три...» Плешивый быстро побрился, натянул рубашку с отложным воротом, надел шляпу, взял камеру и, закуривая, обратился к нам:

— А вы не пойдете?

Кейкавус лежал на кровати с закрытыми глазами и ничего не ответил.

— Мне кажется, будет лучше, если вы тоже придете,— сказал Плешивый.— Вот увидите, губернатор будет играть у меня, как Жан Габен. Приходите!

Кейкавус продолжал лежать на кровати, желваки у него на скулах так и ходили. Шум на площади стал еще громче. Я вышел на айван. Все окна губернаторского дома были закрыты, кроме нас и слуги, никого в доме не осталось.

— Мне кажется, нам не следует оставаться здесь! — вернувшись в комнату, сказал я Кейкавусу.

— Я никуда не пойду! — отрезал он.

Я вышел. Идти никуда не хотелось, но и оставаться в доме я не посмел. Я тащился медленно, еле-еле — не шел, а тянул время. Подойдя к площади, я увидел, что все уже началось. Плотной толпой жители города стояли и смотрели на трибуну. Выступал губернатор. Перед ним красовался графин с водой и стакан, справа и слева были вмонтированы микрофоны. Выставив вперед живот и откинув голову, губернатор вещал что-то страстно и невразумительно. На пригорке напротив трибуны на коленях стоял Плешивый с кинокамерой. Народ глазел больше на него, чем на губернатора.

10

Мы приехали на аэродром рано. Самолета еще не было. В ожидании его мы разместились в той самой будке, возле которой впервые увидели головастика. Нас провожал губернатор, полковник и еще несколько человек.

Губернатор протянул Плешивому конверт и попросил извинить его за столь скромное вознаграждение. Плешивый все повторял, что, как только фильм будет готов, он обязательно вышлет несколько копий. Объявили посадку. Мы вышли на поле. Все с нами тепло попрощались. Те же самые грузчики несли наши вещи. У трапа стоял головастик. Мы поднялись в самолет. Плешивый, за ним я, последним Кейкавус. Других пассажиров в самолете не было. Плешивый сел в кресло перед нами. Дверь закрыли.

— Итак, что скажете? — с улыбкой повернувшись к нам, спросил Плеши-

---

КОНСТАНТИН АНАСТАСОВ.
Болгария.
Без слов.

вый.— Вы все еще не желаете со мной разговаривать?

— Я еще доберусь до тебя! — пригрозил Кейкавус.

Плешивый достал из кармана губернаторский конверт, распечатал его и вынул несколько чеков.

— А что вы про это скажете? — спросил он.

— Прекрасно! Это тебе— за твои труды! — ответил Кейкавус.

Самолет поднялся. Порт остался позади, мы летели над морем.

— Я не собираюсь оправдываться,— сказал Плешивый — Если бы вы были немного посообразительнее, то догадались бы, что я сделал.

— Мы все прекрасно поняли! — отчеканил Кейкавус.

— В том-то и дело, что не поняли! Иначе заметили бы, как я их надул! Я ни одного кадра на них не потратил.

— Что?! — удивился Кейкавус.

— Врешь ты все! — сказал я.— Я был на площади и видел, как ты снимал, старался!

— Снимал. Но незаряженной камерой! — сказал Плешивый.— Разве вы не заметили, что я, собираясь туда идти, не захватил с собой пленки? С пустой камерой пришел на площадь, с пустой и вернулся! Все пленки лежат в коробках целехонькие.

— Вранье! — не поверил Кейкавус.

Плешивый вскочил с места, нашел коробку с пленками, принес, открыл перед нами. Все пленки лежали нетронутые. Мы рассмеялись Плешивый в восторге начал петь и кривляться.

— Почему же ты сразу не сказал нам ..— начал Кейкавус.

— Да вы ослы, овечьи души разве дали бы мне разыграть такую штуку? Вас-то я хорошо знаю! Теперь-то вы, наконец поняли что моя светлая голова у нас одна на троих?

◆

Петер Шютт

(ФРГ)

Известный западногерманский писатель, член ГКП, секретарь Демократического Культурбунда ФРГ Петер Шютт только что вернулся из поездки по среднеазиатским республикам.

— О поездке в Среднюю Азию я мечтал уже несколько лет. Саму идею подал мне Александр Дымшиц, когда мы познакомились с ним в Берлине. Дымшиц обратил мое внимание на великолепные репортажи Эгона Эрвина Киша о Советском Союзе (1927, 1932) и сказал: «Хорошо бы сейчас совершить поездку по тем местам, где был Киш». Эта идея крепко захватила меня, и вот, наконец, я смог ее осуществить.

Один из репортажей Киша был посвящен народам Средней Азии, и я попытался сейчас, проезжая по среднеазиатским республикам, взглянуть на все как бы его глазами и, наблюдая бурный расцвет культуры народов СССР, с позиции Киша порадоваться тому, о чем сам он мог еще только догадываться.

Петер Шютт известен как автор идеологически острых книг «Прямым путем в семидесятые годы», «Правила кулачного боя...», «Предложения мира» [1]. стихотворных сборников. Он рассказывает о своих последних, в основном публицистических, книгах: «Моя нижняя Эльба», «К вопросу о положении нации», о только что вышедшем в свет новом сборнике стихов «Для кого? — Для нас!».

Стихи Петера Шютта, как правило,— непосредственные отклики на важнейшие международные и внутриполитические события. Острое политическое и классовое чутье, талант поэта помогают ему все пережитое и увиденное — даже, казалось бы, на первый взгляд какие-то случайные и второстепенные факты — переплавлять в поэтическую форму и использовать в целях партийной политической пропаганды.

Мы просим писателя рассказать, какова духовная атмосфера литературной жизни ФРГ.

— Антикоммунистическая пропаганда на рубеже 1976—1977 годов была настолько сильна, что напоминала времена «холодной войны». Она оказала свое воздействие и на некоторых писателей. Но прогрессивные круги постепенно укрепили свои позиции, и если еще несколько месяцев назад мы вынуждены были выслушивать демагогические рассуждения о так называемых «нарушениях» прав человека в странах социализма, то сейчас речь все чаще заходит об очевидных нам, действительных нарушениях прав человека в ФРГ. Настроения интеллигенции в целом отличаются элементами депрессии, летаргии. Но наши прогрессивные литераторы все теснее сплачиваются вокруг ГКП. Многие крупные писатели критически относятся к буржуазной действительности и создают значительные произведения.

Особо хочется отметить Альфреда Андерша. Его знаменитое стихотворение «Параграф 3/3» способствовало тому, что тема запретов на профессию привлекла внимание общественности, открыла широкую дискуссию о защите прав человека в ФРГ. Известно, что политические концепции Генриха Бёля весьма противоречивы и спорны, но в художественном творчестве — в такой, например, повести, как «Потерянная честь Катарины Блюм» — он критикует западногерманскую действительность. Рассказами последних лет и новым романом

[1] О творчестве П. Шютта см. рецензию Т. Мотылевой: «ИЛ», 1971, № 6, а также статью А. Дымшица: «Литературная газета» от 22 марта 1972 г. Стихи П. Шютта см. в настоящем номере «ИЛ» в подборке «Из современной политической поэзии ФРГ».

Мартин Вальзер подтвердил свое место в ряду крупнейших реалистов ФРГ[1]. Интересный роман «Время восставать» выпустил недавно писатель-коммунист Август Кюн. В этой книге, продолжающей в определенном смысле традицию Вилли Бределя, раскрывается судьба одной гамбургской семьи на протяжении четырех поколений. Хотел бы обратить вниманйе редакции на роман Маргот Шрёдер «Я за себя постою», на мой взгляд, очень значительное произведение о борьбе за эмансипацию женщин в ФРГ. Эта тема сейчас для нас весьма актуальна — например, по данным статистических исследований, роль женщины в культурной жизни ФРГ весьма незначительна. В романе рассказана история формирования общественного сознания одной продавщицы, жены мелкого буржуа, которая, отстаивая интересы своих детей, постепенно приходит к необходимости более активного личного участия в общественной жизни страны.

Петер Шютт рекомендует нам также некоторые сборники документальной прозы и публицистики, вышедшие в последнее время, особенно книгу Йенса Хагена «Мне шестнадцать лет, и я должен идти на биржу труда».

Петер Шютт рассказывает о современной политической поэзии ФРГ, о том заметном подъеме, который она переживает с конца 1960-х годов, о творчестве таких талантливых поэтов-коммунистов, как Петер Майвальд, Дитрих Киттнер, Артур Тропман, высоко отзывается о художественных достоинствах поэзии Фолькера фон Тёрне, проживающего в Западном Берлине.

— Что касается Ганса Магнуса Энценсбергера,— говорит наш гость,— то, помоему, его творчеством в последние годы больше интересуются за рубежом, чем в самой ФРГ. Энценсбергер живет в Норвегии и не принимает участия в дискуссиях на темы политики и культуры. Но в наших литературных кругах этого поэта знают хорошо.

Петер Шютт пробыл в СССР почти месяц. Он побывал не только в среднеазиатских республиках, но и на таких крупнейших стройках, как Байкало-Амурская магистраль и Нурекская ГЭС. Обо всем этом он собирается рассказать на встречах с представителями западногерманской общественности и прессы, которые организует Демократический Культурбунд. Цель этих встреч — донести правду о Советском Союзе, о строительстве коммунистического общества в нашей стране.

— Я хочу так же, как когда-то Эгон Эрвин Киш, написать репортаж о своей поездке. И я рассматриваю этот репортаж как мой личный вклад в работу Германской коммунистической партии по празднованию 60-летия Великой Октябрьской Социалистической революции,— говорит на прощание Петер Шютт.

А. Б.

Юрий Брезан

(ГДР)

Это имя хорошо известно советскому читателю. Брезан, крупный писатель, вице-президент Союза писателей Германской Демократической Республики, трижды лауреат Национальной премии, неоднократно бывал в Советском Союзе. В 1968 году Юрий Брезан посетил редакцию «Иностранной литературы» (об этой встрече см. «ИЛ» № 6, 1968). Тогда он только что закончил работу над сказкой «Черная мельница», герой которой Крабат — воплощение «доброго начала» — стал любимым персонажем писателя. Брезан поделился с нами и планами на будущее. «Я ничего не боялся так, как боюсь этой книги...— признался он, говоря о задуманном им новом романе.— Тут работы лет на пять. Книга должна быть — не по форме, а по содержанию — философской».

И вот — новая встреча с Юрием Брезаном. Как мы знаем, роман «Крабат, или Изменение мира» вышел в 1976 году в издательстве «Нойес лебен» (рецензию Е. Книпович на этот роман см. в «ИЛ» № 4, 1977). По разным эпохам и разным странам проходит герой романа в поисках страны счастья. Перед читателем то наши дни, то далекое сказочное прошлое, то реальные места, то вымышленные.

— Действие романа развивается не хронологически, а по внутренней связи,— говорит наш гость.— Когда я писал эту книгу, у меня возникало много вопросов. Я старался найти ответы и для себя, и для своих читателей. Возможно, поэтому книга получилась слишком большой.

В этом романе, как и во всем творчестве Брезана, широко использована мифология, сказания сорбов — славянской народности, к которой принадлежит писатель. Рассказывая о современной сорбской литературе, писатель называет ряд имен, привлекших за последнее время внимание. Это — Кито Лоренц, чьи стихи были очень хорошо встречены критикой, молодая писательница Ангела Стахова, опубликовавшая интересные рассказы, романист Юрий Кох. «Обычно наши писатели пишут на двух языках. Естественно, в этом есть свои трудности. И вообще у сорбских писателей много специфических проблем. Ведь, как прави-

[1] Подробнее о творчестве М. Вальзера последних лет см. в статьях «ИЛ» за 1977 г.: Хитцер Ф. Надежда и предостережение, № 3; Затонский Д. Мартин Вальзер. Штрихи незавершенного портрета, № 7.

ло, литература для них — не основная профессия».

У самого Брезана на сорбском языке выходит собрание сочинений, каждый том которого начинается с авторской статьи — предисловия. Эти статьи вместе с некоторыми другими работами писателя составят сборник эссе. Вышел уже сборник рассказов. «У меня было много планов,— говорит Брезан.— Но работа над «Крабатом» заняла слишком много времени и сил. Сейчас я надеюсь вернуться к старым замыслам. Мне, например, хочется написать несколько маленьких веселых историй, которые продолжат юмористическую линию в «Крабате».

Далее разговор заходит о литературе ГДР в целом:

— Мне очень близко творчество Бобровского. Я всегда восхищаюсь им. Моя самая любимая его книга — «Мельница Левина». Что касается последних произведений, надо отметить новые романы Германа Канта и Кристы Вольф. Я жду также появления третьего тома «Чудодея» Эрвина Штриттматтера.

На мой взгляд, у нас еще мало литературы, выходящей по тематике за пределы страны. Я думаю, что узкие проблемы ГДР во многом нашими писателями исчерпаны. И сейчас мне представляется главной темой социалистическая интеграция. Литература должна преодолевать национальные барьеры. Нужно показывать отношения людей, развитие человеческой индивидуальности на фоне взаимоотношений народов, их дружбы. Мне лично особенно близко все, что касается Польши. Я тесно связан с этой страной, был там в эмиграции. Несколько лет назад я написал повесть «Поездка в Краков». В ней два основных героя — он из ГДР, она из Польши. Повесть была издана в Польше, но приняли ее там по-разному. Возможно, она получилась не совсем такой, какой я ее задумал... Отношения между народами — проблема сложная, но работать в этом направлении нужно. И тут, видимо, нам поможет опыт советской литературы.

Л. ХАРЛАП

Ян Пиларж

(ЧССР)

Наш гость — известный чешский поэт, автор многочисленных сборников стихов Советский читатель неоднократно встречал его имя на страницах советских газет и журналов. Его переводили советские поэты — Станислав Куняев, Марк Максимов, Павел Железнов, Бронислав Кежун, Виктор Боков.

Почти двадцать лет Ян Пиларж бессменно руководит издательством «Чехословенски списователь». В беседе с сотрудниками «Иностранной литературы» он рассказал о новинках чешской литературы:

— Сейчас наша литература переживает переломный период — происходит смена поколений, в наши творческие ряды вливаются новые, молодые силы. Причем это происходит много быстрее, чем когда-либо раньше. Мы очень рады такому естественному приливу новых сил. В литературу приходят люди со строек, с производства, чего раньше у нас почти не наблюдалось. Сейчас стало заметно стремление писателей к аутентичности, правдивости, к документальности. Интересно в последнее время развивается исторический роман. В исторической теме писатели затрагивают важные проблемы современности. За последнее время молодые писатели опубликовали большое количество рассказов и повестей, и теперь начинает проявляться тенденция, которая несомненно приведет к созданию крупного эпического романа о современности. По примеру Союза писателей СССР мы организуем поездки писателей в разные районы нашей страны с ознакомительной целью. Это также дает значительные результаты, расширяет кругозор авторов.

— А как обстоит дело с поэзией?

— И здесь наблюдается огромный прилив молодых сил. У нас так много поэтов, что весь свой издательский план мы могли бы выполнять только за счет поэзии,— шутит Пиларж.— Обилие предложений позволяет нам вести весьма строгий отбор. Многие поэты в достаточной мере овладели поэтическим мастерством, но еще не сумели приобрести индивидуальное лицо. Для учебы начинающих поэтов, а также прозаиков и критиков журнал «Литерарни месичник», например, открыл раздел «Дилна» («Мастерская»), в котором печатаются только молодые. Большую работу с молодежью ведет и Союз чешских писателей (встречи, семинары, поездки), выпускаются коллективные сборники.

— Издательство «Чехословенски списователь»,— рассказывает Пиларж,— выпускает по преимуществу оригинальную литературу, но в области поэзии работает также над переводами. Поэтические переводы выходят в основном в рамках «Клуба любителей поэзии», который издает и распространяет по подписке произведения лучших поэтов мира. К каждой книге прилагается грампластинка с записью голоса поэта. Есть у нас серия, в которой выходят небольшие антологии: по десять стихотворений десяти авторов. Так мы издавали азербайджанских поэтов, так выйдут книги армянской, латышской и белорусской поэзии. У нас большая программа изданий такого рода, и читатели очень хорошо их принимают. Для любителей поэзии мы выпускаем также монографии о творчестве поэтов. Уже вышли монографии о Маяков-

ском, Пушкине, Лермонтове и других русских классиках. Такие издания помогают нам пропагандировать лучшее в мировой поэзии среди молодежи.

Последняя поэтическая книга Яна Пиларжа «Круги на воде» (1975) была удостоена двух литературных премий: премии Союза чешских писателей и премии в литературном конкурсе к 30-летию освобождения Чехословакии Советской Армией. Пиларж всегда был лириком, он остался им и в своем последнем сборнике. Но определяющее значение в нем, как и в предыдущих книгах поэта, имеют стихи, в которых автор выходит за рамки чистой лирики и проявляет свое отношение к острым событиям времени. В предисловии к сборнику «Знаки деревьев», вышедшему также в 1975 году, известный чешский критик Витезслав Рзоунек подчеркивает, что Пиларж расширил территорию поэзии и умножил ее силы. «Хотя Пиларж написал очень личные стихи,— отмечает критик,— он приближает дали и утверждает современность нашей социалистической жизни».

На просьбу рассказать подробнее о своей работе, о планах на будущее Ян Пиларж ответил:

— О своем творчестве трудно рассказывать. Это значительно лучше делают литературоведы и критики. Я очень много перевожу, особенно с польского языка. В моих переводах вышли на чешском языке стихи Тувима, Броневского, Галчинского, Стаффа и других польских поэтов В Польше моя работа оценена рядом премий. Переводил я также стихотворения советских и болгарских поэтов — Щипачева, Гамзатова, Ботева. А сейчас работаю над, можно сказать безумным, проектом — антологией современной поэзии двадцатого века.

Яну Пиларжу близко творчество Пабло Неруды, великого чилийского поэта, который, по словам Пиларжа, «нашел путь к стране, чей поэт дал ему имя» [1]

— У меня есть идея, осуществить которую чрезвычайно сложно,— говорит Пиларж.— В свое время Витезслав Незвал работал над переводом ряда произведений Неруды, но не сумел довести эту работу до конца. Я чувствую, что должен завершить его незаконченный труд, что это необходимо сделать Работая над переводом Неруды, я по-настоящему понял как надо делать политическую поэзию, непревзойденным мастером которой я Неруду считаю. У Неруды я учился вере в людей, в непобедимость их братства.

В этом сентябре нашему гостю исполняется шестьдесят лет. К своему юбилею он приходит с большим творческим багажом и обширными планами на будущее.

---

[1] П. Неруда в качестве псевдонима взял фамилию классика чешской литературы Яна Неруды.

С. ПАРХОМОВСКАЯ

◆

Среди книг

Издано в СССР

НАШ СОБЕСЕДНИК БРАНКО ГАВЕЛЛА

Бранко Гавелла. Драма и театр. Сборник статей. Составление, комментарии и подбор иллюстраций Н. М. Вагаповой. Предисловие Б. И. Ростоцкого. Перевод с хорватскосербского Н. М. Вагаповой, Н. П. Лебедевой, Т. П. Поповой. Москва, «Прогресс», 1976.

Эта книга, подготовленная к изданию совместно советскими исследователями и коллективом Института литературы и театра в Загребе, знакомит советского читателя с Бранко Гавеллой — выдающимся югославским режиссером, мыслителем, теоретиком и историком культуры. Бранко Гавелла был в искусстве новатором. Это качество его режиссуры отметил еще К. С. Станиславский, о чем и напоминает читателю Б. И. Ростоцкий в обстоятельном предисловии к книге. Жизнь Гавеллы завершилась в 1962 году; родился он в 1885-м, дебютировал как режиссер — в 1914-м. Так что перед читателем — исповедь, духовный автопортрет Б. Гавеллы, прожившего без малого полвека творческой жизни в одну из самых насыщенных эпох истории и еще в 20-е годы прослывшего «беспокойным человеком» у себя на родине, в буржуазно-помещичьей, монархической Югославии.

Статья за статьей открывают нам это беспокойство духа художника, стремящегося осмыслить, укрепить свое родство и с революционными, демократическими традициями самого искусства, и с передовыми идеями века. Поиски такого родства — важнейшая черта и жизни, и творческого завещания Гавеллы. Книга написана мастером, стремящимся к максимальной полнозвучности искусства. Оттого в работах Гавеллы — теоретика, историка, критика — и связаны нераздельно вопросы поэтики, эстетики, социологии, политики. Оттого постигаемые им тайны ремесла далеки от ремесленнического крохоборства. Оттого за бегом времени мысль Гавеллы становится лишь крупнее, а сам он воспринимается как живой и необходимый сегодняшнему дню собеседник. Благодаря этой книге мы получили возможность оценить и Гавеллу-портретиста, автора очерков о старших современниках, о людях своего поколения.

Говоря о друге и многолетнем соратнике, большом хорватском писателе Мирославе Крлеже, Гавелла подчеркивает: «Ему не потребовались долгие годы поисков и блужданий, чтобы прийти к марксизму, который в то время для всей Европы был истинным противовесом пустоте буржуазных политических и экономических принципов. В марксизме Крлежу привлекал и принципиальный боевой дух, так непохожий на загребскую растерянность и беспомощность, привлекала воинственность марксизма».

«Крлежа и Загреб» — так называется только что цитированная статья Гавеллы (1953). По прочтении ее, в сопоставлении со всеми материалами сборника, возникает и оказывается неизбежной культурно-историческая аналогия с речью Томаса Манна «Любек как форма духовной жизни» (1926).

На протяжении двадцати семи лет, разделяющих статью хорватского режиссера и речь немецкого писателя, мир был вверг-

нут фашизмом в небывало разрушительную войну, которая завершилась победой над гитлеризмом. Социализм стал мировой системой, в корне изменилось соотношение сил в борьбе прогресса против антикоммунизма. В странах, строящих социализм, крупнейшие мастера культуры включились в работу по созиданию нового искусства. Среди этих художников, наряду с Б. Брехтом и Г. Эйслером, В. Броневским и Ю. Тувимом, М. Садовяну и К. Дуниковским, Л. Новомеским и Э. Ф. Бурианом, были Б. Гавелла и М. Крлежа. В судьбах этих крупнейших художников, чье творчество стало классикой мировой культуры нашего века, с наибольшей силой воплотилось типическое явление эпохи: зарождение социалистического искусства в условиях отмирающего буржуазного общества, животворная для искусства связь с марксизмом, с коммунистическим движением как самой активной, самой передовой политической и духовной силой века. И — готовность такого искусства принять на себя историческую ответственность тогда, когда строительство социалистической культуры становится повседневной заботой победившей революции.

Эти процессы замечательно прослеживаются при чтении сборника. Созидание социалистического искусства осознано как органическая потребность самой художественной культуры, как ключевая проблема, в которую упирается решение и общемировоззренческих, и, казалось бы, самых «узких», «цеховых» задач. И чем больше открывается социально-типическое в судьбе Гавеллы — тем настойчивей зовет статья «Крлежа и Загреб» к сопоставлению с речью Томаса Манна.

Напомню финал этой речи: «Мировая революция стала непреложным фактом. Отрицание ее равносильно отрицанию жизни и развития... Но одно дело — признавать мировую революцию, другое — полагать, что она обрекает на гибель и уничтожение жизненную форму немецкого бюргерства... Мы имеем в виду лишь форму духовной жизни... которая не дает себя увлечь ни вправо, ни влево...» Характеризуя — и типизируя — собственный путь, Томас Манн подчеркивает, что «всю жизнь рассказывает одну только историю: историю отхода от бюргерства, но не к тому, чтобы стать буржуа или марксистом, а ради призвания художника...»

Бранко Гавелла в статье о Крлеже, которая вполне могла бы иметь подзаголовок «Загреб как форма духовной жизни», характеризует хорватский вариант «мирового бюргерства», показывает невозможность «третьего пути», иллюзия которого еще виделась Томасу Манну в 20-е годы. Особенно остро реагирует Гавелла на то, как все более отчетливо выявлявшееся взаимопроникновение политики и искусства искажалось буржуазно-милитаристским духом Загреба начала века, времен Австро-Венгерской монархии. «Политика проникает во все поры Загреба... она вращается в зачарованном круге неосуществимых задач. Это — политика без настоящих побед, но и без окончательных поражений, политика бескомпромиссных позиций, без какого-либо риска и компромиссная политика, создающая, но одновременно разрушающая характеры; политика, выдвинувшая высокие моральные идеалы, но не умеющая отстаивать их... Политика, рассматриваемая как жизненная необходимость, ибо она защищает последние бастионы идеи, и в то же время политика, в лучшем случае соучаствующая в определении хода событий и ничего не решающая...»

Гавелла очень внимателен к тому, что сам он называет «дуализмом», характеризующим Загреб как «форму духовной жизни» в первые десятилетия века; показывает, сколь трудно было существование художника в среде, не прошедшей этап традиционного «бюргерства», «классических» буржуазного гуманизма и буржуазной революционности, а сразу вовлеченной ходом истории в водоворот буржуазности XX столетия — упадочной, провинциально живущей «под знаком постоянного колебания и примирения противоречий между тенденциями, которые с одинаковым правом требовали своего места в жизни» (статья «Что, как мне кажется, я знаю и чего не знаю о Иво Войновиче»).

Этот «дуализм» — неизбежное порождение стагнации, застоя. Оценивая ситуацию, в которой формировалось его собственное искусство, режиссер пишет о весьма жесткой альтернативе, перед которой оказались люди и их творческая деятельность. По прошествии десятилетий Гавелле особенно дорого воспоминание о том, как именно марксизм, его «живой, истинно боевой дух», «принципиальный боевой дух» противостоял буржуазной «противосиле», которую Гавелла и определяет как «пресыщенность Загреба не воинственностью, а милитаристскими понятиями борьбы и активности».

Книга Гавеллы исподволь открывает путь художника, путь от «дуализма» — к диалектичности мышления, к ясности социально-исторической позиции, к действенному гуманизму. Читая книгу, понимаешь, почему в последние годы жизни Гавелла так активно стремился писать, делиться мыслями и опытом: опыт жизни мастера свидетельствует, что лишь на пути противостояния этой буржуазной «противосиле» возможен творческий синтез политических, идейных и художественных задач. Другой путь, настойчиво подчеркивает Гавелла,— это миросозерцание буржуазно-националистического толка, адепты которого «продолжают уверять себя, что могут и далее, в этом вспыхнувшем пожаре, вытанцовывать свой хитроумный программный танец политиканов», паразитируя на «национальной идее, трагически растерзанной, но бессмертной, благодаря которой было создано все самое прекрасное на земле» («Крлежа и

Загреб»). Третьего, в конечном счете,— не дано.

Сделав рано этот вывод, подтвержденный всем опытом его беспокойного времени, Гавелла много и страстно пишет об опасности, которая грозит «национальной идее», если последнюю подменить «милитаристскими понятиями борьбы и активности». Читая эти строки Гавеллы, с неизбежностью вспоминаешь слова Томаса Манна об «иезуитски-милитаристском духе», в борьбе с которым формируется «гуманитарно-педагогический принцип» культуры XX столетия, в эпоху войн и социальных революций осознающей свою историческую ответственность, свою воспитательную функцию. Живое слово Бранко Гавеллы, остающегося и сегодня нашим собеседником и соратником в споре о судьбах культуры, еще раз открывает читателю самую суть исторического выбора, перед которым, рано или поздно, оказываются и «Любек как форма духовной жизни», и «Загреб как форма духовной жизни». Перед этим же выбором оказывается и художник в неизбежном процессе «отхода от бюргерства»: или «иезуитски-милитаристское» шествование национализма, сдобренного демагогическим, а то и слепым (последнее — до поры до времени) политиканством, за которым — элементарное сдерживание народного самосознания, социальной активности масс; или — творческое осмысление «бессмертной национальной идеи» в неразрывной связи ее с охватившим мир революционным обновлением.

Лишь искусство, нераздельно сросшееся с национальной традицией, способно обрести пафос интернационального звучания. Лишь искусство, проникнутое духом интернационализма, способно вырвать национальную культуру из пут мелкого, эгоистического политиканства, из пут «милитаристски упорядоченных, кодифицированных поединков и дуэлей» и дать возможность этому искусству заметно зазвучать во всем мире. Такова цель, таково направление, таков итог духовных исканий мастера. В русле этих исканий оказываются и суждения Гавеллы о классике мировой драматургии («Размышления о театре Эсхила», «О сценическом воплощении Шекспира» и другие) и о национальной классике — от Марина Držića до Мирослава Крлежи. В русле этих исканий — и чрезвычайно богатые мысли Гавеллы о связи социалистического искусства нашего столетия с традициями демократической культуры минувшего века.

Наиболее интересна с этой точки зрения статья, написанная Гавеллой об Августе Шеноа — прозаике, публицисте, родоначальнике критического реализма в хорватской литературе, создателе югославского исторического романа, борце за народность и национальную самобытность культуры, за приобщение ее к достижениям передовой европейской общественной мысли своего времени. Для Гавеллы особенно дорогим был демократизм Шеноа, который неизбежно вел к преодолению национально стически узкого понимания народности, к преодолению духовного регионализма. В просветительстве Шеноа Гавеллу привлекает подлинное народолюбие, а не самоуничижительное «народопоклонство». Революционное, демократическое, воспитывающее массы искусство — таков идеал самого режиссера, оттого он и находит родство по духу в «четкой идейной ориентации, в полнокровности и силе всего творчества Шеноа» («Шеноа и его время», 1961). Наследие Шеноа для Гавеллы — живое свидетельство преимуществ творчества, диалектически решающего проблему взаимодействия национального и интернационального, перед творчеством, исходный принцип которого при жизни Шеноа также разрабатывался под знаками народности и национальности, но был «настолько связан со специфическими условиями нашего искусства,— пишет режиссер,— что всякое применение «интернациональных» мерок для оценки его достоинств весьма проблематично». Подлинно демократическое искусство открывает взаимосвязь национально-народного и общечеловеческого; марксизм и впитавшее его идеи искусство последовательно утверждают принцип диалектического единства национального и интернационального. Это духовное родство, эта историческая преемственность для Гавеллы — принципиально важны.

И — еще один «фактор родства»: «У Шеноа впервые в нашей литературе чувствуется какая-то творческая зрелость, основанная не только на ясности мировоззрения и оценки происходящего, но, и это особенно важно, на доверии ко всему происходящему, порожденном этой ясностью и глубокой убежденностью в широких возможностях дальнейшего развития». Поиски такой ясности в новых исторических условиях очень рано стали осознанной задачей и Гавеллы, и многих его современников. Эта историческая судьба определила и новаторство художественных свершений, и принципиальность теоретических суждений Гавеллы, внесшего большой вклад в разработку проблем режиссуры, актерского мастерства, целостности сценического решения спектакля, взаимосвязи театра и драматургии.

Совершенное по форме, граждански активное, созвучное массам и пробуждающее творческую активность масс искусство — таковы были эстетический идеал и цель творчества Бранко Гавеллы. Это и показывает сборник «Драма и театр».

В. КИСУНЬКО

В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Рышард Фрелек. Возвращение. Перевели с польского М. Игнатов, В. Киселев, В. Хорев. «Художественная литература», «Роман-газета» № 17, 1976.

«Можно сказать, это роман о любви. О несбывшейся любви двух молодых людей, разлученных

войной. И о любви счастливой нынешнего молодого поколения. И о той любви, что дороже жизни и сильнее смерти,— о любви к своей Родине».

Такими словами предваряет роман «Возвращение» Рышард Фрелек, видный современный польский писатель, чье имя широко известно в Народной Польше и в нашей стране. Журналист, прозаик, сценарист, общественный деятель, Фрелек исследует в своем творчестве главные проблемы эпохи — проблемы войны, мира, социализма. Два многосерийных телефильма «Польский вопрос, 1944» и «Потсдам, 1945», в которых он выступает как сценарист, посвящены итогам борьбы народов Европы, Советского Союза с гитлеровской Германией, становлению Народной Польши. Художественный фильм «Польский альбом» (с ним знакомы и советские зрители) рассказывает о последних месяцах войны с фашизмом.

Замысел романа «Возвращение» тесно сплетается с этой киноленто́й. Книга и будущий фильм создавались на одном материале, основой для них послужили воспоминания и раздумья о прошлом и настоящем. И все же перед нами не развернутый сценарий, а вполне самостоятельное и своеобразное произведение литературы.

Читая роман, все время задаешься вопросом: что это — лирическое повествование или эссе? Репортаж с места событий или внутренний монолог автора? Книге Рышарда Фрелека свойственны и эпичность, и поэтическая проникновенность, и публицистическая страстность в постановке важных вопросов современности.

Повествование ведется в двух измерениях. Первое измерение — это наши дни, второе — весна сорок пятого года, время освобождения Европы от фашистского ига, обретения Родины. С этих двух проекций дается хроника событий, рассматриваются характеры и поступки героев. Книга в основном написана от первого лица, Рышард Фрелек активно подчеркивает свою личную причастность ко всему, о чем рассказывает. И это неудивительно, ведь его биография — это биография поколения, чье детство и юность совпали с войной, а к зрелости он приходит одновременно со строящейся новой Польшей.

...В чудесном лесу у прозрачного озера отдыхают летом несколько человек. Старые друзья, испытавшие все, что война принесла полякам,— Петр и Ян, а также сын Петра Томек, девушка по имени Анна, Автор. Охотятся, загорают, ловят рыбу, подолгу беседуют вечерами — размеренные, спокойные дни, отпуск. Но именно в этой лесной тиши Автора с особой силой тревожат воспоминания о прошлом, о том, какой дорогой ценой досталось людям сегодняшнее спокойствие. Он думает о неразрывности людских судеб, вспоминает, как встретил Петра впервые — на Поморье, в горячую послевоенную пору,— мысленно прослеживает всю его жизнь, вместе с ним шагает по дорогам израненной Польши. Вот ветер разметал золотые волосы Анны, а Автору видится Мария, ее мать, женщина, которую любил Петр. Война разлучила влюбленных, но прекрасные строгие черты матери живы в Анне. И жив молодой Петр в порывистом, резком Томеке. И живы в них, юных поколениях, те, кто лежит в братских могилах от Волги до Одры...

Кинематографически объемные, с документальной точностью воспроизводящие исторические события страницы романа Рышарда Фрелека посвящены тем временам, когда война откатывалась с польских земель в Германию. Еще гремят выстрелы, а люди уже думают о будущем, о мире. Бок о бок с советскими воинами польские соединения освобождают страну, возвращают ей ее исконные территории. Особенно впечатляет эпизод, рассказывающий о том, как солдаты вспахивают поле, которое еще вчера было полем битвы. Среди этих пахарей Петр, Ян и другие герои книги:

«Поле простиралось до самого горизонта. Впереди пошла с выставленными вперед миноискателями длинная цепь саперов, похожих на громадных жуков с опущенными к земле хоботками. Время от времени то один, то другой сапер нагибался и осторожно ковырял землю. Вдруг один из них на секунду отвлекся, слушая, что говорит ему товарищ, и тут же взрыв взметнул его в воздух вместе с целым гейзером земли.

Вслед за саперами на поле вышла цепь пахарей. Следующая цепь бороновала вспаханную землю».

История в буквальном смысле этого слова перековывала мечи на орала.

Показательна в этой книге судьба Петра, чей живой и конкретный образ возникает перед читателем. Для него, сына простых тружеников, не было двух путей — в годы войны он вступает в ряды Армии Людовой, потом становится коммунистом партийным работником. С самого начала он ясно осознает свой человеческий и гражданский долг и твердо ему следует.

Вот эта цельность, верность своим лучшим чувствам, патриотизм без громких слов, по мнению Рышарда Фрелека,— главное духовное богатство людей военного поколения. Верны ли заветам старших молодые? Вопрос этот чрезвычайно волнует писателя.

Тема Памяти — одна из главных в романе. Она определяет в повествовании и авторские отступления, и вставные новеллы из времен войны, и лирические зарисовки, и даже пейзаж. В сущности, книга Рышарда Фрелека — это призыв помнить, не забыть никого и ничего! Ведь только русских солдат, павших на польской земле, было более шестисот тысяч. Вправе ли ты, живущий в тепле и мире, забыть о них хоть на минуту? Шестьсот тысяч, говорит автор, это много! «Достаточно для того, чтобы изменить трудную историю отношений, сложившихся между нашими народами... Кто-то должен об этом написать талантли-

во и страстно, чтобы люди хорошо увидели трудные и важные уроки прошлого».

Думается, что книга Рышарда Фрелека тоже написана талантливо и страстно. Расставаясь с героями романа «Возвращение», мы уносим в душе живой образ Польши — той, военных лет, и сегодняшней, хранящей память о прошлом.

Э. ФОНЯКОВА

БЕСКОНЕЧНАЯ УЛЫБКА

М. Джамаль-заде, Хосроу Шахани, Ф. Тонкабони. Трое под одной крышей. Перевод с персидского и составление Дж. Дорри. Предисловие Леонида Ленча. Москва, «Художественная литература», 1976.

В предисловии к сборнику рассказов «Трое под одной крышей» есть слова о «бесконечной улыбке автора». Вот об этой никогда не гаснущей улыбке и хочется поговорить. Займемся некоторыми подсчетами. Около шестидесяти лет улыбаются при чтении «Похождений бравого солдата Швейка» Гашека. Четыреста пятьдесят лет раблезианской улыбке, или, если хотите, громкому хохоту. А эту фразу произнес когда-то Еврипид: «Лучший пророк тот, кто пророчит хорошее».

Наши подсчеты, основанные на вековом опыте литературы, убеждают, надеюсь, что улыбка бесконечна. По-моему, чем старше улыбка, тем она мудрее и тем меньше слов требуется для ее выражения. Не поэтому ли редакторы, принимающие для публикации юмористические сочинения, инстинктивно стремятся превратить доставленный рассказ в краткий афоризм?

Но закроем книги смеющегося человечества и обратимся к повседневному опыту.

Сколько раз нам приходилось выслушивать анекдоты, о которых можно сказать, что их рассказывали еще во времена молодости наших бабушек. Эти анекдоты, при внимательном взгляде, оказываются намного старше наших бабушек. Не исключено, что только что рассказанный вам анекдот был популярен в эпоху Возрождения, во времена упадка Рима, а то и еще раньше.

«Однажды император Нерон...»

«Один раз король Людовик XIV...»

«Однажды царь Николай II...»

А в двадцатых годах нашего столетия этот анекдот полностью звучал так:

«Однажды писатель Тристан Бернар обедал в ресторане, где играл скверный оркестр. Не вытерпев, Бернар подозвал официанта:

— Скажите, пожалуйста, не мог бы ваш оркестр сыграть специально по заказу?

— Конечно, что бы вы хотели?

— Я хочу,— сказал Тристан Бернар (Нерон, Людовик, Николай), чтобы до той минуты, пока я не кончу обедать, ваш оркестр играл в карты».

Кто поручится, что эта шутка не кочует сейчас в Иране как одна из шуток Моллы Насреддина, которому однажды надоело слушать плохую музыку и он предложил музыкантам сыграть в кости?..

Ведь для умелого рассказчика все так просто: достаточно знать три-четыре десятка анекдотов, чтобы сыпать их сотнями. Подобный способ размножения не нарушает законов природы юмора. Анекдоты любят друг друга, производя на свет свеженькое потомство по своему образу и подобию. Разумеется, обладая фантазией, можно скрестить анекдот с романом или повестью, но все равно это будет чудовище с крошечной головой анекдота и лошадиными копытами, унаследованными от романа. В природе кентавров не бывает. Все должно происходить естественным путем. Приведенный выше мигрирующий анекдот, в сущности, гибрид улыбок разных народов.

Итак, заключая наш экскурс в историю, скажем: первая заповедь для писателя-юмориста — не рассказывать старые анекдоты. Конечно, юморист обязан знать все смешные истории мира, но лишь для того, чтобы всякий раз рассказывать новую. Говоря иначе, новый анекдот возникает на костях старых шуток.

И Рабле, и Гашек, по всей видимости, знали великое множество анекдотов своего времени, смешных историй и серьезных историй, которые казались им смешными, поэтому-то их произведения сверкают всеми красками юмора. Помышляли ли они в момент написания своих шедевров о величии собственных персон? Думаю, что нет. Они чувствовали себя примерно так, как чувствует себя современный писатель-юморист, раздосадованный злобой дня. Если верить Наполеону, великое от смешного отделяет всего лишь один шаг, однако, несмотря на столь короткое расстояние, сделать этот шаг не так-то просто. Вот почему один из старейших сатириков Ирана Мохаммад Джамаль-заде в предисловии к своей книге «Всякая всячина», вышедшей на русском языке десять лет назад, возблагодарил судьбу уже за то, что «сегодня, когда его волосы побелели и ему уже больше семидесяти лет, он еще может работать, а его произведения печатаются, переводятся и читаются за сотни километров от него».

Джамаль-заде в этом же предисловии объясняет: «Ведь я — дитя революции, мое мировоззрение складывалось в период иранского конституционного движения первого десятилетия XX века, которое свергло деспотизм, царивший в Иране в течение нескольких тысячелетий. Как бы ни были сладки плоды революции, приводящей в конце концов к счастью, свободе и процветанию народа, революционный путь, подобно родовым мукам, нелегок и болезнен».

Речь идет о недавней истории, и без этой справки трудно понять остроту рассказов

самого Джамаль-заде и соседствующих с ним в сборнике «Трое под одной крышей» Хосроу Шахани и Ферейдуна Тонкабони.

Над чем же смеются современные иранцы?

Ни один из представленных в книге иранских сатириков и юмористов не жалует сильных мира сего, полицию, тюремщиков, технократию нового типа и бюрократию старого. При всем соблюдении национальных традиций и богобоязненности, герои рассказов не забывают подшутить и над духовными пастырями. Авторы сборника смеются и над ограниченностью своих сограждан, над тупой сытостью и развращенностью богатых. Всех троих заботит также проблема семьи в условиях развивающегося общества.

Сейчас в иранской литературе процветает жанр юмористического рассказа, который не стал здесь, однако, короткой и изящной новеллой, затиснутой между столбцами газет и журналов. Иранские юмористы любят развернуться и, по-моему, не торопятся к финалу. Если бы не логика сюжета, они рассказывали бы свои истории так же, как это делала одна прелестная рассказчица Востока — ночи напролет.

Повествуя свои смешные и грустные истории, иранские писатели успевают поведать все о герое, его родственниках и тех, кто слушает героя, кто имеет с ним дело, и даже о родственниках слушающих. Сюжет не исчезает в массе подробностей, он перестает быть техническим приемом. Иранский рассказ течет, как течет сама жизнь — от рождения до естественного конца.

Иранские юмористы не скрывают своих симпатий и антипатий за маской героев рассказов; не боясь нарушить художественную ткань произведения, они вплетают в нее блестки публицистики. Начиная с социальных памфлетов Джамаль-заде, открывающих книгу, здесь ведется острый разговор о жизненных проблемах современного Ирана, быстро становящегося индустриальной страной.

Всякий пересказ юмористического сочинения похож на осыпавшуюся новогоднюю елку, с которой сняли игрушки. И все же я попытаюсь изложить сюжет одного рассказа, принадлежащего перу Ф. Тонкабони,— «Три варианта счастья!».

Молодой учитель приходит свататься в один дом. Узнав, что будущий зять учит детей в школе, родители невесты советуют ему немедленно переменить профессию и перейти работать в известный Нефтяной консорциум, а пока он должен забыть о женитьбе. Спустя время в другом доме школьному учителю советуют поступить на работу в Совет по планированию и только потом предлагать руку и сердце их дочери. Придя свататься в третий дом, герой получает совет: ему лучше всего бросить тяжкий труд учительства и перейти служить в Центральный банк Ирана... «Да, почтенный, вы правы, вы совершенно правы. Небо подарило нам один-единственный Нефтяной консорциум, один Совет по планированию и один Центральный банк,— отвечает герой рассказа своему несостоявшемуся тестю.— И теперь все двадцать миллионов населения,— нет, извините, двадцать четыре миллиона — должны втиснуться в эти три учреждения: восемь миллионов в Нефтяной консорциум, где их ждут законные привилегии, восемь миллионов — в Совет по планированию, где служащие имеют надбавку к жалованью и два выходных дня в неделю, и восемь миллионов — в Центральный банк, где выдают продукты и аванс на квартплату... Отрадная картина! По утрам общественный транспорт доставляет по восемь миллионов человек к каждому из трех небоскребов...»

Обдумывая прочитанное, приходишь к выводу, что иранские юмористы и сатирики вовсе не стремятся поразить читателя новизной формы, необычностью содержания. Они серьезно озабочены своими национальными проблемами, в этом и состоит их патриотизм. Они строят свое общество. Их позиция близка нам демократичностью и гуманизмом. Порой этих писателей заботят те же проблемы бытия, что и нас с вами. Но много в книге и такого, над чем могут подсмеиваться только иранские юмористы. И советский читатель должен быть благодарен этим иранцам за то, что они смогли донести до наших дней улыбку, которая, быть может, идет из дальней дали иранской истории.

М. АНДРАША

Издано за рубежом

ПОСОЛ РЕВОЛЮЦИИ.

Gustav Johansson. Alexandra Kollontay (1872-1917). Revolutionens ambassadör. En biografi. Lund, Gidlunds. 1976.

Заметным явлением в литературной и общественно-политической жизни Скандинавии стало новое издание книги об Александре Коллонтай, выпущенное шведским издательством «Гидлюнд». Впервые книга «Александра Коллонтай, посол революции» вышла в Швеции еще в 1945 году—в то время Александра Коллонтай была послом Советского Союза в этой стране. Автор книги — известный литератор Густав Юханссон — был видным деятелем Коммунистической партии Швеции, длительное время

возглавлял газету шведских коммунистов «Ню даг» и представлял компартию в рикстаге. Его перу принадлежит также исследование «Ленин и Швеция» (1969) о тесных связях В. И. Ленина со шведским рабочим движением.

Переиздание книги Густава Юханссона «Александра Коллонтай, посол революции» приурочено к приближающемуся юбилею Великого Октября. Ленинские идеи, страстным пропагандистом которых всю свою сознательную жизнь была А. Коллонтай, по-прежнему так же актуальны для международного коммунистического и рабочего движения в том числе для Швеции и других скандинавских стран, как и прежде. «Сегодня великий день рабочего класса, и пролетариат участвует в манифестациях во имя победы социализма во всемирном масштабе. Борьба по-прежнему идет лишь между двумя нациями: эксплуатируемых масс и эксплуататоров. 1-е Мая является проверкой нашей мобилизации и свидетельствует о нашей боеспособности. Социализм не врастает в капиталистическое общество, как это утверждают капиталисты и буржуазия. И когда они пытаются запугать нас войной, мы бросаем вызов: «Долой войну! Да здравствует социалистическая революция!» Эти слова из выступления Александры Коллонтай на первомайском митинге в Стокгольме в 1912 году, приведенные в книге Густава Юханссона, звучат так, словно они произнесены сегодня

Выход в свет книги отвечает тому интересу к личности Александры Коллонтай и ее революционной деятельности, который заметно возрос в последнее время в Швеции. Шведское телевидение недавно показало серию передач о замечательной русской революционерке, ее богатом публицистическом и литературном наследии. В связи с выходом книги в шведских газетах появились многочисленные статьи и эссе, посвященные этой работе.

Густав Юханссон рассказывает о жизни А. Коллонтай достоверно страстно. Вводя в текст фрагменты из книг А. Коллонтай, ее путевых заметок, писем, газетных статей мемуаров ее друзей, автобиографических справок, составленных Коллонтай для русских и иностранных журналов, Густав Юханссон воссоздает многогранный образ русской революционерки, а также ту политическую обстановку в Европе и Америке, в которой довелось жить и работать Александре Коллонтай.

В книге показано, как происходило становление революционера: от бунтаря, подчас наивного, восприимчивого к идеям народничества,—до убежденного марксиста-интернационалиста. Боевое крещение А. Коллонтай приняла в то памятное Кровавое воскресенье, когда безоружные манифестанты направились к Зимнему дворцу просить у царя хлеба и свободы. А. Коллонтай была непосредственным участником революции 1905 года — тогда она впервые встретилась с В. И. Лениным Вот как рассказывала А. Коллонтай об этой первой встрече с Владимиром Ильичем в Петербурге: «Мы жадно изучали все, что он писал. В течение многих лет мы прислушивались к его голосу, который доходил до нас то из тюрьмы, то из сибирской ссылки или из Европы, где он пребывал в эмиграции последние годы. Обе фракции партии часто созывали свои нелегальные встречи, на которых шли острые дискуссии между большевиками и меньшевиками. Именно на одной из таких встреч я впервые и познакомилась с Лениным». Это знакомство переросло в крепкую многолетнюю дружбу революционеров-соратников. Автор отводит специальную главу переписке В. И. Ленина и А. Коллонтай, относящейся к периоду первой мировой войны, когда А. Коллонтай с присущей ей страстностью пропагандировала ленинские идеи о превращении войны империалистической в гражданскую.

Естественно, Густав Юханссон уделяет большое внимание деятельности А. Коллонтай в Швеции и других скандинавских странах, где она жила и работала во время своей эмиграции после поражения первой русской революции. Оказавшись за границей, она продолжала поддерживать тесные связи с русским революционным движением. По поручению В. И. Ленина А. Коллонтай являлась связной между организациями РСДРП в России и партийным руководством в эмиграции. Будучи подлинным трибуном, А. Коллонтай устным словом и в печати неустанно пропагандировала идеи русской революции. До 1917 года она, отмечает автор, не принадлежала к руководству РСДРП. Однако ее литературный талант и блестящие ораторские способности были общепризнаны. Партия неоднократно поручала А. Коллонтай выступать в «трудных» аудиториях, где ей удавалось зажечь своей страстностью слушателей, убедить их силой логики, неотразимостью аргументации. А. Коллонтай говорила на всех основных европейских языках, и рабочие Европы жадно слушали ее выступления, узнавая из них о тактике русских рабочих в революции 1905 года и о положении рабочего класса в России.

В отдельных главах книги раскрывается пропагандистская деятельность А. Коллонтай в Англии, Германии, Дании, Швеции, Норвегии, США. Густав Юханссон приводит многочисленные свидетельства скандинавской печати о ее громадном, можно даже сказать, магическом воздействии на аудиторию.

Правдивые и взволнованные рассказы А. Коллонтай о революционной борьбе русского пролетариата вызвали озлобленность буржуазных властей Швеции. Ее начали преследовать. Густав Юханссон пишет, что, ложно обвинив А. Коллонтай «во вмешательстве во внутренние дела» Швеции, полицейские власти бросили русскую революционерку в тюрьму. Она оказалась в стокгольмской бастилии Кюнгсхольмене, и ей угрожала высылка в Россию. Скандальное дело получило широкую огласку. Правые газеты развернули кампанию про-

тив А. Коллонтай, принялись ее травить. В защиту А. Коллонтай выступили демократические круги Швеции. Свой голос протеста против ее преследования подняли и некоторые члены шведского парламента. В книге приведена речь мэра Стокгольма Линдхагена, произнесенная в нижней палате риксдага в 1915 году: «Александра Коллонтай — высокообразованный человек, выдающаяся личность. Она искала убежища в стране, которая называет себя «столпом свободы». И вот ее высылают. Я не понимаю, за что. Ведь она только высказывала верные мысли о будущем. Я не считаю, что история с Коллонтай делает честь нашей стране».

Со своей стороны, руководитель левого крыла шведской социал-демократической партии Хеглюнд писал в газете «Стормклокан» («Набат»): «Арест и высылка А. Коллонтай — не что иное, как трусливая подачка властей тем крикливым политиканам, которые в стремлении к разоружению и к братству между народами видят главную угрозу эксплуататорскому строю и своему политическому господству».

В конце концов под давлением общественности власти пошли на попятную. Вместо царской России революционерку решили выслать в Данию. Она оказалась в пересыльной тюрьме в Мальмё, а оттуда поехала в Копенгаген. Однако и там ее ждала тюремная решетка. Выйдя позже на свободу, А. Коллонтай перебралась в Норвегию, где включилась в революционную борьбу.

Густав Юханссон большое внимание уделяет взглядам А. Коллонтай на роль женщины в обществе и ее положение в семье — проблема, чрезвычайно актуальная для современного буржуазного государства. Эмансипацию женщины А. Коллонтай непосредственно связывала с социальным освобождением трудящихся, которое дает возможность женщине строить жизнь на социалистических принципах как в семье, так и в обществе.

Свой рассказ об А. Коллонтай автор заканчивает событиями Февральской революции. Узнав о свержении царизма, А. Коллонтай сразу после митинга, посвященного победе русских рабочих, в Народном доме отправилась из Осло на родину. Как напоминает автор в предисловии к книге, А. Коллонтай была среди тех, кто принимал историческое решение о вооруженном восстании в Петрограде в октябре 1917 года. Затем она становится первой женщиной в революционном правительстве Советской России, а в 1930 году приезжает в Швецию в качестве полномочного представителя своей страны.

Благодаря книге Густава Юханссона, шведский читатель узнает, как готовилась социалистическая революция в России и насколько широки были связи русских революционеров с рабочими Скандинавии, для укрепления которых так много сделала Александра Коллонтай.

Е. ПАКЛИНА

ВОСПОМИНАНИЯ О ЮНОСТИ

Wolfgang Koeppen. Jugend. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1976.

За последние полтора с лишним десятилетия Вольфганг Кёппен, известный западногерманский писатель, автор знакомых нашему читателю романов «Голуби в траве», «Теплица», «Смерть в Риме», не создал ни одного крупного произведения; лишь изредка он выступал с прозаическими этюдами, небольшими эссе, публиковавшимися в прессе ФРГ. И вот осенью минувшего года появилась, наконец, новая книга Кёппена — «Юность», неожиданно для издателей, критиков и самого автора занявшая место в списке бестселлеров.

Жанр «Юности» обозначить непросто — это воспоминания, раздумья писателя о детских и отроческих годах, о «заре туманной юности». В книге нет связного повествования, фабулы в традиционном смысле. Это скорее наброски, фрагменты, хотя в целом книга оставляет впечатление поэтической завершенности. Она складывается из коротких эпизодов из жизни мальчика, подростка, юноши из провинциального немецкого города в период примерно с 1913 по 1925 год, то есть в годы первой мировой войны, Ноябрьской революции в Германии, Веймарской республики.

«Юность» — книга очень личная и в то же время содержащая глубокие обобщения. Мир предстает в восприятии юного героя — натуры незаурядной, впечатлительной, тонкой, болезненно реагирующей на любые проявления социальной несправедливости. Художник точно передает атмосферу детской и юношеской поры, с необычайной чуткостью рисует духовный мир мальчика, его тревоги, надежды, радости, страхи, чувство одиночества и грусти.

Многое в этой книге носит автобиографический характер; подобно своему герою, автор провел детские годы в Восточной Пруссии, в юности пережил безработицу, бедность, неустроенность, пробовал свои силы на разных поприщах, в том числе и в театре; черты характера молодого героя в какой-то мере отражают натуру автора («Я всегда оставался аутсайдером», «не мог приспособиться к нормальной буржуазной жизни»,— не раз говорил о себе Кёппен). Однако несколько лет назад, в связи с публикацией набросков о юности (некоторые из них вошли в книгу) Кёппен говорил о том, что его тексты не являются строго автобиографическими, что он «придумывал», «создавал» некоего молодого человека, который «вместо него», Кёппена, передает его воспоминания.

Герой «Юности» живет в разладе с окружающим миром. Он отверженный, ему нет места среди самодовольных буржуа, тупых чиновников, спесивых аристокра-

тов. Бедность, нищета хорошо знакомы герою с ранних лет. Уходя, мать запирает в шкаф единственный кусок хлеба; голодный мальчик гвоздем открывает замок и съедает хлеб, давясь от отчаяния при мысли, что мать будет плакать. Матери — молчаливой, слабой, обездоленной женщине — посвящены волнующе нежные лирические строки, ничуть не сентиментальные, а исполненные неподдельного тепла и искренности. Следующий этап жизни — военная школа, казарма: «стойкий оловянный солдатик из старой сказки» становится «надеждой фатерланда». Скоро он бежит из ненавистной ему казарменной обстановки, рано «снимает с себя детство», как ставшее узким платье, пытается зарабатывать, но нищета не отступает ни на шаг.

Проза Кёппена поэтична и музыкальна, но это музыка, при всей своей лиричности, суровая, лишенная праздничного, мажорного настроя, присущего детству; здесь преобладает меланхолическая, элегическая интонация, звучат ноты щемящей грусти: «Я был без крова. У меня не было денег. Я боялся шагов полицейского. Трещал мороз. Я беззвучно шел по улицам. Я искал убежища. Я нашел его. Я перелез через ограду. Я был на кладбище. Я обрел мир...» Одиночество, неприкаянность человека в мире бездушия, холодного расчета, насилия — один из постоянных мотивов в творчестве Кёппена, герои которого, как правило,— люди, терпящие крушение.

Подросток, юноша живет в стране романтической мечты, в воображаемом, фантастическом мире — мысленно он бежит из тесноты провинциального бытия. Мир мечты — это книги, кинематограф, театр. Кино представляется ему «самым влекущим в мире храмом». Позднее приходит страстная любовь к театру. Но и кинематограф, создающий призрачный, иллюзорный мир, и театр, где хозяйничают все те же лавочники, возомнившие себя меценатами, приносят разочарование. Кажется, только книги — надежный оплот человечности, заслон от холодных ветров реальности: «я разговаривал с Макбетом», «блуждал вместе с Гиперионом», «Платон подходил к моей постели», «на рваном одеяле, в которое я заворачивался, лежали книги из всех библиотек города».

И все же мир фантазии не отделен для этого юноши от реальности, мечта связана с жизнью, со стремлением к справедливости. Мысленно он упраздняет сословные перегородки, защищает обиженных, карает притеснителей. «Я открывал ворота тюрем. Я раздавал товары из магазина беднякам и выпущенным на волю заключенным. Из книжного магазина Буттенхагена каждый получал по книге. Деньги из сберегательной кассы — на улицу. Дети играли купюрами, делали корабли, пускали их по водосточным желобам». Это мечта человека, жаждущего счастья для всех,— на школьной доске приюта для подростков он пишет слова: «Свобода, равенство, братство».

При всей фрагментарности, нарочитой эскизности, при всей интимности описываемых переживаний книга эта исторична содержащейся в ней нераздельной связью отображаемого индивидуального опыта с событиями мировой истории. Жизненные впечатления героя вплетены в широкий исторический, интеллектуальный контекст, контекст эпохи. Несколько штрихов, точных реалий — и оживает напряжение, грозовая атмосфера тех лет, атмосфера войны, потом революции: «был ноябрь». Приметы революции — бежавший кайзер, опустевший дворянский замок, матросы из Киля, нетопленые вагоны, в которых люди при свете коптилки читают революционные газеты, красное полотнище за окном казармы, которое провозглашает мальчику, что он «свободен»; фигуры «капповцев с мертвой головой», картины злодейского убийства революционера. Повсюду юноша видит следы классовых столкновений, боев между добровольческими отрядами капповского путча и бастующими рабочими, «открытые еще раны»,— даже в театре он замечает эти следы: колонны в шрамах от пуль.

Резкий, убыстренный пульс эпохи, ее лихорадочный темп передаются в нервном ритме этой аллитерированной, ритмизованной прозы, насыщенной литературными реминисценциями, библейскими и мифологическими параллелями. Воспоминания о событиях и впечатлениях юности рождают у писателя целый поток ассоциаций, образов, импрессий. Техника эта сходна с той, которую Кёппен применяет в своих романах и путевых очерках,— беглое наблюдение, кажущийся случайным факт обрастает множеством аналогий, метафорических обобщений. Особый эффект придает этой прозе контраст между длинными периодами (где автор иногда упраздняет пунктуацию), меланхолически-неторопливо передающими атмосферу и настроения детства и юности, размышлениями автора, искусно связывающими разнородные события и впечатления, образы и параллели,— и короткими, сжатыми, резко обрывающимися фразами, воспроизводящими ощущение духовной неприкаянности героя: «Они кричали мне вслед. Они смеялись надо мной... Они любили маршировать. Они проиграли войну. Они давились своим поражением и ненавидели республику... Они казались мне смешными... Они вновь хотели железного времени войны и забывали о мертвых. Я не мог смеяться. Я думал о полях, усеянных мертвецами, о победах, которые мы праздновали...»

С пронзительной силой звучит в новой книге Кёппена одна из главных его тем — разоблачение войны и военщины, германского милитаризма, обрекающего на бессмысленную гибель многие поколения немецкой молодежи, гневное осуждение националистического чванства, шовинизма, лжепатриотизма, под лозунгами которого приносятся все новые жертвы на «алтарь отечества». Через восприятие эмоционального, не приемлющего насилие юноши передается атмосфера военных и послевоенных лет — страдания, принесенные вой-

ной, нищета, искалеченные люди, разбитые судьбы.

Вполне мирные картины детских и отроческих лет переходят в видения войны и смерти, воспоминания детства прочно слиты с этим ощущением угрозы, отвращением к казарме, ненавистью ко всему, что несет человеку страдания. Вот ребенок вместе с матерью приходит в дворянское поместье (где мать шитьем зарабатывает свой скудный хлеб); со страхом смотрит мальчик на литой бюст Бисмарка, «которым человек мог бы убить другого человека»; однако, со злой иронией заключает юный герой, нет нужды использовать для этого скульптуру «железного канцлера», ибо «для убийства у них есть люди». Позднее, лежа в лазарете военной школы, он с тревогой глядит на развешанные в палате портреты кайзера, Гинденбурга, Людендорфа — тех самых генералов, у которых «грандиозные планы»: они готовят юноше и миллионам его сверстников «геройскую смерть».

Сцены, связанные с разоблачением шовинистического угара, сдержанны, лаконичны и, быть может, именно потому так убедительны. Вот, к примеру, короткий эпизод: день мобилизации, молодой лейтенант и новобранцы появляются на рыночной площади, «лейтенант держит судьбу в белых перчатках», их приветствует бургомистр и другая местная знать. Звучат кичливые националистические лозунги («Сломаем французам шею»), пугающе идиллическая, настораживающая картина «патриотического восторга», но «дома на площади чуят кровь»: «через две недели лейтенант и его люди уже мертвы».

Книга написана с дистанции многих десятилетий, и потому она как бы вместила в себя мысли автора о событиях середины XX века, предощущение тех еще более чудовищных и грандиозных бед, которые обрушили на немцев и весь мир германский милитаризм и фашизм, развязавшие вторую мировую войну; не случайно в картины детства и юности зловещим сигналом врывается слово «свастика». Книга написана человеком, пережившим бесславную и преступную эру нацизма, художником, весь жизненный опыт и убеждения которого заставляют его обращаться к людям с предостережением. Подлинно человечной делает эту книгу полный теплоты и сочувствия взгляд на «маленького» человека, становящегося жертвой захватнических устремлений германской военщины.

Воспоминания «Юности» адресованы будущему. Запечатленные в книге мгновенья жизни, говорит автор, ушли бы навсегда в прошлое, были бы забыты, «не будь они запрятаны» где-то в тайниках памяти художника: пока он «мыслит и существует», он чувствует себя обязанным поведать правду о том, что пережило его поколение. «Горе, если я потеряю ключ, если не найду нужную клавишу, которая вызывает прошлое, связывает его с настоящим и даже с будущим». Будущее, напоминает книга Кёппена, должно быть избавлено от всего, что угнетает, ранит, убивает человека. Беспощадная, исполненная горечи и тревоги книга — и все же озаренная надеждой, верой в человеческий разум, в «бессмертье души», в силу искусства, в мудрость литературы, в материнскую любовь и просто в романтическую юношескую мечту, в вольнолюбивый дух юности.

И. МЛЕЧИНА

СЕМЬЯ ЧЕЛОВЕКА — СЕМЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Larry Woiwode. Beyond the Bedroom Wall. A Family Album. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 1975.

Роман молодого прозаика Ларри Войвуди «За дверями спальни» не случайно привлек внимание американских критиков: в нем отчетливо прослеживаются приметы творческой самостоятельности, в нем есть свой взгляд на действительность — быть может, еще не до конца определившийся, но, безусловно, не заемный. Подзаголовок книги — «Семейный альбом» — точно характеризует и жанр романа, и особенности его построения. В центре повествования — судьбы представителей нескольких поколений рядовой американской семьи, однако Войвуди не стремится к полноте семейной хроники. Его интересуют лишь отдельные примечательные события в жизни Ноймиллеров, оставшиеся в сознании дни, часы, даже мгновения, какими их может зафиксировать и годами хранить человеческая память или пожелтевшие от времени листы альбома, куда наклеивали фотографии, сделанные по торжественным или печальным случаям.

Рассматривая альбом, на страницах которого запечатлено несколько десятилетий истории Ноймиллеров и окружающего их мира американской «глубинки», один из героев романа испытывает такое чувство, словно «само прошлое и состояло из этих мгновений, с виду увековеченных, на деле же — быстротечных и невозвратных». Для Войвуди очень важно подобное—«дискретное»—восприятие времени. им определяется и композиция романа, и — во многом — его главная мысль. Историей Ноймиллеров Войвуди стремится доказать, что жизнь каждого человека, пусть он этого и не сознает, направляется не только конкретной сегодняшней реальностью, в которую он погружен, но еще и подспудным тяготением к дому, родному очагу. родной земле. По Войвуди и сегодня в сознании человека по-прежнему ощутимо действие законов «генетической памяти», которая словно бы привязывает каждое индивидуальное существование к макрокосму народного бытия, превращая семью человека в семью человеческую. Эта мысль, собственно, выделена и заглавием романа; один из

младших Ноймиллеров, Лайонелл, думает о том, что за дверями детской спальни «комната матери и отца и еще несколько комнат, а дальше двор, за двором город, фермы и другие города округа, и весь штат, и потом, где кончается Северная Дакота, другие штаты, и Канада, и океаны, и весь земной шар».

Прослеживая эти незримые нити, которые протягиваются от дома Ноймиллеров далеко за пределы их родного округа, Войвуди вводит реальность, для которой тесен переплет «семейного альбома»,— реальность общественной и исторической жизни Америки с начала 30-х годов до наших дней.

Конечно, о событиях, происходящих в большом мире, читателю чаще всего приходится догадываться самому по разрозненным и нередко приглушенным отзвукам, которые донеслись через плотно затворенные «двери спальни». Подлинной летописью социальной истории Америки роман Войвуди не стал да и не мог стать — сказывается ограниченность возможностей самого жанра избранного писателем. Однако за семейной историей обозначаются и коллизии более широкого подлинно социального масштаба, и прежде всего конфликт человечности и буржуазного утилитаризма, столкновение гуманных норм и практицистской, своекорыстной философии жизни. Этот конфликт разыгрывается и под крышей дома Ноймиллеров. И растущая отчужденность между старшим и младшим поколениями — это процесс, который красноречиво свидетельствует о том, что само американское общество разрушает иллюзии внесоциальной «гармонии», якобы возможной для человека, если он твердо держится своей почвы.

«За дверями спальни» — роман, который при всем своеобразии органично входит в одну из наиболее плодотворных традиций американской реалистической литературы. Это традиция вдумчивого аналитического изображения повседневной жизни с виду ничем не выделяющихся людей из провинции, в чьей биографии — вроде бы однообразной и лишенной драматизма — зоркий художнический взгляд откроет и подлинную содержательность, и нерасторжимую связь с жизнью нации, и этическую поучительность. Эта традиция в американской литературе отмечена такими именами, как Эдит Уортон, Джон Стейнбек, Джон О'Хара, Джон Гарднер, чью статью о романе Войвуди мы перепечатываем в этом номере из журнала «Нью-Йорк таймс бук ревью».

Не все мысли и оценки, содержащиеся в этой статье, бесспорны, однако показателен и интерес одного из наиболее значительных современных американских прозаиков к книге Войвуди, явно близкой ему по своей художественной природе, и сам характер размышлений Гарднера, выходящих за рамки проблематики одного произведения и затрагивающих вопросы, связанные с перспективами развития реалистического романа и направленностью исканий литературы США в последние годы. Представляется знаменательным ясно определившееся и в романе Войвуди, и в творчестве Гарднера тяготение к нестареющей реалистической традиции, которую Гарднер отстаивает в своей статье открыто и последовательно. Несомненно, что с обогащением этой традиции сопряжены наиболее заметные достижения американской литературы самого последнего времени.

А. З.

■

Не скажешь, что в наши дни так уж просто отыскать отличный — вне всякого сомнения, отличный — роман, который представлял бы собою историю нескольких поколений одной семьи. Последними такими романами были, сколько помнится, «Конфетная гора Бигрок» Уоллеса Стегнера и две книги Джона Чивера об Уопшотах. Почему же давно не появляется подобных книг? На это есть много причин, и если назвать некоторые из них, станет яснее и ощутимее, сколь многого сумел добиться в своем монументальном романе «За дверями спальни» Ларри Войвуди.

В нас все еще живет глупое предубеждение против «чудовищ, начиненных многословием», как в свое время, пресытившись Толстым, выразился о его произведениях Генри Джеймс. Предубеждение и в самом деле глупое, но для него есть своя почва. Писатель, создающий семейную эпопею, должен держать под неослабным контролем гигантский материал, а эта способность встречается не часто. В жизни все связи ослабевают — так уж она устроена; и когда вам показывают поколение за поколением, а вы все меньше улавливаете в произведении внутренние связи, можно заранее поручиться, что у писателя в итоге получится нечто наподобие многосерийного фильма, рассчитанного на вкусы домохозяек.

Это во-первых. А во-вторых, так называемый «серьезный роман» в наши дни прекрасно сознает меру своих возможностей. В XVII и XIX веках романист с уверенностью (и казалось — со знанием дела) рассказывал вам о врачах, рыболовах, премьер-министрах, безумцах, дамах, подыскивающих хорошую партию, и т. д. Но затем романисты усомнились в том, что им известно все на свете, и область их наблюдений сузилась. В начале нашего столетия они уже писали о том, что и в самом деле знали из первых рук,— о художниках или одаренных молодых людях, которые со временем сделаются литераторами. Прошло еще несколько десятилетий, и в своем большинстве романисты (были, правда, и бросающиеся в глаза исключения — скажем, Фолкнер) стали и впрямую писать о самих себе, даже о том, как они сочиняют свои романы, и при этом выкладывали на стол все карты, точно бы прося совета, как им сыграть.

Такой роман вошел в моду — думаю, не потому, что он беспредельно откровенен или особенно глубок. Даже под пером мастеров этого жанра, таких, как Самюэль Беккет, подобный роман остается весьма скудной пищей для духа. По сравнению со старомодным реалистическим романом он обладает только тем преимуществом, что соответствует современному настроению, как правило, неустойчивому до капризности, почти как у детей. Он отвечает нашему сомнению в самих себе — благо, посомневавшись, особенно радостно увериться в собственных силах; он соответствует нашему пессимизму, который не мешает нам оставаться сугубо практичными и в своих сетованиях на неудачи (ну, к примеру, кто способен понять муки человека, у которого разболелся зуб?). И кроме того, он соответствует еще одной и, пожалуй, более привлекательной особенности нашей психологии. Мы ведь обожаем копаться в разных вещах, чтобы понять, как они устроены, нам доставляет удовольствие разбирать и снова собирать все вещи, любуясь каждой деталькой, каждым винтиком. В наш век и фокусникам приходится растолковывать публике, в чем секрет их фокусов, даже печатать об этом статьи в журналах, и это приводит нас в восторг. Вот почему и в литературе наблюдается порой недоверие к реалистической полноте картины и тяготение к «притчевой» искусственности. Мы уже не пытаемся делать вид, что нам все на свете известно про врачей, рыболовов, премьер-министров и т. д. Мы изобретаем то, чего вообще не существует, и со вкусом повествуем о придуманном — смотрите, какие мы кудесники, полюбуйтесь, каким хитрым штукам мы научились (я говорю сейчас о писателях вроде Пинчона и Набокова и тянущихся за ними). Чуть ли не целиком и полностью из авторского воображения возникают все эти заполонившие современный роман сорвиголовы и демоны во образе человеческом, как, впрочем, и самые заурядные конторские служащие. Конструкция романа, в прежние времена старательно спрятанная от глаз читателя, как прячут юпитеры и камеры на съемочной площадке, чтобы они не попали в кадр, теперь, к восторгу читателей, демонстрируется совершенно откровенно, как демонстрирует процесс съемки в своих фильмах Феллини. И после этого вы нам еще будете толковать про Голсуорси?

Но попробуем поставить вопрос по-иному: а так ли уж мы выиграли, предав Голсуорси забвению и с увлеченностью раскрывая все до единого секреты ремесла? Сомнение в себе, отчуждение, сделавшийся модным пессимизм не просто становятся в тягость, они превращаются в добровольный самообман. Способны ли мы воспринять большие чувства, воспринять мудрое и неизменно стойкое жизнеутверждение, которым проникнуты книги Арнольда Беннета, или Диккенса, или Достоевского? Насмотревшись фильмов вроде местами забавной, но в целом оставляющей тоскливое ощущение картины Вуди Аллена «Любовь и смерть» (похоже, уже и Вуди Аллен начал со скепсисом относиться к собственному скептицизму), способны ли мы всерьез, по-взрослому говорить о любви, говорить о смерти?

«Семейный альбом», как охарактеризовал свой роман Ларри Войвуди, убедительно отвечает на все эти вопросы, которые должны волновать художника. Мне кажется, уже долгие годы не появлялось у нас ничего столь трогательного и прекрасного. Читая книгу, я не раз вспоминал о пророчестве одного моего знакомого: вот увидите, пройдет еще немного времени, и литература, отбросив стыдливость, снова примется описывать реальных людей и лить над ними слезы, как в романах викторианской эпохи. Не следует понимать эти слова буквально, но, с другой стороны, разве это не замечательно — неспешно читать большой роман, изображающий жизнь одной семьи, роман умный и заставляющий то смеяться, то сочувствовать незадачам персонажей от всего сердца?

Сначала нам рассказывают об Отто Ноймиллере, который в 1881 году эмигрировал из Германии, приехал в Северную Дакоту и, отличаясь здравым умом и редкой цельностью характера, сколотил небольшое состояние, а потом потерял его. Вслед за ним на сцену выступают и дети, среди которых выделяется Чарльз. Он плотник, человек прямой, честный и сильный; своему ремеслу он начал учиться в день смерти отца — сколотил ему гроб. Сын Чарльза Мартин — мастер на все руки. Его посещают и мечты о прекрасном, об искусстве; он становится директором школы, женится на учительнице, и вся семья переезжает в Иллинойс, куда еще раньше отправился Чарльз. По дороге его жена Эльфа заболевает, и ей уже не оправиться. Подрастают дети Мартина и Эльфы: один становится врачом, другой актером, третий поэтом — да ведь они и все по-своему поэты. Все разъезжаются; в жизни семьи теперь уже нет центра — географического и духовного центра, каким был Средний Запад с его простой и прочной жизнью и неразрушимой верой. Мартин женится снова, умирает и его вторая жена, и в конце романа действие сосредоточено на судьбах детей и внуков Мартина, а у каждого из них свои проблемы.

Я просто изложил основные события сюжета, и в этом пересказе, конечно, оказались утраченными и точность подробностей, и выверенность наблюдений, и тонко воссозданные связи героев с их временем и родной землей, а как раз все это и поражает в романе Войвуди. Он описывает несколько поколений Ноймиллеров, выводит на сцену множество людей, связанных с этой семьей, и — что самое удивительное — роман ничуть не утрачивает цельности, так как в центре неизменно остается один и тот же герой, Мартин, человек, зачарованный своей жизнью и своими устремления-

ми. Десятилетиями он мечтает написать книгу, однако все больше осознает, что эта мечта неосуществима,— реальность просто слишком громадна, она воистину «превосходит самую безудержную фантазию».

Как же овладеть этой реальностью, как проникнуть в этот мир, начинающийся за порогом, «за дверями спальни», за воспоминаниями и мечтами? Вот проблема, которая неизменно остается для Войвуди главной, и в ходе повествования автор все время возвращается к ней, причем ненавязчиво. Подробно и неспешно рассказывается о любви Мартина и Эльфы: на наших глазах они знакомятся, влюбляются, женятся, растят детей, а потом Эльфа, еще совсем молодая, умирает — незабываемый, мастерски написанный эпизод,— тут-то и выясняется, что даже Мартин едва ли отчетливо понимал, как много она для него значила. Войвуди пишет об этом и с сочувствием своему герою, и с обезоруживающей прямотой. Дети Мартина и Эльфы наделены тонкой духовной организацией, и все они стремятся унаследовать прошлое семьи. Жизнь родителей и их предков кажется им полной романтики, они любят друг друга и с нежностью относятся к своему отцу, к рассказам Мартина о былом, которое им так хотелось бы живо себе представить. Но для них семейная хроника так и остается непостижимой во многих ее эпизодах, и озадачивает их, и внушает недоумение и тревогу, побуждая младшее поколение семьи еще трогательнее заботиться о Мартине и друг о друге.

Недоумение усиливается — не только у детей Мартина, но и у читателей — с появлением в рассказе Лоры, сменившей в доме Ноймиллеров Эльфу. Мы видим эту героиню лишь глазами Мартина и его детей, поэтому все, что мы узнаем о Лоре,— это разрозненные фрагменты, которые никак не согласуются один с другим. Лора — человек со своей индивидуальностью; в каждом свидетельстве о ней открывается нечто несомненно истинное и своеобразное, но так и не очерчивается характер этой героини, и поэтому только угадывается ее привлекательность, доброта, но и нечто зловещее, что в ней таится. Совсем не случайно Войвуди оставляет этот характер недорисованным; ему важна сама противоречивость впечатлений разных его героев от встреч с Лорой, сама несочетаемость складывающихся о ней мнений. Мы пытаемся понять, что же она за человек, и вслед за героями все время сравниваем ее с Эльфой, но Лора лишь отступает все дальше и дальше в сумерки, куда уже не проникнет ничей взгляд. И в тайну ее личности тщетно пытаются проникнуть другие персонажи — каждый словно упирается в дверь своей собственной спальни и не может ее открыть.

Так и с самим молодым поколением — все более для нас непостижимым, хотя порою мы видим его представителей даже и в сокровенные мгновенья их жизни. Время все дальше разводит их друг от друга, а мир семейной истории, у истоков которой стоит старый дом в Северной Дакоте, остается лишь воспоминанием, и они тянутся к этому миру как к недостижимой звезде. Целостность разрушена, и только любовь, только общность жизненного опыта и присущая всем Ноймиллерам вера помогают каждому из них находить что-то близкое себе в другом. В конце романа дети Мартина словно уже едва знакомы между собой. И все-таки связи между ними окончательно не прервались — ведь в этой семье верят в любовь, которую каждый хранит в своей душе.

Вот эта связь — общая для всех любовь и сходство жизненного опыта, как он ни фрагментарен,— в конечном счете и сплачивает человечество, по мнению Войвуди. Разумеется, не все читатели примут эту мысль книги и средства, которыми она выражена. Одно из таких средств — словесная игра; вовлекаясь в нее, читатель как бы и сам становится одним из Ноймиллеров. Во вступительной главе, названной — думаю, не без влияния Пруста — «Прелюдия», герой, который погружен в воспоминания и мечты, говорит со своей женой так, словно в это же время прямо обращается к читателю, ко всем читателям: «И вот я снова рядом с тобою, и, дорогая моя, дорогие мои, мне ничего другого не нужно». Звучит, конечно, ужасно сентиментально, но углубляешься в книгу и, пусть с опозданием, видишь, что такая тональность оправдана. Войвуди не скрывает, что его цель — растрогать читателя, порою ему не удается избежать чувствительности, но такие ошибки прощаешь — слишком захватывает сам эксперимент писателя. И читателю иногда действительно начинает казаться, что он вошел в семью Ноймиллеров,— например, в конце, когда Мартин пишет письмо сыну. Хотя бы местами обретает убедительность философия этого романа, повествующего о том, как разбивающаяся на множество осколков человеческая жизнь сохраняет какую-то целостность, если в ней есть любовь. А можно ли требовать от искусства большего?

«За дверями спальни» — в некоторых отношениях старомодный роман. В нем много персонажей, в нем тщательно описываются свадьбы и похороны, пейзажи, дома, времена года; в нем часты лирические отступления, поэтичные страницы, и Войвуди не боится впасть в фальшивый тон, да почти никогда и не впадает. Но нужно подчеркнуть, что это и вполне современный роман. Настоящее и прошлое в нем тесно переплетены, время двуедино, и этот прием у Войвуди оригинален, привлекателен и нигде не выглядит самодовлеющим; ткань рассказа расцвечена воспоминаниями разных людей, и события даются с разных точек зрения. Как и во всех романах, стремящихся передать дух 70-х годов (да и во многих написанных гораздо раньше), прием оказывается существенной частью содержания, и мастерство повествователя помогает раскрыть высокий гуманный смысл самого повествования.

ДЖОН ГАРДНЕР

◆

Из месяца в месяц

АРГЕНТИНА

Вот уже сорок лет не меркнет слава известной аргентинской киноактрисы, певицы и танцовщицы Либертад Ламарке. Знакома она и советским зрителям по фильмам «Белые розы для моей черной сестры» и «Улыбка мамы».

(Газета «Эль диа»)

БОЛГАРИЯ

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ КНИГИ ГОДА

Болгарская печать сообщает о присуждении премий Союза болгарских писателей за лучшие книги прошлого года. Премии удостоен известный поэт, дважды Герой Социалистического Труда, семидесятилетие которого недавно было широко отмечено в Болгарии, Младен Исаев. Это высокое отличие он получил за книгу воспоминаний «Незабываемое», исполненную, как писала критика, лиризма и поэзии (см. «ИЛ» № 2, 1977 г.).

Премия присуждена также Божидару Божилову за сборник «Американская тетрадь», рожденный впечатлениями во время пребывания поэта в Америке. Сборник, по словам критика А. Свиленова, не имеет ничего общего с беглыми туристическими зарисовками, это большая поэзия, которую отличает органический сплав лирических и гражданских чувств.

В области литературной критики премия присуждена Пенчо Данчеву за книгу «Черты гения» — о великом болгарском поэте-революционере Христо Ботеве и Ефрему Каранфилову за исследование «Самое болгарское время» о Захарии Стоянове. Как отмечает болгарская пресса, в обеих книгах авторов волнует вопрос о значении творчества и личности писателей-классиков для современности. И если П. Данчев сумел показать, что Христо Ботев продолжает жить в умах и сердцах современников, то Ефрем Каранфилов раскрыл современное звучание «Записок о болгарских восстаниях» как выдающегося произведения документальной литературы, которое отразило одно из важнейших событий в истории болгарского народа — Апрельское восстание 1876 г.

Лучшей книгой для детей признана книга Евтима Евтимова «Школа на вершине».

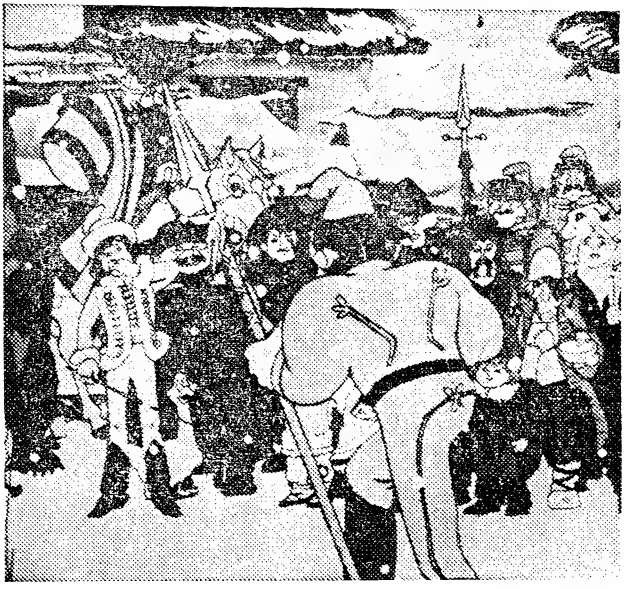
Состоялось также вручение премии «София». Лауреатом ее за творчество в целом стал видный писатель, дважды Герой Социалистического Труда Эмилиан Станев (см. «ИЛ» № 5, 1977 г.).

Ею отмечены также хорошо известные советским читателям поэтесса Лиляна Стефанова за сборник стихов «Недозволенная скорость» и прозаик Богомил Райнов за книгу «Элегия о мертвых днях», в которой он рассказывает о своем творческом пути.

ВЕНГРИЯ

НА ЭКРАНЕ — МАТИ ЛУДАШ

Мати Лудаш — известный герой одноименной сказки, воплотивший в себе черты благородного и доброго за-



На снимке: кадр из фильма «Мати Лудаш».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

щитника бедняков и угнетенных.

Мотив этой сказки еще в 1804 году положил в основу комической поэмы писатель Михай Фазекаш. В стихах, написанных гекзаметром, сочувственно и шутливо описал он приключения и уловки Мати, превосходящего недалекого помещика умом; драматически изобразил растущий в помещике страх перед простым крестьянским пареньком: трижды отомстил крестьянский парень Мати Лудаш своему спесивому помещику за избиение.

Поэма о находчивом и смекалистом юноше привлекла внимание современных венгерских кинематографистов, и в пятидесятых годах был создан художественный фильм, заглавную роль в котором сыграл известный венгерский актер Имре Шоош.

В настоящее время кинематографисты Венгрии снова обратились к этой поэме, но воссоздали ее уже в жанре мультипликационного фильма (авторы сценария Аттила Даргаи, Йожеф Непп, Йожеф Рамханьи).

Кинокритик Дердь Шаш отмечает на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика», что в теперешнем фильме его создателям удалось лучше сохранить тональность комической народной поэмы Фазекаша, передать фольклорные ее мотивы, бытовые подробности уклада венгерской жизни, а главное, верно воплотить характер Мати Лудаша, олицетворяющего идеал народного героя. Интересно, что фильм-поэма «Мати Лудаш» — уже второе детище венгерских мультипликаторов, посвященное легендарным героям венгерского народа. Первым был фильм «Витязь Янош», снятый по известной одноименной поэме Шандора Петефи.

Сейчас ведется работа над третьим аналогичным фильмом по поэме Яноша Араня «Толди». Таким образом, будет создана своеобразная кинотрилогия о народных героях Венгрии.

ВЕНЕСУЭЛА

ВЫСТАВКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРЫ

В залах Музея Эмилио Боггио в Каракасе организована выставка политической сатиры. На ней широко представлены карикатуры, плакаты, графические работы, созданные на протяжении последних 50 лет.

Газета венесуэльских коммунистов «Трибуна популар» отмечает, что карикатура как художественное оружие политической сатиры получила в стране широкое развитие еще с начала нынешнего века после прихода к власти диктатора Гомеса. В живой и остроумной форме художники-карикатуристы откликались на насущные проблемы страны. Большой вклад в развитие политической карикатуры внес художник Леонсио Мартинес (Лес), многие годы выпускавший сатирическое издание «Фанточе» («Марионетка»), где регулярно появлялись его рисунки, бичующие пороки буржуазного общества. Венесуэльские художники-карикатуристы наших дней продолжают лучшие традиции своих предшественников. Пером и кистью они борются за установление справедливого будущего.

ВЬЕТНАМ

ПАМЯТИ НГУЕН КОНГ ХОАНА

В Ханое на 75-м году жизни скончался Нгуен Конг Хоан (см. «ИЛ» № 8 за 1977 г.), внесший большой вклад в дело становления и утверждения вьетнамской реалистической прозы. Он родился в 1903 году в семье чиновника ведомства народного просвещения. После окончания педагогического училища в Ханое учительствовал вплоть до Августовской революции 1945 года. Первые свои произведения Нгуен Конг Хоан начал печатать еще в 20-е годы: в 1923 г. он издал на собственные средства (в то время многие литераторы только понаслышке знали об авторском гонораре) свою первую книгу — сборник рассказов «Судьба розовощекой красавицы», в котором еще сказывалась неопытность автора, но который уже отли-

чался остроумием и меткостью наблюдений, присущими прозе Нгуен Конг Хоана.

Подлинное литературное признание приходит к нему в начале 30-х годов, когда он завоевал популярность прежде всего как мастер коротких сатирических рассказов, которые он публиковал в разных журналах. До революции он создал более 200 рассказов, главным образом юмористических или сатирических, и в этом жанре ему нет равных среди вьетнамских писателей. Особой популярностью пользуются произведения, собранные в книге «Актер Ты Бен» (1935), ставшей подлинным событием в литературной жизни страны и настоящим триумфом писателя: восемнадцать газет и журналов приветствовали появление книги. Кроме того, этот сборник вызвал широкую дискуссию между критиками-марксистами, выступившими в защиту Нгуен Конг Хоана, и поборниками «чистого искусства». В период Демократического фронта (1936 — 1939) писатель сближается с коммунистами, а рабочие города Намдиня, где он жил в то время, выбрали его в профсоюзный комитет. Под их влиянием Нгуен Конг Хоан пишет роман «В тупике» (1938), который вызвал недовольство колониальных властей, запретивших роман и сославших автора на отдаленный остров в Тонкинском заливе. «В тупике» — один из первых реалистических романов во вьетнамской литературе, в нем Нгуен Конг Хоан изобразил крестьянина, приходящего к мысли о необходимости организованно бороться за свои права.

После победы Августовской революции 1945 года он много и плодотворно работает, возглавляет комитет по периодической печати в Ханое, публикует новые рассказы. Активно участвовал в войне Сопротивления против французских колонизаторов (1946—1954), в 1948 г. вступил в Коммунистическую партию Индокитая. После восстановления мира он возвращается в Ханой и создает сборник рассказов «Крестьяне и помещики» (1955), посвященный строительству новой жизни во Вьетнаме; в книге автором были широко использованы материалы крестьянских собраний, проводившихся в годы аграрной реформы. Значительные произведения Нгуен Конг Хоан создал и в жанре романа: «Полутень и полусвет» (1956), «Столпотворение» (1961), «Куча старого хлама» (том первый, 1963), мемуары «Моя жизнь в литературе» (1971), в которых он с присущей его сатире остротой показывает историческую обреченность ушедшего в прошлое колониально-феодального общества, изображает, как зреют силы народного протеста и революции.

Нгуен Конг Хоан долгое время был секретарем Правления Союза писателей Вьетнама, много сил отдавал воспитанию молодой литературной смены. Творчество Нгуен Конг Хоана хорошо известно советскому читателю, писатель неоднократно бывал в нашей стране (см. о встрече с ним в редакции журнала «Иностранная литература» — № 4, 1961 г.). Многие рассказы публиковались на русском языке в сборниках и журналах, в 1960 г. вышла книга его рассказов «Женщина — слабое создание» (Издательство иностранной литературы), а в 1973 г.— сборник «Заколдованная монета» (издательство «Художественная литература»).

ГДР

ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЯМИ

Газета «Берлинер цайтунг» поместила несколько интервью с писателями. Известный драматург и сценарист Гаральд Хаузер, недавно отметивший свое 65-летие, рассказал о многосерийном телефильме, работа над которым уже закончена. Действие фильма, в основу которого лег сценарий писателя, происходит в Австрии, Турции, Швейцарии, Федеративной Республике Германии. Главный герой — австриец, комиссар полиции. Раскрывая сложное преступление, он обнаруживает, что убийство связано с действиями целой группы бывших нацистов. В современность вновь вторгается трагическое прошлое времен гитлеризма. Писатель в своей работе использовал ряд подлинных документов.

В настоящее время Гаральд Хаузер работает над книгой «Надина и немец», о взаимоотношениях молодых людей — юной француженки и немецкого солдата — во время второй мировой войны. «Я был сам участником Сопротивления,— сказал писатель,— много пережил, много знаю о том времени. Тема войны, Сопротивления остается главной темой моего творчества. Она

Режиссер Вольфганг Людерер по сценарию Евы Штайн создал девятисерийный телевизионный фильм «По морю». «В этом фильме о жизни моряков торгового судна много проблем, общих для всех наших современников,— сказал в интервью газете «Нойес Дойчланд» исполнитель главной роли капитана Карстена известный актер Хорст Дринда.— Я считаю, что авторам фильма удалось показать нелегкую жизнь моряков, их труд, их самоотверженность. В фильме много юмора, веселых эпизодов, хотя по существу своему он очень серьезен».

С большой рецензией, отмечающей достоинства фильма, выступил рецензент еженедельника «Зонтаг».

На снимке: кадр из телевизионного фильма «По морю».

(Газета «Нойес Дойчланд»).

не потеряла актуальности и в наше время».

На вопрос корреспондента, почему он, автор известных пьес, не выступает в этом жанре, Хаузер ответил: «Я собираюсь написать сатирическую пьесу, но для этого мне нужно время. Я ведь веду большую общественную работу: руковожу кружком пишущих рабочих, пишу для радио, участвую в дискуссиях».

Роман Гюнтера Гёрлиха «Возвращение в чужую страну» и телевизионный фильм по этому роману пользуется большой популярностью у читателей и зрителей (см. «ИЛ» № 1, 1977 г.).

Сейчас писатель работает над романом, материал которого ему дала работа педагога в профессиональных школах. «Как и в «Возвращении в чужую страну», это начало пятидесятых годов,— сказал Гёрлих,— время становления молодого государства. Кроме того, я пишу рассказ, где пытаюсь затронуть ряд этических и моральных проблем. Сюжет рассказа — необычная смерть необычного человека, смерть, которая заставляет друзей, учеников, товарищей по работе о многом подумать, многое переосмыслить...»

Драматург Гельмут Байерль (см. «ИЛ» № 7, 1964 и «ИЛ» № 8, 1975) работает над сатирической комедией, название которой — «Рантье должны путешествовать». В пьесе рассказывается о пожилом человеке, жителе ГДР, который впервые попадает в Федеративную Республику Германию. Многое ему там кажется странным, что создает фарсовые ситуации.

«Кроме того, я собираюсь написать пьесу о нашей сельской жизни. Прошлым летом я нанялся на работу в бригаду комбайнеров. Они сначала отнеслись ко мне очень недоверчиво, но потом, когда я стал работать наравне с ними, они уже считали меня своим человеком. Мы очень подружились, и мне почти не приходилось их спрашивать — они сами мне много рассказывали и сами задавали вопросы. Думаю, что я довольно хорошо изучил ту жизнь, о которой будет моя пьеса, и образы людей получатся достаточно правдивыми».

О своей книге «Красная площадь и вокруг нее» рассказал Уве Кант: «С большим волнением я ждал ее появления. Книга рассчитана на детей, но я надеюсь, что ее будут читать и взрослые. Это личные впечатления о путешествии в Советский Союз. Я очень благодарен оформителю Манфреду Бофингеру за прекрасные иллюстрации, очень обогатившие книгу.

Сейчас я продолжаю работать над разными историями, которые войдут в «Ежегодник для детей», и над новой большой книгой для юных читателей, которую я давно задумал, но на которую все не хватает времени...»

ФРГ

«ТЕМА — ЖИЗНЬ НАШЕГО ОБЩЕСТВА»

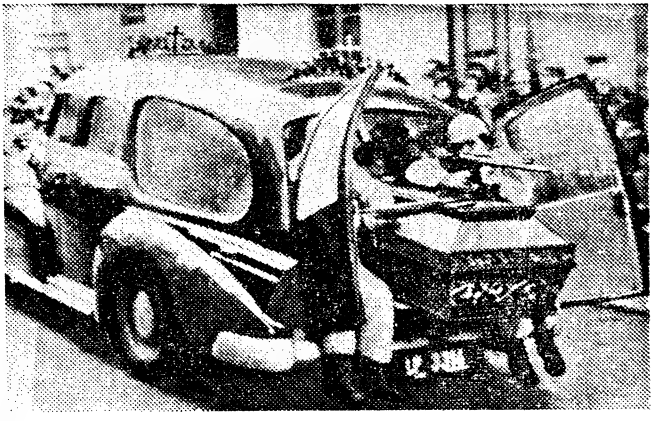
В небольшом западногерманском городке Хоер Майснер, сообщает корреспондент газеты «Унзере цайт», состоялась в мае восьмая встреча членов творческого объединения рабочих-писателей «Мастерские рабочей литературы». В центре дискуссии, продолжавшейся четыре дня, стоял вопрос об общественном значении деятельности объединения, о том, как привлечь к себе широкий круг читателей. Выступавшие высказывали мысль о том, что последствия кризиса, охватившего все сферы жизни буржуазного общества, должны стать одной из важнейших тем рабочей литературы. «Наши представления о том, как должно искусство воздействовать на массы, тесно связаны с нашими программными заявлениями, в которых подчеркивалось, что мы стремимся изменить это общество в интересах людей труда».

В выступлениях также подчеркивалась мысль о необходимости повышать художественный уровень произведений в интересах взыскательной читательской аудитории. Много места было уделено также практическим вопросам издания книг. Впервые участники встречи выработали перспективный план работы для всей организации.

Во встрече принял участие советский драматург Игнатий Дворецкий.

По указанию посольства ФРГ в Канаде представители института Гёте в Оттаве вычеркнули из своей программы демонстрацию фильма «В стране царит спокойствие». В этом фильме известный западногерманский режиссер Отто Лилиенталь рассказывает об убийствах и терроре, проводимых военной диктатурой в одной из латиноамериканских стран, под которой явно подразумевается Чили.
На снимке: кадр из фильма «В стране царит спокойствие».

(Журнал «Шпигель»)



ГРЕЦИЯ

РОМАН О МАКСИМЕ ГРЕКЕ

В Афинах в издательстве «Дифрос» вышел в свет новый роман Мицоса Александропулоса «Сцены из жизни Максима Грека». Роман повествует о жизни в России видного греческого мыслителя-гуманиста, литератора и ученого-переводчика, который сыграл заметную роль в истории русской культуры XVI—XVII вв. В своих откликах на публикацию романа греческая пресса приветствует это новое художественное свидетельство традиционных культурных связей между Россией и Грецией. «Роман подкупает своим зрелым мастерством и достоверностью,— пишет газета «Авги».— Это новый значительный вклад в греческую литературу».

Достоверность повествования, основанного на глубоком знании исторических документов, подчеркивает и газета «Рицоспастис»: «Роман Мицоса Александропулоса воссоздает целую эпоху. Исторический документ и авторский вымысел органично дополняют друг друга, мы как бы ощущаем пульс далекого от нас времени, наблюдаем его движение, воплощенное в жизни персонажей романа. Их яркие характеры можно отнести к числу самых больших удач греческой прозы.

Образ главного героя — Максима Грека — раскрывается автором без какой бы то ни было идеализации. Это человек своей эпохи, не свободный от заблуждений, слабостей и противоречий. Но главное в его облике — непреклонное служение идеалам гуманизма, последовательная борьба с несправедливостью и невежеством. Поставленная автором проблема просвещенного сознания, проблема долга художника перед обществом, к которому он принадлежит, придает роману особую актуальность и духовную значительность. Нет сомнения, что «Сцены из жизни Максима Грека» займут видное место в новогреческой прозе».

Греческий режиссер Михалис Какоянис поставил фильм «Ифигения», в основу сценария легла одноименная трагедия Еврипида. Пресса высоко оценивает работу режиссера. На снимке: Ирена Папа и Костас Казакос в фильме «Ифигения».

(Журнал «Фильм»)

ЕГИПЕТ

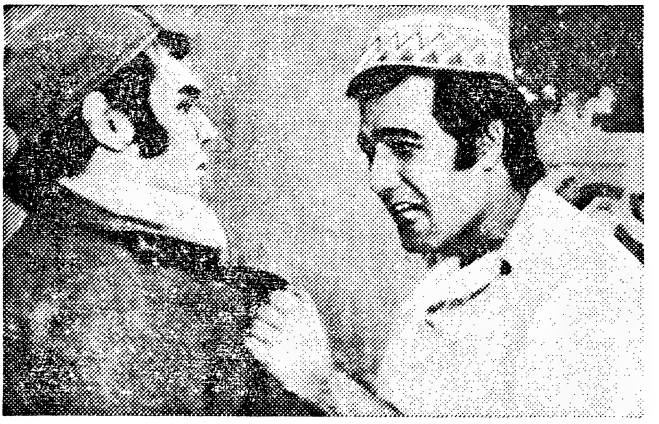
«КОРИФЕИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ»

Редакция египетского журнала «Аль-Хиляль» выпустила специальный номер «Корифеи востоковедения», который знакомит арабских читателей с историей и современным состоянием европейской востоковедческой науки, а также ее некоторыми выдающимися представителями, жившими в XIX и XX веках. Материалы, помещенные в номере, подготовлены видными египетскими учеными-историками, филологами и литературоведами.

Отдельные статьи посвящены знаменитому голландскому востоковеду XIX века, автору классических трудов по истории и литературе мусульманской Испании Рейнхардту Дози, его соотечественнику, исламоведу Венсинку, выдающемуся английскому востоковеду первой половины прошлого столетия Эдварду Лэну, испанскому историку мусульманской философии Мигелю Асину Паласиосу, немецкому ориенталисту XIX века Густаву Флюгелю, его соотечественнику, автору фундаментальной «Истории арабской литературы» Карлу Брокельману и крупнейшему специалисту по арабской астрономии итальянцу Карло Альфонсо Наллино.

Особый интерес представляет статья египетского ученого-филолога доктора Мухаммеда Абд аль-Мунима аль-Хафаджи «И. Ю. Крачковский и арабская географическая литература», посвященная крупнейшему русскому советскому ученому-арабисту.

«Крачковский был,— пишет аль-Хафаджи,— одним из патриархов востоковедения XX века и самым близким из всех ученых-востоковедов по своему духу и мыслям к арабской культуре и ее великому, бессмертному наследию». В статье



На экранах арабских стран с успехом демонстрируется египетский фильм «Лжец», поставленный режиссером Салахом Абу Сейфом по сценарию писателя Салеха Мурси. По свидетельству арабской прессы, «Лжец» — политический фильм, разоблачающий египетскую буржуазию, захватившую руководство предприятиями государственного сектора и беззастенчиво грабящую их под прикрытием лживых разговоров о благе государства.
На снимке: кадр из фильма «Лжец».

(Газета «Аль-Джумхурия»)

отмечается, что Крачковский за пятьдесят лет своей научной деятельности создал 450 трудов, охватывающих практически все области арабо-мусульманской культуры.

Аль-Хафаджи рассказывает о жизни и основных направлениях научной деятельности И. Ю. Крачковского, особенно подробно останавливаясь на его фундаментальном труде «Арабская географическая литература». Египетский ученый называет эту книгу «единственной в своем роде научной энциклопедией, подобной которой не создавалось прежде».

В статье особо отмечается, что Крачковский был пионером в деле изучения новой арабской литературы (XIX—XX вв.), которой до него европейские востоковеды пренебрегали.

Останавливается аль-Хафаджи и на переводческой деятельности Крачковского — ему принадлежит перевод на русский язык Корана, автобиографической повести современного египетского писателя Тахи Хусейна «Дни», многих поэтических и научных произведений.

ИНДИЯ

ПЕРВЫЙ ТАМИЛЬСКИЙ РОМАН О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Популярный журнал «Мангей», выходящий на тамильском языке и распространяемый в Индии и Шри Ланка, из номера в номер печатает новый роман известной тамильской писательницы, лауреата международной премии им. Джавахарлала Неру — Раджам Кришнан «Материнская земля». Это первый роман о Советском Союзе.

В романе рассказывается о двух индийских журналистах, прибывших в СССР с культурной миссией. Их впечатления о поездке по стране, теплые встречи с советскими людьми в городах различных республик составляют сюжет повествования.

Героев романа многое поражает в СССР, особенно жизнь в республиках, где разрешена проблема развития национальных языков, все еще остро стоящая в многонациональной Индии. Искреннее восхищение у индийских журналистов вызывает доступность образования для всего населения в СССР, хорошая организация здравоохранения и высокий уровень искусства, гуманистического по своему характеру. «В этой великой стране, над которой никогда не заходит солнце, царит небывалое единство народов. Столько языков, нравов и наций, и они все — единое целое. Вот кавказец Авакьян. Всю жизнь — среди русских, он здесь как дома... Или этот студент с берегов Тихого океана... Да, одна страна, общие цели, единая семья»,— размышляет индиец Сингх.

С большой эмоциональностью и теплотой передает Раджам Кришнан переживания своих героев. Рассказ о событиях на Дворцовой площади в октябре 1917 г. воскрешает в памяти героев романа историю национально-освободительной борьбы в Индии. Героическая оборона города Ленина во время Великой Отечественной войны вызывает поток воспоминаний у индийцев о своих соотечественниках, сражавшихся в годы второй мировой войны против гитлеровской Германии.

«Я посетила Советский Союз в Международный год женщин и воочию убедилась, какое высокое положение занимают там женщины, каким уважением и заботой окружены они и их дети. Меня как женщину это глубоко взволновало, я постаралась донести эти чувства до моих читателей»,— пишет Раджам Кришнан в предисловии к роману «Материнская земля».

ИТАЛИЯ

МОНТАЛЕ-КРИТИК

«Не удивляйтесь, что может существовать творческая личность, работающая в двух столь разных сферах, как лирика и литературная критика...» — писал в 1926 году поэт Эудженио Монтале в письме к писате-

лю Итало Свево. Действительно, как это широко известно, Монтале на протяжении многих десятилетий совмещал поэтическое творчество с трудом критика, в высшей степени чуткого и внимательного, активно следившего за современной литературной жизнью. Как критик он всегда отличался не только тонким вкусом, но и высоким профессионализмом и уравновешенностью в суждениях и оценках.

В издательстве «Мондадори», сообщает газета «Унита», вышел в свет большой том «О поэзии», куда включены многие рецензии, эссе, статьи, написанные Монтале о стихах — своих и чужих. За этим томом последует второй, в него войдет то, что поэт писал о прозе и музыке. Составитель сборника — Джорджо Дзампа, который до того подготовил том переписки «Свево — Монтале». Эти издания дополнят уже вышедшие в свет поэтические сочинения Монтале в пяти книгах.

По своему составу сборник «О поэзии» весьма пестрый. В нем содержатся как статьи теоретического характера, так и предисловия, интервью поэта, его комментарии к собственным произведениям, статьи об итальянских и иностранных поэтах. Сборник позволяет глубже познакомиться с творчеством самого Монтале и вместе с тем рисует обширную панораму поэзии первой половины нашего века. Здесь статьи и рецензии — удивительно емкие и содержательные — об итальянцах К. Сбарбаро, У. Сабе, С. Квазимодо, А. Гатто, А. Бертолуччи, Д. Кампане, К. Говони, К. Реборе, С. Сольми, Дж. Унгаретти, В. Серени, Н. Ризи, а также Т. С. Элиоте, Э. Паунде, У. Одене, Ш. Бодлере, С. Малларме, П. Валери и многих других зарубежных поэтах.

ВЫДАЮЩЕЕСЯ СОБЫТИЕ

Почти одновременно в двух разных уголках Италии состоялись церемонии открытия монументов, каждый из которых — выдающееся событие как в художественном, так и в политическом смысле.

В 40-ю годовщину со дня смерти основателя Итальянской коммунистической партии Антонио Грамши у него на родине в городке Алес на острове Сардиния был открыт в торжественной обстановке монумент, увековечивающий память об этом великом сыне итальянского народа. Автор монумента — скульптор Джо Помодоро.

На Севере Италии, в городе Бергамо, воздвигнут другой памятник — в честь павших партизан — героев движения Сопротивления. Его открытие было приурочено к годовщине всенародного вооруженного восстания, начавшегося на Севере 25 апреля 1944 года и увенчавшегося изгнанием гитлеровских оккупантов. Автор этого памятника—Джакомо Манцу. В бронзе запечатлен трагический образ, который скульптор носит в памяти со дня Освобождения: здесь, в Бергамо, он увидел тогда повешенного за ноги партизана (так фашисты расправлялись со своими жертвами), а рядом оплакивающую его подругу. Итальянская печать уделяет большое внимание обоим скульптурным памятникам — важным произведениям современного итальянского прогрессивного искусства.

На фото: деталь монумента в Бергамо.

(Газета «Унита»)

КАМЕРУН

НОВЫЙ РОМАН ФРАНСИСА БЕБЕЯ

В столице страны Яунде в издательстве «СЛЕ» вышел роман известного камерунского писателя Франсиса Бебея «Король Альбер Эффидийский». Бебей знаком

советскому читателю по предыдущим его романам, переведенным на русский язык: «Сын Агаты Мудио» (в 1968 году награжден Литературной премией Тропической Африки) и «Кукла Ашанти».

Действие новой книги происходит в деревне Эффиди, расположенной недалеко от большого города, в пятидесятые годы, незадолго до достижения страной независимости. В центре повествования — торговец Альбер. Он имеет лавку в городе, где живут европейцы, а потому считает себя выше других жителей деревни. Тщеславие его становится еще большим, когда по деревне проходит слух, что в одной из европейских стран есть король по имени Альбер, и односельчане в знак шутливого почтения начинают звать его «король Альбер».

Франсис Бебей показывает в своем романе хотя и не оторванный от мира, но тем не менее довольно замкнутый мирок Эффиди, живущей обыденными мелкими заботами и далекой, несмотря на близость большого города, от политической жизни страны. Здесь — мелкий чиновник Бикуну, чье социальное превосходство над односельчанами выражается в обладании мотоциклом; молодой щеголь Фефе, пытающийся следить за парижской модой; крестьянин Тутуна, наивно считающий Альбера капиталистом, поскольку слышал это слово от знакомых рабочих; Мириам, которая имеет репутацию врача, потому что учится на курсах санитарок.

«Король Альбер Эффидийский», по мнению рецензента журнала «Жён Африк» Жака Винеса, продолжает главную тему творчества Бебея — бытописание, рассказ о простых людях Камеруна. Спокойное повествование Франсиса Бебея, отмечает он, может очень много дать для понимания сложных процессов сегодняшней Африки, хотя в Эффиди, живущей «на стыке двух цивилизаций», вроде бы ничего и не происходит, «ибо его приглушенный смех язвительней многих памфлетов».

КАНАДА

«ЛИСА-ПРИЗРАК»

Джеймс Хьюстон, автор бестселлера «Лиса-призрак»,— большой знаток культуры и быта коренного населения Канады: индейцев и эскимосов. Еще в пятидесятые годы Хьюстон, будучи губернатором острова Вест Баффин, первым стал организовывать в Монреале обширные выставки эскимосской скульптуры, привлекая к ней внимание общественности. Хьюстон — художник, иллюстратор, автор детских книг — всегда с большим вниманием и уважением относился к судьбам коренных жителей Канады и их культуре. Его нашумевший шесть лет назад роман «Белый рассвет» был посвящен жизни эскимосов.

В новом романе «Лиса-призрак» Джеймс Хьюстон обращается к пятидесятым годам восемнадцатого века. Молодую женщину, дочь фермера Сару Уэллс, похищают индейцы. После множества испытаний, когда она уже имеет возможность сделать выбор, она остается в индейском племени добровольно. Усваивает местные обычаи, язык, находит себе мужа, у нее рождается ребенок. С индейцами-абнаки Сара впервые познает счастье любви и единения с природой. Но идиллия нарушается. Сначала белый торговец продает индейцам виски, превращая большинство из них в беспробудных пьяниц, потом племя истребляют английские солдаты. Сара возвращается к белым людям, но она стала им чужой, душой она навсегда принадлежит индейцам.

Акценты в романе расставлены совершенно определенно: правда и человеческое достоинство на стороне индейцев, а белые показаны писателем жестокими завоевателями, они-то и есть подлинные дикари. Конец романа символичен — перед Лисой, как прозвали Сару индейцы за ее рыжие волосы, предстает призрак ее погибшего мужа и уводит ее искать свободу, «туда, где никто еще не зажигал своего костра». В то же время Джеймс Хьюстон сознает, что такие поиски свободы иллюзорны, уже не осталось на земле Канады места, где индейцы могли бы вести прежнюю жизнь.

МОНГОЛИЯ

В МУЗЕЕ Д. НАЦАГДОРЖА

Новыми экспонатами пополнилась экспозиция улан-баторского музея Д. Нацагдоржа — известного писателя, одного из основоположников современной монгольской литературы, чье 70-летие было широко отмечено в 1976 году. Среди них подлинные вещи писателя, редкие сутры, исторические сочинения, которыми пользовался он в своих научных занятиях. Музей обогатился новыми картинами монгольских художников, в том числе пейзажами, зарисовками, сделанными на родине писателя, иллюстрациями к его произведениям. Значительно пополнилась и библиотека музея, составленная из книг Нацагдоржа, переведенных на многие иностранные языки.

ПАНАМА

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В Панаме с успехом прошла национальная выставка книжной продукции. Выступая на ее открытии, генеральный директор Института культуры Панамы Хайме Инграм подчеркнул необходимость защиты культурных ценностей от проникновения империалистической идеологии и наплыва так называемой «массовой культуры», ничего общего с творчеством не имеющей и предназначенной для одурачивания самых широких слоев населения. Одним из эффективных средств защиты культурного достояния страны является изда-

тельская деятельность. Перед полиграфистами и издательскими работниками Панамы стоит трудная задача — развить книгопечатание в стране, где все еще приходится импортировать большую часть оборудования и основную массу бумажного сырья. Но эта задача становится тем более почетной, поскольку в ходе успешного осуществления кампании по ликвидации неграмотности появляются все новые и новые читатели, с нетерпением ожидающие книг, изданных у себя на родине. Генеральный директор Института культуры Панамы обратился ко всем заинтересованным сторонам — писателям, журналистам, библиотечным работникам, государственным и профсоюзным организациям — с призывом всемерно способствовать проведению в стране «книжной революции». В целях развития национальной литературы Институт культуры Панамы учредил премию имени Рикардо Миро, которой отмечаются лучшие авторы года. Лауреатами 1976 года стали Рафаэль Парнетт Моралес (роман «Эти руки созданы, чтобы ходить»), Хуан Дальвера (сборник стихов «Поэмы в белом»), Эрнесто Эндара (рассказ «Закрыто из-за дуэли»), Хосе Франко (пьеса «Барабанная дробь на рассвете») и Роберто де ла Гуардиа (очерк «Негры в истории Панамы»).

В Варшаве в Национальном театре на Малой сцене с большим успехом идет спектакль «Эта Габриэля!..», поставленный Анджеем Лапицким. В основу спектакля легли письма и воспоминания Габриели Запольской, известной польской писательницы конца XIX и начала XX века (ее пьеса «Мораль пани Дульской» с успехом шла на советских сценах). Жизнь Габриели Запольской, талантливой актрисы, ставшей впоследствии писательницей, была полна драматизма. Как отмечает пресса, роли Запольской и ее мужа блестяще сыграны актерами Ирэной Эйхлерувной и Анджеем Лапицким (на фото).

(Журнал «Театр»)

ПОЛЬША

КНИГА О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ

В издательстве «Искры» в Варшаве вышла книга «Феликс Дзержинский», автор книги Ян Собчак.

В межвоенной Польше буржуазная печать всячески чернила деятельность Феликса Эдмундовича Дзержинского, тем интереснее, как пишет рецензент «Новых ксёнжек» Раймунд Чесьлиньский, польскому читателю познакомиться с жизнью и деятельностью замечательного революционера, на долю которого выпала благородная миссия защиты первого в мире молодого государства рабочих и крестьян от его внешних и внутренних врагов.

В книгу включены письма Дзержинского к жене и близким, а также воспоминания его соратников о нем.

«Какое счастье,— писал о нем Мартин Лацис,— что председателем ВЧК был Феликс Дзержинский. Это был кристально чистый человек, преданный делу революции, человек, обладавший исключительно сильной волей, не отступающий перед любыми препятствиями, никогда не заботившийся о себе».

И во время революции, и в годы создания молодого Советского государства Дзержинский был на самых ответственных участках работы. «Его обязанности были столь многообразны,— говорит автор книги,— что их перечисление не уместилось бы на одной странице. О многообразии заданий, которые доверялись ему большевистской партией, свидетельствует назначение его в январе 1921 года, когда в Советской России насчитывалось пять миллионов сирот, председателем комиссии по улучшению быта детей».

«На протяжении всей своей жизни,— пишет Ян Собчак,— во время революции, а позднее с образованием Советского государства, Дзержинский был неутомимым связным между революционной Россией и Польшей».

«Ян Собчак,— отмечает рецензент,— поставил перед собой смелую задачу: создать портрет Дзержинского, передать его мысли, взгляды, мотивы тех или иных поступков, и, надо сказать, это ему удалось».

США

«ФАЛЬКОНЕР» ДЖОНА ЧИВЕРА

После знакомого читателям (см. «ИЛ» № 7—8, 1970) романа «Буллет-Парк» Чивер писал только рассказы, поэтому его новое обращение к жанру романа стало приметным событием в американской литературе последнего времени.

Действие романа Чивера происходит в тюрьме Фальконер, куда попадает по обвинению в непредумышленном убийстве его герой — немолодой, весьма обеспеченный человек, профессор университета, типичный для книг Чивера «благополучный» средний американец, которого тяготит и побуждает к бунту само его бездуховное, механическое благополучие, оборачивающееся бескрайней скукой быта и болезненной изоляцией от жизни в ее истинной сложности и трагизме.

В тюрьме Эзекиль Фаррагат открывает для себя эту истинную жизнь, и роман Чивера — это прежде всего история слишком позднего духовного прозрения человека, разменявшего бунтарские идеалы своей юности на «процветание», требующее приспособления к убогим нравственным понятиям потребительского общества. Попав в Фальконер, Фаррагат лицом к лицу сталкивается с предельным ожесточением людей друг против друга, с садизмом надзирателей, отчаянием и озверением поднадзорных, и ему открывается та подлинная — трагическая — сторона американской действительности, от которой он заботливо изолировал себя, пока жил бестревожной, не требующей никакой ответственности жизнью преуспевшего обывателя. Герой Чивера старается выжечь в самом себе воспитанный всей системой ценностей, существующей в потребительском обществе, комплекс трусливого и постыдного равнодушия к окружающему миру с его трагедиями, комплекс «постороннего», эгоиста, отупевшего в самодовольстве мещанина.

Рецензент журнала «Нью-Йорк ревью оф букс» Р. Тауэрс находит сцены тюремного быта самыми сильными в новом романе Чивера, расценивая его как еще одно свидетельство больших возможностей писателя — социального критика, чуткого к наиболее тягостным, драматическим коллизиям американского общества. «Прототипом» тюрьмы, описанной Чивером, полагает критик, была тюрьма Аттика, где четыре года назад произошло восстание заключенных, доведенных до отчаяния зверствами тюремной администрации.

Тауэрс отмечает большую остроту нравственной проблематики, связанной с главным героем «Фальконера», и оценивает книгу как явление во многом новое для творчества Чивера, хотя писатель верен своей магистральной теме «потребительства» и его уродливых последствий для личности. Новое, по его мнению, в том, что последний роман Чивера почти полностью лишен привычного для читателей цикла об Уопшотах и новелл из сборников «Исполинское радио» и «Ангел на мосту» лиризма, мягкой иронии, поэтичности. В «Фальконере», пишет рецензент, «преобладает атмосфера бескрайней загрязненности», и именно она необходима Чиверу для избранной им темы. Автор не видит никаких перспектив для своего персонажа; Фаррагат так и остается человеком со сломленной судьбой, и его история как бы подтверждает мысль, к которой не раз уже возвращался Чивер в своих произведениях,— о том, что человек едва ли вправе полагать, будто сам устраивает свою судьбу и свободен в выборе своей жизненной дороги. Фаталистические настроения, дававшие о себе знать уже и в «Буллет-Парке», в новом романе заметно усиливаются. Вместе с тем, заключает свою рецензию Р. Тауэрс, справедливо было бы рассматривать новую книгу Чивера как значительное явление социальной реалистической литературы США наших дней.

ФРАНЦИЯ

«РЕДАКЦИЯ» РОЖЕ ГРЕНЬЕ

Роже Гренье получил премию «Фемина» за повесть «Кинороман» (перевод на русский язык опубликован в журнале «Знамя»), затем издал ряд сборников новелл. За сборник «Зеркало вод» ему была присуждена премия Французской Академии. Название нового сборника— «Редакция» — определяет главную его тему: труд журналиста. Многое в нем почерпнуто из воспоминаний писателя о его журналистской работе в газетах «Комба» и «Франс суар».

В «Редакции» Роже Гренье создан ностальгический, горький и сочувственный «портрет» этого ремесла, пишет Франсуа Ботт в «Монд». Почти все персонажи книги — журналисты и репортеры — отмечены печатью усталости, разочарования, удрученности.

По мнению Клода Прево в «Юманите», Роже Гренье разоблачает ту прессу, где на первой полосе всегда даются сообщения о кровавых событиях, прессу, похожую на кривое зеркало, ибо трагедия мира отражена в нем в искаженном виде.

В новеллах показаны и лихорадочный темп жизни парижского квартала, где размещены редакции газет, и провинция, где жизнь будто остановилась. Во многих из них в этот узкий круг бытия вторгается история: война в Испании, поражение 1940 года, события в Греции, в Китае — век революций и войн.

Свою статью о книге Роже Гренье Клод Прево назвал «Самый французский из американских писателей». В этих новеллах, пишет критик, явственно выступила преемственность, которая связывает Гренье с американскими писателями периода между двух войн: с Фолкнером, Фиц-

джеральдом и особенно с Хемингуэем. Ему посвящена новелла «Прощание с мертвыми». О родстве манеры Гренье с творчеством этих американских писателей свидетельствует постоянно присутствующая в его новеллах атмосфера трагического разочарования, приглушенной жестокости, грубости каждодневной жизни. Маленькие трагедии, о которых рассказывает Гренье, тем сильнее воздействуют на читателя, вызывая у него тревогу и сострадание, чем прозрачнее и сдержанней язык писателя. Однако явное влияние американской прозы на мастерство Гренье нисколько не умаляет его национального характера, оригинальности и глубины его поиска, заключает критик.

На снимке: сцена из спектакля «У нас».

(Газета «Ню даг»)

ШВЕЦИЯ

СПЕКТАКЛЬ О ГАЗЕТНОМ БИЗНЕСЕ

В Стокгольме с большим успехом прошла премьера спектакля «У нас», поставленного Королевским театром «Драматен». Действие пьесы Андерса Энмарка и Пера Улафа Энквиста разворачивается в редакции одной из крупнейших скандинавских газет.

«События, происходящие на сцене, настолько правдивы и лишены театральной условности, что барьер между актерами и зрителями почти невидим»,— отмечает театральный обозреватель газеты «Ню даг». Действующие лица пьесы — сотрудники редакции, репортеры, редакторы, технический персонал — люди разных политических взглядов и симпатий. Но объединяет их одно: все они — от курьера до главного редактора — послушные исполнители чужой воли. С едким, беспощадным юмором спектакль разоблачает механизм буржуазной пропаганды, высмеивает разрекламированный миф о свободе печати, которая, по словам одного из персонажей, заключается в «свободе» умалчивать факты, невыгодные для репутации власть имущих — крупных монополистов, «черных» бизнесменов или попросту говоря владельцев порнографических изданий, нелегальных клубов, торговцев наркотиками.

В обществе, где пресса подчинена жестким законам коммерции, профессия журналиста становится искусством «делать из мухи слона» или наоборот. Поэтому объектив журналистов прежде всего и нацелен на «черную» хронику — скандальные происшествия с криминальными развязками, на знаменательные события частной жизни королевских особ и поп-идолов. В постоянной погоне за сенсацией газета часто забывает или намеренно умалчивает о серьезных политических событиях.

В этом плане иллюстративен образ одного из главных действующих лиц пьесы — журналиста Вирена, который в один присест может «накатать» вдохновенный репортаж о любовной драме с трагическим финалом или описать «эффектное» убийство.

Цинично формулирует свое кредо другой журналист: «Мы, газетчики, обязаны дать читателю то, чего он хочет. Единственная наша задача — любой ценой поднять тираж!»

«Остроумный и талантливый спектакль,— заключает рецензент, — характеризует ситуацию, типичную для шведского газетного бизнеса».

◆

Авторы этого номера

■

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР — ALEJO CARPENTIER (род. в 1904 г.).

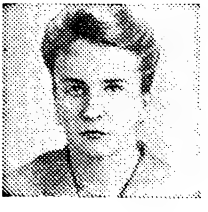
Кубинский писатель, литературовед, искусствовед. Депутат Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба. Вице-президент Союза писателей и деятелей искусств Кубы. Лауреат ряда литературных премий. В настоящее время — посланник-советник посольства Кубы во Франции.

Автор романов и повестей, переведенных на многие языки мира, в том числе на русский — «Царство земное» (1949), «Потерянные следы» (1953), «Век Просвещения» (1962), сборника рассказов «Война времени» (1958), книги «Музыка Кубы» (1946). Его перу принадлежат также романы «Экуэ Ямба-О!» («¡Ecué Yamba-O!», 1933), «Концерт Барокко» («Concierto Barocco», 1974) и другие произведения.

В журнале «Иностранная литература» опубликованы его статья «Значение Льва Толстого для Латинской Америки» (№ 11, 1960), повесть «Погоня» (№ 8, 1974).

Роман Алехо Карпентьера «Превратности метода» («El recurso del método») печатается нами — в журнальном варианте — по гаванскому изданию, вышедшему в свет в конце 1974 года. Вступление автором романа написано для журнала «Иностранная литература».

■



БЫЛИНКИНА МАРГАРИТА ИВАНОВНА.

Советский литературовед и переводчик с испанского, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки АН СССР. Автор монографии «Особенности испанского языка в Аргентине» (1968) и статей по испано-американской филологии. В ее переводе опубликованы романы «Смерть Артемио Круса» К. Фуэнтеса, «Когда хочется плакать, не плачу» М. Отеро Сильвы, «Зеленый Папа» и «Сеньор Президент» (II ч.) М. А. Астуриаса, «Темная река» А. Варелы, произведения Х. Кортасара, Х. Рисаля и др.

■

В подборке стихов «Из современной политической поэзии ФРГ» представлены:

ПЕТЕР ШЮТТ — PETER SCHÜTT (род. в 1939 г.).

Немецкий поэт, один из основателей «Мастерских рабочей литературы» («Werkkreis Literatur der Arbeitswelt»). Секретарь Демократического Культурбунда ФРГ. Живет в Гамбурге. Автор книг стихов и публицистических очерков: «Прямым путем в семидесятые годы» («Sicher in die siebziger Jahre», 1969), «Правила кулачного боя для классовых бойцов» («Faustregeln für Klassenkämpfer», 1970), «Предложения мира» («Friedensangebote», 1971) и др.

Публикуемые стихи взяты из книг: «К вопросу о положении нации» («Zur Lage der Nation», 1974) и «Политическая лирика ФРГ и Западного Берлина» («Denkzettel. Politische Lyrik aus der BRD und Westberlin», 1974).

■

ПЕТЕР МАЙВАЛЬД — PETER MAIWALD (род. в 1946 г.).

Немецкий поэт. Изучал театроведение, германистику, социологию. Стихи П. Майвальда публикуются в прогрессивной периодической печати ФРГ. Живет в г. Нёйс, около Дюссельдорфа.

Предлагаемые стихи были напечатаны в еженедельнике «Зоннтаг» (ГДР) и в журнале «Кюрбискерн» (ФРГ).

■

ДИТРИХ КИТТНЕР — DIETRICH KITTNER (род. в 1935 г.).

Немецкий поэт и прозаик, автор и исполнитель сатирических песен и рассказов; нередко выступает с собственной программой «театра одного актера». Выпустил несколько сборников сатирических рассказов; сотрудничает на радио и телевидении. Живет в Ганновере. Его памфлеты публиковались в «Иностранной литературе» (№ 2, 1977). Недавно в ГДР издана новая книга «(Зоо)логический сад Киттнера» («Kittners (zoo)logischer Garten», 1977), где собраны его политические песни, сцены, рассказы для сатирического театра одного актера.

Стихотворение «Пришел наш час» взято из книги «Политическая лирика ФРГ и Западного Берлина».

РИХАРД ЛИМПЕРТ — RICHARD LIMPERT (род. в 1922 г.).

Немецкий поэт и прозаик, один из основателей «Мастерских рабочей литературы». Живет в Гельзенкирхене. Автор книг: «Я вижу людей...» («Menschen seh ich...», 1970), «Об Эрихе» («Über Erich») и других.

Стихотворение «Цена места» было напечатано в книге «Политическая лирика ФРГ и Западного Берлина».

АРТУР ТРОПМАН — ARTUR TROPPMANN (род. в 1930 г.).

Немецкий поэт, участник «Мастерских рабочей литературы». Живет в Мюнхене. Автор сборника стихов «День получки» («Zahltag», 1975), сборника очерков «Жильцы из 30-го дома» («Die Leute aus dem 30-em Haus», 1976) и др. книг.

Стихотворение «Правописание» было напечатано также в журнале «Нойе дойче литератур» (ГДР), № 8, 1976.

(Подробнее об этих поэтах — во вступительной статье А. Гугнина.)

ВИТКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1950 г.).

Советский поэт-переводчик, литературовед. Переводил стихи Джона Китса, Райнера Марии Рильке, Теодора Крамера, Эйса Криге и др. В «Иностранной литературе» печатались его переводы Пауля Целана, Гюнтера Айха, Ингрид Йонкер и др.

ВИТИ ИХИМАЭРА (род. в 1944 г.).

Новозеландский писатель. Принадлежит к племени ронговоката. В 1971 г. окончил Веллингтонский университет, получив степень бакалавра искусств. Начал печататься в журналах в 1970 году. Первый сборник его рассказов «Зеленый камень» появился в 1972 году и принес автору известность; это была первая книга рассказов, опубликованная маорийцем. Маорийская письменность создана на основе латинского алфавита в начале XIX века. Затем В. Ихимаэра выпустил первый роман под названием «Похороны» («Tangi», 1973) и в следующем году роман «Род» («Wanau», 1974).

Предлагаемые рассказы взяты из книги «Зеленый камень» («Pounamu, Pounamu», Auckland, Heinemann, 1973).

БАГРОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.).

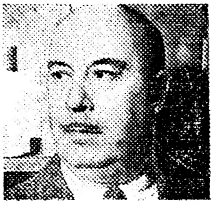
Советский переводчик с английского. В периодической печати в его переводах публиковались рассказы Карсон Маккаллерс, Уильяма Сарояна, Скотта Фицджеральда.

ФРИДРИХ ХИТЦЕР — FRIEDRICH HITZER (род. в 1935 г.).

Западногерманский писатель, критик, журналист, главный редактор журнала «Кюрбискерн». Автор рассказов, эссе, публицистических статей. Ему принадлежат также работы: «Советское кино 30-х годов» («Sowjetischer Film der 30er Jahre», совместно с У Грегором), «Альтернативы оппозиции» («Alternativen der Opposition», совместно с Р. Опицем), издание, перевод и комментарий писем Ф. М. Достоевского и др.

Работа Ф. Хитцера «Надежда и предостережение» опубликована в «Иностранной литературе» № 3, 1977.

Статья «Литература агрессии» перепечатывается нами из журнала «Кюрбискерн» (№ 1, 1977) с небольшими сокращениями.



ГИЛЬЕРМО ДИАС-ПЛАХА — GUILLERMO DIAZ-PLAJA (род. в 1909 г.).

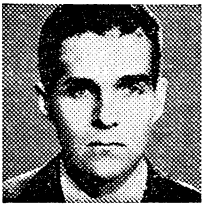
Испанский поэт, эссеист, литературный критик. Член Испанской Королевской Академии, а также Барселонской Академии. Доктор философии, литературы и права. Директор Национального института испанской книги, директор Института театра в Барселоне, член Национального совета по вопросам образования.

Перу Гильермо Диаса-Плахи принадлежит около 200 трудов, среди них — сбор-

ники стихов, учебники испанского языка и литературы, работы по стихосложению, эссе о творчестве многих испанских и латиноамериканских писателей (Рубена Дарио, Рамона Валье-Инклана, Федерико Гарсиа Лорки и др.).

Статья «Слово о Хуане Рамоне Хименесе» получена от автора в рукописи.

■



ЛАРИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1925 г.).

Советский журналист, литературный критик и переводчик с польского. Переводил произведения С. Дыгата, Я. Ивашкевича, В. Жукровского, К. Конколевского и др. Автор ряда статей о современной польской литературе, составитель антологических сборников: «Современная польская повесть» (1964), «Польские новеллисты» (1970), однотомников С. Зелинского (1964) и С. Дыгата (1971).

■

ГОЛАМХОСЕЙН САЭДИ (род. в 1935 г.).

Иранский прозаик и драматург. Его перу принадлежат романы повести, рассказы. Пьесы Г. Саэди (некоторые из них изданы под псевдонимом Гоухар Морад) идут на сценах Тегерана и других городов страны.

На русский язык переведена его повесть «Страх» («Иностранная литература» № 4, 1974), повести и рассказы в сборнике «Траур в Баяле» (1975).

Рассказ «Я, Плешивый и Кейкавус» был напечатан в сборнике «Дандил», 1966 г.

■

ДЖОН ГАРДНЕР — JOHN GARDNER (род. в 1933 г.).

Американский писатель. Перу Дж. Гарднера принадлежит несколько романов, наиболее популярны из них «Диалоги с Солнечным светом» («The Sunlight Dialogues», 1972) и «Никелевая гора» («The Nickel Mountain» 1973).

Статья «Семья человека — семья человеческая» перепечатывается нами из еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» (сентябрь, 1975).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 6/VII 1977 г. А 10594. Подписано в печать 8/VIII 1977 г.
Бумага 70 × 108¹/₁₆ = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 27,51.

Тираж 595.000 экз. (1-й завод: 1 — 450.000 экз.). Зак. 1988.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ. Большой праздник

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Информационный сборник «Современная художественная литература за рубежом» подготавливается Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы при участии видных советских литературоведов-зарубежников и публикуется издательством «Прогресс». Сборник содержит обзоры, рецензии, аннотации на новые художественные произведения зарубежной литературы (включая книги для детей и юношества), а также новинки литературоведения, критики, театроведения.

За год планируется рецензировать более 700 новейших зарубежных публикаций.

Сборник дает рассчитанную на широкого читателя разнообразную информацию о процессах, происходящих в литературах мира, освещает эволюцию творчества наиболее значительных иностранных писателей, помогает ориентироваться в книжной продукции издательств зарубежных стран.

Подписка на сборник «Современная художественная литература за рубежом» принимается во всех отделениях связи с 1 сентября по 25 ноября 1977 года.

Периодичность — 6 выпусков в год.

Подписка на сборник только годовая.

Цена подписки — **2 руб. 40 коп.**

Индекс в каталоге «Союзпечати» — **70931.**